

НОВЫЙ МИР



XX ЛЕТ
КРАСНОЙ АРМИИ И
ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА

2

МОСКВА 1938

НОВЫЙ МИР

ЛИТЕРАТУРНО - ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

ФЕВРАЛЬ

МОСКВА
1938

Уполн. Главлита В—32821.
Об'ем 18 печ. л. по 64.000 знаков.
Сдано в набор 15/1—38 г. Подписано к печати 11/II—38 г.
Тираж 80.000. Завод 10.000. Заказ № 3288.
Технический редактор **А. И. Гессен.**
Тип. «Известий» имени И. И. Скворцова-Степанова. Москва.

СОДЕРЖАНИЕ

*ВКЛАДКИ — портреты В. И. Ленина, И. В. Сталина,
М. В. Фрунзе и К. Е. Ворошилова.*

	Стр.
XX ЛЕТ КРАСНОЙ АРМИИ И ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА	5
ЛЕНИН-ВОЖДЬ, перевод с армянского	11
НАС ПОВЕЛ ТОВАРИЩ СТАЛИН, перевод с украинского	16
ДЖАМБУЛ — Вооруженный народ, поэма	17
АЛЕКСЕЙ ТОЛСТОЙ — Хлеб, повесть, окончание	27
МИХ. ШОЛОХОВ — Тихий Дон, роман, продолжение	105
Н. НЕЗЛОБИН — Партизанская, стихотворение	126
М. АЛИГЕР — Победители, стихотворение	127
БОРИС ЛАВРЕНЕВ — Выстрел с Невы, рассказ	129
АЛЕКСЕЙ СУРКОВ — Походная, стихотворение	142
С. ДИКОВСКИЙ — Конец «Саго-Мару», рассказ	143
К. КЛОСС — Танкисты, повесть	157

★

ФРУНЗЕ, стихотворение, перевод с казахского	178
Н. КРУЖКОВ — Михаил Васильевич Фрунзе	179
ОБРАЩЕНИЕ К ВОРОШИЛОВУ, стихотвор., пер. с казахского	188
К. АНАНЬЕВ — Климент Ворошилов	189
ПО ДОЛИНАМ И ПО ВЗГОРЬЯМ, русская песня	210
К. ПАУСТОВСКИЙ — Маршал Блюхер	211
ОСВОБОДИТЕЛЮ КАВКАЗА, перевод с кабардинского	224
ВС. САБЛИН, Э. ФАЗИН — Товарищ Серго,	225

★

А. ВИНОГРАДОВ — Василий Чапаев	231
МИХ. ЕВГЕНЬЕВ — Щорс и Боженко,	247
О. КОТОВСКАЯ — Воспоминания о Котовском	255
А. ПЕРВЕНЦЕВ — Иван Кочубей	263

★

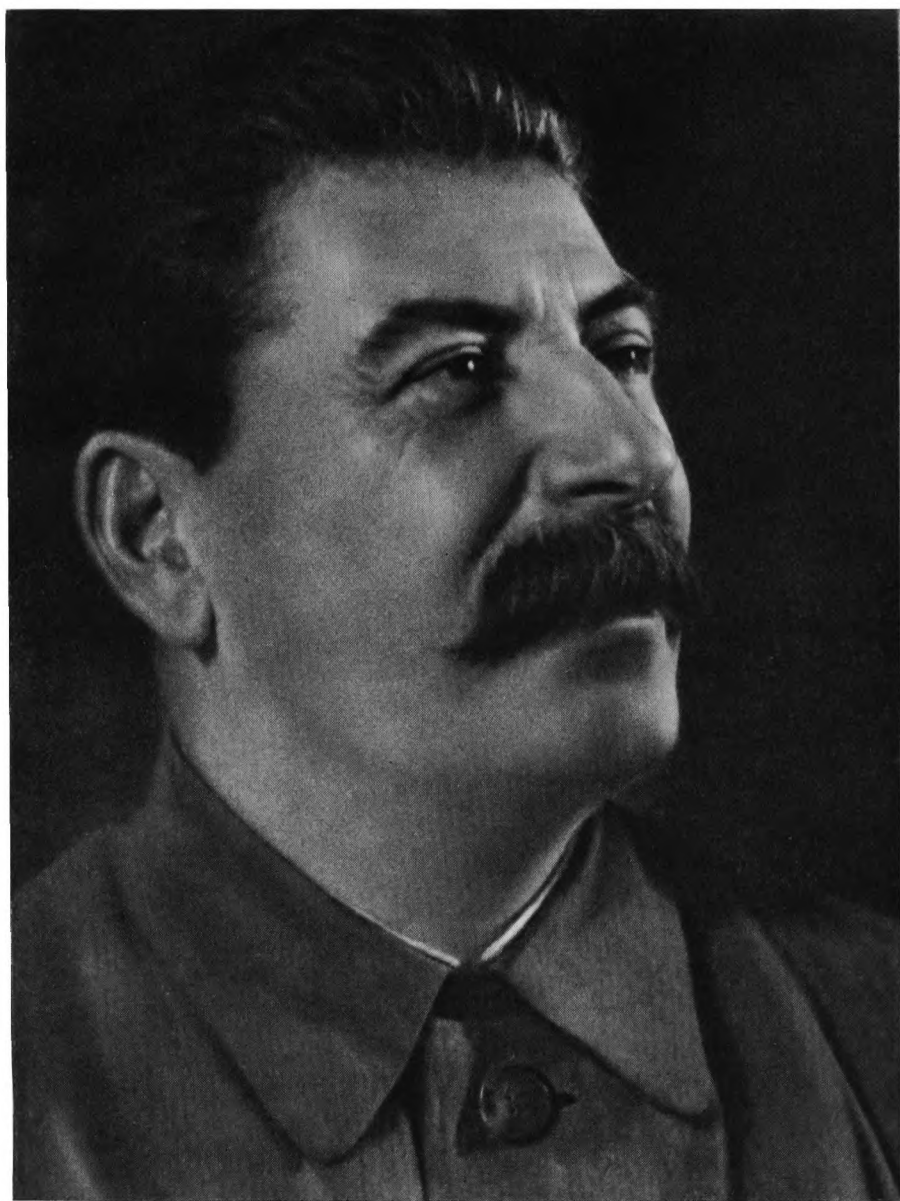
П. АЛЕКСАНДРОВ — Приезд товарища Сталина в Первую Кон- ную армию	276
---	-----

БИБЛИОГРАФИЯ

К. Е. Ворошилов — Сталин и Красная Армия	284
--	-----

★





XX ЛЕТ КРАСНОЙ АРМИИ И ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА

★

Рабоче-Крестьянская Красная Армия и Военно-Морской Флот родились в пороховом дыму классовых битв с буржуазией и сражений с иноземными работодателями, в войне за счастье народа и благо родины.

Армия у нас классовая, против буржуазии, — говорил Ленин. Она несла на своих штыках гибель буржуазному миру, свободу рабочим и крестьянам от господства капитала, от грабежей и гнета иноземных насильников.

Трудящиеся всегда встречали красноармейцев и краснофлотцев, несущих благородное знамя Великой Октябрьской Социалистической революции, как своих долгожданных избавителей. Сердце обливалось кровью у людей, когда Красной Армии приходилось хотя бы временно отходить.

В газете «Красноармеец», издававшейся в 1920 г. в XVI армии на Польском фронте, товарищ Сталин писал о том, как местное белорусское население встречает красные войска.

За фронтовой полосой, у польских панов, постоянно вспыхивают восстания крестьян, «работают партизанские отряды, разрушающие тыл противника, сжигая склады и истребляя помещиков».

У нас «крестьяне делились последним с красноармейцами.

Чрезвычайно тяжелая подводная повинность исполнялась безропотно.

Красноармейцу оказывалось всякое содействие, всяческая помощь, и велико было горе населения, когда мы были вынуждены в конце мая начать отход» — писал товарищ Сталин.

Народ любит горячей, сердечной любовью свою Красную Армию и Красный Флот.

«... Будьте на-чеку, берегите обороноспособность нашей страны и нашей Красной армии, как зеницу ока...».

Великий смысл этих слов Ленина понятен всем трудящимся, всем бойцам за торжество Сталинских пятилеток. Завоевание крепости и несокрушимой силе непобедимой Красной Армии и Флота воодушевляет сталинский блок коммунистов и беспартийных в нашей стране.

Никогда не померкнет в памяти народной слава о боях гражданской войны.

... И останутся, как сказка,
Как манящие огни,
Штурмовые ночи Спасска,
Волочаевские дни...

Образы народных героев, отдавших свою жизнь за счастье народа и вели-

чие родины, бессмертные образы Чапаева, Щорса, Котовского, Боженко, Лазо, Кочубея и многих других верных сынов и дочерей великого советского народа, передовых бойцов Перекопа, Волочаевки, Царицына будут вечно гореть в сердцах трудящихся.

История русской армии и флота знает немало героических страниц, когда русские солдаты и матросы поражали мир мужеством и смелостью, бесстрашием и выносливостью. Но даже храбрость казаков Платова, превзошедших военное искусство кавалеристов Мюрата; мужество русских моряков в Чесменском бою; бесстрашие солдат Суворова, обманутых и покинутых союзниками, но вдребезги разгромивших в битве при Нови своего сильнейшего противника, поразивших Европу изумительным Швейцарским походом, — бледнеют перед подвигами красноармейцев и краснофлотцев, организованных волей партии Ленина—Сталина, в непримиримой борьбе с врагами социализма.

Вспоминая о прорыве частями 51-й дивизии Юшунских позиций врангелевцев в Крыму, Блюхер пишет:

«Грохот артиллерийской канонады, свист и шипение снарядов в воздухе были так велики, словно мы натолкнулись на стену из жерл орудий и дул пулеметов.

У нас было в 2—3 раза меньше орудий, чем у врангелевцев, но артиллеристы не смущались подавляющим превосходством белой артиллерии. Они храбро тащили орудия в передовых частях и прямой наводкой разбивали бетонированные пулеметные гнезда. Бойцы, командиры и комиссары как бы не испытывали усталости. Вызываю командира наиболее пострадавшей бригады и приказываю вывести ее в резерв и сдать участок отдохнувшей Огневой бригаде.

Командир просит поддержать его, но не сменять».

В боях с японо-манчжурами в ноябре 1936 г. героически погиб пограничник Валентин Котельников. «Начальник заставы послал Валентина Котельникова на помощь другой нашей группе. Котельников сразу скомандовал: «Шашки к бою!». В это время его смертельно ранило. Он упал, а винтовки не выпускает. Подбегает к нему помощник командира взвода, хочет взять винтовку, передать другому бойцу. А он, Котельников, не отдает, говорит: «Я еще могу стрелять». Потом через 15 минут с винтовкой в руках он умер» — рассказывал пулеметчик Канаков о последних минутах Котельникова.

Товарищ Сталин передает о самоотверженности краснофлотцев, ожививших в своих подвигах лучшие традиции русского революционного флота. Когда в 1919 г. белогвардейцы и интервенты рвались к подступам города Ленина, пытались завладеть ключом Кронштадта—Красной Горкой, матросы Балтийского флота, благодаря своей самоотверженности и умелому руководству начальника действующего отряда, победили противника в неравном бою двух наших миноносцев с четырьмя вражескими миноносцами и тремя подводными лодками.

Что вдохновляло артиллеристов 51-й дивизии, прорывавших Юшунские позиции белых; балтийских матросов, громивших втрое сильнейший флот противника; красноармейцев — пограничников Советского Дальнего Востока, бивших без пощады банды японо-манчжур; красных конников, так рубивших белополяков, что, по признанию Пилсудского, паника вспыхивала на расстоянии сотен километров от фронта?

Что вдохновляет доблестных летчиков, гордых соколов нашей авиации, го-

товых по первому сигналу взлететь и разгромить врага на его же территории? Что заставляет наших гордых соколов штурмовать небо, неумоимо, с постоянным риском для жизни, драться за то, чтобы летать выше, дальше и быстрее всех?

Их вдохновляет на боевые доблести и великие дела любовь к своему народу, к своей родине, преданность партии Ленина—Сталина, которая пестует и воспитывает их, как самое дорогое и любимое детище. В них вселяет бодрость и мужество память о великом Ленине, не пощадившем всей своей жизни для укрепления мощи и возвышения советского государства и верного часового дела социализма — Красной Армии и Красного Флота.

Их вдохновляет самый близкий и дорогой друг Красной Армии и Флота — великий Сталин, неусыпно стоящий на страже могущества и славы Советской державы, организатор всех решающих побед в гражданской войне, разделивший с бойцами все тяготы, лишения и опасности многочисленных фронтов.

Их вдохновляет, что во главе вооруженных сил советского народа стоит пролетарский полководец, первый маршал, бывший луганский слесарь-металлист, товарищ Ворошилов, громивший полки белогвардейцев и немецких оккупантов на просторах России и Украины, инициатор штурма Кронштадта по льду.

Бойцы Красной Армии и Флота черпают неиссякаемые силы и веру в правоту своего дела в сознании того, что они защищают власть трудящихся, отстаивали и отстаивают свободу и счастье народа, что они имеют «бесчисленное количество друзей и союзников во всех частях мира, от Шанхая до Нью-Йорка, от Лондона до Калькутты» (Сталин),

что они защищают дело прогресса человечества и мира между народами.

В этом источник силы и могущества нашей армии и флота. В этом же источник боязни и страха фашистов и милитаристов Европы и Азии перед революционной доблестью советского «человека с ружьем», нашего рядового красноармейца и краснофлотца.

Наших врагов пугает патриотизм народов многонационального Советского Союза, нашей великолепной молодежи, для которой призыв в Красную Армию и Флот всегда превращается в праздник и для которой нет ничего более возвышенного, как жизнь и работа под руководством Ленинско-Сталинской партии, во славу родины и коммунизма.

Нас водила молодость

В сабельный поход,

Нас бросала молодость

На кронштадтский лед.

Эта боевая молодость — неиссякаемый источник сил нашего народа и его армии.

Весною 1937 г. в бою с японо-манчжурами на дальне-восточной границе Советского Союза пал смертью храбрых красноармеец Михаил Долгополов, колхозник Кинель-Черкасского района, Куйбышевской области. Когда весть о его геройской гибели за счастье трудящихся дошла до односельчан, сергиевский военкомат получил пять писем от кинель-черкасских колхозников и рабочих, заявлявших о страстном желании молодых советских патриотов заменить в боевом строю их односельчанина и друга. Все пять были зачислены Наркоматом Обороны в Особую Краснознаменную Дальне-Восточную армию.

Всем памятно письмо юноши-пионера Владимира Чередниченко товарищу Ежову:

«Мне 15 лет. Я сдал нормы на 4 оборонных значка. Хочу служить советскому народу. Я хочу отдать свою жизнь за свою родину. Вас, дорогой Николай Иванович, под пионерским салютом прошу, чтобы Вы меня отправили на какую-либо пограничную заставу. Сильно прошу дать ответ...».

Есть что защищать сынам и дочерям нашего народа, есть чего бояться нашим врагам!

XX-летие РККА и Военно-Морского Флота наша страна празднует в момент, когда глубочайшая тревога за судьбы мира охватила все передовое человечество. Японская военщина, немецкие и итальянские фашисты не покладая рук работают над развязыванием новой мировой войны. На огромных пространствах Китая и Испании уже идет большая кровопролитная война. Борющиеся за национальную независимость и демократию народы Китая и Испании, горячо приветствуемые великим советским народом, симпатиями всего передового человечества, отбивают атаки фашистских варваров, иноземных насильников и захватчиков.

Под огненным ливнем фашистских пулеметов и бомбовозов оккупантов, демонстрирующих свою «храбрость» над мирным населением, детьми и женщинами, народы Китая и Испании проходят суровую школу борьбы за свободу и независимость, организуются и закаляются в огне войны, проникаются великими освободительными идеями, зажигаются величайшей ненавистью к фашизму—врагу культуры и цивилизации.

Бессмертная заслуга Ленинско-Сталинской партии, нашего советского правительства и друга народов — Сталина заключается в том, что наша страна имеет сейчас могучую, непобедимую, высоко индустриализированную армию,

которая не боится ничьих угроз, которая отстояла и отстоит советскую землю от чьего бы то и какого бы то ни было нападения.

«... Дорогие товарищи, работайте спокойно. Работайте по-стахановски, чтобы все выше и выше поднималось над миром непобедимое знамя Ленина—Сталина. Ваш мирный путь мы охраняем и будем охранять, не щадя своей жизни».

Народ верит этим словам орденосца-пограничника Чебышева, верит его боевым друзьям.

Знаменательно, что на первой Сессии Верховного Совета большое место занял вопрос об укреплении военной мощи СССР, об организации могучего морского и океанского флота великой Советской морской державы.

Глава советского правительства товарищ Молотов на Сессии Верховного Совета СССР заявил:

«У могучей Советской державы должен быть соответствующий ее интересам, достойный нашего великого дела, морской и океанский флот.

Для того, чтобы организовать этот флот с его сложным техническим оснащением, с его мощной морской артиллерией, с его соответствующей достоинству советского флота морской авиацией, и для того, чтобы воспитать по-советски многочисленные кадры квалифицированных моряков и морских техников, нужен новый наркомат, нужен Наркомат Военно-Морского Флота».

Уже сейчас, как об этом писал в «Правде» Народный Комиссар Военно-Морского Флота тов. П. Смирнов, Красный Флот вырос качественно и количественно, особенно подводный флот.

Наши линейные корабли стали вполне современными боевыми кораблями. Количество укрепленных районов, прикрывающих важнейшие политические и

экономические центры и районы, на побережье нашего Союза выросло за последние пять лет больше чем в три раза.

Из года в год поднимается уровень боевой подготовки советского флота.

В 1937 г. всеми кораблями Военно-Морского Флота пройдено 1 млн. 50 тыс. миль, т.-е. почти в два раза больше, чем в 1933 г.

Больше половины краснофлотцев — комсомольцы и члены партии.

Молодежь забрасывает новый наркомат письмами, в которых выражает свою готовность отдать все силы и жизнь, если враг осмелится перейти нашу морскую границу.

«С такими товарищами, — писал И. Сталин в 1929 г. о бойцах Черноморского флота, — можно победить весь мир эксплуататоров и угнетателей».

Вот почему решение народных избранников о создании могучего военно-морского флота СССР заставит задуматься оголтелых милитаристов из фашистского лагеря и испортит им немало крови.

«Наша армия существует не для нападения, но только до момента нападения врага на нашу родину. Она будет самой нападающей из всех когда-либо нападавших армий, если враг ее понудит к этому». Таков наказ боевого сталинского наркома Ворошилова бойцам армии и флота. Враг, который осмелился бы напасть на СССР, испытает на себе всю гигантскую силу морального и политического единства советского народа.

Наша уверенность в непобедимости, в способности и умении Красной Армии и Флота разгромить врага на его же территории и в его же территориальных водах — непоколебима. Она, эта уверенность, основывается на крепкой, как гранит, почве. Для этого у нас есть

могучая индустрия и новейшая техника, насыщающая нашу армию самыми совершенными боевыми средствами, превращающая ее в самую индустриализованную армию в полном смысле этого слова.

Для этого у нас есть талантливые и бесстрашные боевые командиры и великодушные культурные бойцы — мужественные пехотинцы, танкисты, кавалеристы, артиллеристы, летчики, подводники, политработники, экипажи линкоров, крейсеров, миноносцев, торпедных катеров.

Для этого у нас есть мудрое, прозорливое, заботливое сталинское руководство, облеченное высоким доверием народа. Сила и мудрость этого руководства в том, что оно воспитывает в нашем народе деятелей ленинско-сталинского типа, умеющих «быть мудрыми и неторопливыми при решении всяких вопросов, где нужна всесторонняя ориентация и всесторонний учет всех плюсов и минусов...».

Быть «свободными, как Ленин, от всякого подobia паники, когда дело начинает осложняться и на горизонте начинает вырисовываться опасность» (Жданов).

Этими качествами должны обладать все наши военные работники.

Мудрое сталинское руководство неустанно учит нас заботе о человеке. Так понял наш народ решения январского пленума ЦК ВКП(б) об исправлении ошибок, допущенных партийными организациями при исключении коммунистов из партии и при разборе апелляций исключенных.

Продолжая работу по очищению партийных и государственных организаций от троцкистско-бухаринских агентов фашизма, двурушников, шпионов и предателей, партия требует от каждого коммуниста, от каждого честного гражданина

и бойца наших доблестных Красной Армии и Флота настоящей большевистской бдительности, быть чекистом, в прекрасном смысле этого слова.

Партия обращает внимание на то, что искусно замаскированный враг старается криками о бдительности замаскировать свою враждебность, стремится мерами репрессий перебить наши большевистские кадры. Нередко отдельные карьеристы-коммунисты стараются отличиться и выдвинуться, перестраховаться на огульных, ничем не оправданных репрессиях против членов партий.

Партия разоблачает таких, с позволения сказать, коммунистов, клеймит их, как карьеристов. Она полна решимости «разоблачить и до конца истребить замаскированного врага».

Своими решениями и действиями партия дает пример всему нашему народу. Проведение этих решений в жизнь укрепляет большевистские ряды, еще теснее сплачивает народ вокруг Сталинского Центрального Комитета нашей партии, сделает еще более могучей и неприступной для врага нашу родину.

Доблестная Красная Армия прошла неповторимый по своей красоте и величю путь. Двадцатилетняя ее история — источник богатейших творческих тем для советского искусства и литературы, для наших талантливых писателей, художников, поэтов, композиторов.

Трудно найти более благодарную задачу, чем использование нашей литературой и искусством этой героической истории.

Наш народ, особенно молодежь, жадно, взволнованно внимает рассказам о подвигах и доблестях бойцов и краснофлотцев. Народ любит, высоко ценит советскую патриотическую литературу.

Разрешение этой задачи советскими писателями облегчается тем, что история нашей Красной Армии и Флота не нуждается в каком-то искусственном приукрашивании, она говорит сама за себя.

Оценивая творческий путь художника М. Грекова, посвятившего свое творчество изображению походов, быта и боевой жизни красной конницы, товарищ Ворошилов писал:

«... Он (Греков. — *Ред.*) старался показать только историческую правду, как он видел ее собственными глазами, и он знал, что эта правда настолько прекрасна, так насыщена подлинным героизмом восставших масс, что она не нуждается ни в каком искусственном приукрашивании. И поэтому полотно художника Грекова, с их беспредельными южными степями, охваченными революционным пожаром, красными всадниками, в дыму кровавых схваток мчащимися навстречу смерти и победе, — навсегда останутся ценнейшими живыми документами суровой и великой эпохи классовых битв».

Донести эту прекрасную историческую правду до многомиллионных масс советских читателей — вот та основная задача, которую ставит перед собой советская литература в великий народный праздник двадцатилетия Рабоче-Крестьянской Красной Армии и Военно-Морского Флота.

Ленин-вождь

Перевод с армянского

★

Мир и хвала тебе, кого чтит бедняк!
Мир и хвала тебе, кого чтит народ!
Мир и хвала тебе, кого чтит весь мир!
Мир и хвала тебе, Ленин-вождь!

Было так: богатство — у тех, кто богат,
Имущество, добро — у тех, кто богат.
Поля и пастбища — у тех, кто богат.
Было так: богач ест масло и мед,
Бедняк ест ячменный хлеб и чортан¹

Было так: за богача работает ноляр²
Бедняк работает, но никогда не сыт.
У богачей — царь-султан и его закон
У бедняков — ветер в полях, роса в лугах
Смотри: богачей одна лишь горсть,
Бедняков — тысячи тысяч, не счесть
Уже дошел нож беды до костей

Тогда встал с места, поднялся Ленин-вождь,
Сказал в глаза султану и богачам:
«Я сын бедняка и брат всем беднякам.
Выходите: будем биться на жизнь и смерть!»

Царь-султан созвал свое войско и воевод,
Богачи принесли свои деньги в казну,
Все беки³ и все аги⁴ сели на коней,
Пошли, поскакали на Ленина-вождя,
Рабочих своих созвал Ленин-вождь,
Хлебоборов своих созвал Ленин-вождь.
Пришли. Кто взял кирку, кто — молот, кто — серп.
Сам Ленин-вождь сел на коня, поскакал
Шаумян-вождь сел на коня, поскакал,
Мясникьян-вождь сел на коня, поскакал,
Микоян-вождь сел на коня, поскакал

¹ Чортан — высушенное кислое молоко.

² Ноляр — батрак.

³ Бек — помещик.

⁴ Ага — господин.

Калинин-вождь сел на коня, поскакал,
 Сам Сталин-вождь сел на коня, поскакал, —
 За ними пошла беднота. Арач! ¹

Смотри: богачи свое войско взяли, пришли,
 Приспешники их свое войско взяли, пришли,
 Инглиз ² свое войско взял, пришел,
 Франгсыз ³ свое войско взял, пришел,
 Чин-Мачин ⁴ свое войско взял, пришел,
 Чай-Фун ⁵ свое войско взял, пришел,
 Осман-турок свое войско взял, пришел,
 Мсыр-Хисар ⁶ свое войско взял, пришел,
 Аджам-перс свое войско взял, пришел,
 Амркян ⁷ свое войско взял, пришел,
 Алман ⁸ свое войско взял, пришел.
 Увидим: будет битва на жизнь и смерть!

Часть войска их — те, кто куплен на серебро,
 Часть войска их — те, в ком белая кость,
 Часть войска их — те, кто шкуру свою бережет,
 Часть войска их — те, кто всем чужой и плюет на все.
 Те, кто куплены, не хотят умирать,
 Те, в ком белая кость, любят жизнь,
 Те, кто трус и шкурник, бегут кто куда.
 Остались те, кто всем чужой и плюет на все.
 Сердце одно у всех, чья жизнь — голод и труд,
 Сердце одно у всех, чей хлеб горек и черств,
 Сердце одно у всех, кто обездолен судьбой,
 Потому что гневом опалены сердца!
 Арач! Вы — те, с кем Ленин-вождь!

«Эй! —

крикнул Ленин, —

Час мести настал!

Бейте врагов, как снопы на току!
 Топчите, как в точиле виноград!».

«Эй! —

крикнул царь-султан, мечом взмахнул. —

Бейте эту голь, как лисиц и волков.
 За голову — крест, за две — медаль.
 Истребляйте всех, кто руку поднял,
 Чтобы корону мою, чтобы меч мой отнять!».

Все утро бились, весь день, до тьмы.

¹ Арач — вперед.

² Инглиз — англичанин, Англия.

³ Франгсыз — француз, Франция.

⁴ Чин-Мачин — Китай.

⁵ Чай-Фун — Япония.

⁶ Мсыр-Хисар — Египет (здесь имеются в виду колониальные войска империалистов).

⁷ Амркян — американец, Америка.

⁸ Алман — немец, Германия.

Сказал хлебороб:

«Зачем я в войске царя?».

Сказал поденщик:

«Зачем убивать своих?».

Настала ночь, ушли в стан Ленина-вождя.

Все утро бились, весь день, до тьмы.

Там пушки, каждая — столетний дуб,
Тут карабины — тонкий камыш.
Там лес винтовок, лес штыков,
Тут лесвил, грабель, мотыг, серпов.
Там пулеметы, танки, чархи-фелак¹,
Тут пистолеты, молоты, колья, дубье.

«Эй! —

крикнул Ленин, —

Арач! Арач!».

На стремених поднялся, взлетел, вскричал:

«Доколе, —

сказал, —

вы будете землей владеть?».

«Доколе, —

сказал, —

вы будете хлеб наш есть?».

«Доколе, —

сказал, —

вы будете мир обременять?».

Сказал, поскакал, красное знамя развернул.

За ним пошли рабочие — тысячи тысяч!

За ним пошли хлеборобы — тысячи тысяч!

За ним пошли безработные — тысячи тысяч!

За ним пошли безземельные — тысячи тысяч!

За ним пошли безводные — тысячи тысяч!

Прошли весь мир — с восхода по закат,

Прошли горы — с восхода по закат,

Прошли ущелья — с восхода по закат,

Прошли леса — с восхода по закат,

Прошли поля — с восхода по закат,

Прошли моря — с восхода по закат.

Сошлись, ударились грудь о грудь, —

Присел Алагяз² перед горою тел.

Сошлись, ударились грудь о грудь, —

От крови вздулись ручьи, как весной Араз³.

Сошлись, ударились грудь о грудь.

Там пушки — стволы столетних дубов,

Тут карабины — тонкий камыш.

¹ Чархи-фелак дословно: колесо судьбы, в народе — название аэроплана.

² Алагяз — Арагац, гора в Армении.

³ Араз — река Аракс.

Там лес винтовок, лес штыков,
 Тут лес кос, вил, грабель, дубин.
 Там пулеметы, танки, чархи-фелак,
 Тут пистолеты, топоры, камни в руке.

Бились все утро, полдня, и еще полдня.

Кто куплен был, не хотел умирать.
 Кто жизнь любил, не хотел умирать.
 Кто трусом был, не хотел умирать.
 Кто всем был чужой, ничего не жгелел.

Уже за порог заката шагнул день,
 На землю легла, на сердце легла тьма,
 На сердце, как ночь, забота легла.
 Сюда-туда гонцов шлет Ленин-вождь.

Идут бойцы с четырех сторон:
 Пришли рабочие — тысячи тысяч!
 Пришли хлеборобы — тысячи тысяч!
 Пришли безработные — тысячи тысяч!
 Пришли безземельные — тысячи тысяч!
 Пришли безводные — тысячи тысяч!

Поспешила, подоспела помощь, пришла.
 Ослабела, погнулась сила врагов.

Сошлись, ударились грудь о грудь, —
 Присел Алагяз перед горою тел.
 Сошлись, ударились грудь о грудь, —
 От крови вздулись ручьи, как весной Араз.

Рубились, бились, — Ленин-вождь победил!
 Смотри туда — как баранта¹ бегут. Арач!
 Смотри туда — бросают пушки, бегут. Арач!
 Смотри туда — ложатся ряд на ряд. Арач!

«Эй! —

крикнул Ленин-вождь, —

День — наш!».

Поднял, простер красное знамя, сказал:

«Мир — наш!».

Поскакал, потоптал конем немало войск.
 За ним идет беднота и голь.

Это весенний поток дробит скалу,
 Это огонь с'едает сухой дубняк,
 Это ветер разносит пыль по земле,
 Это обвал горы сотрясает твердь.
 Ленин-вождь поскакал, победил, взял свое:
 Взял пушки врагов и ружья их взял,
 Взял пулеметы их и танки их взял,
 Взял бомбы их и патроны их взял.

¹ Баранта — стадо овец.

Из войска богачей, кто не ушел, — тот лег.
Сдул ветер с дороги жизни их след.

Стоит, как чурбан, предводитель войска их,
Тот большой чурбан — русский султан.
Закричал на него Ленин-вождь, сказал:
«Дурак! Плохих ты наделал дел!
Не с малым умом управлять большой страной!».

Тогда царь-султан ему отвечал:
«Моя жизнь под ногой твоей, Ленин-вождь.
Да буду жертвой тебе, — не убивай меня.
Пощади меня, дай мне горсть земли, —
Сажать буду дыни и стану бстанчи¹
И милостью твоей буду жить с семьей».
«Не льщусь я на лесть! Обман — все твои слова!» --
Сказал Ленин-вождь и меч обнажил,
Отсек главу чурбану, тело бросил в кюльхан².

Так был выброшен из мира русский султан.
Нет числа морям, что окровавил он,
Нет числа очагам, что он потушил,
Нет числа сиротам, что по миру пустил,
Нет числа вдовам, что заставил рыдать,
Нет числа матерям, что стали в черном ходить,
Нет числа острогам, что настроил он,
Нет числа войнам, что вел царь-султан.
Весь мир был у ног его, носил его клеймо.

Закон большевиков дал Ленин-вождь.
У тех, кто был богат, отнял все,
Беднее кошек сделал богачей.
Тем, кто не имел ничего, дал все,
Одел, обул, людьми сделал бедняков.
У беков взял почет, достатка лишил,
Батраков и пастухов поставил вверху.
Тех, кто не умел читать, научил,
Чтобы каждый мог прочесть его закон.

Вся страна рабочим поклонилась до земли,
Вся страна хлеборобам поклонилась до земли,
Вся страна пастухам поклонилась до земли,
Вся страна батракам поклонилась до земли.

Мир и хвала Ленину-вождю!
И войску его,
И воеводам его,
И народу его!

1

Записано в 1934 году со слов
шерстобоя Габо Барцумьяна, 65 лет,
жителя города Ленинка, Армян-
ской ССР.

Из книги
«Творчество народов СССР»,
изд. ред. «Правда», 1937 г.

¹ Бостанчи — огородник.

² Кюльхан — свалка.

Нас повел товарищ Сталин

Перевод с украинского

★

Ой, взыграло Черно море,
Бьются волны в берега,
Собрались над Украиной
Злые вороны врага!

Ой, летают да лютуют,
Сердце жаркое клюют...
Украина, Украина,
Грабят вороны твой труд!

Разошелся пан Петлюра,
Ставит виселицы в ряд.
Разошелся Скоропадский,
Плач и стон вокруг стоят.

Расставлял столбы Петлюра
По холмам родной земли,
Злобный гетман Скоропадский
Повязал на них петли.

Кто ж тебя, страна родная,
От неволи защитит,
От неволи, от недоли,
От ударов и обид?

— Подымайтесь!—крикнул Ленин,
Подымайтесь, города!
— Подымайтесь!—крикнул Сталин,
Люди тяжкого труда!

Поднялись из шахт глубоких
Конононы-молодцы.
Повставали на заводах
Слесаря да кузнецы.

Беднота на зов орлиный
С поля панского пришла.
Нас повел товарищ Сталин
На великие дела.

Море шумное играет,
Гонит Сталин воронье,
Храбро красные дерутся
За свободное житье.

Вот затихло Черно море,
Буря злая не ревет...
Украина, мать родная,
Песню Сталину поет.

Записано в с. Мигия, Первомайского района, Одесской области Украинской ССР.

Из книги
«Творчество народов СССР»,
изд. ред. «Правда», 1937 г.

Вооруженный народ

ПОЭМА

ДЖАМБУЛ

Народный поэт Казахстана

★

1

Коня мне седлайте! Я в степи поеду.
С ветрами в степях поведу я беседу.
Пусть зимняя стужа лицо опалит
И кровь мою старую расшевелит.
Пусть буду я снова от встречи с морозом
Взволнован и свеж, и, как в юности, розов.
Пусть снова, как в детстве, манит меня вдаль
Студеный, серебряный, снежный февраль.
Э-гей! Широки вы, степные просторы!
Э-гей! Высоки вы, Тянь-Шанские горы!
И снег, лебединого пуха белей,
На всей широте неоглядных степей.
Засыпаны наглухо, плотно снегами
Дороги, покрытые густо следами
Отрядов, воинственных орд и полков,
Что шли сквозь туман величавых веков.
Земля моя в снежном и пышном халате!
Мне вид твой сегодняшний люб и приятен.
Все скрыто под снегом. Но хмурю я бровь,
Как вспомню, что прячешь людскую ты кровь.
Ведь каждая травка на почве кремнистой
Отмечена кровью горячей и чистой!
Ведь политы кровью степные цветы,
Холодные камни, пески и кусты!
Во время великих военных походов
Земля багровела от крови народов.
В сраженьях, что ханы с царями вели,
Народною кровью арыки текли.
... А степь ослепительна в белом халате —
Не слышит ни здравиц она, ни проклятий,
И властно зовет меня в светлую даль
Сияющий инеем снежный февраль.

2

Я еду по снежной степи, вспоминая,
 Как миром владела насильников стая.
 Оружие было в руках у господ,
 И был безоружен забитый народ
 В казахские степи, в таджикские горы,
 В узбекские сказочные просторы
 Явилась нежданно-непрошено рать
 Страну покорять и народ разорять.
 Овечьи джайляу¹ и степи верблюжьи
 Услышали звон боевого оружия,
 Увидели грозное войско царя.
 Кровавая встала над степью заря.
 Повысохли травы, деревья погнулись,
 И горькою линией в степь протянулись
 Ряды императорских крепостей.
 С тревогою степи встречали гостей.
 Чиновники, верные царскому строю,
 Крестом и винтовкой, штыком и тюрьмою
 Душили народ завоеванных стран,
 Накинув на шею народу аркан.
 Несчастливая степь! Ты от боли стонала,
 От горькой обиды ты громко кричала.
 По черным беззвездным и душным ночам
 Проклятья несла ты своим палачам.
 А ханы с султанами, баи да беки
 С царями сдружились на вечные веки, —
 По запаху волки волков узнают,
 И коршуны коршунам глаз не клюют.
 Мечтала ты, степь, на злодеев подняться,
 Мечтала ты, степь, за оружие взяться,
 Но не было в юртах дырявых твоих
 Ни ружей, ни пушек, ни сабель, ни пик.
 Забыть ли нам песенный пыл Махамбета²,
 Мятеж Исатая³, восстанье Бекета⁴?
 Взялся за оружие восставший народ,
 С копьем и дрекольем пошел он в поход.
 Но пушки сильнее копья и соила⁵,
 И царская сила восстанье сломила,
 Повстанцев повесила, копья сожгла,
 Аулы в степях разорила дотла.

3

Я еду по снежной степи, напевая,
 Я еду по белой степи, вспоминая —
 Как вера в победу в народе росла,

¹ Д ж а й л я у — летнее кочевье.

² М а х а м б е т — певец, воспевший восстание казахов в XIX веке.

³ И с а т а й — герой казахского восстания в XIX веке.

⁴ Б е к е т — народный герой Казахстана.

⁵ С о и л — палка, которую употребляют для охоты на волков.

Как песня призывы к восстанью неслла.
 Два солнечных гения — Ленин и Сталин —
 Свои голоса над вселенной подняли:
 Вставайте, рабы, для последней борьбы,
 Протрите глаза, распрямите горбы,
 Слотитесь дружнее и вооружайтесь,
 Готовьтесь к борьбе и без страха сражайтесь
 За землю, за воздух, за солнечный свет,
 За правду, за счастье до полных побед!
 Услышало клич большевистское племя,
 Настало крутое и грозное время —
 Сверкнуло, вселяя в насильников страх,
 Оружье в мозолистых жестких руках.
 Направилось неотвратимое дуло
 В сердца палачей кишлаков и аулов,
 Тому, кто порфиру носил и венец,
 Народ приготовил в подарок свинец.
 Был Киров в Сибири, Серго на Кавказе,
 Был Клим Ворошилов в кряжистом Донбассе,
 Был Фрунзе средь шуйских рабочих-ткачей,
 И все они, крепко любимые в массе,
 Вели наступление на палачей.
 И стали расти боевые дружины
 Из фабрик России, из шахт Украины,
 Из царской казармы, что хуже могил,
 Из царского флота, что трону служил,
 Из массы нефтяников Азербайджана,
 Из угольных копей в степях Казахстана,
 Дружины, рожденные бурной борьбой,
 Посланцы народа, идущего в бой.
 Оружие грозно в руках их звенело,
 И знамя над ними, как песня, шумело.
 Не бунт закипал, а великий поход, —
 Брался за оружие бессмертный народ.
 И светлые гении — Ленин и Сталин —
 В народной борьбе полководцами стали.

4

Снега и снега. Неоглядные дали.
 Ни троп на снегу, ни следов, ни проталин.
 Мерцают сугробы, — в тени голубы, —
 Как белых верблюдов большие горбы.
 Опять мои ноги срослись с стременами.
 Я еду по снежной дороге степями.
 Мой конь не устал, он стремится вперед,
 Туда, где лишь ветер протяжно поет,
 Туда, где лишь ветер — волшебный кудесник —
 Несет над степями гортанные песни.
 Ответь ты мне, ветер, кочевник степной,
 О чем ты поешь над степями зимой,
 О чем ты поешь над колхозными кстау¹

¹ Кстау — зимовка.

Над Алма-Атою и над Ала-Тау?
 И ветер ответил, замедлив полет:
 Пою я про грозный шестнадцатый год.
 И сразу припомнилось — в синих туманах
 Пожар бушевал над родным Казахстаном,
 И сразу я вспомнил, как смелый народ
 Пошел на царя и на баев в поход,
 Как весело пули над степью летали,
 Как с царских жандармов погоны срывали,
 Как в царских острогах замки разбивали,
 Как цепи с народных батыров снимали,
 Как город за городом штурмами брали,
 У баев в степи табуны отнимали,
 С позором всех мулл от себя прогоняли,
 Как песни о битве акыны слагали,
 И силы джигитов в степях собирали
 Под знамя того, кто не трусил беды:
 Чапая казахского — Амангельды!
 Сам царь задрожал от тревоги и страха,
 Он выслал к нам войско в бараньих папахах,
 Он пушки послал, пулеметы послал,
 И сам за расправой в степях наблюдал;
 Как ливни, в нас хлынули царские пули,
 Но мы наших алых знамен не свернули.
 Стал Ленин знаком нам, и Сталин знаком,
 И Амангельды — стал большевиком.
 Шло царское войско, но степь не смирялась —
 Сама революция в двери стучалась.

5

Ты помнишь ли, снежная степь, как поются
 Народные песни во дни революций,
 Когда побеждает царя и господ
 Разгневанный, вооруженный народ?
 Я помню, любимая степь, эти песни,
 Они всех напевов планеты чудесней;
 В них слышится вражий, подавленный стон,
 В них слышен оружия кованый звон.
 Вожди человечества Ленин и Сталин
 Вели нас на штурмы — и мы побеждали,
 Искусству восстания нас научив,
 Они передали народу ключи
 От всех императорских арсеналов,
 От всех оружейных палат и подвалов.
 И встал во весь рост — и могуч, и силен —
 Народ и свободен, и вооружен.
 Оружье навеки в руках у народа!
 Оружье отныне на-страже свободы!
 Оружье — пока еще змеи вокруг —
 Народ уж не выпустит больше из рук!
 Разбил генералов и ханов народ,
 Прогнал из поместий всех бар и господ.
 Из фабрик и шахт он прогнал мироедов —

Звенели счастливые песни победы!
 Народ охранял свое счастье штыком —
 Своих часовых он расставил кругом.
 И Красная гвардия, славой овита,
 Была для Советов — оплот и защита.
 Великий почет тебе. честь и хвала,
 Ты, Красная гвардия, битвы вела, —
 Ты кровь проливала, ты нас защищала,
 За Родину в битвах ты грудью стояла.
 Поклоны всем красногвардейцам твоим,
 Героям твоим, полководцам твоим,
 Прострелянным в битвах священным знаменам,
 Сквозь ливень свинцовый тобой пронесенным.
 Слава двум гениям светлым твоим,
 Слава создателям мудрым твоим,
 Отбившим все орды и конные лавы, —
 Ленину слава и Сталину слава!

6

Куда ни гляди, все снега да снега.
 Овраги со степью сравнила пурга.
 Курганы со степью сравнивали метели,
 Что ночью февральской со свистом летели.
 Другую метель и другую пургу
 Я в сердце ношу и забыть не могу.
 Я помню, как бешено рвались снаряды,
 Я слышу приглушенный гул канонады,
 В крови и пожарах Сибирь и Кавказ,
 В дыму и огне Казахстан и Донбасс,
 Киргизские степи, где кровь полилась,
 Узбекские земли, где битва велась,
 И Азербайджан в штормовой его час, —
 Как будто кто подал сигналы, и враз
 Весь мир палачей ополчился на нас!
 Колчак и Юденич, Краснов и Деникин
 Точили на нас свои сабли и пики.
 Германия шла, и Япония шла,
 И Польша на земли советские шла.
 Страна молодая, шагая полками,
 Встречала пришельцев стальными штыками.
 Встречал генералов, князей и господ,
 У них же отбитым, оружием народ.
 Война началась не на шутку, надолго —
 Краснели от крови и Терек, и Волга,
 Иртыш и Нева, и серебряный Дон.
 Летели стервятники с разных сторон!
 Под красной звездой страна молодая
 Боролась, на фронты с оружием шагая.
 За подписью Ленина вышел декрет —
 Залог величавых и славных побед.
 Декрет об'являл всенародное право —
 Сражаться за землю, за воду, за травы,
 Почетное право стоять на часах

На дальних заставах с винтовкой в руках.
 И сердце читало в заветном декрете,
 Что будем мы биться всех лучше на свете...
 Так Красная Армия в мир родилась
 В тревожный и трудный для родины час.

7

Скакун золотой мой! Твой шаг осторожен,
 Ты чем-то, как будто, немного встревожен,
 Ты, слушая зимнюю чуткую тишь,
 Шевелишь ушами и глазом косишь.
 Такие же умные, чуткие кони
 Летели в атаки, летели в погони,
 Такие же кони, как ты, золотой,
 Носили батыров порой боевой
 Народные войны родили батыров,
 Каких не знавала история мира.
 Звенят их прославленные имена
 Для всех поколений, на все времена.
 Горят, как созвездья, цветут, как зарницы,
 Овеянный сталинской славой Царицын,
 Каховка, Иркутск, громовой Перекоп,
 Где белые банды нашли себе гроб.
 Любимый мой Сталин, герой-победитель,
 Батыр всех боев, всех побед вдохновитель,
 Бесстрашно ты вел за свободу бои,
 Сияют, как звезды, победы твои!
 В огне и дыму величавых сражений
 Узнали народы твой солнечный гений.
 И север, и запад, и юг, и восток
 Узнали, что ты, словно горы, высок,
 Что смел, как храбрейший между храбрецами,
 Что мудр, как мудрейший между мудрецами,
 Что светел, как солнце, могуч, как титан,
 Глубок, как великий седой океан.
 Бойцы твое слово с любовью встречали,
 Враги твое имя с тревогой шептали.
 Ты вел за собой весь народ трудовой,
 Батыров батыр и героев герой.
 В боях воспитал ты стране полководцев,
 В которых и сердце отважное бьется,
 В которых и мысль боевая кипит,
 И сердце любовью к народу горит.
 Я славлю вас — Фрунзе, Серго и Буденный,
 Тебя, Ворошилов, в боях закаленный,
 Вас, Блюхер с Егоровым, — битвы сыны,
 Тебя, светлый Киров, любимец страны,
 Тебя, Каганович, чья львиная сила
 Заклятых врагов беспощадно косила,
 Тебя, кто для нечисти вражьей грозил,
 Родной и любимый, земляк мой, Ежов!
 Почет вам и слава, любовь вам и пенье,
 Могучее сталинское поколенье,

Прославленной Армии Красной сыны,
Герои великой гражданской войны!

8

Кто в мире не знает батыра Чапая?
Цветет его слава в долинах Алтая,
Гудит его слава в сибирской тайге
И ветром летит на кастекской байге¹.
На высях Памира живет его слава,
В степях Киргизстана, где сочные травы,
В прибое каспийской соленой волны
И в шуме фисташковых рощ Ферганы.
Встает предо мной его образ могучий —
И бурка, как черные гневные тучи,
И сабля, что молнией блещет в глаза,
И сам он — бушующий, словно гроза.
Грозный Чапай вел народ в наступленье,
Он мстил душегубам за их преступления,
Во имя народа казнил палачей,
И приступом брал он дворцы богачей.
Бывало, услышат враги спозаранок
Команду Чапая и грохот тачанок
И, чуя, что грозный приблизился суд,
В великом смятении и страхе бегут,
Бросая оружие, бегут без оглядки,
Да так, что сверкают лампы да пятки.
Пусть вечно живет зеленеющий край,
Где вырос бесстрашный, любимый Чапай!
Не даром народы легенды сплетают
О русском герое — батыре Чапае
Да разве один он — любимец в стране —
Прославился в этой священной войне?
Да разве одна лишь Россия, пылая,
В боях воспитала героя Чапая?
Родная страна, именами сверкай:
Багиров — азербайджанский Чапай
И пламенный Щорс — украинский Чапай,
Котовский-батыр — молдаванский Чапай,
И Городовик — калмыцкий Чапай,
Султанов Мукум — таджикский Чапай,
И Амангельды — казахский Чапай.
Ты, родина, песни о них запевай,
Чтоб, светлой любовью народа овиты,
По смелым Чапаям равнялись джигиты!

9

Я еду степями по снежной дороге,
На сердце ни грусти, ни темной тревоги,
Спокойно лежит, свои соки тая,
Одетая снегом родная земля,

¹ Байга — скачки.

Спокойствием думы мои озарились,
 Сердечные думы, что долго таились.
 На всех рубежах охраняют меня,
 Детей моих, внуков моих и князя.
 И эти могучие белые шири,
 И хвойные чащи медвежьей Сибири,
 И серые воды далекой Невы,
 И древние башни любимой Москвы.
 И эти покрытые льдами озера,
 И дальние бледнолиловые горы,
 И эти аулы, что пахнут дымком,
 Бараниной, сыром, парным молоком,
 И еле заметный от яблонек запах,
 И снег с отпечатками заячьих лапок,
 И кстау, что видно за дальней рекой,
 И этот хрустальный и ясный покой.
 И кустик, что нежно снежок запушило, —
 Привет тебе, славный батыр, Ворошилов!
 Кричу я с коня, и мой голос гремит,
 Как будто бы сотня куланов¹ бежит.
 Привет тебе, Маршал, Нарком и Герой,
 Любимый страной и народам родной,
 Ты с Лениным шел, тебя Сталин растил,
 Дорогу к победам ты долго мостил,
 Луганск тебя помнит бойцом баррикад,
 На немцев ты вел партизанский отряд,
 Ты армию к Сталину вел через Дон,
 Ты стал командармом, могуч и умен,
 Ты Красную конницу вел на врагов,
 Под звоны клинков и под пенье подков.
 Теперь тебе судьбы страны вручены,
 Нарком Обороны великой страны.
 Ты каждому всаднику дал по коню,
 Страну заковал ты в стальную броню.
 Границы ты запер на крепкий замок,
 Чтоб вор иль разбойник пробраться не мог.
 Семнадцатый год мы живем без войны,
 Счастливые люди Советской страны.
 У нас ворошиловский порох, у нас
 Батыра Ежова недремлющий глаз.
 У нас накопилась могучая сила,
 Равняемся мы по тебе, Ворошилов!

10

Над снежною степью пылает закат.
 Сугробы в степи, как рубины, горят.
 Горят покрасневшие щеки Джамбула.
 Вдали огоньками мигают аулы.
 Мой конь утомился, грызет удила —
 И падает пена, тепла и бела.

¹ Кулан — дикая лошадь.

Пылает закат величаво и грозно,
 На завтра он день предвещает морозный.
 Одет в броню ледяную земля
 От Алма-Аты и до башен Кремля.
 Я помню кремлевские башни весною,
 Цвели небеса над землей бирюзой,
 И воды синели в глубоких прудах,
 И ветви качались в душистых цветах,
 И все племена и народы братались,
 И звуки оркестров в Москве раздавались,
 И радостных песен кипел водопад —
 Шумел первомайский военный парад.
 Народы, прислушайтесь! В радостной мощи
 Гремит первомайская Красная площадь.
 В торжественном марше спокойно идет
 Свободный и вооруженный народ.
 В сплоченных рядах этой рати великой
 Я русского вижу, узбека, таджика,
 Ойрота, казаха, смыкающих строй
 Под красной, под пятиконечной звездой.
 Звезда моя! Ты от Москвы до Памира
 Цветешь, как эмблема спокойного мира,
 На шлемах пылаешь, на флагах горюшь,
 С Кремля всем народам сиянье даришь,
 На крыльях могучих плывешь над страной
 И орденем грудь украшаешь герою.
 Идут звездоносцы, и звезды горят,
 Шумит первомайский могучий парад.
 По площади грозно несутся тачанки,
 Шагает пехота, проносятся танки,
 Готовые в бой бомбометы ползут,
 На сизых авто пулеметы везут,
 Летят самолеты спокойно и грозно,
 Краснеют на крыльях заветные звезды,
 Заводы с винтовками мерно идут
 И знамя военных походов несут.
 Идут краснофлотцы, и музыка льется,
 И конница мчится, и песня несется.
 И Клим Ворошилов на рыжем коне
 Готов и к параду, готов и к войне.
 И гулы парада плывут на просторе
 От Эмбы до Гори, от моря до моря.
 Идут звездоносцы — и песня звенит,
 И Сталин с крыла мавзолея глядит,
 И думает думу о прошлых походах
 За правду народа, за счастье народа.
 И думает Сталин — вселенский титан, —
 И думают с ним все одиннадцать стран —
 Спокойно, без паники, просто и смело,
 Как Ленин учил и как требует дело:
 — Не пустим злодеев к своим берегам,
 Ни пяди земли не уступим врагам!
 С тех пор, как об армии вышел декрет,
 В сраженьях и стройке прошло двадцать лет.

И Красная Армия — племя батыров —
Сложилась в сильнейшую армию мира,
И вырос могучий наш флот на морях,
И вырос наш флот в поднебесных краях.
Живите, хранители фабрик и пашен,
Вернейшие сталинцы — маршалы наши!
Живи, закаленный в боях большевик,
Соратник вождя и его ученик,
Живи, выразитель негнушейся силы,
Нарком Обороны страны, Ворошилов!
Живи, победитель в великих боях,
Чья светлая слава сияет в веках,
На счастье народов — могуч, гениален,
Создатель и вождь Красной Армии — Сталин!

С казахского перевел
К. АЛТАЙСКИЙ

Хлеб

(Оборона Царицына)

ПОВЕСТЬ
(Окопание)¹

АЛЕКСЕЙ ТОЛСТОЙ

★

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

1

Весенний ветер гнал над степью в клочья паровозных дымов. Редкие облака плыли, как белые дымы в синеве, тени от них летели по металлически черным полосам пашен, по бурьянам брошенных полей. Летели тревожные свисты паровозов. Поезда растянулись от края до края степи.

Шестьдесят эшелонов 5-й армии Ворошилова медленно ползли из Луганска в Миллерово, чтобы оттуда свернуть на север из немецкого окружения.

В классных — помятых, заржавленных вагонах, в товарных — с изломанными дверями и боками, на платформах — увозилось имущество: горы артиллерийских снарядов, пушки с задранными стволами, охапки винтовок, цинковые ящики с патронами, листовое железо, стальные болванки, машины и станки, кое-как прикрытые брезентами и рогожами, ящики с консервами и сахаром, шпалы, рельсы. На иных платформах был навален домашний скруб — кровати, узлы, клетки с птицами...

Блеяли овцы, козы, визжали поросята, какой-нибудь самоварный поднос или зеркало, приткнутое боком, пускало солнечные зайчики далеко в степь. На крышах вагонов, развалиясь, покуривали

пулеметчики у пулеметов. На вагонных ступеньках сидели дети. Сбоку поездов брел скот — коровы и лошади.

Вереницы эшелонов, оглашая степь паровозными свистками, громыхая сцепами, часто останавливались. Табуны мальчишек — босиком по весенней траве — мчались вперед...

Но вот, покрывая детские веселые крики, лязг железа, свисты паровозов, слышалось знакомое грозное жужжание. С неба, поблескивая, падал серебристый германский самолет.

Начиналась стрельба с крыш, площадок и платформ... Скакали верховые, отгоняя скот подальше от полотна. Женщины отчаянно махали руками из окон, зовя детей. Самолет, свирепо ревя, пронесся невысоко, от крыла его отделялся черный шарик... «Ложись! Ложись!» — кричали отовсюду тем, кто был в поле. Бомба, коснувшись земли, рвалась, подбрасывая в ржавом дыме пыль, щепы, и часто грохот разрыва замирал в жалобном крике ребенка, или корова неуклюже бежала прочь от стада, волоча за собой синие кишки.

2

Случилось то, что говорил Ворошилов в салон-вагоне на станции Кабанье.

Главштаб приказал во что бы то ни стало опять занять Сватово. Исполняя приказ, Ворошилов выбил немцев с

¹ См. «Новый мир», кн. 1 с. г.

ветряных мельниц на буграх у села близ Сватова, сбил их батарею, и, так как конницы у него не было, бойцы долго гнались, пешие, за вскачь уходившими пушками. Начштаба Коля Руднев послал донесение Главштабу: «Все пока в нашу пользу. Экстренно высылайте две сотни кавалерии и две батареи. Возьмем Сватово».

Но положение на его левом фланге было уже катастрофическим. Донецкая, 2-я и 3-я армии продолжали отступать на восток. Несмотря на мужество отдельных отрядов, ни драться сколько-нибудь успешно, ни держать фронт они уже не могли. Командармы, получая от Главштаба приказания — двигаться туда-то и туда-то, — отвечали: «Хорошо, будет сделано» — и двигались в том направлении, куда уносились в разбитых вагонах их взрошенные, шумные отряды, признающие одну — свою собственную — стратегию.

Командармы, командиры, начальники штабов, комиссары теряли голову в этой путанице зыбкого фронта на колесах. Все связи были порваны. Главштаб перебрался на самый север Донбасса, в Лиски — станцию на магистрали Миллерово — Воронеж.

Туда командарм 3-й армии послал донесение, что его отряды больше не желают покидать своих эшелонов и 3-й армии как боевой единицы больше не существует.

Донецкая и 2-я армии колесили где-то вне возможности поймать их на конец телеграфного провода.

Остатки 1-й армии, потеряв всякую ориентировку, бросились на юг, к Таганрогу, где целые сутки били и трепали 20-ю Баварскую дивизию, и отступили потому, что уже не знали, что им дальше делать.

Левый фланг 5-й армии глубоко обнажился. Ворошилов, не получая от Главштаба ни кавалерии, ни артиллерии, начал отходить к Луганску.

При переправе через Донец немцы нагнали его, но наткнулись на серьезное сопротивление: это были уже не эшелонные отряды со скифской стратегией — налететь, ударить и рассыпаться... Немцы не смогли сломить сопроти-

вления передовых цепей. Ворошилов в порядке переправил все части на левый берег Донца и позади себя взорвал мост.

Во второй раз немцы нагнали его под самым Луганском. Эвакуация города еще не закончилась, и нужно было задержать врага по меньшей мере на двое суток. Немцы, обойдя фронт, с холмов открыли ураганный огонь по правому флангу. Он заколебался, бойцы в панике начали покидать окопы. Тогда Луганский и Коммунистический отряды, расположенные в центре, поднялись и без выстрела кинулись на немцев. Поражаемые в рукопашном бою штыками и гранатами, немцы, бросив батарею, весь обоз и самолет, поспешно начали отступать и, наконец, бежали.

Прошло восемь дней с начала всех этих боев восточнее Харькова. В минуту наивысшего напряжения главнокомандующий красными украинскими армиями был вызван в Москву для дачи объяснений. Главштаб окончательно потерял всякую ориентировку. Отчаявшись собрать в целое катающийся на колесах фронт, он составил новый, весьма неопределенный план: заставить немцев глубоко втянуться в Донбасс — со взорванными станциями, виадуками и мостами, — тем временем вывести основные силы из-под удара, сосредоточить их в один кулак и начать контрнаступление.

Местом сосредоточения такого кулака назначалась станция Лихая — на юго-восток от Луганска. Остатки Донецкой и 3-й армий туда направлялись с юга, а 5-я армия Ворошилова — через Луганск, с севера.

Ворошилов понимал, что сосредоточивать войска на станции Лихая опасно и невыполнимо: Лихая была открыта со всех сторон ударам немцев. Поэтому он не выполнил этого неосуществимого распоряжения. Когда эвакуация Луганска закончилась и отряды, державшие фронт, были оттянуты, 5-я армия не свернула на юго-восток к Лихой, а вместе с шестьюдесятью эшелонами, с формируемыми отрядами рабочей, шахтерской и крестьянской молодежи двинулась на север, на Миллерово.

3

В одном из поездов на паровозе развевался черный флаг с черепом и костями. На трех первых — пульмановских — вагонах, блиндированных изнутри до половины окон мешками с песком, было сурником написано: «Смерть мировой буржуазии». В вагонах размещался анархистский отряд «Буря». Сюда его занесло водоворотом гражданской войны. В нем все было окутано тайной.

Анархисты даже близко не позволяли подходить к вагонам. Выпрыгивая за нуждой на полотно, одетые — кто в гусарскую куртку, кто в плюшевый с разводами френч, кто в енотовую шубу с отрезанными полами и в матросской шапочке на вихрастой голове, — анархисты гремели подвешенными к поясу гранатами, хрипели на тех, кто пялил глаза на таких невиданных людей:

— Проходи, чего рассматривать, проходи быстро...

Начальника у них принципиально не было: всякую попытку командовать они считали покушением на свободу личности, всякую дисциплину — насилием. Все вопросы решали большинством голосов, общее собрание у них называлось — «конфедерация».

Иногда из вагона — осторожно, задом с площадки — спускался щуплый старичок с нечесаными волосами, в длинном заграничном пальто, в черной мягкой, очень пыльной шляпе. Выставив кадык, задрав серую бородку, старичок глядел на небо через криво сидящее на плоском носу пенсне. Видимо, его интересовали немецкие аэропланы. Заложив за спину руки, пощелкивая жиливатыми пальцами, он прохаживался, поглядывая по сторонам, приятно улыбался красными, свежими губами.

Это был идеолог отряда, анархист Яков Злой, приехавший в семнадцатом году из Америки. Отряд отбил его в южных степях у партизанского атамана Лыхо, который всюду возил за собой в тачанке бесстрашного старичка, дивясь на то, что «дид» может бойко стучать на разных заграничных языках.

Когда стемнело и в необъятной лило-

во-синей вышине высыпавшие звезды затянуло барашками, — на западе, в стороне Луганска, затихли немецкие пушки, погромыхивавшие весь день. Разгоралось далекое зарево. Из-за края степи вымахивал луч прожектора. По эшелонам кое-где послышались песни.

В одном из пульмановских вагонов, где вся внутренность — перегородки и купе — была выдрана и во всю длину стоял узкий из неструганых досок стол, сидели анархисты, насупясь на колеблющиеся огоньки свечных огарков. Шла «конфедерация». После горячих прений, когда выдергивались колыты и наганы, было решено: ввиду важности вопроса воздержаться до конца заседания от горячительных напитков. Докладчиком выступал Яков Злой.

Под стук колес, заволоченный слоями махорочного дыма, он говорил:

— ... Анархия! Нет слаще слова. Нет чище идеи. Анархия, или высшая свобода, — предельная мечта человечества...

Яков Злой выговаривал слова сочно и вкусно, улыбаясь свежими губами, лукаво — через криво сидящее пенсне — поглядывая на слушателей.

— ... Анархия — борьба со всякой властью во имя безвластия. Мне пятьдесят два года. Я сидел в тюрьмах всех стран мира...

Огоньки на длинном столе заколебались от одобрительного смеха слушателей.

— ... Наконец — я на воле... Я дышу воздухом дикой свободы... Наша задача — закрепить это высшее завоевание... Наша задача — создать безвластное общество... Что это значит? Вы меня понимаете?

— Вали, вали!.. — понукали его анархисты.

— ... Мы против всякой формы власти — монархической, буржуазно-республиканской и даже коммунистической... Всякая власть, какую бы цель она ни ставила перед собой, — насилие, тюрьма для вольного духа... Не так ли?

— Так, так... Правильно... Крой дальше! — отвечали крепкие голоса... За столом, озаренным огарками, сидело пестрое общество: здесь были черноморские моряки, которым стало тесно в

жизни. украинские деревенские ребята, из тех, кому не стоило вертаться домой за разные дела, и длинноволосые молодые люди, называвшие себя учителями, студентами, а то и акцизными чиновниками, немало было и таких, — поговору из Одессы и Херсона, — кто неопределенно выражался о своей профессии и своем прошлом...

— ... Мы должны зажечь пламя третьей революции, — растопыря перед свечой грязные тонкие пальцы, говорил Яков Злой, — великой третьей революции безвластия... Черное знамя анархии мы утвердим над развалинами государств. ибо всякое государство есть насилие... И пусть вас не пугает: первый удар мы должны нанести диктатуре пролетариата...

— Правильно! Крой, Яков! — одобрительно загудели голоса. Один, деревенский, Микола Могила, сказал отдельно:

— Не для того проливали кровь, чтоб комиссары глядели нам в душу, яки таки инспектора по закромам лазили...

— ... Мы числимся в составе 5-й армии... Но с 5-й армией нам не по пути... Наш путь — к великому опыту безвластия. Наша ближайшая задача — отвоевать территорию с густым и богатым крестьянским населением и там поставить наш опыт безвластного общества, уничтожить вскую зависимость крестьянина от промышленного города... Пусть хаты освещаются лучиной. Огонь лучины нам дороже электрической лампочки! Мы против электрической лампочки. По электрическим проводам город несет диктатуру. Пусть лучина! Но она освещает крестьянскую волю. С черным знаменем бросимся в гущу деревни, разбудим в душах жажду анархии, нашими клинками перерубим электрические провода...

— А нехай их города сдохнут, — сказал Микола Могила...

И другой — медлительно и лениво:

— Тряхануть города, та щоб пух и перья полетели, — то дил...

На это — один из моряков:

— Деревенщина! Борщ да сало — до скончания времени! А кинематограф ты видишь в своем воображении? Конди-

терскую? Или кофейное заведение? Это все в деревне, что ли, у вас? Барсуки!

— Предлагаю, — гаркнул другой, — вопрос о существовании городов выделить особым докладом...

Яков Злой под стук колес мог бы говорить долго, заливаясь красивыми словами. Но слушателям несколько надоело отвлеченные рассуждения. Люди были полнокровные, реальные. Кроме того, всех озабочивало то, что были связаны по рукам и ногам: приходилось двигаться не туда, куда хотелось, а куда направлялись эшелоны. Бросить вагоны, уйти пешком — тоже было нельзя, — в блиндированных вагонах отряд «Буря» увозил добытое кровавыми трудами имущество: пудов двенадцать разных золотых цепочек, часов, портсигаров и золотой монеты, дорогие меха в виде шуб и дамских манто, сахар, кофе и несколько бочек коньяку.

Начались прения по докладу. Горячую молодежь, рвущуюся в споры о текущих проблемах анархизма, скоро отеснили более солидные. Одному, чухоточному, с большими глазами гимназисту, добивающемуся ответа: «позвольте, товарищи, — как же так? Анархизм отвергает насилие, а докладчик предлагает начать с завоевания территории, то-есть — с насилия. Как же так?», — этому сопляку пригрозили — выкинуть его на-ходу в окошко.

Споры свелись к тому: куда ехать из Миллерова? Пробиваться ли, не давая себя разоружить, в Великороссию, или вертаться на юг — пробиваться с оружием к Ростову, на Кавказ?

Шумели крепко. Хватали кулаками так, что огарки подскакивали на дощатом столе. Выяснилось вдруг, что, несмотря на запрещение, половина «конфедерации» пьяна в дым. Так ни до чего разумного в эту ночь не договорились.

4

Вокзал в Миллерове, перроны, пути, пустыри, булыжная площадь — все было запружено людьми, телегами, скотом, конными упряжками орудий, военными двуколками. Дымили костры,

окруженные бородами фронтовиками в кислых шинелях, митинговали кучки партизан, плакали дети. На телегах — среди домашнего скарба, детей, испуганных женщин — сидели крестьяне, сокрушенно поглядывая на весь этот многотысячный табор.

Со стороны Луганска, свистя и дымя, подходили эшелоны. Но дальнейшего пути на север им не было. Поезда, успевшие проскочить на север — в сторону Лисок, стояли: за горизонтом слышалась отдаленная артиллерийская стрельба.

На вокзале, в буфете — в углу за столом, заваленным бекешами, оружием, бумагами, — заседало правительство Донецко-Криворожской республики. Совет народных комиссаров собирался в последний раз. Сведения, полученные только-что, были ужасны: немцы, развивая наступление, зашли по грунту севернее Миллерова, верстах в сорока, заняли станцию Чертково, перерезав дорогу на Лиски. На руках правительства оставались разношерстная армия, огромное военное и гражданское имущество и тысяч двадцать беженцев...

Председатель Совнаркома республики — Артем — с обритым круглым черепом, широкий, круглолицый, — медленно жуя хлеб, поглядывал ястребиными глазами на торопливо двигающиеся губы Межина. Коля Руднев, опустив веки, приоткрыв рот, с усилием вслушивался, — юношеское лицо его было подернуто пеплом усталости. Плотный, бритый, спокойный Бахвалов, брезгливо выпятив нижнюю губу, листал документы. Иные, смертельно уставшие, обожженные солнцем, сидели — кто закрыв рукой глаза, кто подперев кулаками голову. Пархоменко писал записку, — захватив горстью усы, — щелчком перебрал ее Коле Рудневу. Тот прочел: «Держи курс на Клима...» — и вспыхнул белозубой улыбкой.

— Путь на север отрезан, рисковать — пробиваться в Лиски — безумно, — взволнованно говорил Межин, вытягивая бороду в сторону Ворошилова. — Путь на юг через Лихую также, по видимому, уже отрезан. Остается единственный путь — на восток, — через

Лихую на Царицын. Но можем мы поручиться, что немцы пропустят нас через Лихую, не устроят нам кровавую баню? Нет, поручиться нельзя. И даже если мы успеем провести все эшелоны через Лихую, нам придется двести верст пробиваться на Царицын через восставшее казачество. Можем мы пятнадцать тысяч женщин, детей, рабочих подвергнуть случайностям войны? Нет, не можем... Вывод...

— Ага! Вывод? — встрепенувшись, проговорил Коля Руднев.

— Вывод: мы в мешке... Мы перегружены небоеспособными элементами... Боевые части еще крайне недисциплинированы... В таком состоянии мы не сможем прорваться ни на юг, ни на север, ни на Царицын... Нужно помнить: по Брестскому договору — немцы не должны занимать Донецкого округа. Если мы останемся здесь и не будем их трогать, то и немцам нет основания трогать нас... За три-четыре недели мы приведем армию в порядок, подтянем силы, дисциплинируем, и тогда сможем перейти в наступление — налегке, без кошмарного привеса в шестьдесят эшелонов... Я предлагаю остаться в Миллерове...

Он обратился к Артему, — и тот тяжело кивнул головой. Угрюмый Бахвалов, не глядя, ответил: «Да, другого выхода нет». Пархоменко насутился, грыз усы. Коля Руднев повел плечами, точно у него зачесалось под рубашкой.

Ворошилов — подтянутый, свежий, румяный, — посмеиваясь карими глазами, как всегда, казалось, с жадностью впитывал слова и впечатления.

— Можно мне? — Он протянул руку к Артему, и тот опять тяжело кивнул. — Я согласен с товарищем Межиным: армию распускать нельзя... Отряды нужно свести и дисциплинировать. — Он встал, коротким движением оправил наплечные ремни. — Но я не согласен, что это нужно делать в Миллерове. Немцы разбойничают на Украине и будут разбойничать на Дону. Нас они здесь не оставят в покое...

Рука его повисла в воздухе. За большими вокзальными окнами рванул раз-

рыв, посыпались разбитые стекла. За-топали ноги бегущих... Закричали: «Двоих... Санитары... Гляди, гляди, — еще летит... Лезь под вагоны...». И снова грохнула бомба с самолета. Столб извести, дыма, осколков наискось влетел в окно, осыпая сидящих за столом. Артем усмехнулся, ладонью смахнул с голого черепа. Бахвалов свирепо выпятил губу, оглядываясь на окошко. Пархоменко пробасил:

— А в крышу бы угодила, так и — всмятку...

Ворошилов потянулся за фуражкой, лежащей на бумагах, глубоко надел.

— Видели, как они нас оставят в покое? Товарищи, наша священная задача — сохранить армию, сохранить все имущество, сохранить доверившихся нам беженцев... Путь один — в Царицын... Будем пробиваться месяц, три месяца. В пути сформируемся, в боях укрепим... В Царицын мы должны притти с боевой армией... И пусть Троцкий настаивает на нашем разоружении...

— Разоружение? — переспросил Артем, багровея.

— Да... Троцкий приказал Главштабу разоружить все украинские армии и отряды, переходящие границу Велико-россии. Будто бы во исполнение догово-ра с немцами. Не верю! Троцкий счита-ет нас партизанскими бандами... Тре-бование Троцкого считаю глубоко оши-бочным...

— Предательством, — пробасил Пархоменко.

— Революция — одна! (Лицо Ворошилова вспыхнуло.) У нас один враг, один фронт и одна стратегия — на Дону, на Украине, в Великороссии!.. Драться сейчас здесь, в Миллерове, с немцами — задача местная и частная. Задача обще-революционного порядка выдвигается в Царицыне... Если белое казачество овла-деет Царицыном — Волга окажется у контрреволюции, весь север останется без хлеба... Вывод понятен... Ставлю на голосование предложение: немедленно всем эшелонам дать направление на Царицын и ни при каких обстоятель-ствах нашей армии не распускать и не разоружать...

5

На этот раз остановились, видимо, надолго. Иван Гора высунулся в окош-ко. Восток еще не зеленел, ночь была темна.

— А ну, давай котелок, — сказал Иван Гора в темноту вагона. Осторож-но перешагивая через спящих, выбрался на площадку, соскочил на полотно. За ним вылезло несколько человек, таких же голодных: забыли, когда и ели, — довольствие было — одна сырая картошка.

Со вчерашнего вечера эшелон полз почти без остановок — из Миллерова в Лихую. Несколько раз пробовали выле-зать — варить эту картошку, но толь-ко разожгут огонь — начинаются ко-роткие свистки паровоза, крики: «Са-дись, хлопцы!..».

Сейчас стали где-то в степи, близ Донца, неподалеку, должно быть, от станицы Каменской. Впереди что-то за-стопорилось. Иван Гора спустился с на-сыпи, и те, кто вылез за ним, — шахте-ры, — начали ломать драночные щиты, лежавшие в штабелях у полотна. Огонь запылал, озаряя снизу черные колеса вагонов. Шахтеры молча глядели, как Иван Гора на ремешке подвешивает германский стальной шлем, полный кар-тошки.

— Пламени много, перегорит ре-мень, — сказал один молодой, повыше ростом, чем Иван Гора. На нем не было ни шапки, ни сапог — все снаряжение: рваные штаны и рубаха, перепоясанная патронташем. — А шапка эта удобная, — сказал он, кивнув на германский шлем. — Надо бы достать такую шапку.

Другой, с голой грудью, с могучей шеей, с добродушным сильным лицом, едва начавшим обрастать кудрявой бо-родкой, присев на корточки, ска-зал:

— Дырочки в ней просверлить с краю — и дужку железную, — тогда бу-дет удобно...

— Дырочки, дырочки... То ж — бое-вой шлем, дура, — хрипло проговорил третий, коренастый, с черными волоса-ми, падающими на мрачные глаза. Этот одет был хорошо — в зелено-серые су-

конные штаны и в такую же суконную куртку, лопнувшую подмышками. Одежду он снял с немца в бою под Луганском. Не было у него только сапог, — сапоги оказались тесны...

Иван Гора, примащивая сбоку костра на угольях шлем с картошкой, приглядывался к этим людям.

Вчера, когда неожиданно в Миллерово стали прибывать эшелоны, Иван эвакуировался вместе с лазаретами на вокзал. (Раны его совсем почти поджили, а в горячке этого дня он и забыл о них.) На вокзале столкнулся с партийцем Евдокимом Балабиным, путиловцем. Долго разговаривать было некогда: «Идем в Особый отдел, сейчас тебя оформим...». Протолкались к вагону, там тоже долго не спрашивали, — знали, что за человек Иван Гора.

— На ногах стоять можешь?

— Конечно, могу, что за вопрос...

— Сейчас ударная задача — поднять беспособность армии. Тебя бросим в шахтерский отряд...

Иван Гора кивнул головой, взял из кучи — на полу вагона — винтовку, пошел искать третий шахтерский отряд, из тех, что присоединились к армии на станции Варварополье. Увидел мрачных, здоровых, чумазых, как дьяволы, хлопцев. Бросив шахты и поселки, шахтеры уходили от немцев с женами и детьми. Кое-какой домашний скарб их помещался на крышах вагонов.

Иван Гора поговорил с тем, кто стоял на путях, дал свернуть махорочки и, не обнаруживая себя, просто, — попросился в их отряд бойцом.

— Ладно, — ему ответили, — иди, будешь с нами...

Вода начала закипать. Все присели на корточки, слушая, как запевало тонкими голосками над картошкой. Вдоль насыпи загорелось еще несколько костров.

— Это не дело, хлопцы, — сказал Иван Гора, — в поле картошку варить... Так мы немцев не побьем...

Трое сидящих перед огнем поглядели на него, стали ждать — что он скажет дальше.

— В отряде надо организовать правильное хозяйство. Мне скажут: «Иди в разведку». Куда я пойду, голодный?

Правильно? Правильно. Давайте, хлопцы, поговорим, что у кого есть. Картошку, сало, хлеб возьмем на учет. Составим ведомость, — сколько довольствия нам нужно, пошлем ее в штаб армии. Выберем завхоза. И дело у нас пойдет.

Человек в немецком мундире, мрачно глядя из-под спутанных волос на Ивана Гору, спросил:

— Ты кто же такой будешь?

— Я — издалека, — ответил Иван Гора, — питерский металлист.

— Значит, коммунист...

Иван Гора настороженно покосился. Все трое глядели на него открыто, просто, доброжелательно.

— А у вас в отряде, — спросил он, — много коммунистов?

— А мы все за советскую власть, — простодушно ответил высокий хлопец в рваной рубахе. Другой, красивый, с бородкой, подтвердил: «Ага». Мрачный кивнул волосами.

— Партийных у нас мало. Грамотных мало. Мы все большевики. Слышали, слышали про вас, питерских металлистов. А вы слышали про нас, — не знаю...

— Мы подземные, — засмеялся, закидывая голову, парень в рваной рубахе. — Кроты...

— Солнышко раз в неделю видим, — сказал другой, с бородкой.

Мрачный, в досаде, что его перебивают, тяжело посмотрел на хлопцев.

— Эти вот — Федька и Володька — с тринадцати лет в шахтах. Мы тут все — потомственные. — Он качнул головой, усмехнулся, и усмешка у него была такая же мрачная, как блеск черных глаз. — Мы сразу увидели, что ты коммунист... Свои, брат, свои, не бойся.

— Осторожность в нашем деле не мешаёт, — весело ответил Иван Гора. — Мы с отрядом поехали в одно село, там все за советскую власть, но без коммунистов. Наутро я один живой и остался.

Тогда оба хлопца совсем уже громко засмеялись, показывая белые зубы. Мрачный сказал:

— В деревне это может быть, а на шахтах не может быть, чтобы советы — без коммунистов... Я вот — Емельян Жук... Кем я был до советской власти? Я тебе сейчас скажу... Спал на нарах, в

грязи, во швием тряпье. Пропивал с себя все, жену бил... Боже мой, приду пьяный, и ведь бить мне никого больше не позволено. Обид у меня много, как себя помню, — все обиды помню, у меня кровь в голове спеклась, от обид голова болит... Вот — я и зверь... Главный бы инженер не унес ног тогда, ночью, немец, сукин сын... — Он бешено взглянул на хлопца в рваной рубахе. — Володька, помнишь первый митинг за советскую власть? Я тогда хотел немцу горло выесть... Тогда первым делом взяли мы на заводском дворе досок, — полуторядюймовки, — из бараков всю грязь — нары — выбросили, перегородили, — каждому отдельное помещение, дверца и замочек... Я просыпаюсь утром, помню, что я — хозяин, иду мимо бункеров, коксовой печи, — я хозяин, спускаюсь в ствол, иду к своему забюю, — я хозяин... Теперь мне незачем с женой драться... Теперь у ней — самовар, ей стыдно ходить в тряпье, она ходит опрятная, потому что я — член заводского комитета, мои дети в школу ходят... Ты, браток, подумай над этим и напиши в Петроград: чтоб не сомневались, — донецкие шахтеры пошли воевать за советскую власть. Воевать будем жестоко...

Послышался конский топот. Все четверо обернулись в темноту. На свет костра наскакивало пять всадников. Сразу осадили, — с фыркающих лошадиных морд полетела пена в огонь. Первым соскочил крепкий человек, в хорошей гимнастерке, и сейчас же присел на колени у огня, достал из полевой сумки карту — нагнул, рассматривая.

За ним с мокрого коня слез могучий человек с длинными усами, и — третий — щупленький юноша в серой куртке. Оба они быстро присели сбоку первого человека над картой. Он сказал:

— Ума у вас много у обоих: оставлять на своем фланге в десяти верстах вооруженную станицу. А если завтра же они взорвут мост под Каменской?¹ Двадцать эшелонов у нас отрезаны?

¹ Станица Каменская приблизительно на полпути между Миллеровом и Лихой. Станица Гундоровская — в десяти верстах на запад от Каменской — на левом берегу Донца.

Щуплый юноша — ему с упрямством: — Постой, Клим... Еще хуже — вяжемся драться с гундоровцами, потеряем чорт знает сколько времени. У нас вся задача — как можно скорее проскочить через Лихую.

— Значит, ты ведешь аррьергардные бои, имея на плечах неразбитого противника? Так надо понять твою тактику?

Тогда могучий человек, затеяя своими усами полевую карту, пробасил:

— Коля, он прав...

— Конечно, прав, — горячо сказал Ворошилов. — Все равно два-три дня нам придется сдерживать врага под Каменской. На рассвете мы бросим отряд Лукаша и Луганский с батареей Кулик на Гундоровскую... Они пойдут левым берегом Донца... — Он локтем отстранил от карты голову Пархоменко. Александр Яковлевич, убери же усы ничего не видно... Гундоровскую занят и держать... Левый фланг у нас будет надежен. Фронт мы разворачиваем обе стороны полотна перед Каменской.

Иван Гора, чтобы виднее им было глядеть на карту, подбросил в косте еще парочку щитов. От поднявшегося жара Ворошилов откачнулся назад.

— Ну ты, уж будет, — сказал, глядя на Ивана Гору, и — вдруг: — А! Эт вот кто... Здорово!

— Здорово, Климент Ефремович, ответил Иван Гора.

— Ты ведь в Смольном тогда стоял на охране?

— Я, Климент Ефремович.

— Ты у них в отряде?

— Со вчерашнего дня.

— Правильно. Поработай с ними Шахтеры — народ железный, но с дисциплиной у них слабовато. — Движением век он подозвал ближе Иван Гору:

— С Петровым — командиром отряда — разговаривал?

— Климент Ефремович, командир меня на подозрении.

— Ваш Петров совершенно зря угрожал отряд два раза на Донце и под Луганском... Завтра я у вас промитингую. Дадим надежного человека. Ты подговори хлопцев...

— Есть.

— В разведку идешь?

— Есть, товарищ командарм.

— Отбери человек десять. Задание такое: гляди... (Иван Гора присел, Ворошилов огрызком карандаша поставил точку на карте.) Ваш эшелон находится здесь... Каменская — в трех верстах южнее, — здесь. Ты пойдешь левым берегом Дона прямо на станицу Гундоровскую. Обстановка такая: гундоровские казаки вырезали ревом и совет. Третьего дня на них налетел Яхим Щаденко с отрядом, потрепал и ушел. Сегодня получаем сведения, что гундоровцы намерены ударить на Каменскую, взорвать мост и отрезать наши эшелоны. Это значит: они вошли в связь с немцами, получили оружие. Немцы близко. Где немцы? Вот твоя задача: нащупать германские силы. Желательно до полудня иметь от тебя сведения...

— Есть, товарищ командарм...

— Дело ответственное и опасное...

— Есть.

Иван Гора отвел от костра мрачного шахтера и обоих хлопцев, пошептал им, кивая на командарма, и они вчетвером полезли на полотно к вагону. Когда он обернулся, у костра двое уже сидели на коней. Ворошилов, присев над костром, смеясь, доставал из шлема картофелину. Обжигаясь, покидал ее на ладони, разломил, половинку с'ел, половинку бросил обратно. Взяв у вестового повод, легко и мягко перекинулся в седло, смаху толкнул вскачь гнедого жеребца.

Пархоменко влез тяжело на лошадь. Руднев запрыгал на одной ноге за тронувшейся лошадейкой и, вскочив, долго ловил стремя. Всадники унеслись в ночь.

Иван Гора сказал Володьке:

— Картошку-то возьми, раздай по карманам.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

1

Пархоменко перекинул бекешу через шею рыжей лошадейки, папаху сдвинул на затылок, сидя в седле боком, — вынул ногу из стремени. Солнце поднималось над буро-зеленой

степью — жгло его бронзовое добродушное лицо.

По обе стороны полотна копошились люди, — с криком, говором, смехом копая и кидая землю. Линия окопов на западе упиралась в пышные заросли левого берега Дона. Позади, верстах в трех, раскинулась большая станица Каменская. Туда — через мост — ползли эшелоны.

Много разного люда переправлялось из-за реки на лодках — добровольно рыть укрепления. В станице начиналась паника. Каменская давно слыла красной станицей. Еще зимой станичный совет арестовал свыше полсотни местных и приезжих генералов и казачьих офицеров и отправил их в центр, в Луганск. Время было такое трудное, что начальнику Красной гвардии, Пархоменко, пришлось их расстрелять. Казачество близлежащих хуторов и станиц, и особенно — самой контрреволюционной — Гундоровской, пообещало за эти аресты расправиться с каменцами. Затаив давнишнюю злобу, ждало только случая. С подходом немцев случай представился. В Каменской ждали налета каждую ночь.

К Пархоменко подошла толпа добровольцев, — были тут и ремесленники, и хуторские мужики, и мещане, жившие на окраинах станицы, и мальчики из реального училища. Некоторые его узнали, протягивали руки. Он здоровался с верха...

— Александр Яковлевич, сила-то ваша — надолго к нам?

— Остались бы у нас, мы бы тут фронт образовали, все бы взяли за винтовки, ей-ей...

— Был здесь Яхим, помог нам. Но что ж, — Гундоровскую зажег, а казаки все в степь уехали. Теперь они вдвое злее...

Пархоменко, крутя ус, говорил с верха:

— Кто с лопатами, — милости прошу... Остальным придется обратно, товарищи... Шанцевого инструмента свободного нет... Катитесь, товарищи, из военной зоны.

Те, кто был с лопатами, пошли копать. Остальные неохотно поплелись к

реке. Осталась стоять одна рослая, красивая, нахмуренная девка.

— А ты чего потеряла? — сказал ей Пархоменко, наезжая так, что лошадь задела губами девку. Но она и не пошевелилась. — Я ж тебе не найду — чего потеряла...

— Ну, не окопы рыть — дайте винтовку, — хриповато, молодым голосом, мрачно сказала девушка и подняла на него красивые, сердитые глаза под темными бровями...

— Воевать хочешь? — спросил Пархоменко, весело морща нос.

— Приходится...

— Почему?

— Выхода нет, — зло сказала она и опять стала глядеть на выставленную вперед босую ногу...

— Ты кто ж такая?

— Агриппина Чебрец. Я казака убила на Нижнем Чиру. Яхим меня взял в эшелон... Не для того я убила, чтоб мня всякий чорт хватал... Ну, в Каменской я вылезла... Дашь винтовку или нет? Не шутя говорю! — Она опять подняла глаза, и Пархоменко увидел: вот-вот они замутятся слезами.

Александр Яковлевич насупился, вытащил из полевой сумки клочок бумаги, написал несколько слов.

— Пойди, — видишь — где разгружают вагон. Спроси командира Лукаша, передай записку. Постой — в юбке, что ли, воевать будешь?

— А ну тебя! — Агриппина схватила записку, стремительным шагом пошла по полю. И, когда она была уже далеко, Пархоменко взялся за бока и раскатистым басом захохотал так, что лошаденка запряла ушами, сама побежала рысью.

Из вагонов уже выгружались бойцы и на поле, пятась и оглядываясь, строились в две линии. С платформы, с криками и веселой руганью, кидали на руки артиллерийские снаряды, грузили их в двуколки. Четыре орудия в разномастной запряжке стояли впереди, неподалеку, — оттуда тоже что-то кричали.

Невысокий, военный, с черными усами, красный, потный, с разодранным

воротом, метался от вагона к бойцам, — хрипел надорванным горлом. Агриппина прямо подошла к нему, дернула за рукав:

— Начальник...

Лукаш кричал:

— Повозок для снарядов нехватает... Вторая линия бойцов возьмет по снаряду в руки, донесет до места расположения батарей...

Агриппина потянула его за рукав. Лукаш обернулся, оскалил зубы.

— Начальник, прочти записку.

— А ну тебя...

— Прочти записку, — сурово, упрямо повторила Агриппина. Он схватил, прочел.

— Товарищ Федосеенко! — все так же надрывая шейные жилы, заорал Лукаш. — Выдай девке винтовку, патроны!.. (И — Агриппине.) Имя, фамилия? Ладно, потом запишу, если живая вернешься... Иди в цепь... Постой... Как же ты?.. Эй, Федосеев, выдай девке штаны...

Из товарного вагона ответили с досадой:

— Нет штанов...

— В бою добудешь, ступай...

Часам к семи утра в вагон Ворошилова, прицепленный к бронепоезду, стали поступать сведения разведки. Охлюпкой — без седла — прискакал Володька-шахтер, сбивчиво рассказал, что они — пять человек — ночью прошли казачьи пикеты, когда стало светать — у самой станции увидели германский раз'езд, — немцы шли на рысках со стороны Старобельского шоссе (с северо-запада) в Гундоровскую, — шахтеры не удержались, обстреляли немцев и взбудоражили всю станицу. Пришлось укрываться на гумнах. Он, Володька, как ему приказал Иван Гора, поймал казачью лошадь и охлюпкой прискакал сюда, а Иван Гора с товарищами сидят на гумне, и их надо выручать.

Ворошилов отдал приказ — разбить противника и занять Гундоровскую. Коммунистический отряд Лукаша и 1-й Луганский двинулись левым берегом Донца, степью — еще по-весеннему све-

жей и зеленой. Солнце уже начинало жечь спины и затылки.

Вдали за волнами степного жара показались пирамидальные тополя, сады, белая церковь станицы Гундоровской, мирно, казалось, дремлющей на берегу Донца. Четыре пушки батареи Кулика, валясь на стороны, вскачь на рыжих, пегих, заморенных лошаденках, перергали цепи и всползли на меловой холм.

Цепи двигались торопливо, бойцы находу стаскивали пиджаки и шинелишки. Из береговых зарослей начали постреливать казацкие пикеты. Агриппина шла, как во сне. Тяжелый парусиновый мешок с патронами бил по бедру, ремень винтовки резал плечо. Она глядела на коршунов, плавающих над степью... Чей-то голос время от времени кричал сзади: «Девка, не зарывайся». Агриппина останавливалась, набирая полную грудь теплого степного ветра.

Когда с мелового холма ударили пушки Кулика, мощные звуки эти приободрили бойцов. Клубы дыма поднялись за далекими тополями. Плавающие коршуны испуганно метнулись в синеве...

Агриппина, как и все бежавшие справа и слева от нее, скатилась в мелкий окоп, только-что брошенный казаками. Высокие тополя, скирды прошолодной пшеницы, соломенные крыши амбарушек и мазаных хат были в трехстах шагах. Много хат пылало в безветрии полудня, как свечи, без дыма, высоко взметая хлопья горячей соломы и кружащихся над пожарищем голубей.

Подобрав под юбку босые ноги, вытянув шею, Агриппина, как птица, вертела головой: она не решалась стрелять попустому, как другие,—зря тратить патроны... Стрелять она умела,—еще девчонкой ее научил брат Миколай... Казачьи пули поднимали пыль у нее под самым носом. Но хоть бы один показался казак...

За ее плечом, обжигая газами, застучал пулемет. Впереди стали падать веточки с кустов. Через ее голову перескочил Лукаш, вертя наганом, — раздирая пасть во все лицо, — не было ничего слышно, но понятно: «Вперед,

хлопцы!...». Агриппина, без усилия, будто поднятая ветром, встала и полетела босыми ногами по горячей земле. Впереди — плетень. Торопливо подумала: «Как же полезу — заголюсь...».

Сейчас же ее обогнал пожилой человек в очках, в сваливающихся полотняных штанах. Он неловко полез через плетень. Агриппина рванула ногами узкую марьину юбку и, гонимая все тем же небывалым восторгом, перепрыгнула на зады казацкого двора — на гумно. И там, наконец, увидела врага.

Вдоль мазаной стены, нагнувшись, бежал чернобородый человек в коротком черном мундире с красными погонами. Агриппина подняла винтовку... «Дура, стреляй!» — закричал человек в железных очках, — он весь тряся, ища в карманах обойму. Казак заскочил за угол сарая, прижавшись к стене, стал целиться. И, прежде чем Агриппина нашла его искаженное злобой лицо на прыгающей мушке ружья, казак сам выстрелил, — человек в очках взмахнул руками. Агриппина вскрикнула, нажала спуск — ложе тяжело толкнуло ее в ключицу. У казака далеко отлетела винтовка. Он завизжал и головой вперед кинулся на девку, и оба — и казак, и девка — схватились голыми руками, в обнимку. Агриппина чувствовала, как трещат ее и его кости. Борся, дыша, сопя, — они кругились. К ним подбежали бойцы. Казак ломал ей спину, сухой бородой обдирал шею, добирался зубами до горла. Оба упали. Покатились. Руки его вдруг бессильно разнялись. Агриппина вскочила. Казак хрипел.

Кто-то сильно, ласково поддержал ее за плечи. «Собака... снохач... собака» — шептала она... Стряхнула с плеч тяжелую руку, обернулась... Перед ней стоял Иван Гора.

— Гапка! — сказал он, растягивая крепкозубый рот от уха до уха... В круглых карих глазах его было такое изумление, такая радость, — Агриппина едва не обхватила его за шею руками... Это при всех-то!.. Проговорила только, с трудом разжимая зубы:

— Иван... Здравствуй...

Волна наступающих понесла Агриппину и Ивана на широкую церковную площадь. Бой кончался, казаки были выбиты из станицы и верхами уходили в степь, за холмы... Все реже хлопали одиночные выстрелы. Слышался смех, веселые крики. Скрипели колодцы. Дым, жаркая пыль застилали станицу, медным шаром висело над ней полдневное солнце.

— Ну, встретить ее в бою!.. Гапа!.. Опомниться не могу, — повторял Иван Гора.

— Потом все расскажу, Иван... Пить хочу...

Только теперь у нее начали трястись ноги и руки. С трудом стащила ремень винтовки с плеча, голые ступни ее раз'ехались в прохладной грязи у колодца...

— Гапа! Гапка! — закричали грубые веселые голоса. К ней протискался брат Миколай, — оброс бородой, возмужал... Его она обняла и голову на минуту положила ему на грудь... Подошел молодой казак Иван Прохватилов, холодными, светлыми глазами прямо глядел в глаза, — ударил Гапку рукой в руку.

— Что же ты не во всей боевой форме?.. Смотри, засмеем!

Подошли Матвей Солох и оба Василия Кривоноса... Как медведь, протолкался Тарас Бокун: «Это твоя сестра, Миколай?» — и рот разинул... «Девка, что надо» — сказали бойцы. Здоровались, знакомились, одобрительно оглядывали Агриппину.

Она стояла, неживая от стыда, опустив голову в линялом платке, повязанном по-украински. Юбка ее была разодрана во все бедро, кофта висела ключьями и на боку кровоподтеки от казачьих когтей...

Молча она стала выбираться из круга бойцов. Иван Гора догнал ее. Агриппина шла к опрокинутой телеге, где валялся ничком убитый казак.

— Неужто с него возьмешь? — спросил Иван.

— Командир приказал — добыть. Я их сейчас у колодца выстираю.

— Пусти, пусти, — сказал Иван, сурово отстраняя Агриппину, — я сам это сделаю. — И, присев, начал стаскивать

с казака штаны с лампасами и добрые сапоги.

2

Тут же на площади зашли на опустевший казачий двор, и у колодца в корыте, где поят скот, Агриппина начала мыть казачьи штаны.

Иван Гора сидел около, держа между колен винтовку, глядел, как Агриппина вытягивала на веревке деревянную бадью и, подхватив ее за дужку, откидывалась — сильная, стройная, — выливая воду и снова опускала бадью в колодезь и усмехалась оттого, что ей было приятно — вот Иван сидит около и смотрит на нее.

— Письмо получила мое? — кашлянув, спросил он. Агриппина кивнула. — Смотрю на тебя — не верю... Здорово ты вытянулась за полтора года.

Агриппина отвернулась, влезла босыми ногами в корыто и топтала штаны.

— Ты их топчи с песком... Ты, Гапа, переходи в наш отряд. Я тебя запишу... И тебе легче, и мне спокойнее...

— Ладно, — ответила Агриппина и повернулась к нему спиной.

— Ты что там натворила в Нижнем Чире?

— Ну — чего... (Она задыхнулась, он молчал.) Для кого-нибудь, значит, я себя берегла... Очень даже хорошо вышло... Тебе, чай, все рассказали, — чего спрашиваешь...

— Правильно, — туда Ионе и дорога, подлецу... Правильно, Гапа... Начала жить смело, так и продолжай.

Она выстирала, крепко выжала штаны, пошла вешать их на солнцепек. Иван, как подсолнух, поворачивался к ней, стараясь все-таки не глядеть на ее смуглое бедро, мелькающее в прорехе разодранной юбки.

— Как ты с казачишкой на гумне сцепилась, ах, здорово!.. Ну, девки пошли в революцию... Себя в обиду не дают...

Агриппина, — не оборачиваясь:

— А чего же девкам делать?

— Нет, правильно, правильно...

Тогда она вдруг, первый раз, засмеялась, — брови ее по-детски разошлись,

лицо стало круглым, милым, открылись ровные зубы, — расцвела, как роза.

— Ты чего? — спросил Иван, растягивая рот вслед за ней.

— Над думкой своей смеюсь.

— Ну и дура ты...

Она еще звонче засмеялась, подгибая колени, — вот-вот, кажется, сядет на землю. Иван ударил в землю локтем винтовки, обиженно скрутил нос, стал глядеть в сторону, и все-таки и его разобрало — захохотал, разинув рот. Тогда Гапка села.

— Ой, мама! А я ждала — ты сурьезный, не подступишься к нему... А еще — боялась — скажет: что я тебя, дуру, скажет, за седлом буду возить? Ой, мама!

— Ладно, надевай штаны, ты — боец! Иди к отряду... Хватятся — будет не до смеху...

— Они же волглые...

Иван надул щеки. Но и самому хотелось еще минутку протянуть у колодца на опустевшем дворе — глядеть, как Агриппина взяла штаны, встряхнула их, пощупала и, качнув головой, перекинула через плечо. Легко нагнувшись, взяла с земли сумку с патронами, вдруг испуганно оглянулась — где же винтовка? Высоко подняла брови. Увидела ее у Ивана между колен, и он не сразу отдал, попридержал...

— Ну, отдай...

— Бери, бери...

С усилием она стала дергать ружье. Горячее бедро ее коснулось его плеча и так обожгло, — Иван странно посмотрел. Она быстро нахмурилась:

— Это брось, Иван...

Но договорить им на этот раз не пришлось. За воротами, оглушительно грохнув, взвился столб дыма и пыли. Закричали люди, началась стрельба. Иван, вскочив, велел Агриппине надеть волглые штаны, и, покидая она прыгала на одной ноге, неумело попадая в них другой ногой, разорвалось еще несколько снарядов. Началось контрнаступление немцев вместе с казаками, — их конные сотни вернулись из степи и быстро окружали станицу Гундоровскую.

Ночной, свежий ветер, пробирающий спину, теплая земля под животом, запах молодой травы, пышное от звезд лилово-бархатное небо — видимое, когда Иван поворачивался набок, залезая в сумку с патронами, — и шум боя, и вспышки выстрелов, и нагнетающий бешеный посвист снаряда, и даже напряженная тревога отступающих, которым все время заходила в тыл конница, — все, все воспринималось повышено, остро, гулко, с уверенностью в силах, в победу, в счастье...

И все оттого, что рядом в водомоине лежала Агриппина, бормоча что-то сердито и стреляя так же, как те несколько десятков бойцов, оставшихся от разбитого и рассеявшегося по степи отряда.

Была уже середина ночи. Луганский и Коммунистический отряды отступали, сдерживая натиск казачьих сотен. Бой за Гундоровскую кончился плачевно. Путь отступления на левом берегу Донца оказался отрезанным, станица окружена, по площади, по скоплению войск, били немецкие орудия. Пришлось отступать через разметанный снарядами горящий мост на правый берег. Такого оборота никто не ждал, молодые бойцы смутились, потеряли строй, и врассыпную пошел каждый спасать свою шкуру, выходя из окружения.

Начальник группы Лукаш носился верхом по степи, собирая бегущих. Батарея Кулика, выскакивая на пригорки, поворачивала стволы и посылала последние снаряды по мчавшимся конным лавам.

Бойцы и сами не понимали — откуда взялась эта паника. Всем понятно, что бегущих поодиночке, как баранов, казачи порубят клинками. И люди, казалось, не робкие — так нет же: кто-то закричал диким голосом, кто-то, бросив винтовку и бекешу, и шапку, кинулся бежать. И — нашло помрачение. А уж стыда теперь не оберешься. «Хороши, — скажет наутро Ворошилов, проезжая на гнедой лошади мимо эшелона. — Недурно пробежались ночью, красивый у вас вид, спасибо, товарищи».

В наступившей темноте казаки перестали нажимать, боясь за коней. Замолкли немецкие орудия. И стянувшиеся отряды отходили под прикрытием редкого огня цепей — на юго-восток, к полотну железной дороги, ориентируясь на далекие свисты паровозов.

Время от времени, позади цепи, прикрывающей отступление, выступал в пепельном свете звезд всадник на тяжело дышащей лошади.

— Давай, давай, хлопцы, — на двести шагов...

Бойцы молча поднимались, устало переходили и опять прилаживались за неровностями земли. Иван Гора говорил Агриппине:

— Не пропадай в темноте, держись рядом.

В обстановке боя думать было некогда. Но счастье казалось таким широким, что Иван только удивлялся. Никогда бы не поверил — расскажи ему раньше про какого-нибудь серьезного человека, который из-за пустяка, не стоящего и разговора, из-за того только, что побыл с девкой наедине у колодца, почувствовал в груди небывалое мужество... Будто Ивану только и не хватало этой щепотки соли... Земля стала легка под ногами, и звезды показались своими, — рабоче-крестьянскими, мигающими, как маяки, над великой революцией, и мыслям стало легко... Странная вещь — человек...

4

Немцы поняли, наконец, отчаянный план Ворошилова — со всеми тремя тысячами вагонов пробиться на царицынское направление. Такое решение принципиально уже отличалось от партизанских действий красных отрядов, с которыми немцам приходилось иметь дело.

Немцы намеревались запереть ворошиловские эшелоны между Миллеровом и Лихой и заставить 5-ю армию покинуть вагоны и рассеяться. Они начали окружать Лихую и одновременно со стороны Миллерова бросились на прорыв арьергарда 5-й армии, окопанной под станицей Каменской.

Ворошилов остался здесь, в арьергарде, с наиболее боеспособными частями. Руководить продвижением поездов в Лихую были посланы Коля Руднев и Артем. Они ускакали, перегоняя медленно двигающиеся поезда.

Рано утром, — это был день Первого мая, — в затуманенной степи, на линии передовых окопов под Каменской, собрался митинг. Ворошилов говорил с коня:

— Сегодня во всем мире шумят рабочие демонстрации под красными знаменами. Сегодня день единения, день смотра. Красный день пролетариата, черный день буржуазии, готовой каждую минуту ударить беспощадным свинцом в открытые груди рабочих.

Гнедая лошадь его, со звездой на лбу, — ради такого великого дня вычищенная в шашку и туго забинтованная по бабкам за неимением холста марлевыми бинтами, поджимала уши, вздрагивала мордой, обрызгивала пеной бойцов, сдвинувшихся вокруг командарма, — загорелых, сильных, рослых, — также ради праздника опрятно застегнувших воротники и подпоясавших заскорюзлые от пота рубахи. Подняв головы, бойцы напряженно глядели на веселое лицо командарма.

— Бойцы, мы первые решились перейти от слов к делу, руководимые великим вождем, не пугаясь всех армий и флотов мировой буржуазии, — решились построить новый мир... В этом твердом решении наша первая задача — очистить территорию РСФСР от империалистов и контрреволюционеров. Эта задача поручена вам, бойцы, и ее нужно выполнить... Немцы наступают, чтобы захватить военное имущество в наших поездах и разрушить наши дальнейшие планы борьбы. Этого допустить мы не можем. Сегодня мы должны показать империалистам, что красное знамя нельзя вырвать из пролетарских рук... Сегодня во всем мире гремит «Интернационал», на нашем участке загремит победный бой. Пролетарии всего света услышат его грозные звуки. Не важно, что мы — за тысячи верст. Видят они нас? Видят. Слышат они нас? Слышат. Товарищи, да здравствует...

Голос его и крики бойцов были заглушены: из-за холмов со стороны Миллерова ударили немецкие пушки.

Лихая — большое село, раскинувшее по склонам польных холмов белые хаты, соломенные гумна, плетни, высокие тополя, вишневые сады. Железнодорожная станция расположена у подножия холмов. На восток от села и станции лежит болотистая низина. Ее огибают путь царицынской ветки, пересекающей на первом перегоне у станицы Белая Калитва реку Донец.

На юг от Лихой идет ростовская магистраль. По ней сейчас наступали немцы, обстреливая в одном перегоне — от Лихой — станцию Звереве. Туда, в Звереве, на бронеплощадке выехал Артем, чтобы угнать, что можно, из железнодорожного состава и вывезти беженцев.

Немецкие аэропланы кружились над Лихой, сбрасывая бомбы, и уже много хат и ометов пылало, застилая дымом холмы и ветряные мельницы.

Весь день Первого мая прибывали эшелоны, напирая один на другой. Запасных путей не хватало для такого количества маневрирующих поездов. Паровозы выли, машинисты ругались, высываясь по пояс, беженцы из раскрытых дверей теплушек испуганно глядели на небо. Поезда двигались и снова подолгу стояли, казалось, по неизвестной причине.

Причина всего этого растущего беспорядка была в том, что путь на восток, на Царицын, был уже отрезан: казаки под Белой Калитвой взорвали железнодорожный мост через Донец. Лихая оказалась мешком, куда прибывали и прибывали эшелоны с десятками тысяч людей, вооруженных и безоружных.

Жарок был день Первого мая в степи под станицей Каменской. Солнце тускло светило сквозь пыль и дым. Железный грохот сотрясал землю, разметывая линию ворошиловских окопов. Снова и снова сквозь пыль и дым появлялись полупригнувшие фигуры в котлах для варки картошки на головах, с установленными вперед себя широкими лезвиями.

Из залитых кровью окопов поднимались командиры отделений, комиссары, вылезли оглушенные, осыпанные землей бойцы и, раззевая криком черные рты, разлепляя запорошенные землей, налитые ненавистью глаза, спотыкаясь, бежали навстречу гадам, — мать их помани, — как вилы в сноп — втыкали четырехгранные штыки в узкоплечего, задушенного воротником, офицеришку. в набитое украинским салом пузо багрового унтер-офицера, уже безо всякой немецкой самоуверенности крутящего револьвером, в тощую грудь, — бог его прости, — немецкого рядового в очках, со вздернутым приличным носом, посланного кровавой буржуазией искать себе могилу в донских степях...

И раз, и другой немцы ходили в атаку и не выдерживали штыковой контратаки, поворачивали и бежали, и уже немало их, бедняг, валялось на полях или стонало в воронках от снарядов.

Оборонять приходилось, кроме того, и свой левый фланг от гундоровских казаков, не подпуская их к Каменской. Фронт страшно растянулся, перекинувшись на правый берег Донца. Пополнений не хватало. Вся надежда была на то, что за эти сутки эшелоны успеют пройти Лихую.

В конце дня оттуда начал кричать в телефон голос Коли Руднева:

«... Казаки взорвали мост под Белой Калитвой... Положение осложняется... Кроме того, испорчен путь по всему перегону до Белой Калитвы... В Лихой толкучка... Не можем больше принимать поездов... Делаю все усилия к исправлению пути до Белой Калитвы... Кроме того...».

— Хватит и этого, спасибо, — проворчал Пархоменко, принимавший телефонограмму.

«... Кроме того... Немцы с часу на час займут Звереве... У нас, на высотах, где мельницы, уже были немецкие раз'езды, мы отогнали...».

Пархоменко вытащил голову из-под меховой бекешы — ею он прикрывался вместе с телефонным аппаратом от надоедливой шума пушечной стрельбы... С досадой надвинул на уши папаху и

полез из штабного вагона — искать Ворошилова.

С поля, где опять разгорался бой, гнало пыль и пороховую вонь. Брели раненые, — кто, морщась, поддерживал простреленную руку, кто ковылял, держа за плечо товарища, иных тащили на носилках. Шальной снаряд рванул землю, опрокидывая идущих. Валялись разбитые телеги. У колеса, подогнув колени, стиснув в руке вырванную с травой землю, лежала женщина в пыльной юбке, на косынке ее с красным крестом расплывалось черное пятно... Пархоменко увидел гнедую лошадь командарма. Востовой, державший ее за повод, стоял — закинув голову. Широкоскулое, безусое лицо парня было до синевы бледно, глаза полузакрыты.

— Где командарм? — крикнул Пархоменко.

Парень разлепил губы, ответил:

— В бою...

Только отойдя, Пархоменко догадался, чьего парень смертельно ранен. Впереди, в клубах пыли, ревели голоса, рвались гранаты. Пархоменко, пригнувшись, с наганом побежал в эту свалку. Но лязг, взрывы, надрывающие крики отдавались. Немцы опять не выдержали.

С бега он кувырнулся в окоп, ударился коленками так, что потемнело в глазах. Вскочил. Оттуда, из пыльной мглы, к нему шел, пошатываясь, человек, — на ходу силился засунуть в ножны шашку, — конец ее заело в ножнах. Мокрые волосы его падали на лоб в потеках пота.

— Э! — крикнул Пархоменко. — Клим? Слушай... Чорт! Нельзя же так... Что ж ты лезешь в самую драку...

Ворошилов остановился, темными, еще дикими глазами уставился на Александра Яковлевича...

— А что? — сказал. — Такая была каша... Едва не прорвали...

Он опять начал совать шашку. Пархоменко уставился на лезвие. Оно было в крови.

— Очень хорошо... А по-моему, не имеешь права... Слушай. Дела очень серьезные... Сейчас звонил Руднев...

Ворошилов тоже с изумлением посмотрел на окровавленный клинок. С силой

бросил его в ножны. Пошли к вагону. Пархоменко рассказал о рудневской телефонограмме из Лихой. Ворошилов только быстро покосился на друга.

— Значит, надо драться, другого выхода нет... Покуда не починят путь — будем драться... Вагоны немцам не отдадим все равно...

5

Минули первый и второй день мая. Ворошилов продолжал сдерживать врага под Каменской. Все эшелоны уже подтянулись к Лихой. Бахвалов, мобилизовав несколько сот беженцев, под охраной пулеметов восстанавливал разрушенный казаками путь по царицынской ветке до Белой Калитвы. На холмах, окружающих с юга и юго-запада Лихую, располагались по окопам и канavam отряды 5-й армии.

Иван Гора и Агриппина присоединились к шахтерам. Настроение у большинства было выжидательное. Все знали о твердом решении командарма — не отдавать ни одного вагона. А их — этих вагонов, платформ, дымящих паровозов — внизу под холмами было необозримое количество. Никаких человеческих сил нехватит — разобраться в этой каше. Бойцы ворчали: «Хорошо приказывать командарму: сел на гнедого коня и поехал, куда душа велит! А ты живой грудью заслоняй проклятое имущество...».

О нехорошем настроении Иван Гора сразу же догадался, встретив в поле у ветряной мельницы Емельяна Жука — того мрачного шахтера, кто добыл себе одежду с убитого немца. Жук не обрадовался тому, что Иван Гора с Володькой и Федькой вернулись живыми в отряд, не сказал ему «здорово», — тяжело отвернулся, не стал глядеть в глаза.

Сутуло, неподвижно, точно каменные, сидели у недорытых окопов и другие шахтеры — угрюмые, почерневшие от грязи, оборванные, босые. Не было видно горящих костров, не варили еды, будто никто здесь не располагал оставаться. Люди думали. Подняв головы, глядели на поблескивающий в лазури

откинутыми назад крыльями германский самолет.

Очевидно, что в таком настроении отряд драться не может. Нужно было принимать срочные меры. Окончив рыть окопчик, пошлепав лопатой по выкинутой земле, Иван Гора сказал Агриппине, ковчирявшей шанцевым инструментом в двух шагах от него:

— Личный интерес приходится отодвигать на второй план, или уж ты не берись за гуж... Так-то, Гапа.

— Понятно, — ответила Агриппина, выпрямляя ломившую спину. Солнце, падающее к краю степи, залило ее горячее лицо. Она подпернула рукав и головой частью руки вытерла мокрый лоб. Все это показалось Ивану очень приятным, и Агриппина, шурящаяся на солнце, — очень красивой.

— Я должен решиться на большой риск. Не то мне страшно, а то, что — правильно ли поступаю? Но думаю и прихожу к выводу: надо... Что из этого получится? Неизвестно. Посоветоваться со старшим товарищем — нет здесь такого. Глядеть, сложа руки, — нельзя. Значит — нужно взять инициативу.

Агриппина не совсем разобрала — о чем он гудит, уставясь, как петух на зерно, на ее чумазые руки, сложенные на рукоятке лопаты. Но поняла, что говорит честно. В ответ она важно кивнула в сторону солнца. Иван вылез из окопа и пошел к ветряной мельнице, где находились наблюдательный пункт и штаб полка.

У ворот мельницы на расколоте жернове, вросшем в землю, сидели двое штабных: один в студенческой куртке, бледный, с мелкими зубами, с огненно-рыжими клочками бородки, другой — похожий на монаха, с грязными волосами до плеч, в пенсне, в перепоясанном веревкой пальто, надетом на голое тело. Штабные скучиво играли истрепанными картами в двадцать одно.

Иван Гора спросил — где командир? Рыжий штабной, не глядя, ответил сухо, что командир занят.

— Спит, что ли? — спросил Иван Гора, присаживаясь на корточки у жернова.

— Ну — спит, тебе какое дело! — тасуя карты, ответил другой, похожий на монаха.

— Не во-время командир спит. Подите — разбудите его.

— А что такое?

— Стало быть — надо.

Штабные переглянулись. Рыжий спросил:

— Вы из нашего отряда, товарищ?

— Ага...

— Командир ни о чем не приказал докладывать. Можете это понять?

— Вот вы его и разбудите...

Они опять переглянулись. Стало ясно, что этот человек все равно не отвяжется. Но мельничные ворота, завизжав, приотворились, — командир Петров вышел сам. Был он коренаст, круглолиц, сонный, сердитый, весь запачканный мукой.

— Ну? В чем дело? — спросил он, недружелюбно оглядывая Ивана Гору. — А! Товарищ питерский коммунист... С директивами, что ли? — Он косо растянул рот. Сел на жернов, вытащил жестяную коробку с махоркой. Вертел, сопел. — Ничего, товарищи, не получится из вашей затеи. Очередное сумасбродство... А мы дело имеем с живыми людьми, не с отвлеченными идеями... Так-то...

Иван Гора стоял перед ним, сдвинув ноги, опустив руки так, как нужно стоять перед командиром. Петров густо выпустил дым из ноздрей.

— Ну, так в чем же дело?

— Настроение отряда никуда не годится, товарищ командир. Отряд не сможет выполнить боевого задания...

— А кто дал боевое задание? — вдруг, багровея бычьей шеей, закричал командир Петров. — Штаб 5-й армии? Не знаю такой армии. В формировании не участвовал... Мой отряд связан с 5-й армией только железнодорожной колеей... Мой отряд подчиняется только воле народа... Мой отряд не желает исполнять диктаторских приказов... Кому это нужно: тащить на плечах шестьдесят эшелонов старой рухляди?! Воля отряда — вот боевой приказ...

Измена командира была явной. Сердась и багровея, он с головой выдавал

себя... Вернее всего — сельский учитель, из метивших полгода тому назад в эсеровские трибуны в Учредительное собрание, теперь работающий по тайным директивам Центральной рады... Крепенький человек и дурак к тому же... Иван Гора, стоя перед ним, торопливо соображал — как вернее действовать.

«Бежать вниз на станцию в Главный штаб, сообщить Рудневу об измене командира? Ясно, что в этой суматохе Руднев его же, Ивана, и пошлет ликвидировать мятеж. Да потеряешь время, бегая. Да и не уйдешь отсюда...». (Иван покосился.) Оба штабных, рыжий и длинноволосый, оставив карты, настороженно — правая рука в кармане — поглядывали на Ивана. Понятно: при первом неосторожном слове, движении — его застрелят... На мельнице, кроме них, никого не было, и кругом на сотни шагов поле было пустое.

— Зверев занят немцами, товарищ командир, — сказал Иван Гора, сам не зная — почему вдруг придумал это. — Бронепоезд товарища Артема стоит уже под Лихой.

— Врешь, — сердито, но без уверенности проворчал Петров.

— Не вру, товарищ командир, влезьте на мельницу, бронепоезд отсюда видно... Немцев надо ждать к часу на час... Бой придется принимать...

Петров зыркнул на него глазами. Штабные переглянулись. Рыжий пошел на мельницу, и было слышно, как за скрипела лестница под его ногами. Теперь осталось двое перед Иваном. И он поднажал — суровее, басом:

— Митинговать вам, товарищ командир, все равно придется... Отряд дезорганизован — перебьют нас, как баранов, это факт. Да и вам не расчет попадать под пулю...

У командира опять мгновенно налилась кровью толстая шея. Засопел, но смолчал, разбираясь — где же тут провокация?

— Либо отряду сейчас уходить с позиции, либо держаться крепко... Давайте митинг, товарищ командир...

— Ладно. — Петров тяжело поднялся с жернова. — Ладно. Иди...

«Дураков мало, брат, хочешь мне пулю вогнать в лопатки» — подумал Иван Гора и только попятился шагов на пять. Наверху мельницы в слуховое окошко высунулась рыжая голова. У Ивана екнуло сердце.

— Федор Федорович, — крикнул рыжий из слухового окошка. — Верстах в пяти дымит какой-то чорт... Пожалуй — бронепоезд.

— Эге! — удивленно сказал командир...

«Эге» — еще более удивясь, про себя сказал Иван Гора.

И будто в подтверждение — издали ка по степи покатился орудийный удар. Тогда командир решился. Кивнув длинноволосому, приказал ему вполголоса, чтоб деньги и документы увязать в мешок, приготовить лошадей. Не глядя на Ивана, нахмурясь, — решительно зашагал по полю к окопам. Иван шел за ним — на полшага сзади.

Голос у командира был зычный. Подняв руку, он гаркнул на все поле:

— Бойцы 3-го Варваропольского отряда! Объявляю летучий полевой митинг...

Шахтеры начали вылезать из окопов, подниматься с земли. Окружали командира Петрова — хмурые и недовольные. Иван Гора, потупившись, держался около него.

— ... Настал момент, когда нужно решить основной вопрос: за что мы в конце-концов деремся? — заговорил командир, обводя взглядом суровые лица шахтеров. — Зачем покинули родные халупы? За что нас, как баранов, гонят на чужбину...

— Ну чужбину, — басом повторил вслед за ним Иван Гора, поднимая голову и усмехаясь. — На рабоче-крестьянскую чужбину от своих гайдамацких плетей и немецких шомполов...

— Товарищ! — командир бешено оглянул его. — Не перебивайте оратора... Бросьте большевистские замашки... Вы не в Москве... Товарищи! — закрычал он, потрясая руками. — Мы пещи драться за родную землю и волю...

— За кулацкую землю, за эсеровскую волю, — прогудел Иван.

— Товарищи! — командир стал красным, как освежеванный. — В нашей борьбе с германским нашествием московские коммунисты нас предали! Из Москвы приказано сдать немцам Донбасс... И нас возят из родных деревень, чтобы сделать из нас большевистских холуев... Нас привели на эти позиции — на убой... Чтобы мы тут дрались, а коммунисты гнали вагоны в Царицын...

— Хватит! Не распространяйте ваши мысли! — во всю глотку закричал Иван Гора. — Товарищи! Я питерский металлист. Вот мои документы. Гляди. Вот мои руки. Гляди... А этот человек вам знаком?

— Нет! Нет, не знаком, — ответили из толпы шахтеров голоса Володьки и Федьки и затем голос Емельяна Жука.

— Пусть он расскажет, кто он такой... А я короче скажу. Командир Петров — эсер. Всему миру известно, что эсеры продали немцам Украину за жирные куски, за сияние свитки... Кто его выбирал командиром?.. Послали его из Киева, из Центральной рады... Он провокатор...

Молотя воздух, Иван покосился на командира. И во-время... Петров рванул из кобуры наган и выстрелил в голову Ивана Горы. Одновременно Иван Гора нырнул головой так, что пуля только чиркнула по волосам, — схватил Петрова за кисть руки и со всего плеча ударил его между глаз. Командир задохнулся криком, повалился. Кто-то — Володька или Федька — выхватил у него наган. Шахтеры молча глядели на лежащего без движения командира.

Иван Гора, вытирая рукавом лоб, сказал:

— Ребята... Я поступил неправильно, нарушил военную дисциплину, ударил командира... Решайте: кого расстрелять — меня или его?.. Рабочего, преданного рабочему классу, или форменного провокатора... А что он эсер и провокатор — отвечаю головой... Решайте. Каждую минуту враг может начать наступление. Враг не может застать нас врасплох.

Шахтеры продолжали молчать. Тогда Емельян Жук проговорил:

— Загадал загадку, коммунист... Ну как: верим этому человеку?

— Верим, верим, — ответило несколько шахтеров. Остальные кивнули головами.

— Верим, — тогда, Иван, бери команду...

6

Станция Звереве — на юг от Лихой — действительно была уже занята немцами. Третьего мая на краю степи замаячили их раз'езды. Они не скрылись от первых выстрелов, как третьего дня, — всадники группками сбивались на далеких холмах, спешивались, наблюдали. Было понятно, что за ними двигается враскачку запыленная пехота, еще невидимая за горизонтом.

От мельниц к расположению отрядов промчался огромный измятый «фиат». Тарахтя, дымя керосином, —остановился у окопов. В машине сидели Коля Руднев и обгоревший на солнце Артем.

Выкидывая толстую кисть руки, выпячивая запекшиеся губы, Артем говорил бойцам:

— Путь до Белой Калитвы исправлен. Первые поезда пошли. За ночь мы разгрузим всю станцию... Товарищи, мы должны выполнить задание: двадцать пять тысяч детей, женщин, стариков будут доставлены в Царицын... Наш командарм с кучкой героев три дня и три ночи дерется холодным оружием под Каменской... Интервенты страшатся пролетарских штыков... Неужели мы здесь примем на себя позор?

Артем был опытным массовиком, умел сбивать тысячи ощущений у тысячи людей в одну волю одного существа. Страх смерти всеподавляющ лишь тогда, когда все другие чувства принижены, дезорганизованы. Бывают минуты, когда ощущение позора невыносимо острее страха смерти, когда разбужено самое жгучее, мощное, действительное чувство классовой ненависти, и все личное, будничное тонет в нем и глохнет...

«Фиат» мчался дальше по растянутому фронту. Артем говорил бойцам, что вот-вот подойдут подкрепления — отряд Лукаша из-под Каменской, и назавтра

надо ждать и Ворошилова со всеми силами... Настроение поднималось. Вдаль, в степь, пошли конные группы разведчиков. Завязывалась перестрелка.

«Фиат», оставляя хвост чада, промчался вниз, на станцию Лихую. Несмотря на все усилия, беспорядок там был невообразимый. Население каждого эшелона стремилось поскорее уйти из этого запертого в ловушке скопления вагонов. В первую голову направляли эшелоны с беженцами — детьми, женщинами... Но, чтобы протолкнуть поезд на стрелки царицынской ветки, нужно было другому поезду податься назад, и тут начались трения — дикий крик из вагонных окон, из раздвинутых дверей теплушек, угрозы самосудом, размахивание ручными гранатами...

Руднев отобрал особую бригаду под командой Чугая, — в ней были и силач Бокун, и злой Иван Прохвятилов, и упрямый Миколай Чебрец, и оба Кривоноса. Бригада вывела намеренные поезда на стрелки. Уговоры и разъяснения ни к чему не вели. Чугай действовал одной революционной решительностью.

Он не суетился, ходил вразвалку — в распахнутом бушлате, на груди — табуированный китайский дракон.

— А ну — подайся, браток, — говорил он машинисту и шел вдоль вагонов, где надрывались люди... — А ну — закрыть двери, а ну — спокойно... Мою речь можете слушать, братишечки? С коротким революционным счетом — сейчас оболью свинцом... А ну — давай пулемет!..

Бокун, схватив в охапку, волок пулемет. Иван Прохвятилов падал на живот у замка. Кривоносы подавали ленту. Чугай, — спокойно отнеся ото рта папироску:

— А ну — давай очередь.

Двери теплушек захлопывались. В вагонах от окон шарахались люди... Машинист, оттянув рукоять свистка, облегчал душу оглушающим воєм, толкал поезд так, что трещали вагоны.

— Главное — спокойствие, — говорил Чугай. — Революция требует большой выдержки... А ну — теперь — давай эшелон с ребятишками...

Все же за день третьего мая удалось протолкнуть на Белую Калитву только треть составов. Всю ночь не смолкала на холмах в степи ружейная и пулеметная стрельба. С болотистой равнины тянуло сыростью, заволокло звезды. Было темно и страшно. На станции и в вагонах запрещено было зажигать свет, — даже по вспыхнувшей спичке стреляли. Только по путям между составами ползали, покачивались, взмахивали тусклые огоньки фонарей. В вагонах никто не спал, выходить боялись. Среди грохота буферов вдруг раздавался в темноте дикий крик, сухой выстрел, тяжелый топот ног. И еще казалось неспящим людям, что далекий грохот битвы за горами становится яснее, приближается...

Много хлопот доставил эшелон с тремя блиндированными вагонами отряда «Буря». Анархисты, с самого начала попавшие на запасный путь и крайне этим возбужденные, получили приказ (чернильным карандашом на клочке газетной бумаги за подписями Руднева и Артема) — немедленно выступить с оружием на фронт.

Отряд «Буря» начал митинговать около вагонов. Мнения разделились. Те, кто был помоложе, начали склоняться к выполнению приказа хотя бы в половинном составе. Матерые отрядчики, бывшие в переделках и потрудней этой, категорически требовали оставаться при эшелоне всем и хотя бы с боем пробиваться на царицынские стрелки. Чахоточный гимназист с большими глазами, несгибающийся идеалист, закричал тонким голосишком:

— Товарищи, настал момент — забудьте про золотые порсигары, мы же не бандиты, мы анархисты!..

Сопляку так грохнули по затылку револьверной ручкой — повалился под колеса. Но все же отряд колебался, куда старичок Яков Злой не нашел формулы. Со ступенек площадки, поправляя пенсне на плоском носу, держа в сухонькой руке листочек, — предложил резолюцию.

— «Приняв к сведению...», — начал читать он с подвыванием и вдруг усмехнулся...

— Го-го-го,—заржали, затопали наиболее матерые из отрядчиков. — Крой, Яков!..

— «Приняв к сведению приказ за номером таким-то, отряд «Буря» принужден отклонить самую форму обращения к нему, ибо приказ, от кого бы он ни исходил, противоречит принципу свободного волеизъявления всякой анархической ассоциации...».

Захлопали в ладоши. Полетели шапки. «Ай, да старичок!.. Вот—ум, так уж ум... Не будь мы анархисты — взяли б его в батьки».

Вынеся резолюцию, отряд «Буря» стал пробиваться на царьцынские стрелки. В ответ на пулемет Чугая из блиндированных окошек высунулся десяток пулеметных дул. Тогда Чугай сказал Бокуну, Ивану Прохвятилову и обоим Кривоносам:

— Отставить!..—и обратился к анархистам:—Как рассматривать ваше начальство? Шкурничество или контрреволюция? В этом случае будете иметь дело с военным трибуналом 5-й армии... Пулеметов у нас хватит — расправиться со сволочью... — Он распахнул бушлат, ногтями рванул тельник на груди, обнажая синего дракона. — Ну? (С минуту или даже дольше выражался на авральном морском языке.) Бей в мою грудь... Это будет последним вашим часом...

Анархисты заколебались. Чугаю важно было соблюсти престиж. Ночью он все же пропустил эшелон с этой сволочью...

Алыми слоями проступила в тумане утренняя заря над болотистой низиной. Забухали орудия на холмах,—все ближе, грознее слышались звуки боя... Приближался свирепый гул аэропланов. Из вагонов начали выкатываться люди. Женщины волочили детей под платформы. В туманном зареве рассвета очертания аэропланов, похожие на свирепых насекомых, казались огромными. Упавшие с их крыльев черные мячики будто ударили один за другим в чудовищный железный барабан. Задымились станционные постройки.

Поезда маневрировали среди мечущихся беженцев. Быстро светало. Туман отнесило ветром. Были уже видны на скло-

нах опустевшие хаты, и вверху — очертания мельниц. Просвистали снаряды. Начался артиллерийский обстрел станции: взлетающие клубы бурого дыма. Сотрясалась земля. Раздался огромный взрыв вагона с огнеприпасами.

Тысячи беженцев, спасаясь, побежали от своих эшелонов вниз, на болотистую равнину.

На вокзальном перроне появился верхоконный, остановил мокрого гнедогоня и вертел головой, глядя расширенными глазами, что тут творится... Он был с непокрытой головой, весь серый от пыли. Мимо, не узнав его, пробежал Артем—кинулся к маневрирующему паровозу, вскарабкался... Несколько человек, срываясь подошвами на шпалах, толкали вагон... Тяжелой, развалистой рысью через пути шел Чугай, за ним—высокий Бокун, сутулящийся под тяжестью пулемета. Людей и вагоны заволакивало дымом... Крутя головой, точно надышавшийся этой гадости, брел начальник станции, — на нем все висело — и грязная шинель, и щеки, от самых глаз заросшие щетиной. Попытался влезть с путей на площадку перрона, в изнеможении сел на край ее, взялся за обвислые края старорежимной фуражки, раскачиваясь, — повторял:

— О, боже ж ты мой!

— Клим, Клим!—закричали из вокзального окна. Коля Руднев перелез на перрон, подбежал к верхоконному, на минуту прижался лбом к его колену.

— А я тебе звоню по всей линии... Послал конников искать...

— Каменскую мы сдали,—сказал Ворошилов.—Все части выведены из соприкосновения. А у тебя что хорошего?

— Осталось шестнадцать эшелонов... Мы к ночи закончим. (На путях опять рвануло.) Ну, как немцам не стыдно, я все думаю... Отлично, мерзавцы, знают, нарочно лупят по мирному населению... (Опять рвануло.) Беженцы! Вот еще—публика паническая. Понимаешь, Климент Ефремович, тысяч пять драпануло на болото...

— Никого нельзя оставлять. Грузи всех...

— Пулеметов, понимаешь, нет... Я хочу с болота их пулеметами поугасть.

— Парочку я тебе дам...

— Вот — спасибо...

Руднев вдруг сморщил обострившийся нос,—прислушиваясь, побежал, полез в окошко к телефону...

Ворошилов повернул коня, перескочил через изгородь станционного палисадика и остановился на дворе около колодца. Слез, разминая ноги. Конь толкнул его в спину башкой. Ворошилов вытащил на скрипящем ворота ведро, придерживая его снизу коленом, стал поить коня, — тот пил, катая клубок по горлу. Ворошилов вскочил в седло и рысью погнал повеселевшего гнедого в гору — на холмы, к мельницам...

7

Петрова под конвоем отвели на станцию в Особый отдел. Штабные его — рыжий и длинноволосый — скрылись в неизвестном направлении. Отряд поставил: позиций не оставлять и до назначения нового командира быть командиром Ивану Горе.

— Ладно, товарищи,—ответил на такое решение Иван Гора. (Происходило это там же — на летучем митинге.) — Я не военный, вы знаете. Но коммунист должен уметь командовать, я буду вами командовать в этом бою...

Иван Гора оправил просоленную рубашку, подтянул ремень на тощем животе, пятью пальцами влез в пыльные волосы, откинул и несколько пригладил их и мельком покосился на Агриппину. Она стояла тут же, среди шахтеров, держась обеими руками за штык винтовки, и мрачно, неподвижная и бледная от сдержанного волнения за Ивана, пристально глядела на него.

— Отдаю первый приказ... В боевой обстановке я — голова, вы — мои руки... Значит: повиновение смертельно-беспрекословное... (Кто-то на это крикнул. Он, не допуская до разговора, повысил голос.) Митинг окончен, товарищи... Все возражения принимаю после окончания боя... Слушать приказ: первое — занять окопы, в кучу не сбиваться, лежать на дистанции пяти шагов... Второе — панически не тратить патронов и вообще не поддаваться никакой панике... Третье —

твердо помнить, что наступающий враг — наш и всего мирового пролетариата классовый гнусный враг... Свиное и штык — единственный метод борьбы с классовым врагом. Колебания и трусость здесь не имеют места.

За эти дни Иван Гора несколько присмотрелся к военному делу. Отдав приказ — тотчас пошел выставлять сторожевое охранение. Шахтерам его речь и твердость понравилась. Из окопов полетела земля, — рыли кто лопатой, кто ковырял штыком и выкидывал горстями. Иван Гора, расставив секреты, вернулся и шагах в тридцати позади линии на бугре сам выкопал себе командирский окопчик. Агриппине он велел быть при себе для связи.

— Вот накачал делов, Гапа,—негромко сказал ей Иван.—Как я поступаю? Все равно — как бегу с крутой горы... Поступаю, как авантюрист...

Агриппина не поняла этого слова, но кивнула утвердительно.

— Меня, конечно, потащат за эти дела в Особый отдел. Что я отвечу? Я отвечу: товарищи, я зарвался, но я поступил по революционной совести...

— Знойно, — сказала Агриппина. — Бойцы пить хотят, а воды нет.

— Правильно. Поправляй первую ошибку командира...

Иван Гора, сидевший на бугре, на кучке выкинутой земли, разговаривал будто сам с собой и будто сам над собой посмеивался, но большие руки его, лежавшие на коленях, дрожали.

— Положи винтовку, дуй в село, Гапа... Найди откуда хочешь бочку-водозвуку, коня или волов — вези сюда воду. На, возьми наган...

Агриппина положила винтовку, взяла у него наган и летучим шагом — в пузырящихся по ветру казацких шаповарах — побежала в сторону мельниц. Иван Гора решительно не понимал — что ему теперь как командиру делать... А что если враг проманежит их без боя до самой ночи? Ползучий гад Петров нарочно не заготовил ни кухню, ни довольствия. Настроение у бойцов упадет. Бойцы оголодают. Чтобы не дрожали руки, Иван постукивал пальцами по коленям. В это как-раз время и появились немецкие

раз'езды на холмах. У Ивана точно жернов отвалил от груди. Он вскочил, глядя из-под ладони в даль степи, зыблущейся прозрачными волнами зноя... Побежал к окопам:

— Бойцы! Враг показался. Хладнокровно подпускайте его на пятьсот шагов... Хладнокровно лежите около заряженных винтовок....

Затем из-за мельниц вылетел «фиат» с Артемом и Рудневым.

Немного позднее с севера к Лихой подходил отряд Лукаша. Десятки телег с тяжело ранеными тянулись за ним по степной дороге. Отряд оставил фронт под Каменской только вчера вечером, смененный полком отчаянного Гостемилова. Шли без отдыха — худые, обросшие, с запекшейся на лицах своей и чужой кровью. Многие—босиком, иные—по пояс голые, потому что рубахи были изодраны на бинты. Облизывая черные губы, бойцы тарасились на волны степного зноя, кажущиеся прохладной рекой на горизонте.

Все ждали последнего боя и, наконец, отдыха в своем эшелоне, оставленном шесть дней тому назад. Командир Лукаш шагал рядом со знаменосцем. Когда уже и ему начинал мерещиться красноватый мираж сквозь раскаленную пыль, Лукаш говорил знаменосцу:

— А ну! Бодрей!

И, обернувшись к нестройной толпе бойцов, пятясь, запевал хриплым тенорком украинскую, веселую, чтобы ноги сами ходили...

Со стороны Лихой все яснее доносились громовые раскаты, а вскоре и виден стал дым, поднимающийся, как тучи. Было несоответствие между размерами этой боевой грозы и кучкой измученных людей, бредущих туда, чтобы ударами штыков проложить себе дорогу. Но бойцы уже притерпелись, и подтянулись, и оживились, когда вдали стали различимы охваченные огнем пылающие мельницы на меловых холмах над Лихой.

Оставив часть отряда для охраны телег, Лукаш повел остальных вдоль полотна к станции. Не дошедшие туда эшелоны стояли пустыми. На станции

горело в нескольких местах. Справа, с холмов, приближалось крутящееся облако пыли. Лукаш начал махать на бойцов: «Ждите, не стреляйте». Полсотни всадников пронеслось мимо, обдувая пылью и конским жаром. «Сволочи!» — закричали им вдогонку. Дело оборачивалось, видимо, совсем скверно: фронт бежал.

Под давлением немцев красные отряды, теряя связь, отступали по широкому плато. Появление Ворошилова восстановило некоторый порядок. Узнали его гнедую лошадь, когда он остановился на бугре, оглядывая размеры бедствия. Он поскакал к уходящим от пулеметного огня пригнувшимся фигурам.

— Штаны потеряешь! Остановись!

Заскочив вперед, натянув удила, опираясь рукой на круп коня, кричал:

— А ну! Вперед! Давай!

Мчался дальше на хрипящем гнедом и с седла свалился в окоп к шахтерам.

— Ребята, брюхо пролежали! Давай вперед!

Тяжелые, как медведи, шахтеры поднимались и бежали за командиром, куда он, задохнувшись, не присаживался на корточки...

— Окапывайся! Кто у вас командир?

К нему подошел Иван Гора. Пули то и дело просвистывали мимо ушей. Ворошилов крикнул ему: «Не рисковать!». Иван Гора сел на коленки, глядя ему в глаза...

— Это опять ты? А где командир Петров?

— Ликвидировали.

— Правильно. Твой отряд фланговый. Ты сейчас держишь весь фронт. Понятно тебе? (У Ивана Горы в воспаленных глазах мелькнул ужас.) Держать до последнего!

— Разрешите вопрос, товарищ командарм...

— Ну?

— Насчет обдирания трупов...

— Чего?

— Немецких.

— Чего?

— Считать это мародерством? Или как? Ребята мои голые, босые...

— Тебя — что, в голову контузило?

— Контузило, товарищ командарм... Ребята мои сутки не евши... Озверели... Одно им — давай штыковой... Давай им башмаки, штаны, куртки с интервентов...

Говорил он, точно лаял, придвинувшись к лицу командарма, — большой нос и рот у него были перекошены от боли. Ворошилов понял, что если сейчас рассмеется (а был он впечатлителен и смешлив), — чудак обидится на всю жизнь.

— Соображать еще можешь?

— Могу, товарищ командарм.

Тогда Ворошилов указал ему на бугры—впереди: их надо было занять во что бы то ни стало и держаться на них до ночи.

Ворошилову бегом подвели коня, вел его под уздцы — как показалось — чернобровый юноша-мальчик, с осунувшимся, растерянным, свирепым лицом...

— Он час без памяти лежал, он тебе не говорит этого,—сказал мальчик женским, срывающимся голосом... (Коня задело пулей по уху, взмахнул башкой.)— У него и морду-то всю перекосило...

— Ну?—Ворошилов нетерпеливо рванул повод.

— Ты уж пришли снизу кого-нибудь подсобить...

Ворошилов кивнул, вскочил в седло, ускакал в сторону горящих мельниц.

Конец этого дня был ужасен. Конные и пешие немцы напирали, казалось, со всех сторон. Их пушки ревели по всему горизонту. Низко пронеслись аэропланы. Вся степь кипела взрывами, будто сама земля лопалась, извергая ураганы праха. Пылью и дымом застилало медное солнце.

На станции горели вагоны, взрывались платформы со снарядами. Пути были осыпаны дымящимися осколками, безобразно валялись трупы, ползли, кричали раненые. Валил пар из боков раненых паровозов, иные завалились кверху колесами. Усиливающийся артиллерийский огонь разметывал все, что еще оставалось нетронутым.

В этой невообразимой обстановке эшелоны все же продолжали отходить, забирая людей, сгоняемых со станции и с болота. Ворошилов, Артем, Коля Руд-

нев, Чугай со своей бригадой,—оглушенные, одуревшие от напряжения и усталости, давно за эти дни переступившие за грань жизни, — одним мужеством, решительностью боролись с паникой, делали то, что еще было возможно в этом аду: собрать людей в последние эшелоны и вывести их на царицынские стрелки. Разбитые вагоны и раненые паровозы рвали гранатами.

С холмов, где догорали мельницы, по всем дорогам к Лихой мчалась группами и в одиночку отступающая кавалерия. Скакали орудийные запряжки без орудий... Стреляя в воздух, отступали беспорядочными кучками отряды. Они встречали Артема, пытавшегося остановить их,—верхом, весь в копоти, мокрый, страшный, в разодранной гимнастерке, — он грозил, хрипел с коня, налитые кровью глаза его казались страшнее пулеметов. Люди останавливались, и удавалось посылать их обратно... Но уже весь фронт торопливо отступал, увлекая тех, кто возвращался в бой.

Подошедшему отряду Лукаша тоже немного удалось сделать. Думали об одном—только бы враг не ворвался в Лихую на плечах отступающих. Ждали подхода Гостемилова с арьергардом, за которым был послан эшелон. На станции оставались лишь пылающие вагоны. Догорали пакгаузы. Отряды, бросившие фронт, направлялись—конные и пешие — по царицынской ветке.

Несмотря на разгром и бегство, задача все же была выполнена: почти все шестьдесят эшелонов (за исключением небольшого числа взорванных и разбитых) прорвались из мешка на Белую Калитву.

— Гапка, патроны еще есть?

— Да нет же...

— Чего же делать-то, а? Ты присмотришь. Вон они, — идут...

Говорил Володька, парень простой, но верный, невозмутимый. Он подполз к командирскому месту за патронами. Две последние жестянки валялись пустыми. Около них — ничком лежал Иван Гора.

Агриппина приподнялась, опираясь на руки, всматриваясь. Степь была пустынь-

на, темна. В потускневшее зарево заката валил медленный дым. Позади дышало пожарище Лихой. Красноватая тень от гапкиной головы потянулась через кусты польни.

И закат, и зарево будто взлетели в небо, когда на черном горизонте ослепительными языками вспыхивали огни из пушечных жерл. Тогда Агриппина ясно различала человеческие фигурки. Они двигались сюда, к холму, где еще держались остатки шахтерского отряда.

— Командир-то кончился, Гапка?

— Нет!—коротко ответила она.

— Чего—нет... Не дышит...

Володька стал шарить около Ивана, и в карманах его, и в сумке, — нашел несколько обойм.

— Гапка... Ну семь, ну восемь человек нас и осталось-то всего... Чего мы без патронов стоим... Уходить надо...

— Уходите...

Володька, сев задом на голые пятки, сопя, вложил обойму. Опять четко выступила из тьмы вся степь, обозначилась на ней угольно-черные сгорбленные фигурки. Володька выпустил по ним обойму,—при каждом выстреле дергаясь назад всем корпусом...

— Уходи, Гапка...

Он потянул ее. Она с силой выдернула руку. Володька, низко пригибаясь, побежал под свистящими пулями—в темноту. Агриппина осталась около Ивана.

Он лежал длинный, неподвижный, будто сросся с землей. Был ли он мертвый, или только без памяти, оглушенный давешней контузией? Агриппина не понимала, да и не думала об этом. Все равно — живой он или мертвый,—она покинуть его не могла. Теперь они были одни на холме. Ребята уползли, ушли,—и хорошо сделали: чего же с голыми-то руками...

Агриппина сидела, выставив колено, положив на него тяжелую винтовку, давая отдых рукам. Сжав голову, глядела исподлобья в степь... В винтовке было пять пуль; что будет дальше — мысли ее не простирались. Мыслей и вовсе не было,—только страшная неподвижность...

Она глядела как-раз на то место в степи, куда ей указал Володька... Снова

проступили преувеличенными тенями все рытвины земли, кустики... Агриппина сотряслась, задохнулась страхом: черные здоровенные люди бежали в тридцати, в двадцати шагах... Она выстрелила... Раздался бешеный крик... Вспышка... Трескотня... Топот... Люди бежали к ней, и другие люди бежали сзади нее — к этим черным... Рванулись гранаты... Кто-то налетел на нее со спины, ревя матерщину. Агриппина руками, грудью, лицом упала на Ивана.

Это был посланный Ворошиловым отряд Лукаша—последнее усилие отбросить врага от Лихой... Немцы или спешенные казаки—чорт их разберет во тьме — откатились и больше в эту ночь до утра не возобновляли наступления.

По грунтовой дороге сбоку полотна устало шли шесть человек. Пятеро тащили пулеметы, дребезжавшие катками. Шестой—Александр Яковлевич Пархоменко—плелся позади, согнувшись под тяжестью пулеметных лент.

Эти шестеро были последними в арьергарде 5-й армии. Пархоменко на бронепоезде прикрывал отступление, превратившееся под конец дня в бегство. До темноты он отстреливался из зенитки от аэропланов, пулеметами разгонял конную казачью сволочь, долбил из тяжелого орудия вдоль полотна на сторону Каменской.

В темноте подошли к Лихой. Там все пылало, все пути были разворочены. Все эшелоны, все отряды были уже далеко впереди на пути в Белую Калитву.

Пархоменко и пять человек, оставшиеся в бронепоезде,—зенитчик, три артиллериста, пулеметчик и машинист,—сняли пулеметы, испортили все орудия и разогнав пары в паровозном котле до взрыва, пустили бронепоезд обратно к Каменской—навстречу немецкому. Сами же пошли пешком, подбирая по дороге ценное оружие.

Миновав Лихую, они свернули по царьцынской ветке. За спиной у них дымным заревом горела Лихая, озаряя опустевшую равнину. Они увидели человека, сидевшего на откосе железнодорожного полотна. Остановились, передыхая. Пар-

хоменко сбросил с плеч тяжелые ленты, спросил:

— Ты чего там?

— Ногу напорол,—помолчав, ответил человек.

— С фронта?

— Ну да...

— Что у вас там?..

— Ушли все...

— Командарма не видал?

Человек опять помолчал и—уверенно:

— Коня украли у него...

— У Ворошилова коня? А сам он где?

— Кто его знает? Пропал, стало быть... Тут его искали какие-то конные.

Пархоменко, обернувшись, долго смотрел в сторону Лихой, где под непроглядной тучей дыма плясало пламя и от рушившихся крыш взвивались хвосты искр. Подняв ленты, снова навьючил их на себя. Медленно пошли дальше. Пархоменко, как брата, любил Ворошилова. Были они земляки—луганчане. У обоих была тяжелая молодость. Вместе работали в большевистском подполье. Неужели друг погиб? Плохая это весть, что у него украли коня, не напрасно его ищут. Командарм не иголка. Налетел, стало быть, на шальную пулю, и конь умчался без седока...

Александр Яковлевич шел, согнувшись, чувствовал,—чорт их возьми,— что усы у него мокрые...

Он так задумался, что отстал. И долго не слышал, как товарищи звали его. Они указывали в сторону зарева: оттуда по дороге, гоня перед собой длинную красноватую тень, ехал какой-то человек шагом на понурой лошади.

— Александр Яковлевич, гляди-ка, не тот ли это человек, что коня увел у Климента Ефремовича. Конь, будто бы, тот самый...

— Дай винтовку!—прохрипел Пархоменко, резким движением освобождаясь от опутавших его лент.—Эй, кавалерист!—во все горло закричал он, шагая навстречу всаднику.—Кавалерист, езжай ко мне... Слышишь, так твою так... Ссажу.

Он подбежал к всаднику, бряцая затвором. Верно! Это был конь командарма, — по всей повадке — его конь... Кавалерист, будто не слыша, что ему

кричат, сидел, опустив непокрытую голову, уронив руки с поводьями. Пархоменко вне себя схватил коня под уздцы. Кавалерист взглянул на него...

— Климент Ефремович! — крикнул Пархоменко.—Клим, а мы-то...

Узнав Александра Яковлевича, командарм немного повеселел. Повернулся в седле и долго глядел на пожарище.

— Видел? — спросил он, опять омрачаясь. — Видел наш позор?

Рука его, опустив повод, поднялась, будто бы еще не зная, что ей делать... Он уронил руку и опять опустил голову.

— Подожди, Клим...

Пархоменко так навалился на плечо гнедого,—тот качнулся, переступил плотнее...

— Я тебя понимаю... Позор, конечно, есть...

— Позор! — уверенно повторил Ворошилов.

— Подожди же, давай поговорим... Весь план был выработан правильно... И в общем план выполнен... Армия возложенного задания не выполнила... (Ворошилов скрипнул зубами.) Публика же молодая, неуравновешенная... Одно дело наступать... А что,—не били мы немецких генералов? А другое дело отступать... Тут нужна выдержка. Ну, пушки побросали, пулеметы... А потери у нас ровным счетом пустяк... В царскую войну корпуса гибли... А мы армию все-таки вывели из огня... Все-таки победа не у немцев, а у нас...

Ворошилов вдруг, точно отвалило от души, негромко засмеялся:

— Чудак ты ужасный, Саша...

Соскочил с гнедого и повел его к пятерым, стоявшим на дороге, товарищам, чтобы помочь тащить пулеметы.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

1

Контрреволюция широко раскинула черные крылья по всем необъятным краям Советского государства.

Японцы заняли Владивосток, начиная этим завоевание Сибири, долженствующей войти по самый Урал в «Великую Японию».

Немцы в порту Ганге высадили десант в помощь финской буржуазии, заливавшей кровью советскую Финляндию.

В Киеве генерал Эйхгорн разогнал Центральную раду—всех эсеров, меньшевиков, либеральных адвокатов и сельских учителей, игравших в Запорожскую Сичь, и поставил гетманом всея Украины услужливого, хорошо воспитанного, по мнению немцев, свитского генерала Скоропадского.

В Новочеркасске, на Дону, под защитой немцев, собрался «Круг спасения Дона», на котором казацкие офицерство и крепкие станичники избрали указанного немцами молодого речистого генерала Краснова в атаманы Всевеликого войска Донского, и Краснов поклонился «Кругу» на том, что к осени очистит донские округа вместе с приволжским Царицыном от красных.

Немцы, отстранив притязания австрийцев, заняли войсками весь Крымский полуостров и спасавшимся там уступчивым, совершенно безопасным российским «либералам» предложили образовать крымское правительство.

Так германское имперское правительство приступило к реальному осуществлению широко задуманного плана «Великой Германии».

В степях, на стыке Дона и Кубани, Добровольческая армия, разбитая в марте месяце большевиками под Екатеринодаром и потерявшая своего организатора и руководителя — Корнилова,—под гостеприимной защитой атамана Краснова превращалась в грозную силу. Турция, Германия и Англия проникали силой и хитростью на Кавказ. Еще слабо битая федерация закавказских республик распалась, — все враждебные большевикам силы разодрали ее на призрачно-независимые республики — меньшевистской Грузии, Армении и Азербайджана, принужденных немедленно искать себе богатых покровителей.

Но самый чувствительный удар по едва начинавшему жить советскому государству нанесен был в Сибири. Там советская власть держалась на неимоверном напряжении всех сил: Сибирь должна была кормить хлебом револю-

цию. Москва хлестала комиссаров телеграммами: «Хлеба, хлеба...» Продовольственные отряды из пришлых из России или сибирских рабочих возбуждали кандовые села, хранившие обычаи аввакумовского раскола, крепких хуторян, сидевших на тысячах десятин пахоты и водных угодий. Бородатое сибирское купечество едва сдерживало ярость. Раскиданное по городам кадровое офицерство, не стесняясь, собиралось в белые союзы. Эсеры, изгнанные из Москвы и Питера, меньшевики, члены Учредительного собрания готовились к отторжению от советской России такого куска, как Сибирь.

Двадцать пятого мая от Пензы до Иркутска взбунтовались эшелоны чехословацкого корпуса, медленно продвигавшиеся по одноколейной магистрали во Владивосток.

Чехословацкие войска были хорошо вооружены и в обстановке накаляющейся докрасна классовой борьбы представляли грозную силу. Их растянувшиеся на тысячи верст эшелоны, убранные хвойными ветвями, привлекли внимание тех, кто искал оружие для свержения советов.

Консулы держав Согласия, члены разогнанного Учредительного собрания, офицеры из разных лиг спасения, эсеры — по директивам своего центрального комитета — вели бешеную пропаганду за то, чтобы чехословаки вмешались, наконец, в российские дела.

Чехословацкие эшелоны по указу французского штаба взбунтовались почти одновременно по всем станциям и городам Сибирской магистрали, поднимая за собой буржуазные, белогвардейские и кулацкие восстания.

Сибирь сразу оказалась отрезанной. Прежде всего это значило—чудовищный скачок голода. Иссякла еще одна питающая артерия. Пролетарские центры, снабжаемые осьмушкой хлеба, остались с запасами лишь на несколько дней. Контрреволюция торжествовала: казалось, еще одно усилие — каких-нибудь две-три недели, — и население обеих столиц, побросав дома, оставив настуж открытые ворота заводов и фабрик, расползется по дорогам, умирая в канавах,

и Совету народных комиссаров на коленах придется просить пощады.

2

Соотношение вооруженных сил было таково, что контрреволюция, казалось, неизбежно, как в шахматной партии, побеждала. Чудес нет. В Москве собралось всероссийское совещание партии меньшевиков (еще входящих во Всероссийский центральный исполнительный комитет). Они вынесли резолюцию: «Россию может спасти только союз с Антантой и твердый лозунг: назад — к капитализму».

«Левые коммунисты» бешено вели фракционную борьбу против линии Ленина.

Твердо, наперекор всему, стояли Ленин, Сталин, Свердлов. Нужно было, не теряя дня и часа, изменить взаимоотношение сил.

Полчищам и бандам контрреволюции, японским дредноутам, германским пушкам и антантовскому золоту, неисчерпаемым запасам продовольствия и одежды, угля, нефти и железа — на той стороне — Октябрьская революция противопоставляла конкретные задачи всемирно-исторической трудности и значения.

Доклад Ленина «Очередные задачи советской власти», резолюция Всероссийского центрального исполнительного комитета от двадцатого мая, воззвание Совета народных комиссаров и декрет от одиннадцатого июня об организации деревенских комитетов бедноты прогремели медными трубами над голодными городами, над всем взрошенным, взволнованным, бескрайним деревенским миром. Декреты провозглашали жизненные основы социализма. Учреждались деревенские комбеды. Творчество никем никогда не испробованного, никем никогда не виданного социализма, творчество от самых низов жизни до планирующих проблем Совета народного хозяйства — становилось отныне реальной формой жизни.

В голодной Москве был созван первый съезд советов народного хозяйства, и на нем Ленин развивал основы социалистического переустройства страны.

Члены съезда, получавшие в перерыве заседаний по кусочку черного сырого, остистого хлеба, слушали, дебатировали и принимали решения со спокойствием людей, сознающих сравнительные размеры между временным затруднением и величиной исторической задачи. В этом не было ничего необычайного: в этом выражался творческий дух Октябрьской социалистической революции, — когда мучительный голод подвел ее не к смерти, как надеялись интервенты и контрреволюционеры, — но к творчеству новых, никогда никем не испытанных, форм хозяйственной жизни.

Политическая и экономическая власть в стране отошла к классу, ведущему за собой впервые в истории человечества большинство населения — всю массу трудящихся и эксплуатируемых. Поставлены величайшей важности и величайшей трудности задачи. «Нам надо совершенно по-новому организовать самые глубокие основы жизни сотен миллионов людей».

Так говорил Ленин на этом съезде. Делегаты слушали его, — худые лица были серьезны, лбы наморщены. Он отпивал несколько капель из стакана и, подыскивая точные формулировки идей, слегка картавя, — говорил залу:

— У нас нет предварительного опыта. Все, что мы знали, что нам точно указывали лучшие знатоки капиталистического общества, наиболее крупные умы, предвидевшие развитие его, — это то, что преобразование должно исторически неизбежно произойти по такой-то крупной линии, что частная собственность на средства производства осуждена историей, что она лопнет, что эксплуататоры неизбежно будут экспроприированы...

Это мы знали, когда брали власть для того, чтобы приступить к социалистической реорганизации, но ни форм преобразования, ни темпа быстроты развития конкретной реорганизации мы знать не могли. Только коллективный опыт, только опыт миллионов может дать в этом отношении решающие указания...

Нам нужно в самом ходе работ, испытывая те или иные учреждения, наблюдая их на опыте, проверяя их коллек-

тивным общим опытом трудящихся и, главное, опытом результатов работы,— нам нужно тут же, в самом ходе работы, и притом в состоянии отчаянной борьбы и бешеного сопротивления эксплуататоров,—строить наше экономическое здание. Понятно, что при таких условиях нет ни тени основания для пессимизма...

Совет народных комиссаров не падал на колени, не молил пощады. Партия большевиков круто поворачивала Октябрьскую революцию навстречу трудностям, где она должна была черпать силы и творчество. Трудности были и в том, чтобы победить голод и разорвать сужающийся круг контрреволюции, и в той, еще более грандиозной, задаче — перед рабочим классом—обратить весь накопленный капитализмом запас культуры, знаний и техники на потребность построения новой жизни.

Вместо хлеба, дров для печки и тепловой одежды, нужных сейчас, немедленно, — революция предлагала мировые сокровища, революция требовала от пролетариата, взявшего всю тяжесть власти, всю ответственность диктатуры, — усилий, казалось, сверхчеловеческих. И это, и только это, спасло революцию: величие ее задач и суровость ее морального поведения.

Три лозунга были выкинуты в это страшное время: первое—централизация продовольственного дела с твердыми ценами на хлеб, который должен быть взят у кулачества крестовым походом продотрядов, второе — объединение пролетариата, самых широких, еще темных и забитых слоев трудящихся, и третье—организация деревенской бедноты, всех миллионов, раскиданных по необъятным деревенским хозяйствам батраков, бедняков, маломощных.

3.

Владимир Ильич щелкнул выключателем, гася лампочку на рабочем столе (электричество надо было экономить). Потер уставшие глаза. За незанавешенным раскрытым окном еще синел тихий вечер. Засыпая, возлились галки на кремлевской башне...

— Я только-что получил сведения, правда, еще не проверенные,—сказал Сталин.—В Царицыне, Саратове и Астрахани советы отменили хлебную монополию и твердые цены...

— Головоотяпы! — Владимир Ильич потянулся за карандашом, но не взял его. — Слушайте, — ведь это же — чорт знает что такое!

— Не думаю, чтобы — просто головоотяпство. На Нижнем Поволжье с хлебозаготовками настоящая вакханалия... Еще хуже на Северном Кавказе и в Ставропольской губернии. Не сегодня — завтра Краснов перережет дорогу на Тихорецкую, мы потеряем и Кавказ, и Ставрополь... Так дальше никуда не годится...

Галок на башне что-то встревожило, они поднялись и снова сели.

— Конкретно — что вы предлагаете, товарищ Сталин?

Сталин потер спичку о коробку, головка, зашипев, отскочила, он чиркнул вторую, — огонек осветил его сощуренные, будто усмешкой, блестящие глаза с приподнятыми нижними веками.

— Мы недооцениваем значение Царицына. На сегодняшний день Царицын — основной форпост революции, — сказал он, как всегда, будто всматриваясь в каждое слово. — Магистраль Тихорецкая—Царицын — Поворино — Москва — единственная оставшаяся у нас питающая артерия. Потерять Царицын — значит дать соединиться донской контрреволюции с казачьими верхами Астраханского и Уральского войска. Потеря Царицына немедленно создаст единый фронт контрреволюции от Дона до чехословаков. Мы теряем Каспий, мы оставляем в беспомощном состоянии советские войска Северного Кавказа.

Владимир Ильич включил лампочку. Белый свет лег на бумаги и книги, на большие, с рыжеватыми волосками, его руки, торопливо искавшие какой-то листочек. Сталин говорил вполголоса:

— Все наше внимание должно быть сейчас устремлено на Царицын. Оборонять его можно,—там тридцать пять, сорок тысяч рабочих и в округе—богатейшие запасы хлеба. За Царицын нужно драться.

Владимир Ильич нашел, что ему было нужно, быстро облокотился, положив ладонь на лоб, пробежал глазами испитанный листочек.

— Крестовый поход за хлебом нужно возглавить, — сказал он. — Ошибка, что этого не было сделано раньше. Прекрасно! Прекрасно! — Он откинулся в кресле, и лицо его стало оживленным, лукавым. — Определяется центр борьбы — Царицын. Прекрасно! И вот тут мы и победим...

Сталин усмехнулся под усами. Со сдержанным восхищением он глядел на этого человека — величайшего оптимиста истории, провидящего в самые тяжелые минуты трудностей то новое, рождаемое этими трудностями, что можно было взять, как оружие для борьбы и победы...

Тридцать первого мая в московской «Правде» был опубликован мандат:

«Член Совета народных комиссаров, народный комиссар Иосиф Виссарионович Сталин, назначается Советом народных комиссаров общим руководителем продовольственного дела на юге России, облеченным чрезвычайными правами.

Местные и областные совпаркомы, совдепы, ревкомы, штабы и начальники отрядов, железнодорожные организации и начальники станций, организации торгового флота, речного и морского, почтово-телеграфные и продовольственные организации, все комиссары обязываются исполнять распоряжения товарища Сталина.

Председатель Совета народных комиссаров:

В. Ульянов (Ленин)»

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

1

Царицын стоит на голых, выжженных солнцем, холмах по правому берегу Волги. За городом начинаются бурые степи, перерезанные пересыхающими речками и глинистыми оврагами. На север — вдоль реки — тянутся лесопильные заводы и слободы, где живут тысяч двадцать рабочих лесного и сплавного

дела и всякие люди, бродящие летом по Волге в поисках заработка. На юге за городом крупные заводы: оружейный и французский металлургический.

Царицын был промышленным и торговым центром всего юго-востока. Через него шел хлеб, и скот, и нефть, и рыба с Каспия. Воображение отказывалось представить себе место, менее похожее на центр. Город — дрянной, деревянный, голый, пыльный. Бревенчатые домишки его слобод повернуты задом — отхожими местами — на роскошный простор Волги, — а пузырчатыми окошечками — на немощные улицы, спускающиеся с холмов в овраги. Лишь из центра несколько улиц, кое-как утыканных булыжником, размываемых потоками, прожигаемых солнцем, ведут к замусоренному берегу Волги, к парходным пристаням, складам, дощатым балаганам и лавчонкам с квасом, кренделями, вяленой таранью, махоркой и семечками.

В центре города, как полагается, на большой площади, где бродят пыльные смерчи, высился, чтобы быть видным за полсотни верст, кафедральный собор. У церковной изгороди, под общипанными кустами акации, блесело битое стекло винных бутылок да спали оборванцы. Площадь окружали безобразные каменные дома еще недавно именитого купечества. Во все стороны тянулись улицы с телеграфными столбами вместо деревьев. Их перспективы, — где человеческая радость так же должна была высохнуть, как эти аллеи сосновых столбов, — низились и нищали от центра к окраинам.

Лишь одно место было отведено для скудных развлечений в вечера, не знающие прохлады, — бульвар из обломанной, покрытой пылью, акации и такой же чахлый городской сад. Обыватели, расстегнув воротнички русских рубашек, гуляли там, поплеывая семечками, пыля ногами в черных брюках, шутили с обывательницами.

В центре сада, в раковине, играл струнный оркестр — десяток евреев, бежавших от украинских погромов. Несколько высоко подвешенных керосиновых фонарей, окутанных облачками ноч-

ных бабочек, освещали непокрытые столики, где можно получить пиво, шашлыки и чебуреки... Здесь держалась публика почище — понаехавшие с севера «дамочки» в холстинковых хорошеньких платьях, изнывающие бородатые интеллигенты, офицеры, скрывающие свою профессию, низенькие плотные спекулянты в рубашках фасона «апаш», пронзительно воняющие потом журналисты из прихлопнутых большевиками газет и много разных людей, гонимых, как сорванные ветром листья, из города в город в поисках сравнительного порядка, минимального спокойствия и белых булок.

Белых булок и прочего с'естного довольствия здесь было вдоволь в лавчонках у частников, торгующих до полуночи. Правда, стоило это отчаянно дорого. Но и на том спасибо. Большевистские власти, не в пример Москве и Питеру, властвовали здесь терпимо, даже с некоторым добродушием. И многие приезжие предпочитали потомиться еще какое-то количество недель до переворота, до полного освобождения от большевистского ужаса, чем подвергать себя случайностям заманчивого, но крайне опасного сейчас, продвижения дальше на юг — в гудящий победоносными колоколами, освобожденный атаманский Новочеркасск, или — «за границу»: в дивный Крым, в красавец Киев, упокоенный, чисто подметенный немцами.

Совсем другое происходило на обеих окраинах города. На пушечном и мегалургическом заводах, среди вспыхивающих, как пожар, митингов, где многочисленные коммунисты отбивали беспартийную массу у меньшевиков и эсеров, — торопливо ремонтировалось всякое оружие, готовилось оборудование для бронепоездов и броневых паровозов.

На лесных пристанях, на сорока шести лесопильных заводах, на беньдежках (где раздаются наряды) формировались «береговые боевые отряды».

Казачьи восстания подступили теперь к самому рубежу — к Дону и перекидывались на левый его берег. Пала Пятиизбянская, наискосок ее пал Калач — огромная левобережная станица.

Царицынские реденькие отряды, державшие фронт под станцией Чир, отступили через железнодорожный мост на левую, луговую сторону Дона. Двадцать второго мая белые взорвали мост, западная ферма его рухнула с тридцатисаженной высоты на песчаную отмель. Путь на Белую Калитву, откуда медленно двигались на помощь Царицыну эшелоны Ворошилова, был отрезан.

Восстания полыхали далеко на севере Дона, и слышно было, что казаки идут на Поворино, чтобы, отрезав Москву от Царицына, охватить его мертвой подковой. Едва держалась, как гнилая ниточка, дорога на юг — в хлебную житницу — на Северный Кавказ, Кубань и Терек: там после мартовской неудачи Добровольческая армия, отдохнувшая и пополнившаяся, снова начинала военные операции.

2

— Простите за мистификацию, товарищ, заседание у нас особенное, таков приказ по линии высшего начальства, — с усмешкой говорил генерал Носович каждому входившему в комнату, где за столом, покрытым вместо скатерти газетами, уставленным пирогами и жареным мясом, сидело, расстегнув воротники, вытирая пот, человек десять. В конце стола Москалев в парусиновой толстовке каждый раз перебивал Носовича:

— Правильно, правильно, брось извиняться, именинник. Мы, брат, не меньшевики, не вегетарьянцы... Знаешь, как в станицах говорят: у нас в утробе и еж перепреет...

Он хохотал, положив большие кулаки на стол. Это и было высшее начальство: царицынский городской голова и председатель совета Сергей Константинович Москалев. Вчера он позвонил Носовичу: «Ты что ж, генерал, именины маринуешь? Это, брат, саботаж. Завтра и тебе нагрянем, жди».

Именины были им придуманы, разумеется, не просто, чтобы выпить водки. Он сам по телефону вызвал, будто бы на секретное совещание к Носовичу, военрука Северокавказского военного округа бывшего генерала Снесарева, всенспеца мобилизационного отдела

бывшего полковника Ковалевского, инспектора артиллерии бывшего полковника Чебышева, штабного комиссара Селиванова, — словом, всю головку окружного и запутанного военного руководства.

Сергею Константиновичу, считавшему себя очень хитрым человеком, хотелось на дружеской пирушке прощупать этих спецов. В совете, в исполкоме ползли неопределенные слухи о военных неудачах, о непонимании командирами отрядов приказов, о непрекращающейся склоке между четырьмя царцынскими штабами: штабом военрука местных формирований, штабом губвоенкома царцынского фронта, штабом обороны юга России и штабом Северокавказского военного округа.

Слухи эти, — вернее всего, вздорные, — ползли с заводов, от низовых партийцев. Тем более это был вздор, что Снесарев, Носович, Чебышев и Ковалевский приехали сюда с мандатом от Троцкого. Все же не мешало, конечно, и самому составить впечатление...

За столом, кроме них, сидели: спец по нефтяному транспорту, на-днях командированный сюда из Москвы, инженер Алексеев — холеный седоватый человек, с моложавым решительным лицом, и два его сына — двадцатилетний штабс-капитан и двадцатидвухлетний подполковник. Они приехали с отцом и уже были зачислены Носовичем в штаб. Сидели рядышком, сдержанно, не вытирая обильных капель пота, проступивших на их сизо-выбритых круглых головах.

Носович, — да не он один, — отлично понимал затею Москалева. Разговор за столом не налаживался. В такую жару никому не хотелось жевать мясо. Водка была теплая. Только комиссар Селиванов — донской казак — провожал каждую рюмку прибаутками, изображая казацьи обычаи, с хрустом грыз хрящи, хитро скользил прозрачными глазами по хмурым лицам штабных. Он, видимо, чувствовал себя уязвленным и готов был задираться, но ему не давали повода.

Носович, корректный, любезный, — весь внутренне настроенный, — мно-

го раз начинал одну и ту же фразу: «Уж право, Сергей Константинович, вы придумали с этими именинами...».

— Я, брат, попович, — перебивая, кричал ему Москалев с другого конца стола. — Мне и книги в руки... (Пятерней откидывал волосы, выпятив губы — запевал.) «О долголетию дома се-го господу помолимся...» — И раскати-сто смеялся. Наливали, чокались, но непринужденность не налаживалась. Чебышев сидел, глядя в тарелку, с таким лицом, точно на пиру у разбойников. Военспец Ковалевский, — большой и длинный, с маленькой головой, с круглой бородкой, с неприятно напряженным лицом и карими бегающими глазами, — до того не попад фальшивил — лучше бы молчал. (Но Москалев, увлеченный самим собой, не замечал этой скребущей ухо фальши военспеца.)

Самый старший за столом — военный руководитель силами Северного Кавказа Снесарев — небольшой, плотный, в очках, с мясистым носом, с короткими — ежиком — седоватыми волосами — сообразно своему бывшему чину и теперешнему положению — строго поглядывал из-за стекол.

Он был из той уже вырождающейся породы русских людей, которая сформировалась в тусклые времена затишья царствования Александра Третьего. Он по-своему любил родину, никогда не задумываясь, что именно в ней ему дорого, и если бы его спросили об этом, он, — несколько подумав, — наверное бы ответил, что любит родину, как должен любить солдат.

Позор японской войны (он начал ее с чина подполковника) поколебал его душевное равновесие и бездумную веру в незыблемость государственного строя. Он прочел несколько «красных» брошюр и пришел к выводу, что — так или иначе — столкновение между опорочившей себя царской властью и народом неизбежно. Этот вывод спокойно улегся в его уме.

Во время мировой войны он не проявил — уже в чине генерала — ни живости ума, ни таланта. Эта война была выше его понимания. Потеря Польши,

разгром в Галиции, измена Сухомлинова и Ренненкампа, бездарность высшего командования, грязный скандал с Распутиным — вернули его из воинствующего патриотизма к прежней мысли о неизбежной революции. Он ждал ее, и даже в Октябрьский переворот, когда его обывательское воображение отказывалось что-либо понять, он остался на стороне красных. Он полагал, что революционные страсти, митинги, красные знамена, весь водоворот сдвинутых с места человеческих масс уляжется и все придет в порядок.

Поход Корнилова с горстью офицеров и мальчишек-кадетов на завоевание Северного Кавказа он счел безумной авантюрой. Но когда Добровольческая армия, окрепшая в степных станицах Егорлыцкой и Мечетинской, начала бить главкома Сорокина, возомнившего себя Наполеоном, когда атаман Краснов в пышных универсалах заговорил о «православной матушке России», — на Снесарева пахнуло давно утраченным, родным, вековым... И мысли, и чувства его поколебались.

Зорко наблюдавший за ним Носович попросил разрешения поговорить «по душам». Носович рассказал ему, будто бы под видом своих сомнений и колебаний, его сомнения и колебания. Снесарев, сурово выслушав Носовича, ничего не ответил и отослал его. Но этот ночной разговор стал для него решающим. Большевики, комиссары, социализм, оборванные рабочие — все это было, действительно, чужим генералу Снесареву.

— Чудные вы люди, товарищи. Поехали бы хоть разок на заводской митинг, — говорил Сергей Константинович, отчаявшись шутками пробить ледяную сдержанность. — Вот там люди! Кипят! Вылезет какой-нибудь грузчик, на самом — дыра на дыре, брюхо подвело, голова в репьях, и — что же думаете, — меньше чем на мировую революцию не замахивается! Разве тут носы вешать, товарищи! Мне, лично, трех жизней мало, честное слово! Мою покойную мамашу, что угодила родить меня тютилька в тютилку в нашу эпоху, ежедневно вспоминаю.

Он опять раскатился. Снесарев проговорил, отдирая кусочек вяленой тарани: — Эпоха, что и говорить, знаменитая... Да нам-то, военным, мало приходится вдумываться в такие штуки... Наше дело прозаическое: бей врага в хвост и в гриву... А уж эпоху мы вам предоставляем, Сергей Константинович.

Носович сразу оценил неприятное впечатление от этих слов — поспешил их несколько поправить:

— Военные — это люди прочной установки, Сергей Константинович... Прицел установлен, — стреляй... Но, боже сохрани, при этом — анализ... Это дело штатское. Наш прицел — искреннее принятие революции... Вот что хочет сказать товарищ военрук.

Москалев строго, неодобрительно покачал головой:

— Напрасно, напрасно, товарищи... Почитать книжечки никому не мешает... Ан, глядь, прицел-то подальше надо будет перенести. (И опять с благодушием.) Ничего, дайте срок, — я из вас всех сделаю большевиков... Ведь в чем наша задача? Страна наша дикая, варварская. Мужик — зверье. А ведь его сто миллионов — мелкого-то собственника. Лапотника-то... Ясно — социализма с такими возможностями, с таким народом нам никак не выстроить. В этом я расхожусь — и это в лицо скажу Ленину, — нет-с, не вытянем!.. Кишка тонка! Я вот — русский человек, из самой расейской гущи... Лучше меня никто ее не знает. Мужичок наш — зверь. Но есть у Чехова одна замечательная фразочка: «Если зайца бить по голове — он может спички зажигать». Вот! Вот наша задача! Понятно? Использовать революционную ярость народа. И это — можно и должно.

Чебышев, открыв мелкие опрятные зубы, точно собираясь укусить, спросил:

— Сергей Константинович, мировой пожар — это понятно. А вот какова конечная цель, дальний прицел? Объясните нам.

— Революция, товарищи, — это взлет, волна. (Москалев сделал широкий жест.) Мы поднимаемся на гребень. Но каждая волна в конце-концов спа-

дает. Нам важно во-время овладеть властью, захватить командные высоты...

Носович встал, узкое лицо его было значительно. Подняв рюмку с теплой водкой, отчеканил по-военному:

— Господа... (Без смущения поправился так же четко.) Товарищи... Я пью за нашего вождя — товарища Москалева, ведущего нас к командным высотам. Ура!

Все ответили — «ура!». Москалев был очень доволен. Удалось хорошо поговорить. Опасения его относительно военных спецов рассеялись: в конце-концов это были прямодушные солдаты. Широтой ума не блистали, но зато в смысле чести, верности, боевой хватки были — кремь. В комнату вошел запоздавший гость — невысокий, худощавый, загорелый до лилового цвета, молодой человек, с большими черными глазами — председатель Царицынского исполкома Яков Зиновьевич Ерман.

Быстро кивая сидящим за столом, пошел к Москалеву и зашептал ему на ухо.

— Кто? — громко спросил Москалев.

— Сталин.

— Когда?

— Видимо — завтра.

— Ну, что ж, встретим... Садитесь... Садись... Водку пьешь?

— Простите, товарищи, — обведя стол черными, не умеющими улыбаться глазами, сказал Ерман. — На «Грузолесе» сейчас митинг, настроение неважное...

Не прощаясь, он так же быстро вышел...

3

Большой митинг собрался среди бунтов бревен на усеянной щепой территории «Грузолеса» (лесопильных заводов бывших братьев Максимовых). Солнце жгло сквозь висевшую в безветрии пыль. Тысячная толпа была возбуждена. С утра в ларьках и лавчонках у частников не оказалось хлеба. «Дорогие мои, — объясняли лавчонники, — сами ничего не понимаем, муку третий день не подвозят, видно — скоро конец, что ли...». В ларьках продовольственной

управы хлеб был такой, что и свиньи не станут жрать, и того сразу же нехватало.

Голодная толпа слушала разных ораторов, влезавших вместо трибуны на расшатанный столик. Коммунистов здесь было мало: большинство ушло на фронт. Оставшиеся из последних сил боролись за то, чтобы сохранить перевес на этом митинге.

Но сегодня неожиданно заговорили такие, кто раньше помалкивал, и такие, кого в первый раз видели в лицо. Толпа была настроена так, что — вот-вот — надвинется, сомнет. Толпа желала слушать всех, понять, разобраться...

Известный «сукин кот» — меньшевик Марусин, большеротый, низенький, с толстыми ногами, — сморщив лицо не то смехом, не то плачем, говорил со стола:

— Поклонимся, спасибо скажем товарищам коммунистам за сегодняшнее угощение. Дохозяйничались до ручки... Хлеб из деревень уж нам не везут и не повезут... Социализм осуществлен на деле, что и требовалось доказать... Везде, где коммунисты берут власть, — хлеба нет... Больше я ничего не имею прибавить..

Толпа угрюмо молчала. На место Марусина влез низовой коммунист, лесопильный рабочий, с чахоточными щеками, с немигающими расширенными глазами. Под распоясанной рубахой чувствовалось голодное ломаное тело, волосы стояли копной. Он убежденно сжал кулаки и уперся расширенными зрачками не в лица товарищей, стоявших вокруг, а выше куда-то — в коренную правду:

— Не поняли, что ли, вы? Да что вы его со стола не стащили... Марусин — это ж враг трудящихся... Куда он вас зовет? Он у братьев Максимовых был конторщиком... Вот отчего он против коммунизма... А вы его слушаете... Он хочет опять, чтобы вам хозяева кости ломали... Что он сказал? Хлеба нет... Эка штука — хлеб... Будет он, будет у нас хлеб!.. Я, как себя помню, на пристанях часами глядел на белые-то калачи... Я цену знаю хлебу...

Я лучше не поем хлеба, а революции не продам за его хлеб...

— Верно, верно, — заговорили голоса, закивали головы. К столу продирался третий оратор, — не понять — старый или средних лет, лысый, с благостной бородой. Влез на стол, низко поклонился, надел железные очки, вынул из кармана пыльной черной поддевки сложенный листочек, бережно развернул его и нараспев заговорил, поглядывая на исписанное:

— Человек есть царь природы.. О, боже мой, во что обратился человек!.. В дыму фабричном и в угольной пыли под землей он трудится, как вел-блюд, проливая пот и портя себе легкие... А кучка богачей пирует и предается пресыщению.. Не надо нам кучки богачей... Не надо нам фабрик, заводов и шахт... Они только легкие портят и рашатывают наши нервы. Неужели нам еще и кровь проливать за эти закопченные трубы?.. Давайте разделим заводы, — каждый возьмет, что ему надо, — и разойдемся по селам и деревням, на природу. Займемся хлебопашеством, скотоводством и садоводством. Станем царями природы. И воцарится покой, и кровавая война сама собой прекратится.

Станный оратор снял очки, вместе с бумажкой положил их в карман поддевки, с трудом слез со стола и важно протискался сквозь толпу. Ему давали дорогу. Слова его и то, как он говорил, удивили слушателей. Собрались они сегодня стихийно, как на вече, сзываемые темными слухами.

Было известно, что на фронте — неудачи, враг неуклонно приближается к Царицыну. С хлебом — перебои. И самое тревожное было в том, что никто не чувствовал твердой руки в защите города от нависающей угрозы.

А тут еще разные ораторы разжигали воображение. Чорт их знает — кому верить теперь! Иные влезали на стол сразу по-трое и, ругаясь, спихивали друг дружку.

Зной стоял нестерпимый над покрытым штабелями берегом, убегающим к бледной, широкой Волге, лоснящейся, как горячее масло. Один оратор кричал, что нельзя брать хлеб у мужика силой,

мужик сам знает цену хлебу, а монополия — голодная смерть... Другой, потрясая кулаками, надрывался диким голосом: «Чего нам ждать? Ребята, переизберем советы, не пустим в них ни одного коммуниста... И войне конец, и хлеб будет!».

У стола появился Ерман, лицо его дергалось. С ним подошла широкая костлявая старуха в зеленых штанах, в солдатской рубашке, — из-под красноармейского картуза висели ее кое-как подобранные серые волосы. Это была известная всему «Грузолесу» Саша Трубка, чернорабочая-откатчица, член Царицынского совета и исполкома. Ей закричали:

— Саша, чего штаны надела?

Она отвечала низким голосом:

— Расскажу, потерпи...

Но добродушных было мало: толпа, накаленная речами, заволновалась и теснее начала продвигаться к столу, на котором показался Ерман. Раздавались голоса:

— Дохозяйничались...

— Опять уговаривать пришел?.. Мы сыты!

— Ты брось углублять... Хлеба дай!..

Ерман только обводил матовыми гневными глазами грузчиков, откатчиков, пильщиков, красных от зноя, с дико взлохмаченными волосами, видел под рванными рубашками раскрытые груди с налитыми мускулами. Он любил эту приволжскую вольницу — с размахом чувств во все плечо, и дружную, и своевольную, смеющуюся над благополучием, и грозную, когда ее охватывал гнев против несправедливости. От жизни они требовали и мало, и очень много. Босые и оборванные, потому что на них оставалось только то, что уже нельзя было под горячую руку пропить, — они со страстью переживали все грандиозное. Им везде было тесно. На митингах они обсуждали планы общественных работ: устройство волжской набережной на двадцать пять верст, постройку домов отдыха для всех трудящихся, прорытие Волго-Донского канала. Их легко охватывал энтузиазм, и так же легко — недоверие и злоба.

Ерман сразу понял, что сегодня над этой вольницей поработали враги. Стиснув маленькие кулаки, он заговорил высоким, резким голосом:

— Откричались? Или еще будете кричать? Хлеба нет, и покуда вы сами его не возьмете — хлеба не будет. Рабочие отряды позорно отступают, открывая дорогу врагу на Царицын. Деревенское кулачье открыто восстает против продотрядов. Всякая контрреволюционная сволочь, меньшевики и эсеры, готовится с колокольным звоном встречать красновских генералов. Слушаете врагов советской власти!.. Почему из двадцати тысяч портовых рабочих сформирован только один отряд в восемьсот штыков? Кто будет вас защищать? Кто даст вам хлеб? Никто! Если вы сами этого не хотите.

Ерман допустил ошибку: он рассердился; все, что накопело в нем за эти тревожные дни и бессонные ночи, вылилось в непонятной для толпы ненависти. Он фальцетом выкрикивал слова, дурно произнося их, и точно внезапная трещина пробежала между ним и толпой, — он оказался по эту, слушатели — по ту сторону... Возбужденные люди кинулись к нему... Сделай он ничтожное движение защиты, — его бы стащили и разорвали...

На стол рядом с ним влезла Саша Трубка. Замахала руками на толпу:

— Тише, тише, мужики, не папайрайте... (И — Ерману.) Слезай, — я сама с ними поговорю... Потеснитесь, мужики, дайте человеку дорогу.

Ерман остался стоять у трибуны, опустив голову, тяжело дыша. Саша Трубка вытерла морщинистый рот, разинула кругло бледные маленькие глаза. Ее дубленое, морщинистое лицо было просто душно и простовато, но все знали, что она хитра, умна и зубаста.

— Мужики, бабы, я с вами по-береговому буду говорить. Интеллигентно вы не понимаете... Чего набросились на товарища Ерману? Он кабинетный работник. А я массовый работник, — вы со мной говорите...

Из толпы голос:

— Одна шатня...

И — другой:

— Не трогай ее, а то матерком пугнет...

— И пугну, ничего с меня не возьмешь, сынок, — ответила Саша Трубка, сморща глаз и раздвинув ноги, чтобы ловчее стоять на шатком столе. — Мужик — иголка, а баба — нитка, раньше-то говорили... А теперь — баба иголка, а ты за мной тянись, не серчай...

В толпе засмеялись. Один сердитый голос:

— Командир, — штаны надела... Пройдоха...

Саша Трубка подхватила: «Ага!», — и продолжала балагурить:

— Отчего я штаны надела? А ведь — хорошо! (Голоса: «Повернись!», «Присядь!», «Тесны!», «Лопнут!»). И еще ввернули под хохот совсем уже непечатное.) Я и до этого косо на юбку смотрела... Влезешь на трибуну — сразу тебе горючат: нечего тебе, бабе, соваться... Прихожу в штаб: не пускают в юбку... Я уверяю: я не баба... (Опять голоса пустили непечатное.) Я товарищ боевой, я на хуторах сама ликвидировала две белых банды... И надоела мне юбка, хоть плачь... Сегодня прибегаю домой, сына, Мишки, на стене висит фронтной костюм, надела, взяла наган, и я — здесь...

Из добродушных морщинок на слушателей взглянули вдруг умные, выцветшие, совсем не старушечьи глазки Саши Трубки:

— Побалагурили, — давайте дело... Я уж с моими бабами сегодня гозорила. На лесных пристанях у нас шесть тысяч баб... Работают они лучше вас и голучают больше вашего, мужики...

— Но, но, Саша...

— Ври, не завирайся...

— Лучше, лучше... Бабы мои все организованные. И прогулов меньше, и водки не пьют...

— Врешь, дьявол, сама хлещешь...

— Сама — другое дело... (Опять засмеялись, покачали головами: «Ну и зубаста, на все — ответ».) Шесть тысяч баб да вас тут половина великовозрастных бородачей останутся на деле... Остальным мужикам надо спасать революцию...

Сказала она до того обыкновенно и уверенно, — сразу стало тихо. Теперь ее начали слушать сочувственно — напряженно глядели в ее мужиковатое морщинистое лицо, не хотели пропустить ни слова И кто бы вздумал сейчас пошутить, крепко бы погладили та-кого по затылку.

Саша Трубка, самоучкой выучившаяся грамоте, за свои пятьдесят восемь лет исходившая Россию и батрачкой, и скотницей, и стряпухой, и чернорабочей на лесных пристанях, потерявшая в пятом году трех родных братьев и в великую войну — двух сыновей и мужа, — не растратила ни свежести души, ни сил, и сейчас перед тысячной толпой говорила, как в сердечный час со своими сыновьями. Слова ее были просты и коротки, от волнения у нее морщился по-старушечьи рот.

— Как ни кричи — никто не минует этой страсти. Давайте уж лучше помирать за дело, мужики... Не дадимся, чтобы нам, как гусям, казачишки головы поотвертели. На помощь нам идет большая армия из-под Лихой. Завтра приезжает из Москвы верховный комиссар Сталин. А мы все еще в башке ногтями дерем! Организуйте полк «Грузолеса». Вон и грузовики с винтовками стоят. Разбирай — и завтра на фронт...

Медленно, окутанные пылью, проплыли к трибуне два грузовика с оружием. «Даешь!» — закричали грубые голоса. В толпе началась давка, к матросу, сидевшему на куче ружей на первом грузовике, начали протискиваться добровольцы — все больше, все горячее...

4

Спозаранку разбудило гроыхание телег по будыжнику. Утреннее, но уже беспощадное, солнце резало глаза. Москалев отмахнулся от мух, ходивших пешком по мокрому лицу. «Пить сивуху в такую сатанинскую жарницу — это же прямо самоистязание!..». С минуту, сидя на кровати, глядел под ноги на окурки. Решительно поднялся, натянул синие галифе, тесные сапоги, парусиновую толстовку. Выпил несколько стака-

нов противной желтой воды из графина. Закурив, начал рыться в газетах, лежавших кучей на ночном столике. И газеты, и руки, и, казалось, все на свете было покрыто тончайшей сухой пылью.

Он нашел номер московской «Правды» от тридцать первого мая. Несколько раз, нахмурился, перечел мандат — народному комиссару Сталину, облеченному чрезвычайными правами... Поскреб ногтями полный небритый подбородок. Нетерпеливо закрутил ручку телефона, вызывая личного секретаря.

— Петр Петрович, когда московский поезд? Минут через сорок?.. Ага!. Позвоните там всем, — надо встретить... Уже позвонили? Хорошо, я сейчас под'еду...

Вокзал был дрянной, деревянный, низенький, с выбитыми скошками. На исковырянном перроне — мусор, на ржавых путях — мусор... Поднимется ветер — все это полетит в рожу...

— Хоть бы подмели, все-таки, ай-ай, товарищи, — сказал Сергей Константинович подошедшему к нему члену железнодорожной коллегии. Тот тоже будто в первый раз увидел все это запустение.

— Да, запакошено основательно... Вопрос этот надо поднять...

На перроне появились: длинный, с маленькой головой Ковалевский, Носович, Чебышев; отпыхиваясь, пришел плотный, красный, весь круглый Тулак — командующий царицынским резервом. Пришел Ерман с членами исполкома... Председатели профсоюзов... Собралось человек двадцать пять. Носович, подойдя со спины к Москалеву, спросил осторожно:

— А не вызвать нам оркестр, все-таки?

— Стоит ли? Как-то уж очень получится по-провинциальному...

— Слушаюсь...

Подошел московский поезд. На паровозе — спереди — пулеметы. На платформах — два броневика. В хвосте — платформа со шпалами и рельсами Первым соскочил на перрон комендант — жилистый, черноватый человек, весь в

черной коже, с деревянным чехлом маузера на боку. Ни на кого не глядя, резким голосом подозвал начальника станции.

Затем начали сходить вооруженные винтовками московские рабочие, одежды вразнобой, — в рубахах, пиджаках, кожаных куртках, кепках, — все перепопсанное новыми патронташами. У всех — неприветливые, худые, суровые лица. Без говора, без шуток — стали вдоль вагонов, опустив винтовки лжами на асфальт.

На площадку классного вагона вышел человек в черной — до ворота застегнутой — гимнастерке, в черных штанах, заправленных в мягкие сапоги. Худощавое смуглое лицо его было серьезное и спокойное, усы прикрывали рот. Он взялся за поручень площадки и неторопливо сошел.

Первым, шаря глазами по окнам вагонов, увидел его Москалев. Широко улыбаясь, помахивая протянутой рукой, поспешил навстречу. Взволнованно подошел Ерман. Осторожно, — не доходя трех шагов и вытянувшись, — Носович.

— Здравствуйте, товарищи, — отчетливо сказал им Сталин, и не то веселые, не то насмешливые морщинки пошли от углов его глаз. Он поздоровался, не выделяя никого, со всеми, — не слишком горячо и не слишком сухо. Быстрым движением зрачков оглядел всех, кто был на перроне. — Товарищи, попрошу ко мне в вагон.

Повернулся спиной, поднялся на площадку и скрылся в вагоне, не оглядываясь и не повторяя приглашения. Когда все разместились в салоне, Сталин, раскурив трубку и похаживая около стола, начал задавать вопросы: о запасах хлеба в крае, о работе продотрядов, о предполагаемом урожае, о количестве штыков на фронте, о резервах, о продвижении противника, о его силах — десятки коротких и точных вопросов — Москалеву. Ерману, Тулаку, Носовичу... Когда тот, кого он спрашивал, начинал пространно разжевывать, — Сталин прерывал:

— Мне нужны цифры, объяснений не нужно...

Собеседники его понемногу убеждались, что ему, должно быть, все уже известно — и состояние на фронтах, и цифры хлебных излишков, и все непорядки и неполадки, и даже то, чего не знают они, царицынские вожди...

Беседа продолжалась долго. Москалеву очень хотелось бы перейти к общереволюционным темам: с жаром, большими словами, как он умел, поговорить так, чтобы показать москвичу, что здесь тоже не лаптем щи хлебают. Но он никак не мог разорвать круг оцепляющих его точных, анализирующих вопросов. Было непонятно — куда клонит Сталин.

Носович сидел настроенно, не курил предложенных московских папирос, ствечал сухо и точно, и несколько раз, — показалось ему, — поймал на себе быстрый, из-под приподнятых нижних век, острый взгляд Сталина. На вопрос — чем он объясняет успех противника за последние дни — Носович ответил осторожно:

— Еще месяц тому назад казаки стреляли самодельными снарядами. Я буду иметь удовольствие показать вам снаряд, сделанный из консервной банки, — музейный курьез... Теперь они получили хорошее снаряжение и отличные пушки. Вопрос решается перевесом огневых точек на фронте...

— А не объясните вы наш неуспех недостаточной политической подготовкой? — спросил Сталин. — За огневой точкой сидит человек. Сколько ни будь у полководца огневых точек, если его солдаты не подготовлены правильной агитацией, он ничего не сможет сделать против революционно воодушевленных бойцов — даже с гораздо меньшим количеством огневых точек.

Чтобы обдумать ответ, Носович взял папироску и чувствовал теперь, что Сталин уже не мельком — пристально разглядывает его.

— Я согласен, что это — новая тактика революции. — Он постарался твердо ответить на взгляд Сталина. — Но под огнем неприятеля трудно перестраивать психику бойца. Под огнем неприятеля он больше верит пушкам, чем книжкам. В тылу, при формировании, разумеется, воспитание — это все..

У Сталина снова побежали морщинки от век на виски, он отвернулся от Носовича, чтобы выколотить трубку, и — как бы мимоходом:

— Где и перестраивать психику, как не под огнем неприятеля, там-то и перестраивать... Теперь, товарищи, я попрошу остаться товарищей Москалева и Ермана.

И он стал прощаться за руку со всеми. Когда в салоне остались только Москалев и Ерман, он сел к столу, ладонью стряхнул пепел с клеенки.

— Здесь, на путях, — маршрутный состав с зерном. Давно он стоит?

Ерман вспыхнул, точно его ударили по лицу. Москалев ответил, прищуриваясь на окно:

— Дня два, три...

— Больше, — сказал Сталин. — Одинадцать дней. Почему он не был отправлен?

Москалев нахмурился, пальцы его застучали по клеенке.

— Во-первых, у нас были сведения, что дорога около Поворина перерезана казаками... Во-вторых, при создавшейся военной обстановке, когда мы можем оказаться буквально в осажденном городе, я не мог рисковать — остаться без хлебных запасов... Вчера рабочие устроили такую бузу...

Он засопел носом, ожидая, что Сталин начнет спорить. Но Сталин не стал спорить. Он спросил еще:

— В городе свободная продажа хлеба?

— Ну да...

— Чем это объясняется?

Москалев гуще засопел, но понял, что спориться не надо.

— Тем объясняется, товарищ Сталин, что вы мало знаете наши особенные условия. В городе тысяч сто разных обывателей, мецдан, словом... Кто там в огороде ковыряется, кур щупает, торгует по мелочишке... Да тысяч десять беженцев... Посади я их всех на паек — ну и назавтра разнесут совет... Хуже того — отряды повернут с фронта: у каждого здесь папаша, мамаша...

Сталин повернул голову к молчавшему, опустив глаза, Ерману.

— Вы тоже так думаете?

— Нет, я не так думаю, — резко ответил Ерман. — Считаю положение в городе ненормальным...

— Вот видите — уже два различных мнения... — Сталин достал из папки листочек. — Это получено сегодня в пути. — Он положил на стол перед Москалевым телеграмму, подписанную Лениным:

«О продовольствии должен сказать, что сегодня вовсе не выдают ни в Питере, ни в Москве. Положение совсем плохое. Сообщите, можете ли принять экстренные меры, ибо кроме как от вас добыть неоткуда».

— Мое предложение, — сказал Сталин (покуда Москалев читал телеграмму и затем молча подвинул ее по столу — Ерману), — поставить в исполкоме вопрос о прекращении безобразного разбазаривания хлеба. Пролетариат в Москве, в Иванове, в Питере получает осьмушку. Владимир Ильич телеграфирует, что и этой осьмушки уже не выдают. Это означает, что в опасности не только эти города, но в опасности революция. Ради удобства десяти тысяч беженцев в Царицыне мы не можем лишать революцию хлеба...

— Посадить Царицын на паек! — Москалев попробовал толкнуть от себя стол, он не сдвигался. Он тяжело влез, прошелся, подпернул галифе: — Мы тем и горды, что в кошмарных условиях, когда вся контрреволюционная сволочь кричит: «большевистское хозяйство — это голод и разруха!», — превратили Царицын в цветущий город... Заводы вырабатывают почти пятьдесят процентов довоенного, — это при наличии фронта. Увеличена сеть школ... Профсоюзными организациями охвачены почти все массы трудящихся... Колоссально поднято женское движение... Проводятся мероприятия по созданию общественных работ.

— Ты забыл еще музыку на бульварах, — перебил его Ерман дрожащим голосом, — офицерские кабаки с танцами... И что соль спекулянты вздули уже до ста рублей пуд.

— Накипь! Это накипь! — крикнул Москалев. — Раздавим! — Он покоился на Сталина, — тот невозмутимо

попыхивал трубкой. — Вопрос гораздо глубже... Царицынский пролетарий сам, своими руками, строит свое будущее... Царицынский пролетарий верит мне, Москалеву, что я доведу его до окончательной победы. А я посажу его на голодный паек, я брошу его в общероссийский котел... Потому, что иваново-вознесенские рабочие получают осьмушку... Он этого не поймет...

Говоря все это, Москалев «учитывал» впечатление, и оно складывалось не в его пользу. У Ермана рот искажался брезгливой гримасой. Сталин спокойно предоставлял высказываться, но что-то непохоже было, что этого человека можно пошатнуть. С веселыми глазами, осведомленный, непроницаемый, — хоть и не нажимает на чрезвычайные полномочия, но они у него в кармане. И, пожалуй, не попасть с ним в ногу — оставит позади.

Боковые мысли не влияли, разумеется, на горячность слов Сергея Константиновича, но, замечая, что впечатление совсем уже становится неважным, он осторожно начал «спускаться».

— Говорю все это, товарищ Сталин, к тому, чтобы вы учли всю сложность ситуации, стоящей перед нами... Мы с вами здесь в особенных условиях. Здешний пролетариат корнями связан с деревней, с обилием хлеба, — это Волга, всероссийская житница... Поймут ли? Боюсь, боюсь...

— Волков бояться — в лес не ходить... Не разделяю ваших опасений, Сергей Константинович, — весело сказал Сталин, как будто довольный, что известный этап уже пройден. — Рабочие поймут, если им объяснить. Рабочие прекрасно поймут, что хлебная монополия и карточная система тяжелее, пожалуй, чем драться в окопах, но они поймут, что это и есть сейчас главный фронт революции... И они принесут эту жертву, если им хорошо и толково разъяснить...

Москалев, усмехаясь, помотал головой. Сел к столу...

— Задачку вы нам ввернули, товарищ Сталин... С чего же реально, с каких мероприятий, думаете, нам начать?

— Мое предложение — начать с созыва общегородской партийной конференции.

— Когда?

— Завтра. Зачем откладывать...

— Повестку дня успеем составить?

— Утром — часиков в семь — приезжайте оба...

— В семь утра? (Москалев залез пятней в волосы.) Тогда я сейчас же поеду... Надо продумать, подготовить материалы... — Он запнулся и вопросительно взглянул.

Концом трубочного мундштука Сталин начал проводить по клеенке черточки, как бы строчки.

— Вопрос об осуществлении монополии и карточной системы; борьба за транспорт; усиление военного командования; борьба с контрреволюцией; укрепление партийной организации и развертывание массово-политической работы; борьба против распущенности, смятения и хаоса. Повестка будет большая...

Сталин поднялся и опять — по-товарищески просто — пожал руки Москалеву и Ерману. Уходя, Москалев задержался в дверях на секунду, но не обернулся, — хотя он на хвост себе наступать никому не позволял, кашлянул густо, тяжело спустился с вагонной площадки и, только уже развалась в машине, проговорил: «Да-а-а».

К этому времени вагон Сталина, отведенный на запасные пути, был включен в городскую телефонную сеть. Сталин начал работу. Два его секретаря, молчаливые и бесшумные, вызывали по телефону председателей и секретарей партийных и советских организаций, учреждений, готовили материалы, стенографировали, впускали и выпускали вызванных... Председатель Чека влез в вагон веселый, как утреннее солнце, ушел с другой площадки — бледный и озабоченный... Председатель железнодорожной санитарной коллегии, не дожидаясь вызова в вагон, распорядился подмести вокзал и перрон, для чего был послан грузовик в слободу за мешанками. В порядке общественной нагрузки их привезли вместе с метлами, от страха и досады они подняли такую пыль,

что пришлось отказаться от этой формы борьбы с антисанитарным состоянием.

Весь день шли разные люди по ржавым путям, спрашивая вагон Сталина. Составлялась полная картина всего происходящего в городе, в крае и на фронтах. К ночи стали приходить рабочие: представители фабричных комитетов и некоторые одиночные низовые работники.

И только, когда за изломанными станционными заборами, за решетчатым виадуком, за убогими крышами, за темной Волгой разлился зеленый свет и разгорелась безоблачная заря, — в сталинском вагоне погас свет — сразу во всех окнах.

Утром была послана телеграмма — вне очереди — Москва, Кремль, Ленину: «Шестого прибыл в Царицын. Несмотря на неразбериху во всех сферах хозяйственной жизни, все же возможно навести порядок. В Царицыне, Астрахани, в Саратове монополия и твердые цены отменены советами, идет вакханалия и спекуляция.

Добился введения карточной системы и твердых цен в Царицыне. Того же надо добиться в Астрахани и Саратове, иначе через эти клапаны спекуляции утечет весь хлеб. Пусть Центральный исполнительный комитет и Совнарком в свою очередь требуют от этих советов отказа от спекуляции.

Железнодорожный транспорт совершенно разрушен стараниями множества коллегий и ревкомов. Я принужден поставить специальных комиссаров, которые уже вводят порядок, несмотря на протесты коллегий. Комиссары открывают кучу паровозов в местах, о существовании которых коллегии не подозревают. Исследование показало, что в день можно пустить по линии Царицын — Поворино — Балашов — Козлов — Рязань — Москва восемь и более маршрутных поездов.

Сейчас занят накоплением поездов в Царицыне. Через неделю объявим «хлебную неделю» и пустим сразу около миллиона пудов...

... Послал нарочного в Баку, на днях выезжаю на юг. Уполномоченный по то-

варообмену... сегодня будет арестован за мешочничество и спекуляцию казенным товаром...».

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

1

— Стой!.. Кто идет?

— Боец.

— Имянно?

— Агриппина Чебрец...

Засмеялись грубо. Из темноты выдвинулись двое вооруженных.

— Идешь куда?

— Ну, на озеро.

— Это что у тебя?

— Ну, белье...

Они разглядывали Агриппину.

— Почему — не на посту?

— Отряд в резерве.

— Покажи-ка...

Один протянул руку, потрогал туго свернутый подмышкой у нее узелок. Другой спросил, кивнув плохо различимым лицом на ее винтовку:

— Номер оружия?

Агриппина быстро отодвинулась, сквозь зубы ответила. Ей уже начинали не нравиться эти двое. Нащупала шейку винтовочного ложа. Тот, кто спросил про номер, сказал угрожающе:

— Ступай за нами.

Только сейчас Агриппина сообразила: эти двое — должно быть — из отряда «Буря». Их эшелон двигался впереди шахтерского. Про них рассказывали дурное, будто по ночам они затаскивают к себе девчонок и будто несколько девчонок так пропало.

— По какой причине я должна идти за вами?

Опять тот же, — не разжимая зубов, многозначительно:

— Причину узнаешь...

Их было двое, она одна, — далеко от железнодорожного полотна зашла в пустую степь, ища озеро... Давеча на закате оно краснело сквозь камыши где-то в этой стороне. Было поздно... Огни костров, где эшелонные жители варили ужин, давно погасли. В степи только потрескивали кузнечики. Агриппина шла стирать ивановы рубашки. Днем ей, как

бойцу, было стыдно возиться с мужицким бельем. Стирала ночью, когда никто не видит. Шла по тихой равнине, серой от света звезд, думала о себе, об Иване. Все-таки была же она девкой, и было ей девятнадцать лет, и теплая звездная ночь, звенящая кузнечиками, пахнущая польнью, казалась ей — после дневной перестрелки с казаками, целого дня злобных криков и матерщины, — казалась ей прекрасной: Агриппина шла и напевала... И вдруг — эти двое — бандиты!..

Агриппина поняла, наконец, что им нужно от нее, — до того возмутилась, начала их ругать. Они стояли в десяти шагах. Один тихо сказал что-то другому. Агриппина не успела сорвать с плеча винтовку, — они кинулись на нее — головами вперед...

Хорошо, что на ней по ночному времени была только одна перепоясанная сорочка — ни штанов, ни тяжелых сапог. Как кошка, она увернулась, отскочила, пустилась бежать, летела, втягивая ноздрями степной ветер. За спиной, как будто, отдалялся топот. Ждала — выстрелит... Вдруг сообразила — а ведь топочет за ней только один... А другой? И тогда различила совсем близко за спиной торопливое посапывание, легкое стремительное оттаптывание босыми ступнями...

Она вильнула в сторону, мельком взглянула через плечо: за ней, не отставая, бежал человек, совсем запрокинув голову, работая плечами... Бежал, не глядя на нее, будто по струе горячего запаха, — жилистый, настойчивый, бежал, как бывает во сне... Страх, какой бывает только во сне, метнул ее вправо, влево... Человек легко повторил это — свернул вправо, влево... Чувствовала — сейчас потеряет голову... Прижимала тяжелую, мешающую бежать, винтовку... Дышала во весь раскрытый рот...

Вдруг сухой полярный ветер посырел, пахнуло болотом. Отражения звезд поплыли из-за черной стены камыша. Агриппина прыгнула в топкую тину, разрывая голыми коленями осоку, разбрызгивая воду, вбежала по пояс, по грудь, по шею, — подняв над головой

винтовку, гребя правой рукой — поплыла...

Человек — все так же — за ней... Но в воде она далеко опередила его. Волоча за собой скользкие плети кувшинок, вылезла на обрывистый бережок. Человек — на середине озера — перестал барахтаться, глядел на нее, вода вокруг него успокоилась, снова отражая звезды. Над водой торчала его небольшая голова. Хриплым голосом проговорил:

— Не надо, не стреляй, я же с добром... Сволочь, не стреляй!

Зажмурясь, Агриппина выстрелила, понимая, что мимо... Не оборачиваясь — опять побежала... Теперь было совсем тихо, и ей стало досадно: бегать по степи от мужиков! До того досадно, что споткнулась. Осторожно положила винтовку, стащила через голову рубашку, выжала, опять надела. И уже пошла степенно, как полагается бойцу.

А узелок-то? Обронила! Вот тебе и выстирала! Мать родная, да как же теперь: Иван лег спать в вагоне, велела ему снять рубашку, — к утру, мол, высохнет. Батюшки, — ему теперь голому ходить!

Агриппина так расстроилась — опять положила винтовку, села на землю, грызла стебелек. «Надо бы сразу, как остановили, в обои и пугануть... Верст пять продрала со страху... Мать родная, — в отряде завтра все узнают, проходу не дадут!».

Агриппина сидела, пригорюнься. Все тело ее гудело от беготни. Над пепельной степью из-за неразличимого горизонта всходила большая желтая звезда. До сегодняшней ночи Агриппина ничего такого не сделала, чтобы над ней смеялись. Несла службу наравне с другими, а в смысле дисциплины ее даже помянули, как пример, перед фронтом.

Две недели прошло с тех пор, как ворошиловские эшелоны прорвались через Лихую. Эшелоны медленно — версты три, пять, иногда и десять верст в сутки — ползли на восток. Отряды, раскинутые фронтом вокруг эшелонов, вели непрерывные бои, отбивая нападающих казаков. Обычно казаки начинали тревожить красных на рассвете,

когда у бойцов заводились сном глаза и когда было еще настолько темно, что казачу можно уйти на коне от пулеметного огня.

Эшелоны уже миновали Белую Калитву, — где задержались с неделю с починкой моста через Донец, — и приближались к станции Морозовской. Здесь не только в рассветный час, но и днем завязывались бои. У казаков появилась артиллерия, и все большие массы их скоплялись в степных оврагах.

Агриппина несла двойную службу — и как боец, и как сиделка. Тогда ночью под Лихой она с товарищами вынесла из окопа огромное, тяжелое тело Ивана Горы. Никто не верил, что он жив. Очнулся он только в вагоне.

Иван был контужен и в нескольких местах ранен осколками снаряда. Агриппина выходила его, а еще вернее, что ему слишком хотелось жить и сил у него хватило бы на двух людей. Раны его теперь затягивались, от контузии осталась только судорога: сворачивался нос и дергалась щека. Эта судорога переворачивала у Агриппины сердце: вышел он с этой печатью из смерти в ту ночь, когда горели мельницы. Тогда ей как будто и не было страшно: красноватая степь, неподвижное тело Ивана, впереди — немцы, бегущие с лезвиями. Но в воспоминании осталась тоскливый ужас.

Подняв голову, Агриппина глядела на желтую звезду, — от нее стало яснее в степи. Агриппина по этой звезде соображала — в какой стороне железнодорожное полотно... Скоро, должно быть, начнет светать. Повернулась всем телом на восток, — край земли в той стороне ясно уже отделялся от ночного неба. «Немного рассветет — надо найти узелок... Не найдешь — лучше в озеро головой...».

От сырой рубашки было хорошо — прохладно. Агриппина прилегла щекой на согнутый локоть и, не отрываясь, глядела на восток. Под кустиком полыни, как нанятый на свадьбу, потрескивал кузнечик: девки все песни отпели, все уже спать полегли, а он все пиляет...

Агриппина одурело вскочила. Большое солнце глядело в ее разинутые глаза, приподнимаясь над краем степи, изрытой теньями. Вдалеке стучал пулемет. Агриппина подняла винтовку, подолом рубашки отерла от росы ствол и затвор... «Батюшки, да как же в рубашке-то вернуться?».

Она торопливо пошла к темнозеленым камышам. Обогнула озеро. Отыскала свои следы, где вчера кинулась с берега. Пошла, вглядываясь: где-нибудь здесь должен валяться узелок...

Поезда стояли отсюда верстах в двух, растянувшись до горизонта. Были видны дымки костров: там начиналась дневная жизнь, — варили кулеш и картошку, отвязывали скотину от вагонов, гнали на водопой, развешивали пеленки на вагонных площадках... Бойцы вылезали, кричали, подтягивали штаны. Чистили оружие. Кричали командиры, собирая отделения — на смену тем, кто провел ночь на фронте...

«Мать родная, Иван не евши, раздевши, — бормотала Агриппина, — ну, соври чего-нибудь, только узелок найди...».

Отряды — по отделениям — кучками двигались в сторону озера (где ночью барахталась Агриппина). В той стороне — за бурой возвышенностью — слышались пулеметы. Казаки опять наседали.

Прищурясь, Агриппина узнала свой эшелон, — в хвосте три платформы, на средней блестит зеркало. У эшелона сбивалось много народа... Будто обручем стиснуло ее стриженую голову: «И на переключку опоздала, теперь — дизентир, не оправдаешься...».

Решительно кивнув, Агриппина пошла прямо к эшелону. Народ оттуда полз в степь, растягивался в цепочку. «Ой, мама родная!». У Агриппины отлегло: народ, то-есть весь их шахтерский отряд, и женщины, и дети становились цепочкой от эшелона до озера, чтобы наливать воду в паровоз. Значит, можно успеть добежать до вагона, надеть штаны, сунуть Ивану чего-нибудь пожевать, попить, явиться к командиру и отрапортовать, что проспала... «И получу наряд — трое суток — и очень славно...».

С бегу Агриппина споткнулась, — на земле валялся хороший пиджак...

«Это он скинул, дьявол, когда гнался...». Вспомнила, как, закинув голову, бежал за ней человек, и холодком дернуло по спине... «Пригодится Ивану» — подумала, поднимая пиджак, и неподалеку увидела и свой узелок...

В вагон Агриппина влезла, не зная еще, как ее Иван начнет ругать. Решила сразу же отдать ему находку — бандитский пиджак, — там в карманах что-то брэнчало. Иван лежал на жесткой койке, подняв колени, по пояс голый. Покуда Агриппина шла к нему по желтому опустевшему вагону, он приподнялся на локтях, осунувшееся лицо его будто залилось солнцем...

— Ну, что же ты, голубка, — только и сказал, взял ее шершавую небольшую руку. Отвернулся — оттого, главное, чтобы не видела, как у него своротило нос, задергалась щека...

У Агриппины тоже засвербило в носу, но — упаси боже — зареветь... Сказала грубым голосом:

— Ну, чего, чего, — обронила в степи узелок с твоими рубашками, всю ночь — дура — и проискала, да вот чего нашла...

Положила бандитский пиджак на койку. С верхней полки достала две холодные картошки.

— Ты поешь, подремли, а мне — воду наливать в паровоз...

Из-под изголовья у Ивана вытаскала свои штаны, живо оделась, побежала искать командира...

Цепочка людей растянулась версты на две. По ней — из рук в руки — ходили ведра, большие жестянки из-под солонины, глиняные горшки, всякие сосуды — вплоть до граммофонного рупора, заткнутого снизу тряпочкой. Передние зачерпывали воду в озере и пускали по рукам, задние подавали воду кочегару, и он лил в посапывающий паровоз.

Такие же цепочки потянулись и от других эшелонов. За бурой возвышенностью, как дятлы, с передышками — стучали пулеметы. Когда изредка прокатывался удар орудия, — люди только поднимали головы. Обыденная

жизнь эшелонов шла чередом. На носилках стали подносить раненых. Одна женщина, увидев на носилках мужа, закричала, бедная, до того страшно — заплакали дети. Вдоль эшелонов по пыльной дороге потянулись на восток телеги со шпалами и рельсами. Белые казачишки опять этой ночью впереди разобрали путь. Они развинчивали с одного конца рельсы, привязывали к ним стальной трос и на волах тянули, сгибали их, выворачивали вместе со шпалами. Броне-поезд «Черепеха», шедший в голове эшелонов, держал путь под обстрелом, но далеко отходить опасался, боясь таким способом быть отрезанным.

Паровозы были налиты, цепочки разбрелись. Озеро теперь было полно купающихся стриженных, коричневых ребятишек, — визг, плеск, хохот... Женщины стирали белье. Вдоль полотна начали дымить голубоватыми дымками костры из сухого навоза. Варили обед. Мужики лениво сидели на насыпи под вагонами в холодке. Был полдень, зной, когда в тишине проносятся ошалелые большие мухи...

И вдруг, разрывая зной, начались тревожные свистки паровозов. Они скликали весь народ по вагонам. Женщины у кипящих котелков замахали ложками:

— Погодите вы, дьяволы! Куда же — обед нам бросать... Машинист, подожди немного...

Голые ребятишки бежали с озера, махая рубашонками. Рысью сгоняли скотину со степи. Поезда дергались, трогались, ползли версты с две или больше. И снова, скрежеща, останавливались надолго.

Каждую версту пути приходилось брать с бою: то разобран путь, то в близлежащих оврагах засели казаки с пушкой. О богатствах, увозимых 5-й армией, летели по станицам преувеличенные слухи: сахару, будто бы, в эшелонах было сто тысяч пудов, соли целые вагоны и несметно — всякой одежи, скобяного товара, золота в бочонках.

Такая добыча разжигала казачью зависть. Генералы Мамонтов и Фицхе-

лауров говорили по станицам, что нельзя партизанить, разбивать силы, по-собачьи вгрызаться 5-й армии в зад, — нужно уничтожить ее всю в решительном бою, а добычи хватит на целый округ. Мамонтов стягивал силы к Дону, — туда, где был взорван железнодорожный мост. Там 5-я армия — с отрезанным путем отступления — должна быть запертой среди окружающих высот и уничтожена...

К вечеру, когда эшелоны опять остановились, Агриппина забежала в вагон к Ивану, принесла поесть. Он опять взял ее руку в свои большие руки, лежавшие на животе.

— Ну, рассказывай — чего делается на белом свете?

— Соврала командиру — будто проспала, дал сутки наряду.

— Ай, ай, — врать! Боец должен мужественно сознаваться.

— Да ведь я для того, чтобы ребята не смеялись... Нет уж, кончим войну, — в армии не останусь... Молода я чересчур для этого.

— Не то, что ты молода, а что чересчур красива, — сказал Иван серьезно. (Она досадливо мотнула стриженной головой.) — Мы ведь тоже люди... Одно меня утешает, Гапа, — стал я тебя уважать. Конечно, я и тогда тебя любил... Теперь — особенно... (Не сильно сжал ее руку.) Бой, смерть, кровь — это паяет человека с человеком... Правда, говорю?

— Конечно, — рассеянно повторила за ним Агриппина, и опять ей вспомнилась ночь под Лихой... Вздохнула:

— Иван, мне надо в наряд...

Он тихо засмеялся, отпустил ее руку.

— Иди... Да, Гапа... Ты мне чей пинжак-то принесла? (Она заморгала, не ответила.) В карманах — смотри, чего нашел... (Из-под изголовья вытащил золотой портсигар, часы, клубок золотых цепочек.) Ты в самом деле нашла это?

— Что я — ограбила?

— И еще одну вещь обнаружил в кармане — поважнее... Ты пойди к командиру, скажи, чтобы он ко мне зашел — немедля...

2

В станице Морозовской стояло до пяти тысяч распряженных телег. Табуны коней бродили по выгону. Во всех хатах — говор. У всех ворот — кучки мужиков и казаков, — покуривание, разговоры, хлопанье калиток. Ошалелая девка идет с коромыслом, косясь на незнакомых людей, — ее сейчас же обступают бородатые, усатые, рослые, и она уже бежит назад, смеясь и громыхая пустыми ведрами. Скрипят колодезные журавли. Рысью на рыжем вислозадом меринке — на одной попоне, без стремян — проезжает командир какого-нибудь отряда — грудастый, пышащий здоровьем и силой, в нагальном кожухе, накинутом на одно плечо, в подшитых валенках, но взглядом беспощадных светлых глаз и решительной речью природный командир... Пыля ногами, сталкиваясь оружием, шагает кучка утомленных бойцов.

В станицу Морозовскую вошел трехтысячный отряд донских крестьян — иногородних. Собрал их Яхим Щаденко, когда отступал от Каменской, грунтом пробиваясь на восток через восставшие станицы. По пути вербовал бедноту и однолошадников, иногородних и казаков, и они уходили к нему с конями и телегами, спасаясь от мамонтовской мобилизации. В Морозовской они должны были соединиться с армией Ворошилова и получить оружие. Сегодня на заре подошли бронепоезд «Черепаша» со штабными вагонами, и один за другим стали подтягиваться — впритык — шумные эшелоны и груженные составы...

В вагоне Ворошилова собрался военный совет. Сведения поступали самые неутешительные. В двадцатых числах мая Ворошилов послал Артема с товарищами в Царицын, чтобы связать в одну задачу царицынский фронт и свое отступление. Много раз обстрелянный в пути, трехвагонный состав Артема пробился к Дону и благополучно переехал мост. На другой день белые напали на станцию Чир, отбросили отряды царицынских рабочих на левый берег и взорвали мост через Дон. Что делалось

в Царицыне — теперь было неизвестно, вернее всего — делалось плохое. Морозовцы рассказывали о сосредоточии крупных мамонтовских сил в станице *Нижнечирской и в станицах — выше взорванного моста — Калаче и Пятиизбянской*. Начальник станции утверждал, что царицынцы отошли от Дона и отдали хутор Логовский (у самого моста) и левобережные хутора — Ермохин, Немковский и Ильменский — и даже, будто бы, отошли за станцию Кривая Музга, так что белые теперь под самым Царицыном.

У Ворошилова собрались командиры отрядов 5-й армии и наркомы несуществующей более Донецко-Криворожской республики. Настроены были мрачно. Говорили, что отряды вымотались в ежедневных боях, а самое трудное оказывается впереди: разбить сильнейшего, хорошо снаряженного немцами, противника и уткнуться во взорванный мост. Была бы помощь царицынских заводов... Но Царицын, вернее всего, уже — Митькой звали. Чинить железный мост голыми руками можно только дуракам... А хотя бы и начали чинить — нужно полгода на это, полгода кормить в голой степи ораву беженцев, полгода отбиваться от казаков. Предприятие неосуществимое...

У всех почти одно было предложение: эшелоны с имуществом и беженцев оставить в Морозовской. Отрядам, каждому на свой риск, пробиваться окружными путями на левый берег. Если Царицын еще цел — собираться в Царицыне, а в худшем случае — итти на Северный Кавказ, где красных сил много и можно воевать.

Говорили резко и категорично. Ворошилов молчал, опустив глаза, лицо его было в красных пятнах. Рядом с ним, положив широкие руки на эфе́с шашки, сидел Яхим Щаденко — небольшой, коренастый, наголо обритый, похожий обветренным, крепким лицом на кречета.

Высказывались все, кроме позевывающего Пархоменко, кроме Коли Руднева, занятого каким-то неразборчивым письмом, и Лукаша, — этот провел десять дней в арьергардных боях, весь был

оборванный, грязный, — подперев щеку, привалился в угол — спал.

— Товарищи, — сказал Ворошилов, поднимая голову, — сейчас мы все пойдем на собрание с морозовцами... Там в основном будут подняты те же вопросы. Там я вам и отвечу... Но вот что сейчас не терпит промедления... (Руднев мальчишески улыбнулся, протянул ему письмо.) Покуда у нас нет единой базы снабжения — нет и дисциплины... Мы должны теперь же произвести учет всего имущества эшелонов. Здесь, в Морозовской, мы должны создать единую базу снабжения армии. Образована особая комиссия учета, в нее входят товарищи Руднев и Межин. Этим товарищам вы доверяете? («Доверяем, доверяем».) В штаб армии передано вот это письмо... — Он разгладил на столе запачканный листочек, исписанный чернильным карандашом. — Это письмо нашли в пиджаке одного из анархистов из отряда «Буря». Впрочем, оно подписано...

Руднев, — близоручо наклонившись: — Фамилии нет, Клим, подписано просто — «Рыжий»...

— Это дела не меняет... Письмо адресовано какой-то Жене, в Одессу...

Руднев опять:

— Позволь, я уже разобрал.

Ворошилов подвинул ему письмо, и Руднев, морща нос, начал читать.

«Женька, дорогая... Мы который месяц тащимся в своих блиндированных вагонах. Я уже не рад, что связался с анархистами, — половина заядлые бандиты и все такое, словом — сифилитики. Шестерых мы по дороге уже прикончили. Для тебя берегу скуновскую шубу; купи ее в Харькове, в буржуазной квартире. И еще тебя ждет что-то... Так по тебе скучаю — все бы кинул к чорту. Жалко, с собой много не возьмешь. У нас золота в монетах и плавленного — двенадцать бочонков, меховое барахло и сукно диагональ — во семьсот аршин, — купили в Елисаветграде. Вернусь в Одессу — мы с тобой погуляем, только, сука, не гуляй с другими, — я об этом подумаю — вся кровь свертывается... Нашему отряду надоела эта петрушка: вчера на конфе-

дерации единогласно пришли: ликвидировать Ворошилова и весь штаб. Тогда армия сразу разбежится, наш блиндированный эшелон будет пробиваться, куда хочет».

— Вот все существенное из письма, — сказал Руднев и покосился на Климента Ефремовича. Ворошилов слушал, прикрыв глаза рукой, — по сжато му рту было видно, что едва сдерживается: что-то его в этом письме насмешило. Проведя по глазам, сказал:

— Товарищи, документ красноречивый... Я предлагаю комиссии начать работу сейчас же...

Несколько тысяч крестьян — иногородних, старых фронтовиков, казаков окружало станичный совет, где делегаты и восемнадцать командиров восемнадцати отрядов из восемнадцати волостей, откликнувшихся на призыв Яхима Щаденко, заседали вместе с командирами 5-й армии.

Окна были раскрыты, и толпа, поднимаемая пыль под знойным солнцем, размахивая винтовками, а то и косами, топорами, кольями, — поддерживала выступление своих. Сразу же обнаружилось расхождение: морозовцы и слушать не хотели — итти с эшелонами в Царицын...

— Чего мы там не видели? — говорили некоторые командиры. — Здесь у нас своя земля, свое хозяйство... Не для того поднялись, чтобы оставлять станичникам наши хаты... Будем воевать за свое.

— Даешь оружие! — ревела толпа за окнами...

Щаденко, сидевший насупленный и мрачный — сбоку стола, стукнул шашкой о пол:

— Залупить в бога, в веру, в мать — это и я могу, хлопцы. Не в крике дело. Давайте говорить спокойно... Оружие будет дано, если наш отряд войдет в состав 5-й армии...

Командир — в кожухе на одно плечо — бешено закричал ему с места:

— Кто она такая 5-я армия, чтоб нам приказывать?!

В окна просовывались бородатые дядьки:

— Хлопцы, не ходите под красных генералов!

Щаденко, — стучая шашкой, наливаясь кровью:

— А такая она 5-я армия, что у них восемь тысяч штыков, а у нас — три, у них — пулеметы, а у нас — вилы да косы.

Более разумные отвечали ему:

— Мы тебе верим, Яхим... Да ты хитер, а мы не проще тебя. Что ж, — формируй из нас дивизию. Но так, чтоб при каждой части было бы два командира — один от Ворошилова, другой от нас...

В окна — дядьки:

— Станичники нам и сейчас предлагают мировую — хотят с нами землю делить... Нам только оружие дайте!

Чем дальше разговаривали — тем злее упрямылись морозовцы. Но вот к столу подошел человек с подвязанной рукой, — на маленьком, заросшем щетиной, лице его заметны были одни глаза: пристальные и неподвижные. Тихим голосом и плохо по-русски он заговорил, придерживаясь за край стола:

— Я сербский коммунист... Я работал на Украине и побежал. Я бежал два месяца, и я хочу говорить о плохих делах, которые я видел на Украине... Немцы сказали помещикам: вернитесь. И помещики вернулись. И взяли обратно всю землю и весь урожай... Но этого мало. Крестьян надо наказывать. Я видел эти плохие дела. На свеклосахарном заводе пришел помещик и пришел немецкий лейтенант. И там стояло много бочек. Лейтенант сказал, чтобы привели крестьян, которые должны быть наказаны... Их привязали к бочкам, и гайдамаки снимали с них штаны и секли их шомполами. Они наматывали на штык волосы и вырывали. Были ужасные крики и ревение. Один крестьянин взял у помещицы Петровской зеркало. Оно не влезало в хату, он поставил его в коровник, корова увидела себя в зеркало и разбила рогами. Когда помещица Петровская вернулась, она велела этого мужика повесить около его хаты, и ему на шею привязали раму от разбитого зеркала. Другой крестьянин взял

жеребца. Потом он привел его к помещику и просил простить его, помещик велел привязать крестьянина к хвосту, сел на автомобиль и погнал жеребца в степь. Это я видел, как мужик бежал за жеребцом и потом упал... Я видел, как в селе хоронили убитого гайдамака. Помещик велел всем крестьянам и крестьянкам идти за гробом и громко плакать, и, чтобы они громко плакали, гайдамаки их били нагайками... Я могу много рассказать, что я видел, но я думаю, что и этого будет достаточно... Вот что принесли немцы на Украину. И они принесут это вам, если вы не захотите организоваться... Ленин говорит: «Наш способ борьбы — организация и организация...».

В помещении и за окнами в тишине — слушали слабый голос серба. Он улыбнулся, неожиданно открыв на заросшем черном лице зубы, как сахар, оторвал руку от стола и пошел на место.

Тогда встал Ворошилов. Осунув тугой кушак, повернулся к окнам, чтобы его могли хорошо слышать:

— ... Немцы захватили на Украине военные склады царской армии. Теперь они посылают целые эшелоны винтовок, пушек и огнестрельных припасов в Новочеркасск атаману Краснову. А он снабжает этим оружием восставшее казачество. Красновские генералы еще год назад стреляли из этих пушек по немцам, теперь стреляют по вас, мужики, из тех же пушек... Они выполняют волю немцев — оккупантов... Мы вывезли из Харькова и Луганска все оружие, чтобы оно не обратилось против вас... Ребенок поймет, что если мы бросим наши эшелоны — их подберут казаки и из наших ружей и пушек будут расстреливать всю трудовую громаду и на Украине, и на Дону, и в Великодержавии... Значит — наша первая задача: вывезти оружие и передать его революционному рабоче-крестьянскому правительству... Понятно? А это возможно, если мы обратимся к Царицыну и соединим наши силы с царицынским гарнизоном... Здесь говорят — Царицын уже сдан... Скажем — мы поверили этой панике... Ну — что ж... Переберемся на ту сторону Дона и будем пробиваться

на Поворино и дальше — на Москву... (Заметив немедленное после этих слов движение, повысил голос.) Мы поступим в распоряжение центрального командования революцией и этим докажем, что мы не какая-нибудь отдельная глупая федерация, что боится расстаться со своими хатами... Мы — часть нашей создаваемой единой Красной армии, дерущейся за землю и мир всех трудящихся! Теперь не то, что было в феврале или марте... Красногвардейские и партизанские отряды сводятся в полки, батальоны, роты, образуют дивизии и корпуса. В этом наша задача, и вы должны на это пойти сознательно... А у нас с вами идет спор. За что? Вы отстаиваете самостоятельное командование или уж — от крайности согласны на двойное. Вы защищаете эсеровские принципы командования... Хотите кружиться около станицы Морозовской, около своей хаты... Одни — как вы есть — восемнадцать волостей — мечтаете справиться со всей армией Вильгельма и красновскими генералами... Я революционер, я большевик... И я прямо ставлю перед вами: вас провоцируют, эсеры и кулаки нашептывают вам такое поведение, которое быстро приведет вас к гибели... Этого я как коммунист и командир армии допустить не могу... И если вы не придете с нами ни к какому соглашению, — я вам не только дам оружия, я вас разоружу...

Он остановился. В тишине за окнами — голос:

— Вот это так отпорол...

— Еще должен дать ответ паникерам и капитулянтам. Да, отряды наши здорово помотаны. Да, впереди наиболее трудная задача: пробиться к Дону и починить мост... Скрывать нечего — положение трудное. Я вижу только один выход: от беспорядочного скопления отрядов перейти к твердой организации армии... От обороны перейти в наступление.

Как ливень, что посылает вначале отдельные крупные капли и низвергается вслед шумным потоком, — так захлопала и одобрительно зашумела толпа...

Не успел следующий оратор откашляться и, уперев подбородок в воротник, начать давать ответ, — послышались со стороны вокзала частые выстрелы. Щаденко высунулся в окошко:

— А ну-ка — гляньте — шо там там?

По толпе побежал говор, и задние сообщили:

— Да там на вокзале хлопцы комиссию какую-то бьют.

Заседание было прервано. Ворошилов, Пархоменко, Щаденко, Лукаш, Бахвалов сели на коней, поскакали на вокзал. Еще издали был слышен гул толпы, отдельные выстрелы. Бежали как-то люди. Другие лезли на крыши вагонов...

На путях перед перроном люди кишели, как муравьи, кричали в несколько сот глоток. Размахивающий руками, тесный, жаркий круг их обступил кучку, где происходило самое главное: трое матросов с бронепоезда «Черепаша» и десяток анархистов из отряда «Буря» трепали и волокли, видимо, расстреливать, бледного, с красными глазами, со встрепанной ассирийской бородой Межина и Колю Руднева, — у него наискосок лба выступила кровь из трех царапин когтями, гимнастерка широко — от ворота — разодрана, лицо искажено, — он отбивался и тоже бешено кричал.

В эту кучку врзались плечами Ворошилов, Пархоменко, Лукаш, Щаденко и те из командиров, что успели за ними.

— В чем дело? — громко вскрикнул Ворошилов... И в груди матросов и анархистов уперлись стволы наганов.

— В чем дело? — зорал Лукаш, ища глазами в обступившей толпе кого-нибудь из своего отряда...

Все это произошло внезапно, резко, решительно. Матросы отпустили Руднева и Межина. Один из анархистов — маленький, жилистый, огненно-рыжий — кинулся в толпу, но там его взял вместе с длинными волосами за воротник огромный Бокун — тряхнул и пхнул опять в круг...

Межин, глотая горькую слюну, говорил Ворошилову:

— Мы начали с «Черепашки», решили проверить сейф с ценностями армии... Сразу обнаружилось враждебное настроение среди части команды. Эти трое даже пригрозили нам револьверами, не позволяя открывать сейф... Дело в том: около «Черепашки» и в самом вагоне находились вот эти, эти... — Он тыкал на анархистов. — Они явно агитировали... Настроение росло... Мы настаивали на вскрытии... Нас потащили из вагона, грозя расстрелом.

— Врешь, сука! — Один из трех матросов — розовато-рябой, с приплюснутым носом — раскинул локтями тех, кто держал его, зелеными — жгущами злобой — глазами уперся в Межина. — Где ты был, жаба, когда мы, флотцы, за революцию в крови умывались?

Другие двое, отсовывая дула наганов, поддержали его:

— Не грозите нам этими игрушками, нам известна революционная законность...

Опять — короткая возня. Торопливая матерщина. Бахвалов, дрожа тяжелыми щеками, кричит, чтобы расступились, дали увести арестованных... Ворошилов, напряженный, внешне спокойный, протягивает руку к Бокуну, говорит быстро: «Беги в батальон, — тревога, по ружьям, сюда...». Среди растущего галдежа в еще теснее обступившей толпе начались надрывающие голоса:

— Романовские порядки завели...

— Продали нас...

— Кто он такой приказывать?.. Давай сюда Ворошилова!

— Пусть ответит... Ворошилов, выходит...

И — несколько глоток:

— Да здравствует анархия!..

Накаленность росла. Уже нельзя было разобрать отдельных голосов. Громче всех кричал рябой матрос...казалось — вот-вот — раздастся выстрел, — и закрутятся тела, ревушие рты... Из толпы проталкивался Чугай, — клок волос — на лбу из-под шапочки с ленточками, широкое лицо, круглые глаза, закрученные усики — как фаянсовые — без выражения. Морской перевалкой по-

дошел к рябому матросу и молча, со всего плеча, не то что ударил — кулаком тяжело ахнул ему в висок. Рябой повалился. Из толпы крикнули: «За дело!». Двое его товарищей сразу затихли, пяясь от Чугая, Лукаш вытянул жилистую шею.

— Товарищи, известно: в моем батальоне тысяча двести штыков и вся наша артиллерия... Стесняться со сволочью я не буду...

По путям уже бежали, брякая затворами винтовок, бойцы Коммунистического и Луганского батальонов. Ребята все были каленые, не боящиеся ни чорта... Тогда из толпы кинулось с полсотни человек — низко пригибаясь — под вагоны... Бойцы Лукаша оцепляли пути и перрон. Толпа примирительно затихла. Ворошилов сказал:

— Товарищи, товарищи, давайте по эшелонам, спокойно... (И — Лукашу.) Отряд — особо с пулеметами — к анархистам... Оцепи и постарайся их расколоть...

Чугай, — поворачивая фаянсовое лицо к Ворошилову, к Лукашу:

— Правильно, Климент Ефремович, я их расколю... Там первым делом старикашку надо взять. С бандитами справимся одним разговором...

И Чугай пошел, помахивая бойцам, зова их поименно: «Иван, Николай, Солох, Иван Прохватаилов!».

Не теряя времени, нужно было продолжать ревизию и опись повагонного имущества, чтобы в суматохе не растаскали ценное. Трех матросов и двух анархистов (остальные успели скрыться) — арестовали. Перрон и пути опустели. Межин, приглавивая встрепанную бороду, оглядывался: где же второй член комиссии — Коля Руднев?..

Коля Руднев сидел под станционным колоколом, опустив лицо в ладони, — плечи его вздрагивали. Не то икая, не то всхлипывая, он говорил нагнувшемуся Ворошилову:

— Никогда не мог, понимаешь, не мог подумать... В нашей армии могут найтись такие бесстыдники... Такие хулиганы... Суб'екты без всякой революционной совести... В нашей армии, — ты пойми...

Чугай один, вразвалку, подошел к блиндированному вагону, на котором было написано суриком: «Смерть мировой буржуазии». Подняв на уровень груди широкие ладони с растопыренными пальцами, влез по трем ступенькам на площадку.

— Убери пушку, — спокойно сказал он, локтем отстраняя наган у гимназиста, глядевшего на него в мрачном ужасе, и вошел в вагон, где стоял длинный стол. В другой стороне вагона сбились взволнованные событиями анархисты. Десятка два револьверов направились на Чугая.

Шевеля растопыренными перед собой пальцами, он подошел к столу, ногой придвинул табуретку, сел.

— Давай, давай, садись, — сказал он анархистам. — Давай сюда вашего Кропоткина...

Фаянсовые, без выражения, глаза его завораживали. Анархисты насмотрелись на Чугая еще в Лихой. Явно, он что-то им приготовил. Несмотря на враждебность и настороженность, им стало даже интересно: какую он приготовил пулю? Ребята, ворча, начали присаживаться к столу. Каждый клал перед собой револьвер или гранату и при малейшем движении Чугая схватывался за оружие. Яков Злой, выпихнутый вперед, присел напротив него, задрал мутное пенсне на плоском носу. Свежий красный рот его раздвигался усмешкой: что, мол, этот матрос может сказать ему, Якову Злому?

— Кропоткин, Кропоткин, — сказал ему Чугай, — самая ты что ни на есть буржуазная стихия... Зачем ты полез в нашу кашу? Зачем тебе надо наших ребят обманывать? (Яков Злой еще круче задрал пенсне. Чугай не дал ему слова.) Посмотри — какие здесь ребята. С такими ребятами мировую революцию можно делать. А ты их клонишь в бандитизм...

Чугай сейчас же ударил по столу ладонью, потому что при этих словах поднялось угрожающее ворчанье.

— Тихо, я говорю! Я редко говорю, ребята, вы меня знаете... Значит, вызвано это необходимостью... Скрывать нечего, — среди вас есть бандитский

элемент. Двоих ваших мы сегодня кончим. И вот этого... (Он указал ладонью на маленького, жилистого Рыжего.) Этого вы мне сейчас выдадите, мы его тоже шлепнем...

Рыжий вскочил, грозясь — полез было из-за стола, его силой усадили. Доски стола трещали. Несколько револьверов плясало перед Чугаем. Но он продолжал сидеть, даже не поднимая глаз, как китайский святой. Он знал, как обращаться с этой публикой. Любопытство слушателей опять пересилило. Сравнительно успокоились. Тогда Чугай вытащил из кармана письмецо Рыжего. (Идя сюда, он взял его из папки дел, у Пархоменко.) Отнеся листочек далеко от глаз — слово за словом — прочел... Впечатление получилось то самое, как он и ждал — публика сразу раскололась: анархисты закричали, что это оскорбление, предательство, донос... Бандиты вступились за Рыжего, но их было меньше. Рыжий опять полез из-за стола... Чугай дал им несколько открытаться...

— Я не кончил, братишечки, — ставлю вопрос: как должен поступить командующий армией, ознакомившись с таким документом? По военному времени должен загнать всех вас в вагон и вчистую кончить артиллерийским огнем. Понятно я говорю? Но, принимая во внимание, что среди вас находится революционная прослойка, командующий пожалел губить такой материал. Вам предоставлено право самим разобраться по всей революционной совести. Разберитесь и бандитов выдадите нам. Это единственное ваше спасение. А чтобы вам легче разбираться, я беру с собой вашего Кропоткина. Старичка мы не тронем, его отпустим в степь. Заседание, ребята, закрываю и никаких прений не даю... А даю вам на все — пятнадцать минут — по закону военного времени.

Чугай встал, повернулся к собранию спиной, пошел к двери. Когда к нему с ревом кинулись, — медленно обернулся:

— Оставьте ваши руки, — сказал, — не берите меня... Вагон окружен, вагон под прицелом Коммунистической бригады...

Тут только оплошавший отряд «Буря» увидел, что за время разговоров, действительно, весь их эшелон был окружен пулеметами. Оставалось принять условия либо умереть...

— Идем, идем, старичок, — сказал Чугай, подталкивая Якова Злого к двери. — Тебя не тронем, нам тебя только изолировать... А там — читай себе Кропоткина на здоровье...

3

Армия задержалась в Морозовской, формируясь, учитывая и приводя в порядок запасы. Из Морозовского отряда была образована дивизия. Командирами частей назначены морозовцы же. На военном совете армии, пополнившейся и принявшей более четкие формы, был принят план наступления: все пехотные части и артиллерия Кулика идут грунтом справа от полотна в обход станицы Нижнечирской. Конные части Морозовской дивизии двигаются слева от полотна, прикрывая железнодорожный путь с севера. Эшелоны во главе с «Черепухой» продвигаются до станции Чир.

Для прикрытия тыла пехотные полки Морозовской дивизии остаются в станице, — на этом настояли морозовцы, сколько им ни доказывали, что нельзя дробить сил. Пришлось согласиться. Армия выступила. Было начало июня.

В первые дни армия двигалась неподалеку вдоль полотна. Обед варили в поездах: паровоз свистел, из вагона махали шапкой на шесте, — отряды оставались и шли обедать.

Эшелон шахтерского отряда находился в хвосте — кое-где перегонял пеших, кое-где отставал. Однажды в обеденный час, когда бойцы разместились по вагонам и кашевары и женщины разносили котлы и манерки, поезд остановился на полустанке. В задний вагон влезли Лукаш и Коля Руднев. Оба — уставшие, серые от пыли, голодные и веселые. Они объезжали фронт в бричке, загнали лошадь, бросили ее на хуторе и догнали эшелон пешком.

Они сели на агриппину койку — напротив Ивана Горы. Спросили про здоровье. Он ответил, что через недельку вернется в строй.

— Через недельку начнем громить Мамонтова, шерсть с него полетит, — сказал Лукаш, сплевывая под ноги. Коля Руднев, как всегда подумав, сказал честно, без преувеличения:

— Во всяком случае к Дону мы пробьемся.

Агриппина, румяная от удовольствия, что такие, всему свету известные, товарищи так ласково говорят с Иваном Горой, принесла жестяную манерку с дымящейся картошкой, из кармана вытащила свой девичий головной ситцевый платок, зубами развязала на конце его узел и, поджав губы, предложила гостям щепотку соли... Стали лупить картошку, макать в соль, есть...

— А я тебя помню, — сказал Лукаш, — как ты винтовку у меня просила... Я тогда прямо до чорта удивился: бой, понимаете ли, горячка... Идет эта красавица: винтовку дай!.. Все равно, как на покосе ей грабли нужны.

Он широко открыл рот, показывая крепкие, как у собаки, зубы и в горячей гортани красный маленький язычок, потом уже отчаянно залился хохотом.

— Ничего, она справляется — наравне, — проговорил Иван Гора, с некоторым беспокойством замечая, что Лукаш уже несколько раз — правда, мельком, но очень пристально, — взглядывал на Агриппину. — Конечно, трудно ей бывает через то, что она дитя еще. — И повторил, нахмурясь: — Она еще дитя. (Сосредоточенно стал свертывать папиросу.) Приглаживаюсь вот к ней, к нашим ребятам: большая школа — революция. Знаешь — в деревне — привезят на веревке в амбаре большое сито и кидают в него пшеницу или рожь. И вот эдак вот мужик сито вертит и встряхивает: ядреное зерно сеется, мусор весь наверху, — он его долой... Так и в нашем отряде отсеиваются люди, и в каждом — отсеивается ядро, а мусор — долой...

Коля Руднев, — тоже свертывая:

— Владимир Ильич это лучше тебя говорит.

— А что говорит Владимир Ильич?

— А он говорит очень замечательно... Пролетариат, живя бок о бок с буржуазным классом, заражается его пороками, несомненно...

— Ну, это пустяки, — сказал Лукаш, — пролетариат ничем, брат, не заразишь...

— Пстой ты, — Иван Гора махнул на него пальцем. — Это верно... Разве я не видел: у нас на Путиловском в воскресенье некоторые ребята чуть свет, как лебеди, плывут в кабак за водкой... Это не буржуазная зараза?

Коля Руднев продолжал:

— Меньшевики извращают Маркса, что будто бы можно тихохонько, легохонько, без революции дорасти до социализма. Владимир Ильич говорит: только в процессе революции — только! — пролетариат может избавиться от старых пороков, вырасти морально и стать способным создать новое общество...

— Это — да, это так, — сказал Лукаш. Иван Гора, подумав, ответил:

— Правильно... Он полнее это говорит, — правильно...

Так они сидели и рассуждали. В вагон, застревая винтовкой в узких дверях, вскочил Володька-шахтер, — штаны и рубаха на нем были — одни дыры, некуда класть заплат...

— Казаки! — крикнул он испуганно-радостно. — Сотни три, идут лавой...

Лукаша подкинуло, как пружиной.

— Стой! Чего обрадовался! Чтоб все оставались на местах!.. Коля, в хвосте на площадке — пулеметы, я — сейчас...

И он впереди Володьки побежал по вагонам, приказывая бойцам: «По ружьям! Из вагонов не выходить! В окна не высовываться! Без команды не стрелять! Пусть казаки, не видя около него людей, подумают, что это штабной поезд, либо санитарный, и подойдут поближе, без опаски...»

Через минуту Лукаш пробежал обратно, выскочил на заднюю площадку. Там Коля Руднев, Иван Гора (как был в подштанниках) и Агриппина прила-

живали пулемет. Другой пулемет лежал здесь же. Лукаш — Агриппине:

— Бери ленты, лезь под колеса.

Со вторым пулеметом он спрыгнул с площадки и установил его между задними колесами. Сел, согнувшись, под вагоном. Агриппина лежала на животе рядом с ним. Лукаш — шопотом:

— Ну, если сволочи послушаются моего приказа: не открывают огня, подпустить на двести шагов...

— Наши давно этого случая ждут,— сказала Агриппина тоже шопотом. — Подпустят.

— Видишь, Агриппина? Вон они! Орлы!

Направо от полотна местность была волнистая. Когда несколько времени тому назад Володька (в сторожевом охранении) заметил казаков, — они тогда спускались с пологого косогора. Сейчас всей лавой, торопя коней и размахивая поблескивающими шашками, три или четыре сотни их выносились из долины к поезду. Уже слышен был тяжелый топот коней...

— Коля, Коля, выдержи их, миленький, выдержи, — скулил Лукаш из-под вагона...

Ясно были видны напряженные, багровые, бородастые лица... Черные хорошие мундиры, лампасы, заломленные бескозырки... Разинутые рты. Раздутые ноздри коней...

— Ур-ра, — доносилось, — ур-ра!

— Давай! — дико крикнул Лукаш. И оба пулемета — с площадки и из-под вагона — торопливо застучали. Сейчас же кони с полного скока начали валиться, спотыкаться, взвивались на дыбы, опрокидывались...

Разгон всей лавы был так велик, что задние не успели ни свернуть, ни задержаться — врезались в кучу конских, человеческих тел и, сбиваемые, валились, и все же отдельные всадники продолжали нестись к вагонам. Шахтеры соскакивали с площадок, бежали навстречу, уставя штыки. Несколько казаков, спасаясь, пригнувшись к гривам, вскочили на насыпь, но и там их достал пулемет... Шахтеры сшибались со спешенными казаками, горячась, схватывались голыми руками. Впереди пле-

чистые Володька и Федька, ухватя винтовки за дуло, шли буреломом, сшибая людей...

Все началось и кончилось в несколько минут. Кричали раненые. Хрипели умирающие. Бились лошади. Лукаш вылез из-под вагона. Вытирая тылом ладони обожженные, налившиеся кровью, глаза, — позвал:

— Коля... Жив?

— Ничего, оба целы, — у Руднева дрожали и губы, и черная от копоти рука, поправлявшая упавшие мокрые волосы. Иван Гора, отдуваясь, тяжело сел на ступеньку.

— Что ж, теперь ребята оденутся, обучатся по крайней мере... А то идут — мотают портянками... Гапа, — позвал он, — Агриппина...

Не сразу и негромко из-под вагона ответили:

— Да сейчас я... Ленты же надо собрать...

4

От хутора Рычкова до моста — три версты. Железнодорожный путь перед самым Доном загибается и идет по высокой дамбе, где справа и слева — глубоко внизу — лежат озера, затененные лозой, орешником, корявыми осокорями. На закате по дамбе медленно двигался паровоз без вагонов. Несколько человек с его площадки глядели на север, — туда, где вдоль Дона тянулась крутая возвышенность — «Рачкова гора».

Там снова метнулась длинная вспышка, лизнувшая закатные облака, — через много секунд в одно из тускло-красноватых озер упал снаряд, разорвался, высоко подняв воду.

Машинист, скаля зубы, сказал:

— Раков, чай, наколотило — миллион.

Паровоз продолжал медленно заворачивать по дамбе. Направо — на юг — на холме по-над Доном находился большой кожевенный завод. Там с нынешнего дня шла горячая работа — разбирали постройки, доски и бревна сносили на берег, вязали плоты. На эту работу были брошены все свободные руки.

Шестьдесят эшелонов стояли уже ме-

жду станицей Чир и хутором Рычковым. План перехода от Морозовской до Дона осуществился скорее, чем ожидали. Казаки, боясь конницы Щаденко, двигавшейся слева от полотна, и пехотных отрядов, двигавшихся справа, не решались подходить близко к эшелонам. Был только один кровавый налет на станцию Суровикино, где стоял в тот день санитарный поезд с больными и ранеными. За разгром его, за убийство нескольких сот человек казаки тут же были разгромлены подоспевшим бронепоездом. Это отбило у них охоту приближаться к полотну.

Перед Доном 5-я армия, оберегая эшелоны, расположилась выгнутой дугой — с радиусом до пятнадцати верст: на западе центр ее занимал окопы на Лисинских высотах¹, левый фланг тянулся по речке Чир и по волнистой равнине перед станицей Нижнечирской, правый упирался у самого Дона в подножье Рачковой горы.

Окружение Нижнечирской не удалось. В горячих боях казаки потеснили фланг 5-й, откуда она не заняла эти позиции. Начались ежедневные затяжные бои. Противник накапливал силы, стреляя «скучными» снарядами, понимая, что эшелоны здесь засели прочно перед взорванным мостом.

Паровоз теперь едва двигался. Показался Дон — еще в разливе, полноводный, озаренный закатом. Впереди виднелись пролеты железнодорожного моста. Паровоз остановился. С него соскочили Ворошилов, Бахвалов и Пархоменко с подвязанной рукой (раненный при атаке вокзала в Суровикине). Они прошли по полотну еще шагов с полсотни. Тянуло сыростью. Отчаянно звенели комары, Здесь полотно круто обрывалось, и торчали загнутые концы рельсов.

Ворошилов ярился на короточки. Внизу, на страшной глубине, увеличенной сумерками, на едва обнажившейся песчаной отмели, лежали остатки взорванной фермы.

¹ Там и сейчас мне показывали «окоп Ворошилова». Местные жители его берегут, не запахивают, говорят, что нужно на этом месте поставить памятник красным бойцам, погибшим при великом ворошиловском походе.

— Высота здесь от уровня воды — пятьдесят четыре метра, — сказал Бахвалов. — Наше счастье, что взорван первый пролет, если бы они взорвали мост посредине, над рекой, тогда уж ничего не поделаешь...

— Сволочи, а!.. — проворчал Ворошилов. — Придется нам тут попотеть.

— Кроме дерева, материалов у нас нет. Придется во весь пролет ставить ряд деревянных быков... Пятьдесят четыре метра для деревянных сооружений — высота почти-что невозможная.

— Ну, вот тебе — невозможная!.. Инженер!

— Так ведь материал, скажем — деревянный брус, имеет свой предел сопротивления....

— Материал точно так же подчиняется революции... Тут ты меня не разубедишь...

Бахвалов весело, несмотря на обычную мрачность, рассмеялся. Ворошилов глядел на дальний берег, где в быстро сгушавшихся сумерках еще виднелись очертания тополей и соломенных крыш. Ближе к реке краснели огоньки костров. Пархоменко сказал:

— Это хутор Логовский. Там — наши. Хутора ниже по реке — Ермохин, Немковский, Ильменский — захвачены мамонтовцами. А Логовский держится упорно.

— Там царьцынские рабочие? — спросил Ворошилов.

— Нет, какой-то партизанский отряд. Давеча их командир выходил на мост, кричал, да было ветрено, я только разобрал, что велел тебе кланяться и просил патронов и махорки.

— Значит — ребята боевые. Можно отсюда пробраться на мост?

Бахвалов повел всех к откосу. Цепляясь за сухие корни, спустились на речной песок. Здесь их облепили тучи комаров. Громко всплескивалась рыба где-то за тальниками. Отмахиваясь, пошли мимо полуразрушенной, до половины ушедшей в песок фермы. Часть ее еще была залита разливом. По пояс в воде добрались до каменного быка, с которого начинались уцелевшие пролеты моста. По железным скобам начали

взбираться на бык, на высоту пятидесяти четырех метров. Труднее всего пришлось Пархоменко с подбитой рукой. Влезли. Сквозь щели мостового настила страшно было глядеть — на какой глубине под ними течет Дон.

— Сколько ты думаешь провозить-ся? — спросил Ворошилов.

— Если бы ты меня спросил до революции, то — честно говоря — полгода, — ответил Бахвалов. — Эти мерки, конечно, не приемлемы... Недели в четыре построим, пожалуй...

— Не хвастаешь?

— Нет.

— А по-большевистски — в две недели?

— Брось, это уже не серьезно.

— Что тебе нужно?

— Прежде всего мне нужно три тысячи телег — возить камень, кирпич. Думаю, все кирпичные постройки в окружности махнем. Ничего?

— Сейчас трех тысяч телег у меня нет.

— Нужно достать!

— Не горячись, достанем, — сказал Ворошилов. И они пошли по мосту к тому берегу, разговаривая о том, как легче будет организовать работы. Главной надеждой на успех им представлялось то, что строить мост будет не прежняя — по ведомостям — «рабочая сила», но боевой пролетариат, понимающий, что эта работа означает — спасение эшелонного имущества, спасение тысяч жизней, спасение Царицына, спасение в эти страшные месяцы пролетарской революции...

Едва перешли мост, из канавы — где-то в трех шагах — угрожающе окликнули: «Стой! Кто идет?». В сумерках выросла саженная фигура с головой, обмотанной платком от комаров. Услышав, кто идет, высокий человек подошел, держа винтовку наизготове. Увидел звезды на фуражках.

— Здорово, — сказал, ребром кидая руку сперва Ворошилову, потом другим. — Хорошо, я вас раньше заметил, а то бы стрелял.

— А ну — веди в штаб, — сказал Ворошилов.

— А вон штаб, — человек указал на костер неподалеку. — Не попадите в канаву, там у нас колья натыканы, переходите по дощечке, и будет тебе гумно Филиппа Григорьевича Рябухина.

Штаб красного казачьего отряда, второй месяц отбивавшегося на хуторе от мамонтовцев (несмотря на все их хитрости), помещался прямо на гумне. Сейчас там варили кашу в калмыцком таганце. Человек тридцать сидело под дымом, отдыхая от комара. Огонь озарял лица — в большинстве безбородые, безусые, — несколько парусиновых палаток, скирды прошлогоднего хлеба, бревенчатый угол амбарушки под соломенной крышей.

Когда Ворошилов, Пархоменко и Бахвалов перелезли канаву, сидящие обернулись к ним. Ворошилов весело крикнул:

— Здорово, товарищи!

— Здорово, в добрый час, — ответило несколько спокойных голосов.

— Кто у вас здесь начальник?

Человек, пробовавший из таганца кашу, положил ложку с длинным черенком, проводя пальцами по усам, подошел, — был он небольшого роста, коренастый, — борода росла у него почти от самых глаз широким венником. (Ватный пиджак, накинутый на плечи, маленький плохонький картузик.)

— Я начальник.

— Здорово, командир.

— Здорово, товарищ командующий.

— А ты меня знаешь?

— А кто же тебя не знает, Климент Ефремович.

— А я тебя не знаю

— А я Парамон Самсонович Кудров, нижнечирской казак, по-белому ругают Парамошкой-сапожником,

— И другие у тебя казаки?

— И другие — казаки. Есть и иногородние. Не все казаки пошли за Мамонтовым, Климент Ефремович. Нас — таких чудачков — много.

— Что же вы тут делаете?

— Несем революционную службу за свой собственный счет. Пойдем к огоньку, поешь с нами казацкой каши.

Подошли к костру. Кудров сказал двум ребятам, сидевшим на бревне, что-

бы посторонились — дали место командующему — под дымом. Гости уселись, протянув мокрые ноги к угольям. Ворошилов, оглядывая молодые, налитые здоровьем, красивые казачьи лица, спросил: «Ну, как живете?». Кудров бойко ответил:

— Ничего, Климент Ефремович, живем по-божьи — кто кого обманет...

Все засмеялись — не слишком громко, чтобы не обидеть пришедших. Кудров присел у огня, подняв одно колено. Дочерна обгорелое лицо его — с широкой бородой, с длинным носом и умными, маленькими, хитрыми глазами — так и горело желанием поговорить...

— Хорошо, что ты к нам пришел, Климент Ефремович. Мы с утра все ждем: приедет или нет? На неделе бегал я в Царицын — просить огнеприпасов. Выходит ко мне начальник штаба Носович. Как он загремит на меня: «Не верю, — говорит, — вам — какие вы к чорту красные казаки! Все вы одним дерьмом мазаны!». Я ему об'ясняю: хутор Логовский держит весь фронт. Пятиизбянские и калачевские казаки давно бы стакнулись с нижнечирскими, не держи мы этот хутор... И — не слушает. Огнеприпасов я, словом, не добился. Казаки, Климент Ефремович, народ злопамятный. Видишь, у меня нос маленько на сторону — в шестнадцатом году ко мне окружной атаман приложился... Это я помню... Нет, казаки не одним дерьмом мазаны... Нам, казацкой голи, тоже на Дону тесно... Вчера мои ребята встретили в поле одного казачишку, с'ехались, он и говорит: «Идите лучше к нам, у нас командир — есаул, а у вас — Парамошка-сапожник». А у них есаул — Пашка Полухин, он два раза ночью привозил смолу и жег мост, где деревянный настил, и в третий раз он же мост и взорвал... Это вы Пашку благодарите... Когда, значит, полковник Макаров занял Калач, Пашка налетел на Ермохин хутор и взял там тридцать шесть казаков, — почему они в мобилизацию не пошли. Бросил их в телегу, повез в Ильменский и там их расстрелял за хутором в балочке. Так они и лежали, бедняги,

обнявшись... А это вот их братья сидят, родственники... Мы зло помним... Аникея Борисовича знал?

— Слышал про такого, — ответил Ворошилов, внимательно присматриваясь к сидящим бойцам.

— Аникея Борисовича били в Пятиизбянской на базаре старые станишники-монархисты. Выручил его Яхим и отправил в больницу в Царицын. Он в больнице поправился, как следует. Казак — сильный.

— Ты расскажи, как он сено на хуторе купил, — удерживая смех, сказал один из бойцов.

— Помолчи. Возвращается Аникей Борисович в Калач, у него там жена и сын Ванька — пацан лет пятнадцати, — здоровый, в отца. А время пахать. Уехали они с сыном на ночь в поле. В эту ночь как-раз налетел на Калач Макаров, и — давай, и давай... Красной казачьей гвардии — сонных — порубили на дворах, по огородам — до тысячи человек. И первым делом они, конечно, к Аникею Борисовичу — в хату. А его с сыном нет. Они выволокли старуху, — где твой хозяин? Где твой щенок?.. Она говорит им...

Опять тот же голос:

— Нет, старуха ничего им не сказала.

— Помолчи... Они ее замучили, живот ей распорол... Лошадь увели, телку зарезали... Аникей Борисович с этой ночи пошел партизанить. А Ваньке он велел спрятаться на хуторе — потому что надо пахать... У Ваньки был другой конь, на котором они в ночное тогда поехали. Вот Ванька потихоньку пашет, и едут из Калача три казака. На Дону у нас все известно, у нас своя почта. Ванька видит: те самые казаки, кто его мать убивал. Бросил плуг, подходит к ним, спрашивает прикурить...

— Он не прикурить спросил...

— Помолчи... Значит, как руку-то на лошадь положил, да сразу и сдернул казака на землю, выхватил у него шашку... А те двое — куда спохватились, — он и их обоих тоже порубал. Да — знаешь — такой здоровый, — одного пополам рассек, всех троих полкал на дороге, лошадь распрег и ушел

к отцу. У отца уж отряд был с полсотни.

— Меньше...

— Помолчи... Так они и шныряют по белым тылам. Сколько раз я звал Аникея Борисовича на хутор Логовский — говорит: скучно мне в осаде... А до чего здоров — я тебе расскажу... Прибегают они с отрядом на один хутор, а знают, что хутор белый. Сена им не дают. Входят они на двор к казаку: продай сена... Тот глаза отводит... Аникей Борисович: лезь, говорит, ко мне в карман, сколько выхватишь керенок — твое счастье, а я — сколько заберу сена в охапку. Казак — жадный: согласился. Пошли в сарай. Аникей Борисович ноги-то раздвинул...

Слушателей разбирал смех — давились. Кудров повел на них бородой...

— ... Нагнулся он и давай захватывать сено в охапку, все хочется ему больше. Ухватил с полвоза и глядит — что-то здорово тяжело. Но понес... А его бойцы говорят: «Аникей Борисович, у тебя из сена чьи-то ноги трепыхаются...».

(Тут все слушатели враз грохнули хохотом, хотя слышали сто раз этот рассказ. Громче всех смеялся Климент Ефремович.)

— Ну, да... Он, значит, бросил эту охапку, оттуда — стонет — вылезает дизайнер... Кто такой? А это был хохол из Нижнечирской, мобилизованный — Степан Гора... Тихий такой мужик. Вон он в сторонке сидит. Он у нас теперь кашеваром...

Парамон Самсонович попросил у Ворошилова папироску и порассказал еще много, подробно и занимательно, про упорные бои за хутор Логовский. Степан Гора тем временем подошел к костру, снял с огня таганец, слил жижу в миски, не спеша, — как все делал, — нарезал хлеб и стал в таганце разминать сало с кашей. Гостей попросили ужинать. Все начали садиться в кружки. Ворошилов отозвал Кудрова:

— Нужно товарища Пархоменко ночью переправить в Царицын, но чтобы дошел целым, дело важное.

— Можно. Пошлю с ним ребят, они все балочки знают, так дернут мимо бе-

лых — к утру твой товарищ будет в Царицыне.

— Спасибо вашему отряду за революционную верность, — сказал Ворошилов. — Пришлю вам огнеприпасов и табаку. Скоро мы вас сменим. Тебя и твоих ребят я назначу отрядом связи при штабе армии...

— Так, — сказал Кудров, с минуту раздумывая, как это назначение понять и принять. — Это — правильно: вы здешних мест не знаете. А наши ребята в степи, как кошки ночью, видят...

5

Восточный знойный ветер с сухим шелестом млял прибрежные кусты. Бокун с двумя ведрами спустился к речке Чир и увидел голых ребят: один, совсем маленький, сидел на корточках по щиколотку в воде, заливаясь — смеялся. Другой, постарше, светловолосый, смешил его, выныривая из воды и брызгаясь. На берегу валялась их одежда и жестянка с патронами. Через речку Чир довольно часто просвистывали пули.

— Вы зачем тут, пацаны! — закричал на них Бокун страшным чугунным голосом.

Маленький остался на корточках, только повернул, как испуганный совок, голову. Старший вылез из воды, взялся за рубашонку:

— Дяденька, мы угорели, жарко, мы сейчас...

— Чего вы тут не видали, сраженья идет — они балуются...

— Дяденька, мы патроны в цепь носим... Мы уж который день носим...

Маленький, наконец, заплакал, положив на живот чумазые руки. Бокун покосился на него, стал зачерпывать ведра. Старший — шопотом младшему:

— Поплачь, поплачь, постылый...

— Вот я вас обоих возьму в охапку, — сказал Бокун, зачерпнув ведра, — и отнесу, куда надо... Идите домой...

— Куда же? — ответил старший. — Мы в степи живем, кормимся при отряде.

— Вы чьи?

— Мы — Карасихины.

— Вот — к мамке и бегите...

Маленький сейчас же перестал плакать, круглыми глазами с упреком посмотрел на Бокуна. У старшего задрожали губы...

— Дяденька, — он сказал, — не ругай нас...

— Я вас не ругаю, пацаны, а в степи опасно — какая стрельба-то!

— Мы ползком носим.

— Все равно — ползком... При стрельбе надо прятаться...

— Ладно, дяденька, мы будем прятаться.

— Сидите здесь в речке, покуда бой не кончится, а то я вас.

— Ладно, дяденька...

Бокун ушел с ведрами. Вечером стрельба утихла. Бойцы ужинали всухомятку. Собирались под прикрытием кургана — покуривали. Бокун рассказал товарищам, каких сегодня видел двух маленьких пацанов на речке. Была здесь Агриппина, — она вся сморщилась, слушая.

— Бокун, я ж их знаю, это марьины дети. Зачем они в степи живут? А где же Марья?

— Про Марью они ничего не сказали.

Агриппина ушла и проискала детей всю ночь, обшарила все кусты на речном берегу. Наутро опять началась обычная стрельба: вдали показывались небольшие группы конников, их отгоняли. Агриппина, как и другие бойцы, сидя — согнувшись — в мелком окопе, гнала пулю за пулей по этим всадникам. Когда в степи становилось чисто, вздохнув, осматривала винтовочный затвор, запас патронов, усаживалась удобнее, начинала дремать, полускрыв глаза. Сквозь дремоту вспоминала — где же ей искать Алешку и Мишку?

— Дяденька, — услышала она сквозь дремоту (это было уже в конце дня), — дяденька, патронов принесли...

Обернулась — они! У Алешки все лицо обтянутое, даже выступили десны и зубы. У Мишки лицо лучше — круглое, но все расцарапанное. Агриппина молча сволокла обних в окоп.

Мишка сунулс ей в колени, как матери. Алешка морщинисто улыбался.

Агриппина покосилась — не смеются ли товарищи. Но справа и слева бойцы дремали равнодушно.

— Где Марья?

— Маму убили, — ответил Алешка.

Агриппина сейчас же положила винтовку на бруствер, ловчее устроила Мишку на коленах.

— Кто убил?

— Тогда — помнишь — ты ушла. Степана взяли, ух, как его били! Они узнали, как я тогда верхом гонял на станцию. За мной пришел Гремячев с двумя казаками, пьяные. А мама меня спрятала в соломе. Они маму стали ругать, — Мишка все слышал, он под кроватью сидел. Ты знаешь маму-то, — она рассердится — такая смелая... Она им тоже — отвечать... Они ее потащили на двор. Я тут все слышал... «Давай, — они говорят, — свово щенка». Они кричат, мама кричит.. Мама как плюнет Гремячеву в рожу: «Получай, — говорит, — царская сволочь...». Он схватил кол...

У Алешки задергались губы, отвернулся. Опять вдали между холмами показались всадники. Агриппина взяла винтовку.

— Ложитесь, лежите смирно, ничего не бойтесь...

И пошла гнать пулю за пулей, старательно выцеливая...

6

Пловучий мост (из материалов разобранного кожевенного завода) был наведен. На рассвете стрелковые части Коммунистического отряда выбили казачьи заставы из тальниковых кустов левого берега, конница Щаденко перешла Дон и бросилась на хутора. Разведкой руководил Парамон Самсонович, указывая, с какой стороны лучше зайти и откуда ловчее ударить. Красная конница беспощадно проносилась по улицам, рубя метавшихся казаков. Быстро был занят Немковский хутор, Ермохин и Ильменский. Оттуда Щаденко повернул на восток — на большую станцию Громославскую.

Без потерь он вошел туда, арестовал сельского писаря и старосту, восстано-

вленных мамонтовцами, председателя и секретаря сельсовета, сдавшего мамонтовцам власть, и на выгоне расстрелял их. Он объявил общее сельское собрание, и шесть дней митинговал с громославскими «хохлами», убеждая их биться за революцию, а не сидеть, яки таки бесчеловечные выродки, выжидая — кто одолеет.

Шесть дней морозовские эскадронные командиры — Мухоперец, Затульвитер, Непийпиво, — заломив бараньи шапки, говорили с перевернутой водовозной бочки на площади перед народом, шумевшим, как необозримый лес, — давили на то, чтобы общее собрание согласилось на общую мобилизацию с семнадцатилетнего возраста. На шестой день было вынесено решение: образовать Громославский полк и включить его в Морозовскую дивизию.

С очищением левобережных хуторов и занятием Громославской давление белых на Царицын сразу ослабло, — им пришлось оставить Кривую Музгу. Но зато с каждым днем увеличивалась их активность со стороны Нижнечирской.

У Ворошилова все силы теперь были брошены на восстановление железнодорожного моста. Луганские и харьковские металлисты разбирали взорванную ферму. Шахтеры копали котлован на отмели между первым и вторым каменными быками. Под Рачковой горой рвали камень. На станции Чир и на ближайших хуторах разбирали кирпичные и бревенчатые постройки. На платформы грузили камень, кирпич, бревна, шпалы, рельсы, всякое железо, что попадалось под руку. Все это в поездах свозилось к Дону. Работы шли днем и ночью.

Все—от Ворошилова до бойцов, сдерживающих все более нетерпеливые натиски мамонтовцев, с тревогой следили за мостовыми работами. Прошла неделя, кончалась вторая неделя, а на отмели между двумя гигантскими быками только еще валили камень. Нехватало рабочих, нехватало коней, нехватало телег...

В один из палящих, безветренных дней, в обед, началась тревога. На за-

паде, в стороне Лисинских высот, встала огромная туча пыли. Еще не было слышно выстрелов, но оттуда мчались какие-то верхоконные. Полетела страшная весть, что фронт прорван. В сторону пыли протарахтел автомобиль Бахвалова, промчался на «фиате» Ворошилов с Колей Рудневым. Женщины заматались, собирая детей. Одни бежали в вагоны, другие — в степь.

Потом увидели спускающиеся с Лисинских высот необозримые обозы и стада скота. Оказалось, что шли морозовцы, — всей станицей, — выбитые оттуда казаками. Белые висели у них на хвосте. По горизонту покатился грохот пушек 5-й армии, встретивших преследователей. Обозы, люди, коровы, овцы мчались с Лисинских высот к станции Чир.

Теперь было — хоть отбавляй — и рабочих рук, и телег, и лошадей Бахвалов повеселел. Партии рабочих потянулись к Дону. Мост начал расти на глазах. На забученный котлован укладывали клетки из бревен и шпал, скрепляя их железом, заполняя внутри камнем. Вся опасность таилась в высоте этих деревянных устоев, — при малейшем отклонении от вертикали они рухнули бы под тяжестью поездов. Но не даром говорил Ворошилов, что материал подчиняется революции, — этот мост был ее творческим строительством, это был мост в будущее. В конце третьей недели устои поднялись на всю высоту пятидесяти четырех метров.

Сильно потрепанные стрелковые части Морозовской дивизии, не послушавшие разумных доводов, — что нельзя победить, крутая у одной своей хаты, — искупали ошибку, сменяя помotanные в ежедневных стычках части 5-й. Белые теперь, не уставая, били орудийным огнем по мостовым работам. Их батарея стояла в Рубежной балке у хутора Самодуровки — близ Пятиизбянской станицы. Снаряды ложились вблизи моста, на отмели, в озера, в заросли. Было немало убито и ранено рабочих, все же в самый мост попасть им не удавалось. Выбить эти батареи из Рубежной балки можно было только глубоким наступлением.

Из Царицына вернулись Пархоменко и Артем с сообщением, что в Царицыне — Сталин, что там идет решительная подготовка к обороне и Сталин предлагает 5-й армии, не теряя дня, заканчивать поход: переправлять все эшелоны и воинские части на левый берег.

От наступления на правом берегу приходилось отказываться, хотя это и грозило тем, что инициатива перейдет к белым. Так оно и случилось. Казаки, пришедшие в хвосте у морозовцев, подняли среди мамонтовцев сполох: «Что вы, чирские, суворовские казачки, на солнышке греетесь! То-то про вас слава идет... Испугались хохлацкого сброда... Мы этих красных били, как сусликов, от самой Морозовской, разобьем и здесь, покуда мост не навели, — тогда держи воробья...».

Семнадцатого июня в расположение Коммунистического батальона неожиданно прискакали верхами Ворошилов, Пархоменко и Коля Руднев. Ворошилов остановился на холме, откуда были видны сады Нижнечирской станицы. Он сказал под'ехавшему Лукашу:

— У противника оживление?

— Да, как будто...

— Жди генерального сражения.

Вскоре показались казачьи конные цепи: шли рысью по волнистой равнине, кое-где прикрытой хуторскими садами. С холма можно было насчитать по крайней мере семь рядов всадников. Лукаш посылал ординарцев с приказом: подпускать цепи возможно ближе. Он волновался и повторял: «Подпустят, увидишь, Клим, на четыреста шагов подпустят, ребята теперь выдержанные...».

Загрязела артиллерия Кулика, застучали пулеметы, захлестали винтовочные выстрелы. Казачьи кони стали валиться... Но ни один не повернул, — все новые и новые волны всадников мчались с холмов, из-за вишневых порослей.

— Пьяные, честное слово, пьяные! — крикнул Ворошилов, не отрываясь от бинокля.

Вот уже передние перескакивают через окопы, рубя и катясь на землю вместе с конями... Несколько всадников

мчатся к холму. Передний, на великолепном рыжем жеребце, тучный, в фуражке, с'ехавшей на ухо, в золотых полковничьих погонах, крича и давясь седыми усами, устремился на Ворошилова, крутя клинком. Лукаш выстрелил — мимо! Ворошилов толкнул гнедого навстречу и со всего конского маха, завалясь, ударил шашкой полковника. Проскочив, осадил, — полковник лежал на земле, раскинув руки.

Прорвавшихся сквозь фронт было немного. Одних сбили, другие ушли на взмыленных конях. Остатки казачьих цепей отхлынули. Этот короткий, но кровавый бой дорого обошелся казакам. В белых станицах стало хмуро. О возобновлении удара в ближайшее время не могло быть и разговора.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

1

В салон-вагоне повсюду — на стульях, на столе, на полу — лежали куски материй, образцы железа, скобяных изделий, папки с бумагами, кучки зерна, газеты, рукописи. У опущенного окна за низеньким столиком сидела машинистка, тоненькие пальцы ее лежали на шрифте. За окном было чисто выметенное вокзальное поле, где вдали сходились полосы рельсов. Негромкий ровный голос за ее спиной, казалось, наполнял это залитое черным мазутом, исполосованное сталью пространство особенным и важным значением.

Сталин диктовал:

«На немедленную заготовку и отправку в Москву десяти миллионов пудов хлеба и тысяч десяти голов скота необходимо прислать... 75 миллионов деньгами, по возможности мелкими купюрами, и разных товаров миллионов на тридцать шесть: вилы, топоры, гвозди, болты, гайки, стекла оконные, чайная и столовая посуда, косилки и части к ним, заклепки, железо шинное круглое, лобогрейки, катки, спички, части конной упряжи, обувь, ситец, трико, коленкор, бязь, мадеполам, нансук, гринсбон, ластик, сатин, шевьет, марин сукно, дамское и гвардейское, разные кожи, заго-

товки, чай, косы, сеялки, подойники, плуги, мешки, брезенты, галоши, краски, лаки, кузнечные, столярные инструменты, напильники, карболовая кислота, скипидар, сода...».

Диктуя, он перелистывал стенограммы. За эти несколько дней в Царицыне все было поднято на ноги. Партийная конференция, съезд профессиональных союзов, конференция заводских комитетов, чрезвычайные собрания с участием массовых организаций, митинги — следовали без перерыва. Оборона Царицына, казавшаяся до этого делом одного Царицына, поднималась на высоту обороны всей Советской республики.

Через сталинский вагон — на путях юго-восточного вокзала — проходили тысячи людей, воспринимая эту основную тему. Сотни партийных и советских учреждений, тонувших в междуведомственной путанице и неразберихе, начинали нащупывать логическую связь друг с другом. Сотни партийцев, занимавших канцелярские столы, количество которых от пяти до десяти раз превосходило нужное количество столов в этих учреждениях, насквозь прокуренных махоркой, были оторваны от бумажных волокон и брошены на агитационную работу по заводам и в деревню.

Суровой ясностью звучала новая тема: оборона Царицына должна быть наступлением по всему фронту — от севера Воронежской губернии до Сальских степей. Должна быть жестоким проведением хлебной монополии. Должна за июнь месяц дать два миллиона пудов хлеба Москве и Питеру.

Возбужденные митинги прокатились по заводам и окраинам. Рабочие поняли возложенную на них ответственность за судьбу всей страны — всюду были вынесены резолюции, поддерживающие общереспубликанскую задачу. И когда эта ответственность была вещественно выражена в немедленном прекращении свободной продажи хлеба и в переходе на хлебную карточку с полуфунтом на пай, рабочие ответили: согласны...

За несколько дней город изменился, — будто трезвым утром после разгула. По улицам пошли патрули. Опустела оркестровая раковина в городском

саду, и напротив нее двери шашлычного и чебуречного заведения оказались заколоченными крест-накрест досками. Во всех частных лавчонках на витринах остались лишь гуталин, повидло, сарептская горчица в корявых баночках и мухи, густо ползавшие по пыльным стеклам. Хлеб как предмет торговли исчез.

«Дамочки», бежавшие из северных столиц, растерянно рассматривали новые хлебные карточки, дававшие право на получение четверти фунта тем, кто служит в советских учреждениях... «Нетрудовому элементу» карточек не полагалось... «Боже мой, боже мой! Кто же до этой революции серьезно думал о хлебе!». Кухарка шла в булочную и покупала, и врачи даже рекомендовали мало кушать хлеба... Как будто в хлебе появился какой-то особенный, суровый смысл... Но как же, все-таки, быть без хлеба? Одни решали бежать из этого кошмара, другие — мстительно ждать прихода красновских войск.

Были и такие, у кого звуки вальса из раковины в саду (несмотря на убожество пыльной аллеи под двумя керосиновыми фонарями) вызывали пронзительные воспоминания молодости, машущей из навсегда отлетевшего времени белым шлейфом первого бального платья. Эти, не находя в своих крошечных душах ни ненависти — мстить, ни решимости — бежать, лишь горько плакали о том, что большевики лишают их последней невинной радости...

Переодетые офицеры, переживающие революцию в кабаках или на грязной койке под треньканье мандолины, начали теперь лезть через забор в условленную квартиру — совещаться: что благоразумнее — податься ли в перенаселенный Новочеркасск, в не слишком любезную обстановку Всевеликого донского войска, напяливать ли вшивую гимнастерку, — уходить к Деникину на Кубань, — или организовывать здесь, на месте, восстание?

Спекулянты спрятали до лучших времен рубашки «апаш» и долбили каблучки в своих башмаках, запрягивая туда бриллианты и платину. «Либеральные» деятели, царские чиновники, мелкопо-

местные помещики, спасавшиеся здесь со своими семьями от мужицкой стихии, подобно тому, как в семнадцатом веке бояре и служилые люди садились от набегов крымских ханов в осаду за стены Серпухова или Коломны, — все это население центра города начало подумывать, уж не пойти ли временно на службу в какие-нибудь тихие советские учреждения?

Но новый день приносил новые неожиданности. На сосновых телеграфных столбах, на всех заборах, созданных, казалось, вековой российской историей, чтобы под ними беспечно спали пьяные оборванцы, забелели листочки нового декрета исполкома: «Всему нетрудовому населению немедленно явиться в распределительные пункты, получить шанцевый инструмент, итти организованными группами в степь и рыть под городом окопы, за каковой труд будут выдаваться хлебные карточки».

В вагоне на путях продолжала стучать машинка.

— Телеграмма, — вполголоса говорил Сталин, — «Москва, Высший военный совет... Срочно выслать несколько батарей шестидюймовых и снарядов к ним. Несколько батарей трехдюймовых и снарядов к ним. Десять миллионов трехлинейных русских патронов. Восемь бронированных автомобилей. Особенно важно прислать две группы опытных и преданных летчиков с аппаратами и со снарядами...».

Этой ночью в вагон были вызваны Носович и Ковалевский для доклада. По ведомостям и сводкам на всем фронте Северокавказского военного округа (от южной границы Воронежской губернии до Каспийского моря) находилось сто тысяч штыков и сабель. Ковалевский, держа карандаш за самый кончик и указывая на карту, висевшую над столом в салоне, наизусть перечислял имена отрядов, количество бойцов, расположение их на фронте. Носович хмуренно подбирал ведомости.

Сталин, как бы разминая ноги, ходил вдоль окон со спущенными шторами. Когда докладчик приостанавливался, — Сталин подтверждал кивком, что внимательно слушает. На самом деле

ему давно все стало ясно из этого доклада (с материалами он ознакомился накануне): Ковалевский довольно неискусно «втирал очки», стотысячная армия существовала только на бумаге. За исключением значительной группы Калнина на самом юге фронта в Кубано-Черноморье, остальные дивизии, бригады, полки, четко и решительно перечисляемые Ковалевским, были не что иное, как плохо связанные друг с другом партизанские отряды и отрядики, сражающиеся у своих станиц. Четыре царцынских штаба пытались руководить ими, засыпая фронт противоречивыми и склочными бумажонками.

Ковалевский, видя, что у молчаливого Сталина складывается нежелательное впечатление, поспешил подчеркнуть:

— Все эти данные я посылал в Высший военный совет, и Троцкий утвердил дислокацию войск, равно как и общий план обороны.

Носович сейчас же протянул приказ за подписью Троцкого — удерживать фронт и в возможном случае — продвигать его... Сталин, прочтя, усмехнулся, бросил бумажку на стол.

— Удержать, отодвигать, не допускать... Красноречиво...

Наиболее подозрительное в докладе Ковалевского заключалось в спокойном отношении штаба к действительному катастрофическому состоянию самого царцынского фронта: около Царицына находилось всего шесть тысяч штыков и три тысячи в гарнизоне.

— Какими силами располагает Мамонтов? — спросил Сталин.

Ковалевский быстро взглянул на Носовича, тот, не поднимая глаз, спокойно:

— Сорок-пятьдесят тысяч сабель и штыков...

Сталин взял ведомость оружия — всего на фронте Царицына числилось: 8 пушек, 92 пулемета, 9 800 винтовок, 600 сабель, 962 тысячи патронов и 1 200 снарядов для орудий...

— Это все?

— Есть кое-что в арсенале, — хмуро ответил Носович.

На рассвете Сталин поехал в арсенал. Спустился в подвалы и внимательно

но ходил по проходам между сосновых ящиков и пирамид из ручных гранат. Строгий старичок, хранитель арсенала, не мог дать точных сведений — сколько здесь оружия: оно свозилось сюда из разных мест без учета и, по всей видимости, было ломаное, ржавое, негодное...

Из арсенала Сталин поехал на оружейный и машиностроительный завод «Баррикады». Обошел цехи и, когда рабочие, узнав его, собрались на заводском дворе, поднялся на грузовик и сказал:

— Товарищи, республика в опасности... Мы должны переходить в решительное наступление. Долг каждого из нас — удесятерить свои силы и победить. Ни один человек не должен оставаться равнодушным... Сочувствия мало... Нужно поголовно, от мала до велика, взяться за оружие. Нужно работать так, чтобы у твоего станка стояла заряженная винтовка. Пролетариат должен быть весь мобилизован и вооружен. Но, чтобы мы были вооружены, нужно это оружие приготовить. Нам нужны бронепоезда, броневики и пушки. Только-что я видел в арсенале тысячи сломанных и заржавленных винтовок, их нужно как можно скорее починить...

— Даешь наступление, товарищ Сталин, — ответили ему рабочие.

Солнце без пощады жгло черное пространство, прочерченное стальными линиями. Худые пальцы машинистки летели по клавиатуре. Сталин продолжал диктовать:

«...Нужно со всей остротой поставить вопрос с смене всего военного руководства... Обилие штабов (четыре штаба) превращает фронт в кашу. Общее состояние фронта — отрядная неразбериха. Назначенные сюда военные специалисты (сапожники) работают с непонятной вялостью и халатностью. Без экстренных и решительных мер нечего и думать об охране железнодорожной линии и о бесперебойной отправке продовольственных грузов...».

Вошел комендант, будто высушенный на огне человек, молча положил на стол телеграмму. Она была от очередного маршрутного поезда, везущего в Мос-

кву двадцать пять вагонов хлеба и три вагона сушеной рыбы.

«... В два часа ночи на раз'езде у станции Филоново наш поезд сошел с рельсов ввиду того, что казаками были подложены пироксилиновые шашки. Тут же открылась стрельба со стороны казаков по поезду. Но благодаря нашим пулеметам казаки были отогнаны и частью перебиты. Здесь мы простояли целый день и в ночь отправились дальше. На тринадцатой версте за станцией были задержаны, потому что казаки опять наступали. Бой длился до семи вечера. После этого отправились дальше. На раз'езде, не доезжая Поворина, оказался разобран путь на протяжении трех верст. Казаки со всех сторон окружили раз'езд и наш поезд. Бой шел с часу ночи до одиннадцати утра. Здесь мы простояли четверо суток и починили путь. После чего направились дальше. У нас двое убитых, семь раненых легко. Надеемся благополучно довести груз до Москвы...».

Сталин по телефону вызвал коменданта. Комендант молча появился в дверях.

— Сколько вы отправили сегодня маршрутных?

— Три поезда с зерном.

— Сколько еще можете отправить?

— До полуночи еще три.

— Нужно усилить охрану. Прицепляйте к каждому поезду платформу со шпалами и рельсами.

— Есть.

Комендант неслышно скрылся.

Сталин отпустил машинистку и сел писать письма. Его заботили дела на Кавказе и в Средней Азии. Он писал Степану Шаумяну:

«... Общая наша политика в вопросе о Закавказье состоит в том, чтобы заставить немцев официально признать грузинский, армянский и азербайджанский вопросы вопросами внутренними для России, в разрешении которых немцы не должны участвовать. Именно поэтому мы не признаем независимости Грузии, признанной Германией...».

... Очень просим всех вас всячески помочь (оружием, людьми) Туркестану, с которым англичане, действующие че-

рез Бухару и Афганистан, стараются сыграть злую шутку...».

2

Двадцатого июня загрохотала и задымилась вся дуга фронта от Рачковой горы до Нижнечирской станицы. Казаки бешеными ударами конницы пытались прорваться к станции Чир (находящейся в центре этой дуги), откуда нескончаемой вереницей ползли к Дону поезда. Добыча уходила из-под носа. Генерал Мамонтов в новенькой немецкой машине метался по горам и холмам. Поднимаясь с биноклем во весь огромный рост, в шелковой рубашке, выбившейся из-под малинового пояса кавалерийских штанов, — вглядывался сквозь пыль во все фазы боя. Все было напрасно: красные держались и под артиллерийским и под пулеметным огнем, отбрасывали гранатами и штыками страшные натиски кавалерии. Поезда и обозы продолжали двигаться к Дону.

Первый эшелон, груженный железом и разными материалами, осторожно, вслед за шагающим впереди паровоза Бахваловым, проходил восстановленный пролет моста. Деревянные устои — двенадцать тридцатисаженных клетчатых башен, расширяющихся к основанию, — скрипя и пружиня, отлично выдерживали тяжесть паровоза и поезда. Внизу, на широко обнажившейся песчаной отмели, стояли рабочие, несколько тысяч — строители первого советского чуда. Они кричали, многие махали ветками. Отсюда они казались игрушечными, их крики едва доносились.

По мосту сдвигающимся эшелоном, по тысячам людей на отмели упорно и часто били пушки со стороны Пятиизбянский. Но сегодня их снаряды ложились с большим недолетом: отборный царицынский отряд, посланный Сталиным в помощь Ворошилову, выбил казачью батарею из Рубежной балки.

Бахвалов перешел починенную часть моста, паровоз, как ручной, посыпывая цилиндрами, вполз вслед за ним на железную ферму.

Здесь стоял Ворошилов со штабом. У всех были радостные, испуганные лица.

— Выдержала! — крикнул Ворошилов.

— Все-таки она у тебя трещит, — сказал Руднев.

— Трещит, аж дух захватывает, — сказал Пархоменко, — прямо смотреть страшно.

Бахвалов снял картуз, рукавом вытер лоб.

— А пускай трещит, — сказал спокойнo. — Климент Ефремович заявил, чтобы материал подчинялся революции. Вот он и подчиняется. Не только шестьдесят эшелонов выдержит, — по этому мосту курьерские поезда будем гонять...

Когда они, переговариваясь и смеясь, перешли на левый берег, со стороны Луговского хутора к насыпи под'ехал серозеленый броневик с низеньким куполом. Из него вылез человек в черной коже.

— Командующему армией, лично, — сказал он, вынимая пакет. Когда Ворошилов быстро спустился к нему по песчаному откосу, он сухо, четко взял под козырек:

— От товарища Сталина. Товарищ Сталин посылает вам броневик в личное распоряжение...

3

Нужно было разворачивать новый фронт на левом берегу. Эшелоны, перейдя Дон, двигались на Кривую Музгу. Туда был перенесен штаб. Туда перебрасывались освободившиеся части с правого берега, где старый фронт сужался, отступая к станции Чир и к мосту.

Казаки тоже начали переправлять на парамах и лодках конные и пешие сотни на левый берег, сосредоточивая их у Калача, откуда они намеревались нанести удар на Кривую Музгу. Здесь, в пятидесяти верстах от Царицына, на широких заливных лугах и в ровной, как стол, полевой степи, казачьей коннице было привольнее, а красной пехоте — труднее.

Отряды 5-й быстро занимали в сте-

пи хутора, развертываясь перед Калачом. Ворошилов поехал осматривать новый фронт. Когда он, Лукаш и Кисель — командир Морозовского полка — сели в броневик, подбежал Коля Руднев.

— Клим, я посылаю с тобой охрану.

— Глупости. Не надо.

— Прощу тебя. Автомобиль — дело темное. Был бы хороший бензин, а то смесь, — дело темное... Конвой поедет казачий, ребята здешние, они тебе все балочки укажут. Лично тебя прошу.

Ворошилов пожал плечом и захлопнул стальную дверцу. Броневик зачихал, пустил густое облако, воняющее спиртом и керосином, покатило в степь. За ним, пригнувшись на высоких седлах, поскакали восемнадцать красных казаков — молодые, сильные, смелые ребята.

Только-что прошел дождь. Воздух был парной. Из-под колес и копыт летели лепешки грязи. В стороне, куда шел броневик, из грозовой тучи свешивались косые сизые полосы ливня. Лукаш в открытое отверстие брони указывал расположение отрядов. Проехали окопы Морозовского полка и свернули вдоль фронта. Туча, волоча по степи ливень, уползала за Дон. Во влажной дали виднелись стога.

Броневик, замедляя ход, поехал к одному из хуторов — на берегу заросшего камышом пруда. Здесь только-что прошел сильный ливень. За плетнями стояли еще тяжелые от дождя вишневые сады. На улице — лужи. Ворота во всех дворах и ставни в хатах — закрыты. Хутор, видимо, был покинут. Проехали мостик и за поворотом увидели поперек всей улицы сваленные телеги, бревна, мешки с землей. Командир Кисель сказал:

— Дьяволы, это они за ночь нагородили!.. Вчерась разведка установила хутор покинутым, и мы так и считаем...

Ворошилов остановил машину:

— Прикажи конвою отстать.

Лукаш, приоткрыв дверцу, сказал подскочившему казаку:

— Командующий приказал держаться в полуверсте.

— Пошел прямо, — сказал Ворошилов.

Броневик проскочил через баррикаду, но и она оказалась опустевшей, только две ошалелые курицы кинулись из-под колес. Отсюда дорога начала вертеться между плетнями. Лукаш хмурился, кусал ноготь. Кисель все еще повторял: «Мои ребята не станут врать...». Водитель Цыбаченко, луганский металлист, неодобрительно покручивал головой, вертя вправо и влево баранку руля, — дорога становилась все хуже, машина по самые оси завязала в колеи, полные черной воды.

— Давай, давай, — повторял Ворошилов.

Впереди показалась большая лужа. Броневик рванулся и засел. Мотор заглох.

— Сели, — сказал Цыбаченко, открывая дверцу. Ворошилов с силой нажал ему на плечо.

— Сиди смирно.

— Товарищ Ворошилов, да тут же никого нет. — Кисель, морщась, с усилием открывал дверцу... — Разве они днем станут по садам сидеть. Они все сейчас в балках, в степи.

Ворошилов — строго:

— Не выходи...

Но Кисель уже открыл и высунулся по пояс. Из-за плетня хлестнули выстрелы. Он, даже не ахнув, головой вперед, вывалился из броневика. Лукаш быстро захлопнул дверцу. По броне резнул второй залп. Ворошилов:

— Давай пулемет...

Лукаш ответил:

— Ничего не выйдет, они в мертвом пространстве...

Выстрелы били, не переставая, было хорошо слышно, как брякали ружейные затворы, сопели люди. Пули не пробивали брони, но от их ударов — почти в упор — внутри с брони летела окалина. «Береги глаза!» — крикнул Ворошилов, — щека его была в крови.

Нападающие, видя, что броневик не отвечает и засел грузно, начали высывать из-за плетня бородатые, орущие матерщину, лица, скаля зубы, прицеливались в узкую щель в передней броне. Осмелев, гадя, повалили плетень и окружили машину, — станичников было

не меньше полусотни. Бешено застучали прикладами в броню:

— Антихристы! Большевики! Вылезай, хамы!

Навалиясь, раскачивали машину. Лезли на купол. Силились просунуть винтовки в щель. Но, опасаясь револьверных выстрелов изнутри, бросили это занятие. Стали совещаться.

— Нанесем хворосту, зажарим их живьем...

— Чего там — хворост! Давай гранату.

Лукаш сказал:

— Дело скверное.

— Пустяки, — ответил Ворошилов, — мужики хозяйственные, зачем им рвать хорошей броневик. Пускай спрят. Наш конвой их сейчас атакует либо даст знать в полк...

Действительно, казакам скоро жалко стало такой хорошей боевой машины. Несколько человек побежало за волами. Другие опять принялись ругаться и стрелять. Лукаш крикнул в щель:

— Эй, станичники, бросьте дурить! Все равно вы нам ничего не сделаете. За нами идет конвой — две сотни, бегите скорее по садам, покуда вас не начали рубать!

Тогда казаки, разинув губастые, зубастые рты, захохотали, приседая, били себя по ляжкам...

— Го-го-го!.. Хо-хо-хо!.. Мы вам сейчас покажем, где лежит ваш конвой, всех восемнадцать рядом поклали...

— Привезем вас в Калач к атаману, он найдет средство — выйти вам из броневика.

Привели шесть пар волов. Принесли здоровую веревку. Привязали ее к передней оси, другой конец — к цабану. Сзади броневик подхватили жердями: «Ну, берись, ну — еще!..». Закричали на волов: «Айда, айда, айда!..». Броневик тяжело полез из грязи.

Ворошилов сказал:

— До последней минуты — держись.

— Ладно, — сказал Лукаш. — Патроны есть у тебя?

— Есть.

Понукая волов, крича, гогоча, казаки потащили броневик через лужу на сухую дорогу. Водитель Цыбаченко спо-

койно сидел, немножко правил. После лужи шел крутой под'ем. Казаки забежали вперед машины, помогая волам. Цыбаченко глядел в щель перед собой и правил. Под'ем кончился, казаки запыхались, волы стали. Цыбаченко, — не оборачиваясь:

— Давай пулемет!

Он включил мотор. Застреляли цилиндры, мотор заревел. Испуганные волы шарахнулись, веревка оборвалась. Лукаш из-под купола загрохотал пулеметом. Казаки кинулись по канавам. Броневик пронесся мимо них, обдавая дымом и пулями.

Обогнув хутор, свернули по степи на исходную дорогу. Около окраинных садов увидели оседланную лошадь, — она стояла, точно удивленная, приподняв переднюю, перебитую в бабке, ногу. Другая и третья лошади валялись у дороги. А дальше на полынном поле лежали — кто уткнувшись, кто навзничь, навсегда уснув, — восемнадцать молодых ребят-конвойцев, попавших в засаду у этих плетней.

4

В вагон Сталина никого не пропускали. На путях стояли часовые. По перрону ходил комендант, отвечая всем, кто бы ни стремился видеть чрезвычайного комиссара:

— Ничего не знаю...

В вагоне сидели Ворошилов, Коля Руднев и Пархоменко. На столе — жестяной чайник, стаканы и крошки хлеба. Все трое курили московские папиросы. Была долгая беседа, — Ворошилов рассказывал о походе от Харькова до Луганска. Руднев и Пархоменко ревниво вспоминали упущенные подробности.

Сталин, опираясь коленом о банкетку, — под картой на стене, — вертя в пальцах маленький циркуль, говорил:

— ...Справной мужик в октябре дрался за советскую власть. Теперь он повернул против нас. Справной мужик повернул против нас потому, что он ненавидит хлебную монополию, твердые цены, реквизицию и борьбу с мешочничеством...

И вот — результаты.. (Он указал циркулем на карту около Поворина.) На северном участке у нас в частях Миронова — развал, — несколько его конных полков перебежало к Краснову. Станичники и кулаки сагитировали справноного мужика. Миронова три раза окружили у Поворина и у Филонова и в конце-концов разбили на-голову.

Краснов сейчас сильнее нас, — это нужно признать, — и численностью, и вооружением. Он ведет свою агитацию. А наши четыре штаба никакой агитации не ведут и предоставляют Краснову отрывать от нас колеблющиеся массы. У Краснова хорошо снабженная армия. У нас армии нет.

По сведениям этих дней, Добровольческая армия Деникина, о которой упорно ничего не знают наши военные специалисты, покинула Мечетинскую и Егорлыцкую станицы и развивает успешные операции на стыке Дона и Кубани. Вне всякого сомнения, Деникин направит удары на железнодорожные узлы — Торговую и Тихорецкую — и будет пытаться отрезать от нас группу Калнина и приморскую группу Сорокина.

Кроме Краснова, мы получаем нового врага: офицерская Добровольческая армия снабжается Антантой, хорошо обучена и пронизана классовой ненавистью. Это опасный враг. Она угрожает нашему южному — важнейшему участку, — хлебу и нефти.

У нас все еще не могут изжить отрядный способ ведения войны, и не изживают умышленно. Смотреть сквозь пальцы на отрядную неразбериху, терпеть это головотяпство, — если это не простое предательство, — значит, капитулировать. Со всей решимостью, в кратчайший срок, мы должны сформировать из отрядов крупные соединения, подчинить их единому командованию, преданному революции, — должны создать регулярную армию... .

Наши возможности таковы: первое, — рабочие, шахтерские и крестьянские отряды, приведенные вами, Климент Ефремович, — они получили хорошую закалку. Донецко-морозовские отряды Щаденко. Царицынские рабочие. — они могут, хотят и будут драться не на жи-

вот, а на смерть, если мы сможем изолировать их от контрреволюционной пропаганды эсеров и меньшевиков. Качественные части Миронова, — к нему посланы пропагандисты, у него должно отсеяться крепкое бедняцкое ядро. Находящаяся там же, на севере, группа Киквидзе. В сегодняшних условиях она не боеспособна: это типичное отрядное образование с отсутствием координации действий, но группа Киквидзе — отличный материал. Затем — пять тысяч военнопленных в Царицыне, большинство мадьяр, с ними уже работает агитпроп. Сербский отряд, пробившийся к нам из Украины. И, наконец, — в Сальских степях — многочисленные отряды иногородних и беднейшего казачества: отряды Шевкоплясова, Круглякова, Васильева — в Котельникове (сплошь из железнодорожных рабочих), отряд Ковалева — в Мартыновке и конный отряд Думенко. Условия борьбы там особенно суровые, из этих отрядов можно выковать железную дивизию.

Вот из чего мы можем создавать костяк армии. Придется ломать сопротивление военных чиновников, они будут жаловаться в Москву и будут пакостить нам основательно. Придется, может быть, вступить в конфликт с Высшим военным советом. Но и там мы сломим, — нам поможет Владимир Ильич.

Формирование новой Красной армии, — это будет 10-я армия, — не так ли? — вы возьмете на себя, Климент Ефремович.

У Ворошилова вспыхнули скулы. Снял руки со стола, строго подобрался. Пархоменко пробасил в усы:

— Правильное решение.

Двадцать пятого июня на фронте — в окопах, по эшелонам, во всех обозах, на большом армейском митинге, в поле перед станцией Кривая Музга — был прочитан приказ: «Все оставшиеся части бывших 3-й и 5-й армий, части бывшей армии царицынского фронта и части, сформированные из населения Морозовского и Донецкого округов, объединить в одну группу, командующим которой назначается бывший командую-

щий 5-й армией товарищ Климент Ефремович Ворошилов. Всем названным выше воинским частям впредь именоваться «группой товарища Ворошилова». Приказ был подписан народным комиссаром Сталиным.

5

— Нет, нет, нет, господа, — лежать... Раскиньтесь непринужденно... Я уверен — за нами наблюдают с того берега...

— Ну уж ты, кажется, ваше превосходительство, того... Уж и купаться мы не можем...

— Да, да, да... Им на подозрение взяты все... Вчерашний разговор очень мне не понравился...

На отмели — напротив Царицына — лежали голые: Носович, длинный, нескладный Ковалевский, с золотой цепочкой креста на впалой груди, Чебышев — с полными плечами и тазом, как у женщины. В двух шагах от них сидели, подставив спины солнцу, адъютант Кременев и Садковский, капитан второго ранга Лохматов и полковник Сухогин. Здесь был весь штаб округа.

Но опасения Носовича, что за ними наблюдают с того берега, были, пожалуй, неосновательны. Вся отмель напротив Царицына кишела людьми. Много лодок на середине Волги, висело точно в воздухе, на желтовато-голубой глади реки. Было воскресенье, зной безветрие.

Штаб выбрал для купанья уединенную косу. Ждали инженера Алексева, — он должен был сделать важное сообщение.

— О чем же тебя спрашивал чрезвычайный комиссар? — спросил Ковалевский.

— А он интересуется весьма тонкими вещами... Вызвал меня в вагон по оперативным вопросам... Угощал чаем, был очень мил и не верил ни одному моему слову...

Положив руки под затылок, Носович стал подробно рассказывать про вчерашнюю беседу с чрезвычайным комиссаром, интересовавшимся каждой штабной бумажкой. Просматривая принесенные Носовичем приказы, запросы дру-

гим штабам, возражения и отписки и все копии приказов, запросов, возражений и отписок других царицынских штабов, Сталин указывал на громоздкость такой канцелярской системы ведения войны. Он брал из папки какой-нибудь приказ командиру отряда и следил его извилистый путь через канцелярские столы к месту назначения, когда приказ уже терял всякий смысл или вызывал бешеную отписку командира отряда. Он брал другую бумажку и расшифровывал ее смысл, клонящийся единственно к раздуванию склоки между штабами.

Он просил Носовича дать ему толковое объяснение о такой малоцелесообразной деятельности.

— Я, естественно, возражал, что штабы самим господом богом поставлены быть штабами и что здесь я работаю по личной доверенности Троцкого — по мере моих сил и разума. Но ссыла на Троцкого его мало убедила... Он начал ставить такие тонкие вопросы, — одну минуту показалось: вот, черт, не разгадал ли мою игру? С Москалевым работать было проще...

Чебышев, пересыпая в горстях сухой песок, сказал неприязненно:

— Я считаю, что ваша игра слишком тонка для большевиков. Я бы действовал и смелее, и грубее...

Носович потянул по песку ногу, другую, поднял опухшие от ревматизма колени. Так же, как тогда весной на вагонной площадке, он испытал острую неприязнь к этому фату-гвардейцу, неизвестно почему цедящему слова с таким отчетливым высокомерием. Подумал: «Посмотрел бы я, как ты поблдеешь, как поставят у забора перед взводом...».

Носович не ответил ему, потому что в такую жару не хотелось рассказывать о сложной системе бумажной волокиты и склоки, которую он проводил в штабах и на фронте. Иногда ловко продуманная фраза в исходящей бумажке натравливала один штаб на другой, вызывала бурю возмущения, парализовала работу или, как он любил повторять: «Удачное слово может наделать больше вреда, чем хороший обстрел из шести-

дюймовых гаубиц...». Он не ответил еще и потому, что Чебышев был отчасти прав. Директивы, полученные Носовичем в Москве от Савинкова и на другой день — от советника посольства одной из великих держав, «питавшей, несмотря на все испытания, сердечные чувства к русскому народу», — директивы эти не были им выполнены полностью. Может быть, он слишком устал от борьбы, может быть, просто трусил?

К отдели подплыла старая двухсельная лодка. Из нее выскочили два молодых человека с обритыми головами, и, не спеша, вышел инженер Алексеев. Несмотря на жару, он был в пиджаке и жилете. Сыновья его быстро разделись, бросились в воду. Он подошел к лежащим на песке штабным. Сел. Лицо его было серьезно, почти торжественно.

— Господа, — сказал он медленным шопотом, — господа, Добровольческая армия на-голову разбила всю группу Калнина и заняла Тихорецкую, на-днях нужно ждать взятия Торговой. Деникин идет по России триумфальным маршем...

Штабные молчали, но по тому, как они будто бы застыли на песке, было понятно, что сообщение потрясло всех. Наконец Носович хрипиво спросил:

— Откуда у вас это? Штаб еще ничего не знает...

— Я получил шифрованную телеграмму окружным путем через Баку, — сказал Алексеев. — Баку точно так же — со дня на день должно пасть. Уже самый факт, что Баку будет у англичан, неизмеримо материально и морально ослабит большевиков...

— Да, чорт возьми, здорово, — проговорил Ковалевский, переворачиваясь на живот.

— Господа, нужно начинать действовать... Нужно действовать, господа, — повторил Алексеев почти истерически. — Какие у нас реальные силы?

Носович ответил:

— Офицерская организация «союз фронтовиков» — считайте двести пятьдесят штыков... Сербский полк — тысяча штыков. Но сербы еще не вполне готовы. С ними работают местные эсеры, но чорт их знает, как они работают, —

отчета мне не дают... «Союз торгово-промышленных служащих», — там тоже копошатся эсеры и меньшевики... Сколько мы наwerbуем этих вояк — приказчиков, — сказать трудно... Вот пока и все... Можно было бы рассчитывать на некоторый процент рабочих «Грузолеса», но Сталин объявил эсеров и меньшевиков врагами народа, и они сильно ослабили работу на «Грузолесе»... Во всяком случае можно рассчитывать на полторы тысячи штыков...

— Деньги? — спросил Чебышев.

Алексеев — с живостью:

— Комиссариат путей сообщения, отправляя меня за нефтью в Баку, снабдил следующим: четыре пулемета, сорок винтовок, триста ручных гранат и десять миллионов рублей деньгами. Все это в нашем распоряжении...

— Ну что ж, — проговорил Носович, — и прекрасно, давай бог. Ждать придется недолго. Наш фронт...

— Чей — «наш»? — резко спросил Чебышев.

— Красный, не цепляйтесь, полковник... Красный фронт дезорганизован так, что и десяти чрезвычайным комиссарам не привести его в боеспособность... Краснов начнет генеральное наступление с середины июля. Добровольческая армия к тому времени тоже будет уже под Царицыном...

— Стало быть, вооруженное восстание вы приурочиваете?..

— На конец июля...

Один из адъютантов, повернувшись, проговорил четко:

— Товарищ начальник штаба, сюда плывет лодка с народом.

Тогда все снова разлеглись на песке — непринужденно. С лодки, проплывшей мимо, крикнули:

— Эй, граждане, прикройте срам-то!..

6

То, что говорил Сталин в вагоне Ворошилову, оправдалось: в конце июня армия Деникина нанесла ряд сильных ударов по магистрали Царицын — Тихорецкая и отрезала пятидесятитысячную армию Калнина. Южный фронт тем самым привлек теперь все внимание.

Сталин писал Владимиру Ильичу:

«... Если бы наши военные «специалисты» (сапожники!) не спали и не бездельничали, линия не была бы прервана; и если линия будет восстановлена, то не благодаря военным, а вопреки им...

... Дело осложняется тем, что штаб Северокавказского округа оказался совершенно непригодным к условиям борьбы с контрреволюцией. Дело не только в том, что наши «специалисты» психологически не способны к решительной войне с контрреволюцией, но также в том, что они как «штабные» работники, умеющие лишь «чертить чертежи» и давать планы переформировки, абсолютно равнодушны к оперативным действиям.. и вообще чувствуют себя как посторонние люди...

... Смотреть на это равнодушно, когда фронт Калнина оторван от пункта снабжения, а север — от хлебного района, считаю себя не вправе.

Я буду исправлять эти и многие другие недочеты на местах, я принимаю ряд мер и буду принимать вплоть до смещения губящих дело чинов и командиров, несмотря на формальные затруднения, которые при необходимости буду ломать. При этом понятно, что беру на себя всю ответственность перед всеми высшими учреждениями.

... Спешу на фронт пишу, только по делу».

Бронепоезд остановился в глубокой выемке, — здесь опять был взорван путь и, видимо, недавно, — одна из шпал еще тлела. Команда разведчиков взобралась по откосу. Выжженная степь была пустыня. Впереди, вестах в двух, торчала водочкачка, блестила на солнце крыши станционных построек.

Разведчики дошли до станции. Она была покинута. На вокзале выбиты окна, поломаны телеграфные и телефонные аппараты. На станционном дворе у двери погребка лежал какой-то разутый человек с порубленной головой.

Станция — пустынная, маленькая, грабить там, в сущности, было нечего, и такой налет показался странным, — тем более странным, что на пути бронепоезда,

секретно покинувшего Царицын, попадалась уже третья разгромленная станция, — будто это приурочивалось к проходу бронепоезда.

— По линии дано знать, совершенно очевидно, — сказал Ворошилов, подходя вместе со Сталиным к паровозу. Ремонтные рабочие развинчивали рельсы, убирали поврежденные шгалы, стаскивали с платформы запасные. Работы здесь было часа на два. Расспросив вернувшихся разведчиков, Ворошилов предложил пойти до станции пешком, — в выемке было невыносимо знойно.

Он перекинул через плечо карабин. Сталин взял ореховую палочку. Пошла вдвоем по полотну. Выемка завернула направо, и бронепоезда не стало видно. В открытой степи подул горячий, все же приятный, ветер. Горизонт был волнистый. Очень далеко на меловой возвышенности виднелась мельница. Ворошилов указал на нее: «Оттуда и был налет...». В бледном небе парили хищники.

Сталин следил, как один из коршунов — совсем близко от них, так что слышен был свист его твердо раскинутых крыльев, — пронесся к земле и почти задел суслика, стоям торчавшего у своей норы на невысоком кургане — древней могиле какого-нибудь гунна-наездника. Суслик успел, вильнув кисточкой хвоста, нырнуть под землю, коршун важно, будто ему совсем и не хотелось мяса, взмыл по горячему току воздуха.

Сталин рассмеялся, похлопывая себя палочкой по голенищу.

— Когда-нибудь научимся строить такие самолеты, — сказал он. — Совершенный полет, совершенное владение силами. А люди могут летать лучше, если освободить их силы.. Мы будем летать лучше.

Нижние веки его приподнялись. Он шагнул, не глядя теперь ни на коршунов, ни на сусликов между кустиками долины. Ворошилов заговорил о том плане наступления, который необходимо было развивать, не дожидаясь переформирования армии, чтобы предотвратить перебои в отправке маршрутных поездов на Москву.

Добровольческая армия, предполагал он, добившись серьезных успехов по Ти-

хорещкой магистрали, неминуемо должна не идти к Царицыну, но повернуть на юг, потому что в тылу у нее остаются: гарнизон Екатеринодара (разбивший в марте месяце Добровольческую армию Корнилова), черноморские моряки в Новороссийске и на фланге — у Азовского моря — армия Сорокина.

Деникин должен будет прежде всего войти в соприкосновение с Сорокиным и отойти от магистрали, оставив на ней лишь заслоны, и тогда нам с одними оставшимися у нас на южном участке силами возможно прочистить и восстановить линию до Тихорецкой и протолкнуть оттуда хлебные поезда.

Сталин сказал:

— Когда мы переформируем армию и призовем семь возрастов, то и тогда противник численно будет сильнее нас. Мы должны создать новую тактику. Наши дивизии не должны быть громоздкими, но гибкими и подвижными, усиленно снабженными пулеметами и артиллерией. Конница — будущее этой войны. Пехотные дивизии нужно укомплектовывать крупными конными частями, которые могли бы развивать самостоятельные операции. Мы должны иметь перевес в технике — создать фронтную завесу из бронепоездов и бронемашин. Нам нужен воздушный флот. Мы должны создать воздушный флот...

Они дошли до покинутой станции. Водонапорная башня, к счастью, уцелела. Открыли кран, — с наслаждением вымылись до пояса и напились. Ворошилов принес лестницу, приставил ее к стене одноэтажного вокзала и полез на крышу, чтобы оттуда хорошенько в бинокль оглядеть местность. Сталин остался внизу.

Едва только Ворошилов, взобравшись, поднял руки с биноклем, — по железной крыше будто ударило горохом...

— Вниз! Скорее! — крикнул Сталин.

Донеслись выстрелы. Пули впились в деревянную стену вокзала. Ворошилов соскочил с крыши. Все же он успел разглядеть, что стреляли в версте отсюда, из-за кургана. Он сказал, когда отошли под прикрытие:

— Извините, Иосиф Виссарионович, право... (У него было совсем расстроенное лицо. Сталин засмеялся: «Бывает...»). Можно здесь обождать бронепоезд... Но боюсь, как бы казаки не вздумали нас атаковать кавалерией... Лучше будет вернуться...

— Идем...

Ворошилов снял с плеча карабин. И они, обогнув станцию, пошли, держась в стороне от полотна. Пулями здесь достать их было трудно, все же не одна пуля просвистела над головой. Сталин шел все так же, спокойно, постукивая палочкой. Ворошилов с тревогой поглядывал то на него, то в сторону далекого кургана. Вдруг там над гребнем взвилась желтый дымок, прошипел снаряд, раскатился орудийный выстрел.

— Идиоты! — крикнул Ворошилов. — Из орудия — по отдельным точкам, — идиоты!..

Они шли, не ускоряя шага. Через минуту снаряд поднял вихрь земли позади них. Выемка, где стоял невидимый отсюда бронепоезд, была еще далеко. Следующий снаряд разорвался впереди них.

— Для казаков — стрельба не слишком плохая, — сказал Ворошилов.

Наконец из выемки откликнулось тяжелое орудие бронепоезда, — рев его был такой грозный, что казачья пушечка за курганом еще раз твякнула и замолкла. На гребень выемки выскакивали разведчики, — они бежали цепью в сторону кургана.

Сталин остановился и, прикрывая от ветра огонек спички, раскуривал трубку...

С пути Сталин телеграфировал Владимиру Ильичу:

«Военрук Снесарев по-моему очень умело саботирует дело очищения линии Котельниково — Тихорецкая. Ввиду этого я решил лично выехать на фронт и познакомиться с положением. Взял с собой... командующего Ворошилова, броневой поезд, технический отряд и поехал. Полдня перестрелки с казаками дали нам возможность прочистить дорогу, исправить путь в четырех местах на расстоянии пятнадцати верст. Все это удалось нам сделать вопреки Снеса-

реву, который против ожидания также поехал на фронт, но держался от поезда на расстоянии двух станций и довольно деликатно старался расстроить дело. Таким образом, от станции Гашун нам удалось добраться до станции Зимовники, южнее Котельникова.

В результате двухнедельного пребывания на фронте убедились, что линию безусловно можно прочистить в короткий срок, если за броневым поездом двинуть двенадцатитысячную армию, стоящую под Гашуном и связанную по рукам и ногам распоряжениями Снесарева.

Ввиду этого я с Ворошиловым решили предпринять некоторые шаги вразрез с распоряжениями Снесарева. Наше решение уже проводится в жизнь, и дорога в скором времени будет очищена, ибо снаряды и патроны имеются, а войска хотят драться.

Теперь две просьбы к вам, товарищ Ленин: первая — убрать Снесарева, который не в силах, не может, не способен или не хочет вести войну с контрреволюцией, со своими земляками-казаками. Может быть, он и хорош в войне с немцами, но в войне с контрреволюцией он — серьезный тормоз, и если линия до сих пор не прочищена, — между прочим потому, и даже главным образом потому, что Снесарев тормозил дело.

Вторая просьба — дайте нам срочно штук восемь броневых автомобилей. Они могли бы возместить, компенсировать, повторяю — компенсировать численный недостаток и слабую организованность нашей пехоты».

7

Тачанка мчалась к белеющим палаткам, — хлопец в разодранной на плече рубашке, в хорошей кубанской бараньей шапке, раскинув руки с вожжами и будто падая с облучка, — понукал четверку поджарых коней. Здесь были Сальские степи, ровные, как море, подернутые сединой волнующегося ковыля.

Тачанка прогрохотала по новому мосту через овраг, где сквозь камыши синела вода. На той стороне стояли па-

латки знаменитого на все эти степи красного конного отряда. Дорога отсюда в лагерь была обсажена невысокими деревьями, чтобы давать бойцам тень и прохладу, но недавно посаженные деревья засохли.

Лагерь был обнесен валом. У околицы, украшенной ковылем, стояли две пушки. Часовой штыком загородил дорогу.

— Командующий! — сказал Пархоменко, кивнув на Ворошилова. Тачанка вскачь пронеслась по лагерю, мимо коней, стоявших у коновязей, мимо палаток и землянок, перед которыми курились костры из сухого навоза. Отовсюду к приехавшим бежали бойцы. Пархоменко, встав в тачанке, крикнул страшным голосом:

— Товарищи! Командующий прибыл! Давай митинг!

Толпа одобрительно загудела, — повалили на плац, что был расчищен для строевых занятий, гимнастики и митингов. На вопрос Ворошилова — где командир — несколько голосов ответило весело:

— Командир в палатке...

— Он нездоров...

— У него чирей, что ли...

— За помощником ребята поскакали, — он в степи коня об'езжает...

Ворошилов и Пархоменко вошли в палатку. Командир спал на земле, на попоне. На нем был пестрый татарский халат. По одну сторону командира лежала всякая сбруя — седла и уздечки, на стояке на сучке висела кривая сабля в серебре, по другую сторону от него на досках, положенных на чурбашки — одна над другой — стояло несколько сот — если не больше — закупоренных пузырьков, взятых, видимо, где-то в аптеке. В палатке было душно.

— Товарищ Думенко! — окликнул его Ворошилов. Спящий сильно потянул носом, поднял бритую голову и покрасневшими глазами с минуту бессмысленно глядел на вошедших.

— Товарищ Думенко, с тобой говорит командующий фронтом, вставай...

— Не могу встать, — медленно крепким, хриплым голосом проговорил Думенко и подобрал под халат босые ноги.

От усилия наголо обритое, воспаленное лицо его сморщилось. — Извини, товарищ командующий, я нездоров... Эй, хлопцы, дайте-ка седельные подушки командующему и адъютанту...

Он что-то еще хотел прибавить, но у него подвернулся локоть, на который он опирался, и Думенко лег опять на пону, бормоча что-то.

— Все понятно, — сказал Ворошилов. — Это у него спирт в пузырьках, идем...

На плацу — в круг — собрались бойцы, — несколько сот молодых ребят, пропахших степным дымом. Передние сидели на земле, задние стояли тесно. Тут были казаки и крестьяне из станиц и сел, где с февраля месяца казачий генерал Попов, бежавший после взятия красными Ростова, кровью и плетью восстанавливал в степях власть станичных атаманов.

Плохая одежда на бойцах не мешала их молодецкой, лениво-дерзкой осанке. Они знали и скок на коне с пикой, и рубку направо и налево саблей. А кто не знал — здесь научили.

Когда в круг вошли Ворошилов и Пархоменко, им крикнули:

— Подожди, не начинай!

Послышался бешеный конский топот. Подскакал всадник, соскочил, толпа бойцов раздалась... Он подошел легкой, слегка развалистой походкой. Все на нем — и перетянутая ремнем гимнастерка, и галифе с кожей на шенкелях, и звякнувшая о голенище сабля, когда он остановился, и смятая, глубоко и на ухо надетая фуражка, — все было пригнано по-кавалерийски — ловко. Был он худошав, смуглый, с пышными большими усами.

Подойдя к Ворошилову, четко подкинул руку, не донеся ладонь до скулы, и тотчас отнял ее.

— Помощник командира отряда Семен Буденный, — сказал он, глядя в упор холодными глазами.

Ворошилов пожал ему руку, попросил, чтобы давал митинг. Буденный, — откинувшись:

— Хлопцы, с вами будет говорить командующий фронтом, товарищ Климент Ефремович Ворошилов, тот самый,

кто сквозь немецкие и казачьи банды привел в Царицын славную армию, выкованную им в кровавых боях. Он будет с вами говорить...

— Даешь! — гаркнули бойцы.

Ворошилов начал говорить о том, что здесь, в Сальских степях, и выше, на Дону, и по всей России идет одна и та же борьба трудящихся против капиталистов и помещиков за то, чтобы работать и жить для себя, а не кормить паразитов.

Фронт капиталистов и помещиков — от Петрограда до Баку. Скучно будет тем, кто захочет бить их у одной у своей хаты... Бить их нужно всем сообща, в тех местах, где будет для них наиболее чувствительно. Поэтому необходимо сформировать из всех трудящихся единую Красную армию и подчинить ее единому революционному командованию...

— За этим я приехал сюда — сформировать из ваших славных красных отрядов железную дивизию... (Он перечислил эти отряды и число бойцов в них, и их боевые средства.) С чего нам начать? Начнем с геройского подвига, хлопцы... Село Мартыновка уже тридцать пять дней осаждается озверелыми белыми бандами генерала Красильникова. Мартыновцев — три тысячи бойцов, они не хотят сдаваться и согласны лучше умереть до последнего человека... Если мы не придем к ним на помощь — они умрут. Если выручим их — в нашей дивизии будет каленый Мартыновский полк...

Говорил он убедительно и понятно. Хлопцы, сидевшие в кругу на земле, встали. Те, кто стоял, теснее надвинулись. По нахмурившимся лицам, по загоревшимся глазам видно было, что их задела речь командующего.

— Веди! — сказали хлопцы. — Мы согласны. Веди нас на Мартыновку.

Буденный поднял руку, восстановил тишину и подробно рассказал, как нужно осмотреть коней, подковать плохо кованных и напоить, и как их седлать, и что с собой взять в поход.

Ребята побежали к коновязям и в степь, и к походной кузнице, и к землянкам. Не прошло получаса — Буденный приказал трубачу:

— По коням!

Отряд, оставив в лагере обоз и охрану, выступил. Бойцы — попарно — далеко растянулись по степной дороге. Рядом со знаменем — впереди — на рыжем донском коне, горбоносом, сухом и жилистом, как его хозяин, шел Семен Буденный, влитый в седло, нахмуренный и спокойный. Конь о конь с ним — Ворошилов и Пархоменко, пересевшие с тачанки в седла. За ними — в голове колонны — трубачи, литавристы и запевалы — степные тенора.

Когда отряд, давая отдых коням, переходили на шаг, тенора затягивали протяжную, звонкую, казачью, и весь отряд подхватывал крепкими голосами, — тенора заносились, и подголоски тянули так долго, казалось, чтобы слушала вся степь... Но слушали лишь коршуны в высоте да сулики у своих нор... Ворошилов под'езжал к строю и пел с увлечением.

Буденный касался шпорами коня, — донец, зло взмахнув расчесанным хвостом, переходил на размашистую рысь. Смолкала песня, — над мчавшейся колонной поднималась пыль.

Ночевали, не расседывая коней, не зажигая костров. Еще не занялась заря, отряд, перестроившись в боевой порядок, двинулся на Мартыновку. Высланные ночью разведчики донесли о расположении противника, кругом обложившего село. Для совещания с'ехали — Ворошилов, Буденный и командиры сотен. Решено было ударить по штабу белых, прорваться в село и оттуда уже вместе с мартыновцами рвать и громить окружение...

До рассвета оставалось недолго, и звезд стало меньше. Отряд, развернувшись в четыре цепи, шел крупной рысью. Буденный сказал командующему, чтобы он держался во второй цепи и не выскакивал в первую. Села еще не было видно, но ветер уже доносил оттуда жилой запах дыма, кизяка и хлеба. Зеленел восток. Ширился, яснил свет безоблачной зари, — с тревогой на нее поглядывал Буденный.

— Прибавь!

Впереди показались красноватые огоньки костров. Разведчик, скачущий

рядом, указал Буденному на черные в рассветных сумерках очертания двух деревьев, — там был штаб и лагерь конного полка Красильникова. Казаки, конечно, спят, как кабаны, не ожидая нападения из степи.. Разведчик ошибся. Буденный различил движение, — в стороне от группы деревьев с'езжались всадники. Белые тоже, должно быть, думали, что мартыновцы в этот час, конечно, крепко спят в окопах.

Осадив донца, так что тот перебил ногами, пытаясь взвиться, Буденный вынул из ножен шашку: «За мной!» — и толкнул коня. За ним — крича, ревя, визжа по-степному, размахивая шашками — рванулась передняя цепь. С тяжелой топотом красные лавы понеслись вперед — туда, где немного справа за черными деревьями отражалась в луже воды разгорающаяся полоса зари...

Там блеснула и забилась вспышка пулемета, свистнули пули, загрохотала степь... Навстречу двигались еще смутные массы врага...

Пархоменко пытался схватить за узду лошадь Климента Ефремовича, но тот вырвал у него повод, погнал возбужденного коня вперед. Стремительно приближалась черная стена врагов. Ворошилов знал, что эти секунды решают судьбу конного боя: кто первый повернет?.. Он увидел Буденного, — впереди, привстав в стременах, подняв клинок, — он искал встречи. Враги — теперь их хорошо было видно — вырастали цепь за цепью: весь полк мчался на сближение. Буденный, на стелющемся донце, весь вытянувшись, достал шашкой заскочившего вперед бородатого казака, — тот схватился за голову... И тотчас налетел на двоих, рубя с плеча и наотмашь, — один казак лег на гриву, у другого из разрубленной шеи хлынула черная кровь. Враги осаживали, поворачивали. Лишь несколько всадников сшиблось, но, опрокинутые, смятые, исчезли в неудержимой лаве.

Казаки повернули, и гнали, и гнали за ними, рубя наотмашь, молодые красные казачата. Ворошилов, уносимый потоком ревуших всадников и взмыленных, пахнувших потом, коней, снова увидел оскаленную, лысую башку донца и ма-

ленькую, жилистую фигуру, и водяной блеск его клинка... Все пронеслось, как ураган...

Ворошилов стал осаживать. Кричали раненые. Направо, за прудом, разгоралась ружейная стрельба. Он остановился под ивой, — конь потянулся к оранжевой воде. Подскакал Пархоменко.

— Весь полк изрублен к чорту... Победа!

— Как бы наши не зарвались...

— Не зарвутся, Буденный дело понимает.

— Ты послал к мартыновцам?

— Послал двух ребят...

— Немедленно общее наступление...

8

Так началась оборона Царицына.

Вагон Сталина на путях юго-восточного вокзала был тем сердцем, которое гнало организованную волю по всем извилинам города, с учреждениями, заводами и пристанями, по всему фронту, где формировались полки, бригады и дивизии, и на митингах военные комиссары разъясняли задачи революции, по всему огромному округу, где агитаторы и продотряды митинговали по селам, станицам и хуторам, мобилизуя беднейшее и среднее крестьянство и ломая кулацкое сопротивление. Тысячи подвод с хлебом тянулись к Царицыну, стада скота брели по дорогам к волжским пристаням...

Ежедневно отправлялись маршрутные поезда на Москву. На пристанях Царицына, Черного Яра, Камышина, Балашова грузили на баржи скот, рыбу, хлеб и гнали вверх — на Нижний-Новгород. Северные столицы могли теперь бесперебойно получать паек. Угроза смертельного голода миновала.

Но вся опасность была впереди. Контрреволюция не давала даже короткой передышки. С конца июля началось генеральное наступление на Царицын красновских генералов. Аэропланы — германского типа Таубе — сбросили в Царицын листовки — воззвание Мамонтова:

«Граждане города Царицына и вы, заблудшие сыны российской армии. К вам обращаюсь я с последним предложением

мирной и спокойной жизни в единой и великой России, России православной, России, в бога верующей. Близок ваш час и близко возмездие божие за все ваши преступления.

Скажите, за что погибнете вы, за что погибнут ваши жены и дети, и богатый город обратится в пустыню и развалины? За что вы умираете? За те триста рублей фальшивых, ничего не стоящих, керенок? Но что вы едите? У вас даже хлеба нехватает...

Именем бога живого заклинаю вас: вспомните, что вы русские люди, и перестаньте проливать братскую кровь. Я предлагаю вам не позже пятнадцатого августа сдаться и сдать ваш город нашим донским войскам. Если вы сдадитесь без кровопролития и выдадите мне ваше оружие и военные припасы — я обещаю сохранить вам жизнь. В противном случае — смерть вам позорная. Жду до пятнадцатого августа. После — пощады не будет».

Саша Трубка собрала митинг на «Грузолесе» и прочла эту листовку.

— Кто желает возразить генералу Мамонтову? — окончив чтение, спросила она и хлопнула себя по кобуре. — Возражения считаю излишними. Все ясно. В этой кобуре мой ответ генералам... Предлагаю вам, мужики, вынести резолюцию: всем без исключения итти на фронт. Всему «Грузолесу». Бревна катать и пилить будем потом — когда перепилим Мамонтова.

Рабочие «Грузолеса» постановили — итти на фронт всем. Рабочие французского механического завода постановили — итти на фронт всем. Рабочие оружейного завода постановили — мобилизоваться на фронт всем и совместить это с прокатом днем и ночью — в три смены — стальной брони и срочной постройкой бронепоездов.

За отрядами рабочих шли на фронт матери, жены, сестры, дети, неся узелки и кошелки с едой, горшки с кислым молоком... Провожających не допускали до позиций, и женщины и дети подолгу стояли где-нибудь на пригорке, глядя, как их неумелые мужья и братья строятся в поле в два ряда, и держат ружья, и повторяют: «Первый — второй, пер-

вый — второй», и шагают, и поворачиваются, расстраивая ряды, и ложатся, и примерно стреляют, и потом, немного научась, уходят далеко в степь — защищать своей жизнью рабочую свободу.

Оставив на пригорке узелки с хлебом, огурцами и луком под охраной какого-нибудь служивого, женщины и дети, взволнованные и молчаливые, возвращались в город, чтобы заменить мужчин на оборонной работе.

Немало молодых женщин шло на фронт — санитарками, бойцами, иные — грамотные — в агитпроп — читать в окопах издаваемую теперь Межиным в Царицыне большую газету — «Солдат революции».

К одной из таких девушек поздно вечером однажды в овраге, где помещался штаб новосформированного Варваропольского шахтерского полка, к огню костра подошла Агриппина. Была она одета хорошо — в защитной, туго перепоясанной ремнем, рубашке, в новом картузе с красноармейской звездой.

Лицо у нее было такое мрачное, будто она собиралась перекусить горло этой девушке, разложившей на траве у костра весь свой «струмент»: несколько газет и брошюр, чернильницу и листочки бумаги... Брови у Агриппины были сдвинуты, ноздри красивого носа вздрагивали, ресницы опущены.

— Товарищ, мне с вами поговорить нужно, — сказала она этой девушке. — Можете вы меня научить грамоте в две недели или нет? Я к тому, что это для меня не шутки... (Отвернула лицо и — тихо.) Я могу счастье свое потерять... Горячие бои раньше двух недель не научутся, время будет... Надо понять, — на моем горбу двое детей. Им надо расти, надо учиться, а я неграмотная... Кроме них — один человек, он партийный. Ленина хорошо знает, Ворошилова знает... И я вижу — ему моя темнота скоро станет поперек горла... Он ротный командир, — это надо понять... Две недели, товарищ, даю вам срок...

Агриппина так взглянула на городскую девушку, — та сейчас же согласилась, и, не теряя времени, у костра начали первый урок.

За июль месяц группа Ворошилова, снабженная военными запасами, привезенными в эшелонах, расширила фронт, взяла Калач и на правом берегу — станцию Нижнечирскую, где были огромные запасы зерна.

Все понимали, что это продвижение ненадежно, что оно может стать прочным, только когда будут разбиты главные силы Мамонтова. Вся армия и тыл готовились к страдным дням.

Военрук Снесарев, наконец, был оглашен в Москву, — по настоянию Ленина в Высшем военном совете, где Троцкий злобно защищал генерала. Это было крупной победой. Получив об этом известие, Сталин созвал у себя военное совещание. Нужно было сделать еще шаг в сторону организации армии: уничтожить четыре царицынских штаба и на место их поставить единый Военный совет. О таком решении Сталин телеграфировал в Москву, наметив пятерых членов Военного совета: себя, Москалева, Ворошилова, политического комиссара штаба и Тритовского, военного специалиста — умного, знающего и скромного человека из бывших армейцев.

Высший военный совет уперся и после нескольких дней молчания ответил, что согласен на создание в Царицыне Военного совета, но считает, что он должен состоять только из трех членов: Сталина, Москалева и военного специалиста Ковалевского.

Такое решение было прямым предательством со стороны Троцкого. Тогда Сталин, не споря и не опровергая, сделал еще один организационный шаг: приказал начальнику Чрезвычайной комиссии арестовать и допросить Носовича, Ковалевского, Чебышева и весь их штаб. Это было уже в дни, когда мамонтовские батареи опоясали фронт ураганным огнем и казачьи полки, великолепно одетые в берлинское черное сукно, тучами нависли над окопами.

Ковалевский, Чебышев, Сухотин, Лохматов и Кремнев, — а несколькими часами позже — инженер Алексеев с обоими сыновьями были арестованы, допрошены и после их признаний расстреляны.

Генерала Носовича спас Троцкий, освободив его из-под ареста и направив его в Балашов. Там Носович вредил еще месяца два. Вскоре, опасаясь нового ареста, он перешел фронт Добровольческой армии и представил Деникину свои об'яснения.

Третьим членом Военного совета вместо Ковалевского был назначен Ворошилов.

Мамонтов сосредоточивал главные силы непосредственно против Царицына и наносил сквозной удар по магистрали, по которой месяц тому назад пробивались эшелоны Ворошилова.

К концу второй недели боев Коммунистическая и Морозовско-донецкая дивизии начали выматываться, — резервов нехватало. Снаряды и патроны, привезенные эшелонами Ворошилова, подходили к концу. Высший военный совет в ответ на самые срочные требования прислать оружие и огневое снаряжение ответил, наконец, что оружие и огнеприпасы могут быть присланы из Москвы лишь при условии, если в заявках будут указаны точные цифры количества бойцов, которым нужно оружие, наличие военного имущества в Царицыне и суммы, в рублях, ранее произведенных расходов.

Сталин послал в Москву Пархоменко, чтобы вырвать у Высшего военного совета оружие и огнеприпасы, немедленно привезти в Царицын.

Станицу Нижнечирскую пришлось оставить. Красные отступили на левый берег Дона. Мост был отдан врагу. Калач оставлен. В Царицын день и ночь подходили поезда, набитые ранеными. Под Кривой Музгой лучшие полки Комдивизии потеряли больше половины состава. Лукаш был тяжело ранен. Обливающаяся кровью, измученная Красная армия опиралась теперь только на бронепоезда, — ураганным огнем они отбрасывали наседающие огромные резервы мамонтовцев. Но нехватало снарядов. Бешеными конными атаками враг неудержимо рвался к городу.

От грохота орудий в Царицыне дребезжали стекла. Все население торопливо копало на окраинах последнюю линию укреплений. Сталин был в окопах.

Туда ему принесли телеграмму с требованием немедленно образовать Революционный совет Южного фронта на основании полного невмешательства комиссаров в оперативные дела, штаб поместить в Козлове¹.

В тот же час в домишке на окраине города собрался Военный совет, и Ленину и в Центральный комитет была послана телеграмма:

«Известен ли Высшему военному совету вышеуказанный приказ Троцкого? Телеграфный приказ Троцкого угрожает развалом всему фронту и гибелью всему революционному делу на юге и не может быть выполнен Военным советом Южного фронта».

Сталин не выходил из окопов, руководя оттуда посылкой резервов, подвозом огнеприпасов, отправкой нового бронепоезда, вооруженного только-что отлитыми тяжелыми пушками. В окоп прыгнул Ворошилов, — он вернулся на броневике с передовой линии, был весь в грязи, в машинном масле. Он молча глядел на Сталина, — губы у него тряслись.

— Убит Коля Руднев, — сказал он и с минуту стоял молча. — Патронов нет... Отбиваемся одними штыками... Патери большие... Ну, иду в цепь...

Вылез из окопа. Сел в броневик (приехавший за новыми пулеметными дисками), умчался.

Когда мамонтовцам уже казалось, что они еще одним последним усилием ворвутся в город, — против них выступил сформированный на рабочих окраинах свежий Новоникольский полк. Сталин сказал им несколько слов, и они пошли без выстрела. Двигавшийся впереди них бронепоезд огнем шквалом расчищал путь. Новоникольцы дошли до окопов врага и бросились в штыки. Мамонтовская пехота, не ожидавшая удара свежих частей, дрогнула и побежала. Ее встретили свои же казачьи сотни, кинувшиеся рубить бегущих. Но и эти сотни были сметены огнем бронепоезда и батарей, стоявших под городом. Усилие, с которым белые рвались к городу, сломилось, как это часто бывает, о не-

¹ Козлов — 400 верст севернее Царицына.

ожиданно введенную против них новую силу. Белые, как обожженные, отскочили от Царицына. Мамонтов послал резервы. На них с фланга бешено ударил Громославский полк. Белые начали откатываться за Кривую Музгу. Тогда на них напустилась морозовская кавалерия и сбросила в Дон все ядро еще утром,

казалось, — победоносной, к вечеру — разгромленной мамонтовской армии.

«Наступление советских войск Царицынского района увенчалось успехом... Противник разбит наголову и отброшен за Дон. Положение Царицына прочное. Наступление продолжается. Нарком Сталин».

Тихий Дон

РОМАН

(Продолжение) ¹

МИХ. ШОЛОХОВ

★

ГЛАВА XXV

Через месяц Григорий выздоровел. Впервые поднялся он с постели в двадцатых числах ноября и — высокий, худой, как скелет, — неуверенно прошелся по комнате, стал у окна.

На земле, на соломенных крышах сараев ослепительно белел молодой снежок. По проулку виднелись следы санных полозьев. Голубоватый иней, опустивший плетни и деревья, сверкал и отливал радугой под лучами закатного солнца.

Григорий долго смотрел в окно, задумчиво улыбаясь, поглаживая костлявыми пальцами усы. Такой славной зимой он, как будто, еще никогда не видел. Все казалось ему необычным, исполненным новизны и значения. У него после болезни словно обострилось зрение, и он стал обнаруживать новые предметы в окружающей его обстановке и находить перемены в тех, что были знакомы ему издавна.

Неожиданно в характере Григория проявились ранее не свойственные ему любопытство и интерес ко всему происходившему в хуторе и в хозяйстве. Все в жизни обрело для него какой-то новый, сокровенный смысл, все привлекало внимание. На вновь явившийся ему мир он смотрел чуточку удивленными глаза-

ми, и с губ его подолгу не сходила простодушная, детская улыбка, странно изменявшая суровый облик лица, выражение звероватых глаз, смягчавшая жесткие складки в углах рта. Иногда он рассматривал какой-нибудь с детства известный ему предмет хозяйственного обихода, напряженно шевеля бровями и с таким видом, словно был человеком, недавно прибывшим из чужой, далекой страны, видевшим все это впервые. Ильинична была несказанно удивлена, однажды застав его разглядывавшим со всех сторон прялку. Как только она вошла в комнату, Григорий отошел от прялки, слегка смутившись.

Дуняшка не могла без смеха смотреть на его мослаковатую, длинную фигуру. Он ходил по комнате в одном нижнем белье, придерживая рукой сползающие кальсоны, сгорбясь и несмело переставляя высохшие голенастые ноги, а когда садился, то непременно хватался за что-нибудь рукой, боясь упасть. Черные, отросшие за время болезни волосы его лезли, курчаватый, с густой проседью чуб свался.

При помощи Дуняшки он сам обрил себе голову, и, когда повернулся лицом к сестре, та уронила на пол бритву, схватилась за живот и, повалившись на кровать, задохнулась от хохота.

Григорий терпеливо ждал, пока она отсмеется, но потом не выдержал, сказал слабым, дрожащим тенорком:

¹ См. «Новый мир», кн. кн. 12 за 1937 г. и 1 с. г.

— Гляди, так недолго и до греха. Опосля стыдно будет, ты ить невеста.— В голосе его прозвучала легкая обида.

— Ой, братушка! Ой, родненький! Я лучше уйду... силов моих нету! Ой, на чего ты по-хо-о-ож! Ну, чистое огородное чучело! — между приступами смеха еле выговорила Дуняшка.

— Поглядел бы я на тебя, какая ты бы стала опосля тифа. Подыми бритву, ну?!

Ильинична вступилась за Григория, с досадой сказала:

— И чего иржешь, на самом деле? Тот дура ты, Дунька!

— Да погляди, маманя, на чего он похож! — вытирая слезы, говорила Дуняшка. — Голова вся в шишках, круглая, как арбуз, и такая же темная... Ой, не могу!

— Дай зеркало! — попросил Григорий.

Он посмотрелся в крохотный осколок зеркала и сам долго, беззвучно смеялся.

— И на что ты, сынок, брился, уж лучше бы так ходил, — с неудовольствием сказала Ильинична.

— По-твоему, лучше лысым быть?

— Ну, и так страотно до невозможности.

— Да ну вас совсем! — с досадой проговорил Григорий, взбивая помазком мыльную пену.

Лишенный возможности выходить из дому, он подолгу возился с детишками. Разговаривая с ними обо всем, избегал упоминать о Наталье. Но однажды Полюшка, ласкаясь к нему, спросила:

— Батяня, а маманька к нам не вернется?

— Нет, милушка, оттуда не возвращаются...

— Откуда? С кладбища?

— Мертвые, словом, не возвращаются...

— А она навовсе мертвая?

— Ну, а как же иначе? Конечно, мертвая.

— А я думала, что она когда-нибудь соскучится по нас и придет... — чуть слышно прошептала Полюшка.

— Ты об ней не думай, моя родная, не надо, — глухо сказал Григорий.

— Как же об ней не думать? А они проведывать не приходят? Хучь на чудок. Нет?

— Нет. Ну, пойдй, поиграй с Мишаткой. — Григорий отвернулся. Видно, болезнь ослабила его волю: на глазах его показались слезы, и, чтобы скрыть их от детей, он долго стоял у окна, прижавшись к нему лицом.

Не любил он разговаривать с детьми о войне, а Мишатку война интересовала больше всего на свете. Он часто приставал к отцу с вопросами, как воюют, и какие красные, и чем их убивают, и для чего. Григорий хмурился, с досадой говорил:

— Ну, вот, опять заладила сорока про Якова! И на что она тебе сдалась, эта война? Давай лучше погутарим об том, как будем летом рыбу удочками ловить. Тебе удочку справить? Вот как только зачну выходить на баз, так сразу же ссучу тебе из конского волоса леску.

Он испытывал внутренний стыд, когда Мишатка заговаривал о войне: никак не мог ответить на простые и бесхитростные детские вопросы. И кто знает — почему? Не потому ли, что не ответил на эти вопросы самому себе? Но от Мишатки не так-то легко было отделаться: как будто и со вниманием выслушивал он планы отца, посвященные рыбной ловле, а потом снова спрашивал:

— А ты, папанька, убивал людей на войне?

— Отвяжись, репей!

— А страшно их убивать? А кровь из них идет, как убивают? А много крови? Больше, чем из курицы либо из барана?

— Я тебе сказал, что брось ты об этом!

Мишатка на минуту замолчал, потом раздумчиво говорил:

— Я видал, как дед резал недавно овцу. Мне было не страшно... Может, так трошки-трошки страшно, а то ничуть!

— Прогони ты его от себя! — с досадой восклицала Ильинична. — Вот ишо душегуб растет! Истый арестанюга! Только от него и послышишь, что про

войну, окромя он и разговору не знает. Да мысленное ли дело тебе, чадушка, об ней, об проклятой, прости господи, гутарить? Иди сюда, возьми вот блинец да помолчи хучь чудок.

Но война напоминала о себе ежедневно. Приходили проводить Григория вернувшиеся с фронта казаки, рассказы-вали о разгроме Шкуро и Мамонтова конницей Буденного, о неудачных боях под Орлом, об отступлении, начавшемся на фронтах. В боях под Грибановкой и Кардаилом были убиты еще двое татарцев; привезли раненого Герасима Ахваткина; умер болевший тифом Дмитрий Голощеков. Григорий мысленно перебирал в памяти убитых за две войны казаков своего хутора, и оказалось, что нет в Татарском ни одного двора, где бы не было покойника.

Григорий еще не выходил из дома, а уж хуторской атаман принес распоряжение станичного атамана, предписывавшее уведомить сотника Мелехова о незамедлительной явке на врачебную комиссию для переосвидетельствования.

— Отпиши ему, что, как только научусь ходить, сам явлюсь, без ихних напоминаний, — с досадой сказал Григорий.

Фронт все ближе придвигался к Дону. В хуторе начали поговаривать об отступлении. Вскоре на майдане был оглашен приказ окружного атамана, обязывавший ехать в отступление всех взрослых казаков.

Пантелей Прокофьевич пришел с майдана, рассказал Григорию о приказе, спросил:

— Что будем делать?

Григорий пожал плечами.

— Чего же делать? Надо отступать. И без приказа все тронутся.

— Я про нас с тобою спрашиваю: вместе поедем или как?

— Вместе нам не придется ехать. Дня через два я сбегаю верхом в станицу, узнаю, какие части будут иттить через Вешки, пристану к какой-нибудь. А твое дело ехать беженским порядком. Или ты хочешь в воинскую часть поступить?

— Будь она неладна! — испуганно сказал Пантелей Прокофьевич. — Я то-

гда поеду с дедом Бесхлебновым, он надясь приглашал ехать за компанию. Старик он — смирный, и конь у него добрячий, вот мы и спрягемся и дунем на пару. Моя кобылка тоже стала из жиру вон. Так, проклятая, раз'елась и так взбрыкивает, ажник страшно!

— Ну, вот и езжай с ним, — охотно поддержал Григорий. — А пока давай договоримся насчет вашего маршрута, а то, может, и мне доведется тем же путем иттить.

Григорий достал из планшетки карту юга России, подробно рассказал отцу, через какие хутора нужно ехать, и уже начал было записывать на бумагу названия хуторов, но старик, с уважением поглядывавший на карту, сказал:

— Постой, не пиши. Ты, конечно, в этих делах больше моего понимаешь, и карта — это дело сурьезное, уж она не сбрешет и покажет прямой путь, но только как я его буду держаться, ежели мне это неподходяще? Ты говоришь, надо спервоначалу ехать через Каргинскую, я понимаю: через нее прямее, — а все одно мне и тут надо крюку дать.

— Это зачем же тебе крюку давать?

— А затем, что в Латышевом у меня двоюродная сестра, у ней я и себе, и коням корму добуду, а у чужих придется свое тратить. И дальше: ты говоришь, надо по карте на слободу Астахово ехать, — туда прямее, — а я поеду на Малаховский: там у меня — тоже дальняя родня и односум есть; там тоже можно своего сена не травить, чужим попользоваться. Поймей в виду, что прикладка сена с собой не увезешь, а в чужом краю, может статься, не токмо не выпросишь, но и за деньги не купишь.

— А за Доном у тебя родни нету? — ехидно спросил Григорий.

— Есть и там.

— Так ты, может, туда поедешь?

— Ты мне чертовщину не пори! — вспыхнул Пантелей Прокофьевич. — Ты дело говори, а не шутки вышучивай! Нашел время шутить, тоже, умник выискался!

— Нечего тебе родню собирать! Отступать — так отступать, а не по родне ездить, это тебе не масленица!

— Ну, ты мне не указывай, куда мне ехать, сам знаю!

— А знаешь, так и езжай куда хочешь!

— Не по твоим же планам мне ехать? Прямо только сорока летает, ты об этом слышал? Попрусь я чорт-те куда, где, может, зимой и дороги сроду не бывает. Ты-то с умом собрался такую ерунду говорить? А ишо дивизией командовал!

Григорий и старик долго пререкались, но потом, обдумав все, Григорий должен был признать, что в словах отца было много справедливого, и примирительно сказал:

— Не сердчай, батя, я тебе не навязываю своего маршрута, езжай, как хочешь. Постараюсь за Донцом тебя разыскать.

— Вот так бы и давно сказал! — обрадовался Пантелей Прокофьевич. — А то лезешь с разными планами да маршрутами, а того не понимаешь, что план — планом, а без корма лошадям ехать некуда.

Еще во время болезни Григория старик исподволь готовился к отъезду: с особой тщательностью выкармливал кобылу, отремонтировал сани, заказал свалить новые валенки и собственноручно подшил их кожей, чтобы не промокали в сырую погоду; одновременно насыпал в чувалы отборного овса. Он и отступить готовился, как настоящий хозяин: все, что могло понадобиться в поездке, было предусмотрительно приготовлено им. Топор, ручная пила, долото, сапожный инструмент, нитки, запасные подметки, гвозди, молоток, связка ремней, бичева, кусок смолы, — все это, вплоть до подков и ухналей, было завернуто в брезент и в одну минуту могло быть уложено в сани. Даже безмен Пантелей Прокофьевич брал с собой и на вопрос Ильиничны, зачем ему понадобится безмен в дороге, укоризненно сказал:

— Ты, бабка, чем ни больше стареешь, тем больше дуреешь. Неужли ты такую простую штуку сама не сообразишь? Сено-то, али мякину в отступе мне придется на вес покупать? Не аршином же там сено меряют?

— Так уж там и весов нету? — удивилась Ильинична.

— А ты почему знаешь, какие там веса? — озялся Пантелей Прокофьевич. — Может, там все веса с обманом, чтобы нашего брата обвешивать. То-то и оно! Знаем мы, какие там народы живут! Купишь тридцать фунтов, а заплатишь чистую денежку за пуд. А мне — как такой убыток терпеть на каждой остановке, так лучше я со своим безменом поеду, небось не заважит! А вы тут и без весов проживете: на чорта они вам сдались? Военные частя будут игтить, так они берут сено не вешамши... Им только успевай в фуражки навязывать. Видал я их, чертей безрогих, знаю отлично!

Вначале Пантелей Прокофьевич думал даже повозку везти на санях, чтобы весною не тратиться на покупку и ехать на своей, но потом, пораздумав, отказался от этой пагубной мысли.

Начал собираться и Григорий. Он прочистил маузер, винтовку, привел в порядок верно служивший ему клинок; через неделю после выздоровления пошел проведать коня и, глядя на его лоснящийся круп, убедился, что старик выкармливал не только свою кобылу. С трудом сел на взыгравшего коня, проехал его, как следует, и, возвращаясь домой, видел, — а быть может, это лишь показалось ему, — будто кто-то махнул ему беленьким платочком в окне астаховского куреня...

На сходе татарцы решили выезжать всем хутором. Двое суток бабы пекли и жарили казакам на дорогу всякую снедь. Выезд назначен был на 12 декабря. С вечера Пантелей Прокофьевич уложил в сани сено и овес, а утром, чуть забрезжил рассвет, надел тулуп, подпоясался, заткнул за кушак голицы, помолился богу и распрощался с семьей.

Вскоре огромный обоз потянулся из хутора на гору. Вышедшие на прогон бабы долго махали уезжавшим платками, а потом в степи поднялась поземка и за снежной кипящей мглой не стало видно ни медленно взбиравшихся на гору подвод, ни шагавших рядом с ними казаков.

Перед отъездом в Вешенскую Григорий увиделся с Аксиньей. Он зашел к ней вечером, когда по хутору уже зажглись огни. Аксинья пряла. Около нее сидела аникушкина вдова, вязала чулок, что-то рассказывала. Увидев постороннюю, Григорий коротко сказал Аксинье:

— Выйди ко мне на минуту, дело есть.

В сенях он положил ей руку на плечо, спросил:

— Поедешь со мной в отступление?

Аксинья долго молчала, обдумывая ответ, потом тихо сказала:

— А хозяйство как же? Дом?

— Оставишь на кого-нибудь. Надо ехать.

— А когда?

— Завтра заеду за тобой.

Улыбаясь в темноте, Аксинья сказала:

— Помнишь, я тебе давно говорила, что поеду с тобой хучь на край света. Я и зараз такая. Моя любовь к тебе верная. Поеду, ни на что не погляжу! Когда тебя ждать?

— На вечер. Много с собой не бери. Одежу и харчей побольше, вот и все. Ну, прощай пока.

— Прощай. Может, зашел бы?.. Она зараз уйдет. Целый век я тебя не видала... Милый мой, Гришенька! А я уж думала, что ты... Нет! Не скажу.

— Нет, не могу. Мне зараз в Вешки ехать, прощай. Жди завтра.

Григорий уж вышел из сенцев и дошел до калитки, а Аксинья все еще стояла в сенцах, улыбалась и терла ладонями пылающие щеки.

В Вешенской началась эвакуация окружных учреждений и интендантских складов. Григорий в управлении окружного атамана справился о положении на фронте. Молоденький хорунжий, исполнявший должность адъютанта, сказал ему:

— Красные около станицы Алексеевской. Нам неизвестно, какие части будут идти через Вешенскую, и будут ли идти. Вы сами видите — никто ничего не знает, все спешат удирать... Я бы

вам посоветовал сейчас не разыскивать вашу часть, а ехать в Миллерово, там вы скорее узнаете о ее местопребывании. Во всяком случае, ваш полк будет проходить по линии железной дороги. Будет ли противник задержан у Дона? Ну, не думаю. Вешенскую сдадут без боя, это наверняка.

Поздно ночью Григорий вернулся домой. Готовя ужин, Ильинична сказала:

— Прохор твой заявился. Час спустя, как ты уехал, приходил и сулился зайти ишо, да вот что-то нету его.

Обрадованный Григорий наскоро поужинал, пошел к Прохору. Тот встретил его, невесело улыбаясь, сказал:

— А я уж думал, что ты прямо из Вешек зашел в отступление.

— Откуда тебя черти принесли? — спросил Григорий, смеясь и хлопая верного ординарца по плечу.

— Ясное дело — с фронта.

— Удрал?

— Что ты, господь с тобой! Такой лихой вояка, да чтобы убегал? Приехал по закону, не схотел без тебя в теплые края правиться. Вместе грешили, вместе надо и на страшный суд ехать. Дела-то наши — табак, знаешь?

— Знаю. Ты расскажи, как это тебя из части отпустили?

— Это — песня длинная, посла расскажу, — уклончиво ответил Прохор и помрачнел еще больше.

— Полк где?

— А чума его знает, где он зараз.

— Да ты когда же оттуда?

— Недели две назад.

— А где же ты был это время?

— Вот какой ты, ей-богу... — недовольно сказал Прохор и покосился на жену. — Где, да как, да чего... Где был — там уж меня нету. Сказал — расскажу, значит расскажу. Эй, баба! Дымка есть у тебя? Надо бы при встрече с командиром глотнуть по маленькой, есть, что ли? Нету? Ну, сбегай, добудь, да чтобы на одной ноге обернулась! Отвыкла без мужа от военной дисциплины! Разболталась!

— И чего это ты расхотелся? — улыбаясь, спросила прохорова жена. — Ты на меня не джоже шуми, хозяин ты

тут небольшой, в году два дня дома бываешь.

— Все на меня шумят, а я на кого же зашумлю, окромя тебя? Погоди, дослужусь до генеральского чина, тогда на других буду пошумливать, а пока терпи, да поскорей надевай свою амуницию и беги!

После того, как жена оделась и ушла, Прохор укоризненно поглядел на Григория, заговорил:

— Понятия у тебя, Пантелевич, никакого нету... Не могу же я тебе при бабе всего рассказывать, а ты нажимаешь, как, да что. Ну, как, поправились после тифу?

— Я-то поправился, рассказывай про себя. Что-то ты, вражий сын, скрытничает... Выкладывай: чего напутал? Как убег?

— Тут хуже, чем убег... После того, как отвез тебя хворого, возвращаюсь в часть. Направляю меня в сотню, в третий взвод. А я же страшный охотник воевать! Два раза сходил в атаку, а потом думаю: «Тут мне и копыта откинуть придется! Надо искать какую-нибудь дыру, а то пропадешь ты, Проша, как пить дать!». А тут, как на грех, такие бои завязались, так нас жмут, что и вздохнуть не дают! Что ни прорыв — нас туда пихают; где неустойка выходит — опять же наш лок тут прут. За неделю в сотне одиннадцать казаков будто корова языком слизнула! Ну, я и заскучал, даже вша на мне появилась от тоски. — Прохор закурил, протянул Григорию кисет, неспеша продолжал: — И вот припало мне возле самых Лисок в раз'езде быть. Поехало нас трое. Едем по бугру рыском, во все стороны поглядываем, посмотрим — из ярка вылазит красный и — рукиверху держит. Подскакиваем к нему, а он кричит: «Станичники! Я — свой! Не рубите меня, я перехожу на вашу сторону!». И чорт меня попутал: с чего-то зло меня взяло, подскочил я к нему и говорю: «А ты, говорю, сукин сын, ежи взялся воевать, так сдаваться не должен! Подлюка ты, говорю, этакая. Не видишь, что ли, что мы и так насилу держимся? А ты сдаешься, укрепление нам делаешь?!» Да с тем

ножнами его с седла и потянул вдоль спины. И другие казаки, какие были со мной, тоже ему втолковывают: «Разве это резон так воевать, крутиться, вертеться на все стороны? Взялись бы дружнее — вот бы и войне концы!». А чорт его знал, что он, этот перебежчик, офицер? А он им в аккурат и оказался! Как я его в горячах вдарил ножнами, он побелел с лица и тихо так говорит: «Я — офицер, и вы не смейте меня бить! Я сам в старое время в гусарах служил, а к красным попал по мобилизации, и вы меня доставьте к вашему командиру. там я ему все расскажу». Мы говорим: «Давай твой документ». А он гордо так отвечает: «Я с вами и говорить не желаю, ведите меня к вашему командиру!».

— Так чего ж ты об этом при жене не схотел гутарить? — удивленно прервал Григорий.

— До этого ишо не дошло, об чем я при ней не мог рассказывать, и ты меня, пожалуйста, не перебивай. Решили мы его доставить в сотню, а зря... Было бы нам его там же убить, и делу конец. Но мы его пригнали, как и полагается, а через день глядим — назначают нам его командиром сотни. Это как? Вот тут и началось! Вызывает он меня, спустя время, спрашивает: «Так-то ты сражаешься за единую неделимую Россию, сукин сын? Ты что мне говорил, когда меня в плен забирал, помнишь?». Я — туда, я — сюда, не дает он мне никакой пощады — и как вспомнит, что я его ножнами потянул, так аж весь затрясется! — «Ты знаешь, говорит, что я — ротмистр гусарского полка и дворянин, а ты, хам, смог меня бить?». Вызывает раз, вызывает два, и нету мне от него никакой милости. Велит взводному без очереди меня в заставы и караулы посылать, наряды на меня сыплются, как горох из ведра, ну, словом, с'едает меня стерва поедом! И такую же гонку гонит на остальных двоих, какие вместе со мной в раз'езде были, когда его в плен забирала. Ребята терпели-терпели, а потом отзывают как-то меня и говорят: «Давайте его убьем, иначе он не даст нам жизни!». Подумал я и решил рас-

сказать обо всем командиру полка, а убивать не дозволила совесть. При том моменте, когда забирали его в плен, можно было бы кокнуть, а уж посла как-то рука у меня не подымалась... Жена курицу режет — и то я глаза зажмуряю, а тут человека надо убить...

— Убили-таки? — снова прервал Григорий.

— Погоди трошки, все узнаешь. Ну, рассказал я командиру полка, достиг до него, а он засмеялся и говорит: «Нечего тебе, Зыков, обижаться, раз ты его сам бил, и дисциплину он правильно устанавливает. Он хороший и знающий офицер». С тем я и ушел от него, а сам думаю: «Повесь ты этого хорошего офицера себе на гайтан вместо креста, а я с ним в одной сотне служить не согласный!». Попросил перевести меня в другую сотню, — тоже ничего не получилось, не перевели. Тут я и надумал из части смыться. А как смеешься? Отодвинули нас в ближний тыл на недельный отдых, и тут меня сызнова чорт попутал... Думаю: не иначе надо мне раздобыться каким-нибудь завяляшеньким трипперишком, тогда и попаду в околодок, а там и отступление подойдет, дело на это запыхивалось. И, чего сроду со мной не было — начал я за бабами бегать, приглядываться, какая с виду ненадежней. А разве ее угадаешь? На лбу у нее не написано, что она больная, вот тут и подумай! — Прохор ожесточенно сплюнул, прислушался — не идет ли жена.

Григорий прикрыл ладонью рот, чтобы спрятать улыбку, — блестя сузившимися от смеха глазами, спросил:

— Добыл?

Прохор посмотрел на него слезящимися глазами. Взгляд их был грустен и спокоен, как у старой, доживающей век собаки. После недолгого молчания он сказал:

— А ты думаешь, легко его было добыть? Когда не надо — его ветром надует, а тут, как на пропасть, не найду, да и все, хучь криком кричи!

Полуотвернувшись, Григорий беззвучно смеялся, потом отнял от лица ладонь, прерывающимся голосом спросил:

— Не томи, ради христа! Нашел, или нет?

— Конечно, тебе — смех... — обиженно проговорил Прохор. — Дурачье дело над чужой бедой смеяться, я так понимаю.

— Да я и не смеюсь... Дальше-то что?

— А дальше начал я за хозяйской дочерью притоптывать. Девка лет сорока, может — чуть помоложе. Из лица вся на угрях, и видимость, ну, одним словом — не дай и не приведи! Подсказали соседи, что она недавно к фершалу учащивала. «Уж у этой, думаю, непременно разживусь!». И вот я во-круг нее, чисто молодой кочет, хожу, зоб надуваю и всякие ей слова... И откуда что у меня бралось, сам не пойму! — Прохор виновато улыбнулся и даже, как будто, слегка повеселел от воспоминаний. И жениться обещал, и всякую другую пакость говорил... И так-таки достиг ее, уlestил, и доходит дело близко до греха, а она тут как вдарится в слезы! Я так, я сьяк, спрашиваю: «Может, ты больная, так это, мол, ничего, даже ишо лучше». А сам боюсь: дело ночное, как-раз ишо кто-нибудь припрется в мякинник на этот наш шум. «Не кричи, говорю, за ради христа! И ежели ты больная — не боись, я из моей к тебе любви на все согласный!». А она и говорит: «Милый мой Прошенька! Не больная я ни чуточку. Я — честная девка, боюсь — через это и кричу». Не поверишь, Григорий Пантелевич, как она мне это сказала — так по мне холодный пот и посыпался! «Господи Иисусе, думаю, вот это я нарвался! Ишо чего не доставало!..». Не своим голосом я у ней спрашиваю: «А чего же ты, проклятая, к фершалу бегала? К чему ты людей в обман вводила?» — «Бегала я, говорит, к нему, притирку для чистоты лица брала». Схватился я тут за голову и говорю ей: «Вставай и уходи от меня зараз же, будь ты проклята, анхрист страшный! Не нужна ты мне честная, и не буду я на тебе жениться!». — Прохор сплюнул с еще большим ожесточением, неохотно продолжал: — Так и пропали мои труды за даром.

Пришел в хату, забрал свои монатки и перешел на другую квартиру в эту же ночь. Потом уж ребята подсказали, и я от одной вдовы получил, чего мне требовалось. Только уж тут я действовал напрямки—спросил: «Больная?».— «Немножко, говорит, есть». — «Ну, и мне его не пуд надо». Заплатил ей за выручку двадцатку-керенку, а на другой день покрасовался на свою дружину и зафитилил в околодок, а оттуда прямо домой.

— Ты без коня приехал?

— Как так — без коня? С конем и с полной боевой выкладкой. Коня мне в околодок ребята прислали. Только не в этом дело: посоветуй, что мне бабе говорить? Или, может, лучше от греха к тебе пойтить, переночевать?

— Нет уж, к чорту! Ночуй дома. Скажи, что раненый. Бинт есть?

— Есть личный пакет.

— Ну и действуй.

— Не поверит, — уныло сказал Прохор, но все же встал. Порывшись в суммах, ушел в горницу, негромко сказал оттуда: — Прийдет она — займи ее разговором, а я на одной ноге!

Григорий, сворачивая папироску, обдумывал план поездки. «Лошадей спрягем и поедем на паре, — решил он. — Надо на вечер выезжать, чтобы не видала наши, что Аксютку беру с собой. Хотя все одно узнают...».

— Не досказал я тебе про сотенного. — Прохор, прихрамывая, вышел из горницы, подсел к столу. — Убили наши его на третий день, как я в околодок попал.

— Да ну?

— Ей-богу! В бою стукнули его сзади, на том дело и кончилось. Выходит, за зря я беду принимал, вот что досадно!

— Не нашли виноватого? — рассеянно спросил Григорий, поглощенный мыслями о предстоящей поездке.

— Когда там искать! Началась такая передвижка, что не до него было. Да что это баба моя пропала? Этак и лить расчобается. Когда думаешь ехать?

— Завтра.

— Не перегадим денек?

— Это к чему же?

— Я хучь бы вшей обтрес, неинтересно с ними ехать.

— Дорогой будешь обтрясать. Ждать дело не указывает. Красные в двух переходах от Вешек.

— С утра поедем?

— Нет, на ночь. Нам лишь бы до Каргинской добраться, там и заночуем.

— А не прихватют нас красные?

— Надо быть наготове. Я, вот что... Я думаю с собой Аксинью Астахову взять. Супротив ничего не имеешь?

— А мне-то что? Бери хучь двух Аксиньев... Коням будет тяжеловато.

— Тяжесть небольшая.

— Несподручно с бабами ездить... И на холеру она тебе сдалась? То бы мы одни и нужды не знали! — Прохор вздохнул, глядя в сторону, сказал: — Я так и знал, что ты ее с собой поволокешь. Все женихашься... Эх, кнут по тебе, Григорий Пантелевич, давно кричит горькими слезьми!

— Ну, это тебя не касается, — холодно сказал Григорий. — Жене об этом не разбери.

— А раньше-то я разбрехивал? Ты хучь бы совесть поимел! А дом она на кого же бросит?

В сенцах послышались шаги. Вошла хозяйка. На сером пуховом платке ее искрился снег.

— Мятель? — Прохор достал из шкафа стаканчики и только тогда спросил: — Да ты принесла чего-нибудь?

Румяная жена его достала из пазухи две запотевших бутылки, поставила на стол.

— Ну, вот и дорожку погладим! — оживленно сказал Прохор. Понюхав самогон, по запаху определил: — Первач! И крепкий до дьявола!

Григорий выпил два небольших стаканчика и, сославшись на усталость, ушел домой.

ГЛАВА XXVI

— Ну, война кончилась! Пихнули нас красные так, что теперича до самого моря будем пятиться, пока не упремся задом в соленую воду, — сказал Прохор, когда выехали на гору.

Внизу, повитый синим дымом, лежал Татарский. За снежной розовеющей кромкой горизонта садилось солнце. Под полозьями хрустко поскрипывал снег. Лошади шли шагом. В задке пароконных саней, привалившись спиной к седлам, полулежал Григорий. Рядом с ним сидела Аксинья, закутанная в донскую, опущенную поречьем шубу. Из-под белого пухового платка блестели, радостно искрились ее черные глаза. Григорий искоса поглядывал на нее, видел нежно зарумяневшую на морозе щеку, густую черную бровь и синевато поблескивающий белок под изогнутыми заневшими ресницами. Аксинья с живым любопытством осматривала заснеженную, сугробистую степь, натертую до глянца дорогу, далекие тонущие во мгле горизонты. Все было ново и необычно для нее, привыкшей не покидать дома, все привлекало ее внимание. Но изредка, опустив глаза и ощущая на ресницах приятный пощипывающий холодок инея, она улыбалась тому, что так неожиданно и странно сбылась давно пленившая ее мечта — уехать с Григорием куда-нибудь подальше от Татарского, от родной и проклятой стороны, где так много она перестрадала, где полжизни промучилась с нелюбимым мужем, где все для нее было исполнено немолчных и тягостных воспоминаний. Она улыбалась, ощущая всем телом присутствие Григория, и уже не думала ни о том, какой ценой досталось ей это счастье, ни о будущем, которое было задернуто такой же темной мглой, как и эти степные, манящие в даль, горизонты.

Прохор, случайно оглянувшись, заметил трепетную улыбку на румяных и припухших от мороза губах Аксиньи, с досадой спросил:

— Ну, чего оскалешься-то? Невеста, да и только! Рада, что из дому вырвалась?

— А ты думаешь, не рада? — звонко ответила Аксинья.

— Нашла радость... Глупая, ты, баба! Ишо не видно, чем эта прогулка кончится, и ты загодя не ухмыляйся, прибери зубы.

— Мне хуже не будет.

— Погляжу я на вас, и до того тошно мне становится... — Прохор яростно замахнулся на лошадей кнутом.

— А ты отвернись и — палец в рот, — смеясь, посоветовала Аксинья.

— Опять же оказалась ты глупая! Так я с пальцем в роте и должен до моря ехать? Выдумала!

— Через чего же это тебе тошнота прикинулась?

— Молчала бы! Муж-то где? Схватилась с чужим дядей и едешь чорт-те куда! А ежели зараз Степан в хутор заявился, тогда как?

— Знаешь что, Проша, ты бы в наши дела не путался, — попросила Аксинья, — а то и тебе счастья не будет.

— Я в ваши дела и не путаюсь, на шута вы мне сдались! Сказать-то я могу свою мнению? Или мне с вами за место кучера ехать и с одними коньми гутарить? Тоже, выдумала! Нет, ты хучь сердчай, Аксинья, хучь не сердчай, а драть бы тебя надо доброй хворостинной, драть, да ишо и кричать не велеть! А насчет счастья меня не пужай, я его с собой везу. Оно у меня особое, такое, что и петь не поет и спать не дает... Но, проклятые! Все бы вы шагом шли, сатаны лопухие!

Улыбаясь, Григорий слушал, а потом примиряюще сказал:

— Не ругайтесь попервам. Дорога нам лежит длинная, ишо успеете. Чего ты к ней привязываешься, Прохор?

— А того я к ней привязываюсь, — ожесточенно сказал Прохор, — что пушай она мне зараз лучше поперек не говорит. Я зараз так думаю, что нету на белом свете ничего хуже баб! Это — такое семя... это, братец ты мой, у бога — самая плохая выдумка, — бабы! Я бы их, чертей вредных, всех до одной перевел, чтобы они и не маячили на свете! Вот я какой на них злой зараз! И чего ты смеешься? Дурачье дело — над чужой бедой смеяться! Подержи вожжи, я слезу на минуту.

Прохор долго шел пешком, а потом угнездился в санях и разговора больше не заводил.

Ночевали в Каргинской. На утро, по-завтракав, снова тронулись в путь и к

ночи оставили за собой верст шестьдесят дороги.

Огромные обозы беженцев тянулись на юг. Чем больше удалялся Григорий от юрта Вешенской станицы, тем труднее становилось найти место для ночлега. Около Морозовской стали попадаться первые воинские части казаков. Шли конные части, насчитывавшие всего по тридцать-сорок сабель, нескончаемо тянулись обозы. В хуторах все помещения к вечеру оказывались занятыми и негде было не только переночевать, но и поставить лошадей. На одном из тавричанских участков, бесцельно проездив в поисках дома, где бы можно было переночевать, Григорий вынужден был провести ночь в сарае. К утру намокшая во время мятели одежда замерзла, покоробилась и гремела при каждом движении. Почти всю ночь Григорий, Аксинья и Прохор не спали, и только перед рассветом согрелись, разложив за двором костер из соломы.

На утро Аксинья робко предложила: — Гриша, может передневали бы тут? Всю ночь промучились на холоду и почти не спали, может — отдохнем трошки?

Григорий согласился. С трудом он нашел свободный угол. Обозы с рассветом тронулись дальше, но походный лазарет, перевозивший сто с лишним человек раненых и тифозных, тоже остался на дневку.

В крохотной комнатухе, на грязном земляном полу спало человек десять казаков. Прохор внес полость и мешок с харчами, возле самых дверей постелил соломы, взял за ноги и оттащил в сторону какого-то беспробудно спавшего старика, сказал с грубоватой лаской:

— Ложись, Аксинья, а то ты так переморилась, что и на себя стала непохожа.

К ночи на участке снова набилось полным-полно народу. До зори на проулках горели костры, слышались людские голоса, конское ржанье, скрип ползьев. Чуть забрезжил рассвет — Григорий разбудил Прохора, шепнул:

— Запрягай. Надо трогаться.

— Чего так рано? — зевая, спросил Прохор.

— Послухай.

Прохор приподнял от седельной подушки голову, услышал глухой и далекий раскат орудийного выстрела.

Умылись, поели сала и выехали из ожившего участка. На проулках рядыми стояли сани, суетились люди, в предрассветной тьме кто-то хрипло кричал:

— Нет уж, хороните их сами! Пока мы выроем на шесть человек могилу — полдень будет!

— Та хибя ж мы обязани их ховать? — спокойно спрашивал второй.

— Небось зароете! — кричал хрипачий. — А не хотите — пусть лежат, тухнут у вас, мне дела нет!

— Та шо вы, господин дохтор! Нам колы усих ховать, яки из проезжих помырають, так тика це и робыть. Мабуть сами приберете?

— Иди к чорту, олух царя небесного! Что мне из-за тебя лазарет красным сдавать прикажешь?

Объезжая запрудившие улочку подводы, Григорий сказал:

— Мертвые никому не нужны...

— Тут до живых-то дела нету, а то — мертвые, — отозвался Прохор.

На юг двигались все северные станицы Дона. Многочисленные обозы беженцев перевалили через железную дорогу Царицын — Лихая, приближались к Манычу. Находясь неделю в дороге, Григорий расспрашивал о татарцах, но в хуторах, через которые доводилось ему проезжать, татарцы не были; по всей вероятности, они уклонились влево и ехали, минуя слободы украинцев, через казачьи хутора на Обливскую. Только на тринадцатые сутки Григорию удалось напасть на след хуторян. Уже за железной дорогой, в одном из хуторов он случайно узнал, что в соседнем доме лежит больной тифом казак Вешенской станицы. Григорий пошел узнать, откуда этот больной, и, войдя в низенькую хатенку, увидел лежавшего на полу старика Обнизова. От него он узнал, что татарцы уехали позавчера из этого хутора, что среди них много заболевших тифом, что двое

уже умерли в дороге и что его — Обнизова — оставили тут по его собственному желанию.

— Коль почуюсь и красные товарищи смилуются надо мной, не убьют — как-нибудь доберусь до дому, а нет — помру тут. Помирать-то все одно где, везде несладко... — прощаясь с Григорием, сказал старик.

Григорий спросил о здоровье отца, но Обнизов ответил, что ничего не может сказать, так как ехал на одной из задних подвод и от хутора Малаховского Пантелея Прокофьевича не видел.

На следующей ночевке Григорию повезло: в первом же доме, куда он зашел, чтобы попроситься переночевать, встретил знакомых казаков с хутора Верхне-Чирского. Они потеснились, и Григорий устроился возле печки. В комнате вповалку лежало человек пятнадцать беженцев, из них трое больных тифом и один обмороженный. Казаки сварили на ужин пшенной каши с салом, радушно предложили Григорию и его спутникам. Прохор и Григорий ели с аппетитом, Аксинья отказалась.

— Аль не голодная? — спросил Прохор, за последние дни без видимой причины изменивший свое отношение к Аксинье и обращавшийся с ней грубовато, но участливо.

— Что-то тошно мне... — Аксинья накинула платок, вышла во двор.

— Не захворала она? — обращаясь к Григорию, спросил Прохор.

— Кто ее знает. — Григорий отставил тарелку с кашей, тоже вышел во двор.

Аксинья стояла около крыльца, прижав к груди ладонь. Григорий обнял ее, с тревогой спросил:

— Ты чего, Ксюша?

— Тошно, и голова болит.

— Пойдем в хату, приляжешь.

— Иди, я зараз.

Голос у нее был глухой и безжизненный, движения вялые. Григорий пылливо посмотрел на нее, когда она вошла в жарко натопленную комнату, заметил горячий румянец на щеках, подозрительный блеск глаз. Сердце у него тревожно сжалось: Аксинья была

явно больна. Он вспомнил, что и вчера она жаловалась на озноб и головокружение, а перед утром так вспотела, что курчавые на шее прядки волос стали мокрые, словно после мытья; он заметил это, проснувшись на заре, и долго не сводил глаз со спавшей Аксиньи и не хотел вставать, чтобы не потревожить ее сон.

Аксинья мужественно переносила дорожные лишения, она даже подбадривала Прохора, который не раз говаривал: «И что это за чорт, за война, и кто ее такую выдумал? Едешь день деньской, а приедешь — заночевать негде, и неизвестно, докуда же так будем командироваться?». Но в этот день не выдержала и Аксинья. Ночью, когда улеглись спать, Григорию показалось, что она плачет.

— Ты чего это? — спросил он шепотом. — Чего у тебя болит?

— Захворала я... Как же теперь будем? Бросишь меня?

— Ну, вот, дура! Как же я тебя брошу? Не кричи, может — это так у тебя, приостыла с дороги, а ты уж испужалась.

— Гришенька, это — тиф!

— Не болтай зря! Ничего не видно; лоб у тебя холодный, может — и не тиф, — утешал Григорий, но в душе был убежден, что Аксинья заболела сыпняком, и мучительно раздумывал, как же поступить с ней, если болезнь свалит ее с ног?

— Ох, тяжело так ехать! — шептала Аксинья, прижимаясь к Григорию. — Ты глянь, сколько народу набивается на ночевках! Вши нас заедят, Гриша! А мне и обглядеть себя негде, сквозь мужичины... Я вчера уж вышла в сарай, растелешилась, а их на рубахе... Господи, я сроду такой страсти не видала! Я как вспомню про них — и тошно мне становится, исть ничего не хочу... А вчера ты видал у этого старика, какой на лавке спал, сколько их? Прямо поверх чекменя ползуют.

— Ты об них не думай, заладила чорт-те об чем! Ну, вши, вши — и вши, их на службе не считают, — с досадой прошептал Григорий.

— У меня все тело зудит.

— У всех зудит, чего ж теперь делать? Терпи. Приедем в Екатеринодар, там обмоемся.

— А чистое хучь не надевай, — со вздохом сказала Аксинья. — Пропадем мы от них, Гриша!

— Спи, а то завтра рано будем трогаться.

Григорий долго не мог уснуть. Не спала и Аксинья. Она несколько раз всхлипнула, накрыв голову полой шубы, потом долго ворочалась, вздыхала и уснула только тогда, когда Григорий, повернувшись к ней лицом, обнял ее. Среди ночи Григорий проснулся от резкого стука. Кто-то ломился в дверь, слычно кричал:

— А ну, открывайте! А то дверь сломаем! Послули проклятые!..

Хозяин — пожилой и смирный казак — вышел в сени, спросил:

— Кто такой? Чего вам надо? Ежли ночевать — так у нас негде, и так полным-полно, повернуться негде.

— Открывай, тебе говорят! — кричали с надворья.

В переднюю комнату, широко распахнув двери, ввалилось человек пять вооруженных казаков.

— Кто у тебя ночует? — спросил один из них, чугунно-черный от мороза, с трудом шевеля замерзшими губами.

— Беженцы. А вы кто такие?

Не отвечая, один из них шагнул в горницу, крикнул:

— Эй, вы! Разлеглись! Выметайтесь отсель зараз же! Тут войска становятся. Подымайтесь, подымайтесь! Да попроворней, а то мы скоро вас вытряхнем!

— Ты кто такой, что так орешь? — хриплым спросонья голосом спросил Григорий и медленно поднялся.

— А вот я тебе покажу, кто я такой! — казак шагнул к Григорию, и в тусклом свете керосиновой лампченки в руке его матово блеснуло дуло нагана.

— Вон ты какой шустрый... — вкрадчиво проговорил Григорий, — а ну-ка, покажи свою игрушку! — Быстрым движением он схватил казака за кисть руки, стиснул ее с такой силой, что ка-

зак охнул и разжал пальцы. Наган с мягким стуком упал на полость. Григорий оттолкнул казака, проворно нагнулся, поднял наган, положил его в карман, спокойно сказал: — А теперь давай погитарим. Какой части? Сколько вас таких расторопных тут?

Казак, оправившись от неожиданности, крикнул:

— Ребята! Сюда!

Григорий подошел к двери и, став на пороге, прислонясь спиной к косяку, сказал:

— Я — сотник девятнадцатого донского полка. Тише! Не орать! Кто это там гавкает? Вы что это, милые станичники, развоевались? Кого это вы будете вытряхивать? Кто это вам такие полномочия давал? А ну, марш отседа!

— Ты чего шумишь? — громко сказал один из казаков. — Видали мы всяких сотников! Нам, что же, на базу ночевать? Очищайте помещению! Нам такой приказ отдатый — всех беженцев выкидывать из домов, понятно вам? А то, ишь ты, расшумелся! Видали мы вас таких!

Григорий подошел в упор — к говорившему, — не разжимая зубов, процедил:

— Таких ты ишо не видал. Сделать из одного тебя двух дураков? Так я сделаю! Да ты не пяться! Это не мой наган, это я у вашего отобрал. На, отдашь ему, да поживей катитесь отседа, пока я бить не начал, а то я с вас скоро шерсти нарву! — Григорий легонько повернул казака, толкнул его к выходу.

— Дать ему взбучки? — раздумчиво спросил дюжий казак с лицом, закутанным верблюжьим башлыком. Он стоял позади Григория, внимательно осматривая его, переступая с ноги на ногу, поскрипывая огромными валенками, подшитыми кожей.

Григорий повернулся к нему лицом и, уже не владея собой, сжал кулаки, но казак поднял руку, дружелюбно сказал:

— Слухай ты, ваше благородие, или как там тебя: погоди, не намахивайся! Мы уйдем от скандалу. Но ты, по но-

нешним временам, на казаков не дуже напирай. Зараз опять подходит такое сурьезное время, как в семнадцатом году. Нарвешься на каких-нибудь отчаянных — и они из одного тебя не то что двоих — пятерых сделают! Мы видим, что офицер из тебя лихой, и по разговору, сдается мне, вроде из нашего брата ты, так ты уж зараз держи себя поаккуратней, а то греха наживешь ..

Тот, у которого Григорий отобрал наган, сказал раздраженно:

— Будет тебе ему акафист читать! Пойдемте в соседнюю хату. — Он первый шагнул к порогу, — проходя мимо Григория, покосился на него, сожалеюще сказал: — Не хотим мы, господин офицер, связываться с тобой, а то бы мы тебя окрестили!

Григорий презрительно скривил губы:

— Это ты бы самое и крестил? Иди, иди, пока я с тебя штаны не снял! Крестильщик нашелся! Жалко, что наган твой отдал, таким ухватистым, как ты, не наганы носить, а овечьи чески!

— Пойдемте, ребята, ну его к черту! Не тронь — оно вонять не будет! — добродушно посмеиваясь, проговорил один из казаков, не принимавших участия в разговоре.

Ругаясь, грохоча смерзшимися сапогами, казаки толпой вышли в сени. Григорий сурово приказал хозяину:

— Не смей открывать двери! Постучат и уйдут, а нет — разбуди меня.

Верхнечирцы, проснувшиеся от шума, вполголоса переговаривались.

— Вот как рухнула дисциплина! — сокрушенно вздохнул один из стариков. — С офицером, и как сукины сыны разговаривают... А будь это в старое время? Их бы на каторгу упекли!

— Разговаривают — это что! Видал, драться намерялись! «Дать ему взбучки?» — говорит один, этот, нерубленая тополина, какой в башлыке. Вот враженьки, какие отчаянные стали!

— И ты им это так простишь, Григорий Пантелевич? — спросил один из казаков.

Укрываясь шинелью и с беззлобной улыбкой прислушиваясь к разговору, Григорий ответил:

— А чего с них возьмешь? Они зараз ото всех оторвались и никому не подчиняются; идут шайкой, без командного состава, кто им судья и кто начальник? Над ними тот начальник, кто сильнее их. У них, небось, и офицера-то ни одного в части не осталось. Видал я такие сотня, голая безотцовщина! Ну, давайте спать.

Аксинья тихо прошептала:

— И на что ты с ними связывался, Гриша? Не насакивай ты на таких, ради Христа! Они и убить могут, такие-то оглашенные.

— Спи, спи, а то завтра рано подымемся. Ну, как ты себя сознаешь? Не легчает тебе?

— Так же.

— Голова болит?

— Болит. Видно, не подыматься мне уж...

Григорий приложил ладонь ко лбу Аксиньи, вздохнул:

— Польшет-то от тебя, как будто от печки. Ну, ничего, не робей! Баба ты здоровая, поправишься.

Аксинья промолчала. Ее томила жажда. Несколько раз она выходила в кухню, пила противную, степлившуюся воду и, преодолевая тошноту и головокружение, снова ложилась на полость.

За ночь являлось еще партии четыре постояльцев. Они стучали прикладами в дверь, открывали ставни, барабанили в окна и уходили только тогда, когда хозяин, наученный Григорием, ругаясь, кричал из сенцев: «Уходите отсюда! Тут штаб бригады помещается!».

На рассвете Прохор и Григорий запрягли лошадей. Аксинья с трудом оделась, вышла. Выходило солнце. Из труб к голубому небу стремился сизый дымок. Озаряемая снизу солнцем, высоко в небе стояла румяная тучка. Густой иней лежал на изгороди, на крышах сараев. От лошадей шел пар.

Григорий помог Аксинье сесть в сани, спросил:

— Может, ты приляжешь? Так тебе ловчее будет.

Аксинья утвердительно кивнула головой. Она с молчаливой благодарностью взглянула на Григория, когда

он заботливо укутал ей ноги, прикрыла глаза.

В полдень, когда остановились в поселке Ново-Михайловском, расположенном верстах в двух от шляха, кормить лошадей, Аксинья уже не смогла встать с саней. Григорий под руку ввел ее в дом, уложил на кровать, гостеприимно предложенную хозяйкой.

— Тебе плохо, родимая? — спросил он, наклонясь над побледневшей Аксиньей.

Она с трудом раскрыла глаза, посмотрела затуманенным взором и снова впала в полузабытье. Григорий трясущимися руками снял с нее платок. Щечки Аксиньи были холодны, как лед, а лоб пылал, и на висках, где проступала испарина, намерзли сосульки. К вечеру Аксинья потеряла сознание. Перед этим она попросила пить, шепнула:

— Только холодной воды, снеговой. — Помолчала и внятно произнесла: — Кличьте Гришу.

— Я тут. Чего ты хочешь, Ксюша? — Григорий взял ее руку, погладил немело и застенчиво.

— Не бросай меня, Гришенька!

— Не брошу я, с чего ты берешь?

— Не бросай в чужой стороне... Помру я тут.

Прохор подал воды. Аксинья жадно припала спекшимися губами к краю медной кружки, отпила несколько глотков, со стоном уронила голову на подушку. Через пять минут она бессвязно и невнятно заговорила. Григорий, сидевший у изголовья, разобрал несколько слов: «Надо стирать... подсиньки добудь... рано...». Невнятная речь ее перешла в шопот. Прохор покачал головой, с укором сказал:

— Говорил тебе, не бери ее в дорогу! Ну, что теперь будем делать? Наказание, да и только, истинный бог! Ночевать тут будем? Оглох ты, что ли? Ночевать, спрашиваю, тут будем или тронемся дальше?

Григорий промолчал. Он сидел, сгорбясь, не сводя глаз с побледневшего лица Аксиньи. Хозяйка, — радушная и добрая женщина, — указывая глазами на Аксинью, тихонько спросила у Прохора:

— Жена ихняя? И дети есть?

— И дети есть, все есть, одной удачи нам нету, — бормотнул Прохор.

Григорий вышел во двор, долго курил, присев на сани. Аксинью надо было оставлять в поселке, дальнейшая поездка могла закончиться для нее гибелью. Это было Григорию ясно. Он вошел в дом, снова присел к кровати.

— Будем ночевать, что ли? — спросил Прохор.

— Да. Может, и завтра перестоим.

Вскоре пришел хозяин — низкорослый и щуплый мужик с пронырливыми, бегающими глазами. Постукивая деревяжкой (одна нога его была отнята по колено), он бодро прохромал к столу, разделся, недоброжелательно покосился на Прохора, спросил:

— Господь гостей дал? Откуда? — и, не дожидаясь ответа, приказал жене: — Живо дай чего-нибудь перехватить, голодный я, как собака!

Он ел долго и жадно. Шныряющий взгляд его часто останавливался на Прохоре, на неподвижно лежавшей Аксинье. Из горницы вышел Григорий, поздоровался с хозяином. Тот молча кивнул головой, спросил:

— Отступаете?

— Отступаем.

— Отвоевались, ваше благородие?

— Похоже.

— Это, что же, жена ваша? — хозяин кивнул в сторону Аксиньи.

— Жена.

— Зачем же ты ее на койку? А самим где спать? — с неудовольствием обратился он к жене.

— Больная, Ваня, жалко, как-никак.

— Жалко! Всех их не ужалеешь, вон их сколько прет! Стесните вы нас, ваше благородие...

В голосе Григория прозвучала несвойственная ему просительность, почти мольба, когда он, обращаясь к хозяевам, прижимая руку к груди, сказал:

— Добрые люди! Пособите моей беде, ради Христа. Везть дальше ее нельзя, помрет, дозвоьте оставить ее у вас. За догляд я заплачу, сколько положите, и всю жизнь буду помнить вашу доброту... Не откажите, сделайте милость!

Хозяин вначале отказался наотрез, ссылаясь на то, что ухаживать за больной будет некогда, что она стеснит их, а потом, кончив обедать, сказал:

— Само собой — даром кто же будет за ней уход несть. А сколько бы вы положили за уход? Сколько вам будет не жалко положить за наши труды?

Григорий достал из кармана все деньги, какие имел, протянул их хозяину. Тот нерешительно взял пачку донских кредиток — слюнявя пальцы, пересчитал их, осведомился:

— А николаевских у вас нету?

— Нет.

— Может, керенки есть? Эти уж больно ненадежные...

— И керенок нету. Хотите, коня своего оставлю?

Хозяин долго соображал, потом раздумчиво ответил:

— Нет. Я бы, конечно, взял лошадь, чам в крестьянстве лошадь — первое дело, но по нынешним временам это не подходит: не белые, так красные все одно ее заберут и попользоваться не придется. У меня вон какая-то безногая кобыленка держится, и то души нет, того и гляди, и эту обрастают и увезут со двора. — Он помолчал в раздумьи и, как бы оправдываясь, добавил: — Вы не подумайте, что я такой ужасный жадный, упаси бог! Но послушайте сами, ваше благородие: она пролежит месяц, а то и больше, то подай ей, то прими, опять же кормить ее надо, хлебец, молочко, какое-то там яичко, мясца, а ведь все это денежку стоит, так я говорю? Также и постирать за ней надо и обмыть ее, и все такое прочее... То моя баба по хозяйству возилась, а то надо возле нее уход несть. Это дело нелегкое! Нет, вы уж не скупитесь, накиньте что-нибудь. Я — инвалид, видите — безногий, какой из меня добытчик и работник? Так, живем, чем бог пошлет, с хлеба да на квас перебиваемся...

С закипевшим глухим раздражением Григорий сказал:

— Я не скуплюсь, добрая твоя душа. Все деньги, какие были, я тебе отдал, я проживу и без денег. Чего же ты ишо хочешь с меня?

— Так уж и все деньги вы отдали? — недоверчиво усмехнулся хозяин. — При вашем жалованьи у вас их должны быть целые сумки.

— Ты скажи прямо, — бледнея, проговорил Григорий: — оставите вы у себя большую или нет?

— Нет, уж раз вы так считаетесь — оставлять ее нам нету резону. — Голос хозяина звучал явно обиженно. — Тоже, дело это не из простых... Жена офицера, то да се, соседи узнают, а там товарищи придут следом за вами, узнают и начнут тягать... Нет, в таком разе забирайте ее, может, кто из соседей согласится, возьмет. — С видимым сожалением он вернул Григорию деньги, достал кисет и начал сворачивать цыгарку.

Григорий надел шинель, сказал Прохору:

— Побудь возле нее, я пойду приищу квартиру.

Он уже взялся за дверную скобу, когда хозяин остановил его:

— Погодите, ваше благородие, чего вы спешите? Вы думаете, мне не жалко бедную женщину? Очень даже жалко, и сам я в солдатах служил и уважаю ваше звание и чин, а к этим деньгам вы не могли бы чего-нибудь добавить?

Тут не выдержал Прохор: побагровев от возмущения, он прорычал:

— Чего же тебе добавлять, аспид ты безногий?! Отломать тебе последнюю ногу, вот чего тебе надо добавить! Григорий Пантелевич! Дозволь, я его изватлаю, как цуцика, а послая погрузим Аксинью и поедем, будь он трижды, анафема, проклят!..

Хозяин выслушал задышающуюся речь Прохора, но прервав его ни словом; подконец сказал:

— Напрасно вы меня обижаете, служивые! Тут — дело полюбовное, и ругаться, остужаться нам не из чего. Ну, чего ты на меня накинулся, казачок? Да разве я о деньгах говорю? Я вовсе не об этой добавке речь вел! Я к тому сказал, что, может, у вас есть какое лишнее вооружение, ну, скажем, винтовка, или какой ни на есть револьвер... Вам все равно это, иметь или не иметь, а для нас, по нынешним временам,

это — целое состояние. Для дома непременно надо оружие иметь! Вот к чему я это подводил! Давайте деньги, какие давали, и прикиньте к этому винтовочку, и — по рукам, оставляйте вашу больную, будем глядеть за ней, как за своей родной, вот вам крест!

Григорий посмотрел на Прохора, тихо сказал:

— Дай ему мою винтовку, патронов, а потом иди, запрягай. Нехай остается Аксинья... Бог мне судья, но везть ее на смерть я не могу!

ГЛАВА XXVII

Дни потянулись серые и безрадостные. Оставив Аксинью, Григорий сразу утратил интерес к окружающему. С утра садился в сани, ехал по раскинувшейся, бескрайней, заснеженной степи, к вечеру, приислав где-нибудь пристанище для ночлега, ложился спать. И так изо дня в день. То, что происходило на отодвигавшемся к югу фронте, его не интересовало. Он понимал, что настоящее, серьезное сопротивление кончилось, что у большинства казаков иссякло стремление защищать родные станицы, что белые армии, судя по всему, заканчивают свой последний поход и, не удержавшись на Дону, — на Кубани уже не смогут удержаться...

Война подходила к концу. Развязка наступала стремительно и неотвратимо. Кубанцы тысячами бросали фронт, раз'езжались по домам. Донцы были сломлены. Обескровленная боями и тифом, потерявшая три четверти состава, Добровольческая армия была не в силах одна противостоят напору окрыленной успехами Красной армии.

Среди беженцев шли разговоры, что на Кубани растет возмущение, вызванное зверской расправой генерала Деникина с членами Кубанской Рады. Говорили, что Кубань готовит восстание против Добровольческой армии и что, будто бы, уже ведутся переговоры с представителями Красной армии о беспрепятственном пропуске советских войск на Кавказ. Упорно говорили и о том, что в станицах Кубани и Терека к донцам относятся резко враждебно,

так же, как и к добровольцам, и что, якобы, где-то около Кореновской уже произошел первый большой бой между донской дивизией и кубанскими пластунами.

Григорий на остановках внимательно прислушивался к разговорам, с каждым днем все больше убеждаясь в окончательном и неизбежном поражении белых. И все же временами у него рождалась смутная надежда на то, что опасность заставит распыленные, деморализованные и враждующие между собою силы белых объединиться, дать отпор и опрокинуть победоносно наступающие красные части. Но после сдачи Ростова он утратил эту надежду, и слух о том, что под Батайском после упорных боев красные начали отступать, — встретил недоверчиво. Угнетаемый безделием, он хотел было влиться в какую-либо воинскую часть, но, когда предложил это Прохору, — тот решительно воспротивился:

— Ты, Григорий Пантелевич, видать, окончательно спятил с ума! — возмущенно заявил он. — За каким мы чертом полезем туда, в это пекло? Дело конченное, сам видишь, чего же мы будем себя в трату давать за-зря? Аль ты думаешь, что мы двое им пособим? Пока нас не трогают и силком не берут в часть, надо, как ни мога скорее, уезжать от греха подальше, а ты вон какую чертовщину порешь! Нет, уж давай, пожалуйста, мирно, по-стариковски отступать. Мы с тобой и так достаточно навоевались за пять лет, зараз нехай другие пробуются! Из-за этого я триппер добывал, чтобы мне сызнова на фронте кальячить? Спасибо! Уважил! Я этой войной так наелся, что до сих пор рвать тянет, как вспомню о ней! Хочешь — ступай сам, а я несогласный. Я тогда подамся в госпиталь, с меня хватит!

После долгого молчания Григорий сказал:

— Будь по-твоему. Поедем на Кубань, а там видно будет.

Прохор вел свою линию: в каждом крупном населенном пункте он разыскивал фельдшера, приносил порошки или питье, но лечился без особенного усер-

дия, и на вопрос Григория, почему он, выпив один порошок, остальные уничтожает, старательно затаптывая в снег, — объяснил это тем, что хочет не излечиться, а только заглушить болезнь, так как при этом условии, в случае переосвидетельствования, ему будет легче уклониться от посылки в часть. В станице Великокняжеской какой-то бывалый казак посоветовал ему лечиться отваром из утиных лапок. С той поры Прохор, въезжая в хутор или станицу, спрашивал у первого встречного: «А скажите на милость, утей у вас тут водят?». И когда недоумевающий житель отвечал отрицательно, ссылаясь на то, что поблизости нет воды и уток разводить нет расчета, — Прохор с уничтожающим презрением цедил: «Живете тут, чисто нелюди! Вы, небось, и утиного крику сроду не слышали! Пеньки степовые!» — Потом, обращаясь к Григорию, с горьким сожалением добавлял: «Неиначе поп нам дорогу перешел! Ни в чем нету удачи! Ну, будь у них тут утки — зараз же купил бы одну, никаких денег не жалеючи, либо украл бы, и пошли бы мои дела на поправку, а то уж дюже моя болезнь разыгрывается! Спервоначалу была забавой, только дремать в дороге не давала, а зараз, проклятая, становится чистым наказанием! На саянх не удержишься!».

Не встречая сочувствия со стороны Григория, Прохор надолго умолкал и иногда по целым часам ехал, не проронив ни слова, сурово нахохлившись.

Томительно длинными казались Григорию уходившие на передвижение дни, еще более долгими были несказанные зимние ночи. Времени, чтобы обдумать настоящее и вспомнить прошедшее, было у него в избытке. Подолгу перебирал он в памяти пролетевшие годы своей диковинно и нехорошо сложившейся жизни. Сидя на саянх, устремив затуманенный взор в снежные просторы исполненной мертвого безмолвия степи или лежа ночью с закрытыми глазами и стиснутыми зубами где-нибудь в душевой, переполненной людьми комнатухе, — думал все об одном: об Аксинье, больной, обеспамятевшей, брошенной в безвестном поселке, о близких, остав-

ленных в Татарском... Там, на Дону, была Советская власть, и Григорий постоянно с тоскливой тревогой спрашивал себя: «Неужто будут за меня терзать маманю или Дуняшку?». И тотчас же начинал успокаивать себя, припоминал не раз слышанные в дороге рассказы о том, что красноармейцы идут мирно и обращаются с населением занятых станиц хорошо. Тревога постепенно угасала, мысль, что старуха-мать будет отвечать за него, уже казалась ему невероятной, дикой, ни на чем не основанной. При воспоминаниях о детишках на секунду сердце Григория сжималось грустью; он боялся, что не уберегут их от тифа, и в то же время чувствовал, что, при всей его любви к детям, после смерти Натальи уже никакое горе не сможет потрясти его с такой силой...

В одном из сальских зимовников они с Прохором прожили четыре дня, решив дать лошадям отдых. За это время у них не раз возникали разговоры о том, что делать дальше. В первый же день, как только приехали на зимовник, Прохор спросил:

— Будут наши на Кубани держать фронт или потянут на Кавказ? Как думаешь?

— Не знаю. А тебе не все равно?

— Придумал тоже! Как же это мне может быть все равно? Этак нас загонют в бусурманские земли, куда-нибудь под турка, а потом и пой репку там?

— Я тебе не Деникин, и ты меня об этом не спрашивай, куда нас загонюг, — недовольно отвечал Григорий.

— Я потому спрашиваю, что примел такой слух, будто на речке Кубани сызнава начнут обороняться, а к весне тронутся во-своися.

— Кто это будет обороняться? — усмехнулся Григорий.

— Ну, казаки и кадеты, окромя кто же?

— Дурацкие речи ведешь! Пovýлазило тебе, не видишь, что кругом делается? Все норывают поскорее удрать, кто же обороняться-то будет?

— Ох, парень, я сам вижу, что дело наше — табак, а все как-то не верится... — вздохнул Прохор. — Ну, а на

случай, ежели придется в чужие земли плыть или раком полозть, ты — как? Тронешься?

— А ты?

— Мое дело такое: куда ты — туда и я. Не оставаться же мне одному, ежели народ поедет.

— Вот и я так думаю. Раз уж попали мы на овечье положение, значит — надо за баранами держаться...

— Они, бараны-то, иной раз чорт-те куда сдуру прут... Нет, ты эти побаски брось! Ты дело говори!

— Отвяжись, пожалуйста! Там видно будет. Чего мы с тобой раньше времени ворожить будем!

— Ну, и аминь! Больше пытаться у тебя ничего не буду, — согласился Прохор.

Но на другой день, когда пошли убирать лошадей, снова вернулся к прежнему разговору:

— Про зеленых ты слышал? — осторожно спросил он, делая вид, будто рассматривает держак вил-тройчаток.

— Слышал, дальше что?

— Это ишо какие-такие зеленые проявились? Они за кого?

— За красных.

— А с чего ж они зелеными кличутся?

— Чума их знает, в лесах хоронятся, должно, от этого и кличка.

— Может, и нам с тобой позеленеть? — после долгого раздумья несмело предложил Прохор.

— Что-то охоты нету.

— А окромя зеленых нету никаких таких, чтобы к дому поскорей прибиться? Мне-то один чорт — зеленые или синие или какие-нибудь там яично-желтые, я в любой цвет с дорогой душой окунусь, лишь бы этот народ против войны был и по домам служивых спущал...

— Потерпи, может — и такие проявятся, — посоветовал Григорий.

В конце января, в туманный ростепельный полдень, Григорий и Прохор приехали в слободу Белую Глину. Тысяч пятнадцать беженцев сбилось в слободе, из них — добрая половина больных сыпняком. По улицам в поисках квартир и корма лошадям ходили каза-

ки в куцых английских шинелях, в полушубках, в бешметах, раз'езжали всадники и подводы. Десятки истощенных лошадей стояли во дворах возле яслей, уныло пережевывая солому; на улицах, в переулках виднелись брошенные сани, обозные брички, зарядные ящики. Проезжая по одной из улиц, Прохор всмотрелся в привязанного к забору высокого гнедого коня, сказал:

— А ить это кума Андрюшки конь! Стал-быть, наши хуторные тут. — И проворно соскочил с саней, пошел в дом узнавать.

Через несколько минут из дома, накинув внапашку шинель, вышел Андрей Топольсков — кум и сосед Прохора. Сопровождаемый Прохором, он степенно подошел к саням, протянул Григорию черную, провонявшую лошадиным потом руку.

— С хуторским обозом едешь? — спросил Григорий.

— Вместе нужду трепаем.

— Ну, как ехали?

— Езда известная... После каждой ночевки людей и лошадей оставляем...

— Старик-то мой живой-здоровый?

Глядя куда-то мимо Григория, Топольсков вздохнул:

— Плохо, Григорий Пантелевич, плохие дела... Поминай отца, вчера на вечер отдал богу душу, скончался...

— Похоронили? — бледнея, спросил Григорий.

— Не могу сказать, нынче не был там. Поедем, я укажу квартиру... Держи, кум, направо, четвертый дом с правой руки от угла.

Под'ехав к просторному, крытому жестью дому, Прохор остановил лошадей возле забора, но Топольсков посоветовал заехать во двор.

— Тут тоже тесновато, человек двадцать народу, но как-нибудь поместитесь, — сказал он и соскочил с саней, чтобы открыть ворота.

Григорий первый вошел в жарко натопленную комнату. На полу вповалку лежали и сидели знакомые хуторяне. Кое-кто чинил обувь и упряжь, трое, в числе их старик Бесхлебнов, в супряге с которым ехал Пантелей Прокофьевич, ели за столом похлебку. Казаки при ви-

де Григория встали, хором ответили на короткое приветствие.

— Где же отец? — спросил Григорий, снимая папаху, оглядывая комнату.

— Беда у нас... Пантелей Прокофич уж упокойник, — тихо ответил Бесхлебнов и, вытерев рукавом чекменя рот, положил ложку, перекрестился. — Вчера на ночь преставился, царство ему небесное.

— Знаю. Похоронили?

— Нет ишо. Мы его нынче собирались похоронять, а зараз он вот тут, вынесли его в холодную горницу. Пройди сюда. — Бесхлебнов открыл дверь в соседнюю комнату, — словно извиняясь, сказал: — С мертвым ночевать в одной комнатухе не схотели казаки, дух чиже-льый, да тут ему и лучше... Тут не топят хозяева.

В просторной горнице резко пахло конопяным семенем, мышами. Весь угол был засыпан просом, коноплей, на лавке стояли кадки с мукой и маслом. Посреди комнаты на постели лежал Пантелей Прокофьевич. Григорий отстранил Бесхлебнова, вошел в горницу, остановился около отца.

— Две недели хворал, — вполголоса говорил Бесхлебнов. — Ишо под Мечеткой повалил его тиф. Вот где припало упокоиться твоему папаше... Такая-то наша жизнь...

Григорий, наклонясь вперед, смотрел на отца. Черты родного лица изменила болезнь, сделала их странно непохожими, чужими. Бледные, осунувшиеся щеки Пантелея Прокофьевича заросли седой щетиной, усы низко нависли над ввалившимся ртом, глаза были полузакрыты, и синеватая эмаль белков уже утрагала искрящуюся живость и блеск. Отвисшая нижняя челюсть старика была подвязана красным шейным платком, и на фоне красной материи седые курчавые волосы бороды казались еще серебристее, белее.

Григорий опустил на колени, чтобы в последний раз внимательнее рассмотреть и запомнить родное лицо, и невольно содрогнулся от страха и отвращения: по серому восковому лицу Пантелея Прокофьевича, заполняя впадины глаз, морщины на щеках, ползали вши.

Они покрывали лицо живой движущейся пеленою, кишели в бороде, копошились в бровях, серым слоем лежали на стоячем воротнике синего чекменя..

Григорий и двое казаков выдолбили пешнями в мерзлом, чугуно-твердом суглинке могилу, Прохор из обрезков досок кое-как сколотил гроб. На исходе дня отнесли Пантелея Прокофьевича и зарыли в чужой ставропольской земле. А час спустя, когда по слободе уже зажглись огни, Григорий выехал из Белой Глины по направлению на Новопокровскую.

В станице Кореновской он почувствовал себя плохо. Полдня потратил Прохор на поиски доктора, и все же нашел какого-то полупьяного военного врача, с трудом уговорил его, привел на квартиру. Не снимая шинели, врач осмотрел Григория, пощупал пульс, уверенно заявил:

— Возвратный тиф. Советую вам, господин сотник, прекратить путешествие, иначе подомрете в дороге.

— Дождаться красных? — криво усмехнулся Григорий.

— Ну, красные, положим, еще далеко.

— Будут близко...

— Я в этом не сомневаюсь. Но вам лучше остаться. Из двух зол я бы предпочел это, оно — меньшее.

— Нет, я уж как-нибудь поеду, — решительно сказал Григорий и стал натягивать гимнастерку. — Лекарства вы мне дадите?

— Поезжайте. дело ваше. Я должен был дать вам совет, а там — как вам угодно. Что касается лекарств, то лучшее из них — покой и уход: можно бы прописать вам кое-что, но аптека эвакуирована, а у меня ничего нет кроме хлороформа, иода и спирта.

— Дайте хучь спирту!

— С удовольствием. В дороге вы все равно умрете, поэтому спирт ничего не изменит. Пусть ваш денщик идет со мной, тысячку грамм я вам отпущу, я — добрый... — Врач козырнул, вышел, нетвердо шагая.

Прохор принес спирту, добыл где-то плохонькую пароконную повозку, за-

прыг лошадей, с мрачной иронией доложил, войдя в комнату:

— Коляска подана, ваше благородие!

И снова потянулись тягостные, унылые дни.

На Кубань из предгорий шла торопливая южная весна. В равнинных степях дружно таял снег, обнажались жирно блестящие черноземом проталины, серебряными голосами возговорили вешние ручьи, дорога зарябила просовами и уже по-весеннему засияли далекие голубые дали, и глубже, синее, теплее стало просторное кубанское небо.

Через два дня открылась солнцу озимая пшеница, белый туман заходил над пашнями. Лошади уже хлюпали по огилившейся от снега дороге, выше щеток проваливаясь в грязь, застревая в балочках, натужно выгибая спины, дымясь от пота. Прохор по-хозяйски подвязал им хвосты, часто слезал с повозки, шел сбоку, с трудом вытаскивая из грязи ноги, бормотал:

— Это не грязь, а смола липучая, истинный бог! Коня не просыхают от места и до места.

Григорий молчал, лежа на повозке, зябко кутаясь в тулуп. Но Прохору было скучно ехать без собеседника; он трогал Григория за ноги или за рукав, говорил:

— До чего грязь тут крутая! Слезь, попробуй! И охота тебе хворать!

— Иди к чорту! — чуть слышно шептал Григорий.

Встречаясь с кем-либо, Прохор спрашивал:

— Дальше ишо гуще грязь или такая же?

Ему, смеясь, отвечали шуткой, и Прохор, довольный тем, что перебрисился с живым человеком словом, некоторое время шел молча, часто останавливая лошадей, вытирая со своего ксричногого лба ядреный зернистый пот. Их обгоняли конные, и Прохор, не выдержав, останавливал их, здоровался, спрашивал, куда едут и откуда сами родом, под конец говорил:

— Зря едете... Туда дальше ехать невозможно. Почему? Да потому, что там такая грязюка, — встречные люди говорили, — что коня плывут по пузо,

на повозках колесы не крутятся, а пешие, какие мелкого роста, — прямо на дороге падают и утопают в грязи. Куцый кобель брешет, а я не брешу! Зачем мы едем? Нам иначе нельзя, я хворого архиерея везу, ему с красными никак нельзя жить вместе...

Большинство конников, беззлобно обругав Прохора, ехало дальше, а некоторые, перед тем, как от'ехать, внимательно смотрели на него, говорили:

— С Дону и дураки отступают? У вас в станице все такие, как ты?

Или еще что-нибудь в этом роде, но не менее обидное. Только один кубанец, отбившийся от партии станичников, всерьез рассердился на Прохора за то, что тот задержал его глупым разговором, и хотел было вытянуть его через лоб плетью, но Прохор с удивительным проворством вскочил на повозку, выхватил из-под полости карабин, положил его на колени. Кубанец от'ехал, матерно ругаясь, а Прохор, хочоча во всю глотку, орал ему вслед:

— Это тебе не под Царицыном в кукурузе хорониться! Пеношник — засушенные рукава! Эй, вернись, мамалыжная душа! Налетел? Подбери свой балахон, а то в грязи захлюстаешься! Раскрылатился, куроед! Бабий окорок! Поганого патрона нету, а то бы я тебе намахнулся! Брось плеть, слышишь?!

Дурья от скуки, от безделья, Прохор развлекался, как мог.

А Григорий со дня болезни жил, как во сне. Временами терял сознание, потом снова приходил в себя. В одну из минут, когда он очнулся от долгого забытья, над ним наклонился Прохор:

— Ты ишо живой? — спросил он, участливо засматривая в помутневшие глаза Григория.

Над ними сияло солнце. То клубясь, то растягиваясь в ломаную бархатисто-черную линию, с криком летели в густой синеве неба станицы темнокрылых казак. Одурающе пахло нагретой землей-травяной молодью. Григорий, часто дыша, с жадностью вбирал в легкие живительный весенний воздух. Голос Прохора с трудом доходил до его слуха, и все кругом было какое-то нереальное,

неправдоподобно уменьшенное, далекое. Позади, приглушенные расстоянием, немо гремели орудийные выстрелы. Неподалеку согласно и размеренно выстукивали колеса железного хода, фыркали и ржали лошади, звучали людские голоса; резко пахло печеным хлебом, сеном, конским потом. До помраченного сознания Григория доходило все это, словно из другого мира. Напрягши всю волю, он вслушался в голос Прохора, с величайшим усилием понял — Прохор спрашивал у него:

— Молоко будешь пить?

Григорий, еле шевеля языком, облизал спекшиеся губы, почувствовал, как в рот ему льется густая, с знакомым пресным привкусом, холодная жидкость.

После нескольких глотков он стиснул зубы. Прохор заткнул горлышко фляжки, снова наклонился над Григорием, и тот скорее догадался по движениям обветренных прохоровых губ, нежели услышал обращенный к нему вопрос:

— Может, тебя оставить в станице? Трудно тебе?

На лице Григория отразились страдание и тревога; еще раз он собрал в комок волю, прошептал:

— Вези... пока помру...

По лицу Прохора он догадался, что тот услышал его, и успокоенно закрыл глаза, как облегчение принимая беспмятство, погружаясь в густую темноту забытья, уходя от всего этого крикливого, шумного мира...

(Продолжение следует).

Партизанская

И. НЕЗЛОБИН

★

Вольно в кедрах льется
песня,
точно птица, вьется
песня,
точно сердце, бьется
песня,
по тайге несется
песня,
крепким холодом дыша.

Из-под шапки, из-под шубы,
сквозь обветренные губы
льются голос и душа.

И лесные горы-гривы
на грудные переливы
отвечают неспеша.

Это едут партизаны —
кто по седлам, кто в санях.
Трехлинейки и берданы
за плечами на ремнях.

Карабины всех калибров
отдыхают за спиной.

Поровней дорогу выбрав,
едут воины домой.

Под копытом снег клубится.
Пахнет порохом ладонь.
Журавель мой, сказка-птица,
журавушка молодой!

Песня просится далеко,
в искрах инея дрожа.
Отошли враги к востоку
от родного рубежа.

Тонут в море, в желтом море
тонут злобные враги.
Береги заряд в затворе
и винтовку береги!

Береги про всякий случай,
моря желтому не верь.
Журавель мой, друг летучий,
Расправляй крыло теперь!

Победители

М. АЛИГЕР

★

В самых героических рассказах
надо быть и проще, и скупей.
Отступала армия с Кавказа
по безлюдью выжженных степей
к Астрахани.

Бились мы жестоко,
вымостили трупами пути.
генерал Толстов теснил с востока,
впереди Деникин, — не уйти!
Отступали, но высоко красный
поднимали флаг и шли вперед.
Астрахань, великий выход в Каспий —
наше упование и оплот.
План врагов жестокий и короткий:
взят Баку — и нефть не провезти!
Микоян спасается на лодке
от судьбины двадцати шести.
А в советском прикаспийском крае
паровозы рыбу сухую
топят наши, силы собирая,
в ярости глубокой и глухой.
Тиф растет, не утихает голод.
Враг и за спиной, и впереди...
Троцкий пишет:

— Отдавайте город.

Киров говорит:

— Не отдадим!

Киров забывает сон и отдых,
молодеет, рвется и горит,
говорит с народом на заводах,
у красноармейцев говорит:
— Мы еще врагу не отплатили!
Мы еще увидимся в боях!
Он у моряков речной флотилии,

он на астраханских промыслах,
он по добровольческим отрядам.
Он повсюду.

Он живет одним.

Он в бои идет с бойцами рядом,
и идут дивизии за ним.

— Мы еще подумаем, примерим,
что сдадим, а что себе вернем. —
До того он сам горел и верил,
столько бодрости сияло в нем,
что, хотя горючее кончалось,
хлеба не было и тиф косил, —
верилось, работалось, мечталось,
столько было мужества и сил!
Понимали:

— Мы еще поспорим!

Втихую не сговориться нам.

В это время шла туркменка морем
по высокому, молодым волнам.
Шла в порядке.

Поглядишь — так вроде
никуда далеко не идет.
По-рыбацки возле дома бродит,
ставит сети и улова ждет.
Шла, как надо.

Набегала пена,
обрастало тиною весло.
Арбузы ломали о колено,
пели песни...

Ну, а их несло...
Днем потише и быстрее во мраке.
Меж снастей, веревок и корзин
провезли в искусно скрытом баке
дорогое топливо — бензин.

И дошли.

И ветрами морскими
тонкий парус был еще надут,
и своим сказали, что за ними
новые туркменки подойдут.
Что Баку, захваченный врагами,
не оставит в гибели друзей,
что еще пылать над берегами
на горячем вспыхнувшей грозе,
что еще не всех убили, вырыв
ту могилу двадцати шести...

И взошел на борт туркменки Киров—
темные ладони потрясти.
Улыбнулся и сказал:

— Спасибо. —

На песке качался лес теней.
Пахло дегтем, тиной и рыбой,
теплой пылью волжских пристаней.
Пели краны на высокой ноте,
солнце умирало на воде.

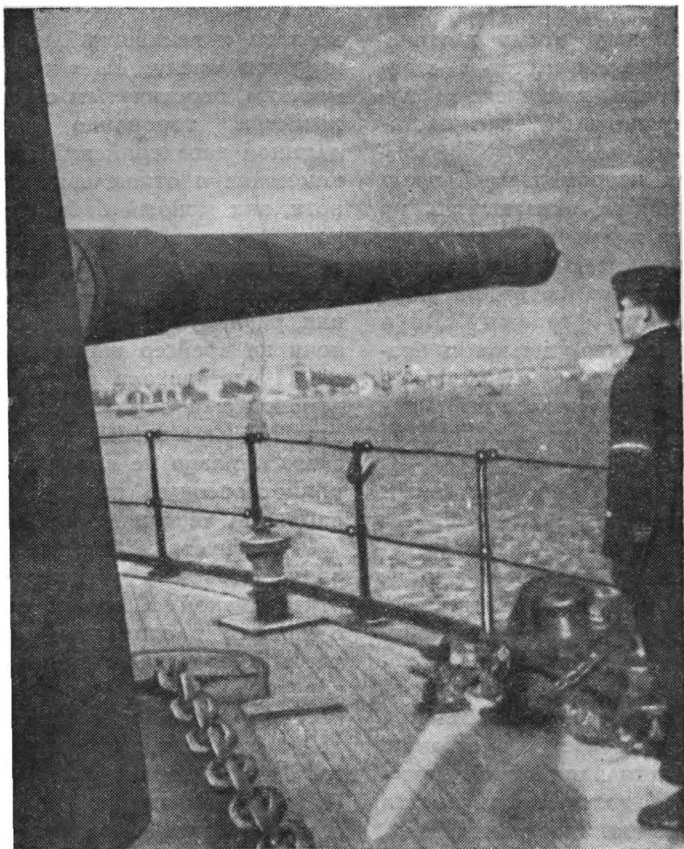
Он сказал:

— Назад в Баку свезете
планы, директивы и людей.

Он сказал:

— Поехать вместе с вами
был бы счастлив каждый большевик.
Мы его заслушались словами.
Был он прост и ростом невелик,
в штатском платье, с маленькой бо-
родкой,

стоя у сверкающей реки,
за крылатой уходящей лодкой
долго он следил из-под руки.
И оглядывались мы невольно,
расстегнувши вороты рубаш.
Мы пошли легко, дышалось вольно,
песня возникала на губах.
Каждый был взволнованно-спокоен,
каждому хотелось жить и жить.
С Кировым и с верою такую
разве мы могли не победить!



Историческое 6-дюймовое орудие, выстрел которого с «Авроры» двадцать лет назад возвестил конец русской буржуазии

Выстрел с Невы

РАССКАЗ

БОРИС ЛАВРЕНЕВ

★

21 октября 1917 года с утра шел мелкий дождь. «Аврора» стояла у стенки Франко-Русского завода. Место это было знакомо старому крейсеру. Это было место его рождения. С этих стапелей, в 1901 году, новорожденная «Аврора», под гром оркестра и салют, «в присутствии их императорских величеств», скользя по намыленным бревнам, сошла в черную невскую воду, чтобы начать свою долгую боевую жизнь крепным путем цусимской эскадры.

По мостику, сучая, расхаживал вахтенный начальник. Направо медленно катилась к взморью вспухшая поверхность реки, серо-чугунного цвета, покрытая лихорадочной рябью дождя. Налево — омерзительно грязный двор завода, закопченные здания цехов, черные переплеты стапельных перекрытий, размокшее от дождя унылое пространство, заваленное листьями обшивки, плитами брони, бунтами заржавевшей рыжей проволоки, змеящими из-

вивами тросов. Между этими хаотическими нагромождениями металла стояли гниющие красно-коричневые лужи, настоенные ржавчиной, как застарелой кровью.

Дождь поливал непромокаемый плащ вахтенного начальника, скатываясь по блестящей клеенке каплями тусклого серебра. Капли эти висели на измятых щеках мичмана, на его подстриженных усиках, на козырьке фуражки. Лицо мичмана было тоскливо-унылым и безнадежным, и со стороны могло показаться, что вся фигура вахтенного начальника истекает слезами безысходной тоски.

Так, собственно, и было. Вахтенный начальник смертельно скучал. С тех пор, как стало ясно, что все рушится и адмиральские орлы никогда не осенят своими хищными крылами мичманские плечи, мичман исполнял обязанности, изложенные в статьях корабельного устава, автоматически, только потому, что эти статьи с детства в'елись в него, как клещи в собачью шкуру. Он сам удивлялся порой, почему он выходит на вахту, когда вахта обратилась в фикцию. Неограниченная, почти самодержавная власть вахтенного начальника стала лишь раздражающим воспоминанием. От нее сохранилась только сомнительная привилегия — записывать в вахтенный журнал скучные происшествия на корабле.

Такую вахту не стоило нести. И офицеры с наслаждением отказались бы, если бы не странное и необъяснимое поведение матросов. Нижние чины, внезапно превратившиеся в граждан и хозяев корабля, несли сейчас корабельную службу с небывалой доселе четкостью и вниманием.

Матросы держались подчеркнуто подтянуто. Корабль убирался, как будто в ожидании адмиральского смотра. Часовые у денежного ящика и у трапа стояли, как вкопанные. Эта матросская ретивость к службе в то время, как ее не требовал и не смел требовать командный состав, казалась офицерам непонятной и даже пугала их.

Вот и сейчас. Вахтенный начальник нагнулся над стойками левого обвеса

мостика и лениво наблюдал разыгрывающуюся сцену. Шлепая по лужам, к мосткам, перекинутым со стенки на борт крейсера, торопливо шел человек в длинной кавалерийской шинели. Полы, намокшие и отяжелевшие, бились о сапоги, как мокрый бабий подол. На голове шедшего была защитная фуражка английского офицерского образца. Он взшел на мостки. Вахтенный начальник равнодушно наблюдал. С утра до ночи на крейсер шляется всякая шушера. Представители всяких там партий, демократы и социалисты, чорт их пересчитает. Еще совсем недавно нога штатского образца не смела вступить на неприкосновенную палубу военного корабля. А теперь...

Ну и пусть ходит, кто хочет. И чего ради часовой у мостков пререкается с этим шпаком? Мичман равнодушно, но с тайным злорадством наблюдал, как часовой преградил дорогу посетителю, как тот, горячась, говорил что-то и как часовой, холодно осмотрев гостя с ног до головы, свистнул, вызывая дежурного. Такое соблюдение формальностей было ни к чему, но все же пролило елей на мятущееся сердце мичмана.

Подошедший дежурный заглянул в предъявленный посетителем пропуск и повел его за собой. Вахтенный начальник разочарованно зевнул и зашагал по мостки, морщась от дождевых капель.

★

Только-что назначенный комиссаром «Авроры» минный машинист Александр Бельшев хмуро прочел поданную посетителем бумагу. Уже то, что посетитель представился личным ад'ютантом помощника морского министра Лебедева, разозлило комиссара. Он терпеть не мог ни эсеров, ни их ад'ютантов.

В бумаге был категорический приказ морского министра немедленно выходить в море на пробу машин и после этого следовать в Гельсингфорс.

— Министр приказал довести до вашего сведения, что невыполнение приказа будет расценено, как срыв боевого задания и военная измена, со всеми вытекающими последствиями, — сказал

ад'ютант казенными словами, стараясь держаться начальственно и уверенно. Ему было неуютно в этой суровой, блестящей от риполина каюте, за тонкими стенками которой ходили страшные матросы, и он старался подавить свой страх показной самоуверенностью.

— Ясное дело, — сказал Бельшев, подымая на ад'ютанта тяжелый взгляд, и вдруг улыбнулся совсем детской, конфузливой улыбкой.

— Мы ж таки понимаем, что такое измена, — выговорил он значительно, подняв перед своим носом указательный палец, и по тону его нельзя было понять, к кому относится слово «измена».

— Стрелять изменников надо, как сукиных сынов, — продолжал комиссар, повышая голос, и ад'ютанту показалось, что глаза комиссара, вспыхнувшие злостью, очень пристально уперлись в его лоб. Он поспешил проститься.

После его ухода Бельшев прошел в каюту командира крейсера. Командир сидел за столом и писал письма. Слева от него выросла уже горка конвертов с надписанными адресами. Лицо командира было бледно и мрачно. Похоже было, что он решил покончить самоубийством и пишет прощальные записки родным и знакомым.

Не замечая унылости командира, Бельшев положил перед ним приказ морского министра.

— Когда прикажете сниматься? — спросил командир, вскинув на комиссара усталые глаза.

— Между прочим, совсем наоборот, — ответил, слегка усмехаясь, Бельшев: — комитет имеет обратное приказание Центробалта — производить пробу машин не раньше конца октября. Так что придется гражданину верховноуглавляющему вытягивать якорный канат своими зубами, и он их на этом деле обломает. В Гельсингфорс не пойдем и вообще никуда не пойдем без приказа Петроградского Совета, — закончил Бельшев официальным тоном.

— Слушаю-с, — ответил командир и сам удивился, почему он отвечает своему бывшему подчиненному с той преувеличенной почтительностью, с какой

разговаривал с ротным офицером в корпусе, еще будучи кадетом.

★

— Посторонних нет?

Вопрос был задан для проформы. Комиссар Бельшев и сам видел, что в помещении шестнадцатого кубрика не было никого, кроме членов судового комитета, но ему нравилась строгая процедура секретного заседания.

— А какой чорт сюда затешется? — ответили ему: — матросы понимают, а офицера на веревочке не затащишь.

Бельшев вынул из внутреннего кармана бушлата конверт. Медленно и торжественно вытащил из него сложенную четвертушку бумаги, разгладил ее на ладони и, прищурившись, обвел настороженным взглядом членов комитета. Это были свои, испытанные, боевые ребята, и все они жадно и с загоревшимися глазами смотрели на бумагу в комиссарских руках.

— Так вот, ребятаки, — сказал Бельшев: — сообщаю данное распоряжение. Комиссару крейсера «Аврора». Военно-Революционный Комитет Петроградского Совета Рабочих и Солдатских Депутатов постановил: поручить вам всеми имеющимися в вашем распоряжении средствами восстановить движение на Николаевском мосту...

В кубрике было тихо и жарко. Где-то глубоко под палубами заглушенно гудело динамо, да иногда по подволоку прогрохатывали чьи-то быстрые шаги. Члены комитета молчали. И, несмотря на то, что глаза у всех были разные — серые, карие, ласковые, суровые, во всех этих глазах был одинаковый острый блеск. И от этого блеска лица были похожими одно на другое. Их освещал одинаковый свет осуществлявшейся, становившейся сегодня явью, вековой мечты угнетенного человека о найденной правде, которую сотни лет прятали угнетатели.

— По телефону передали из Ревкома, что это распоряжение самого Владимира Ильича... Товарищ Ленин ожидает, что моряки не подведут, — добавил Бельшев тихо и проникновенно, и опять

по лицам пробежал задумчивый и взволнованный свет.

— Ты скажи, Саша, пусть товарищ Ленин пребывает без сомнения, — обронил кто-то из угла: — если он хочет, так сквозь что угодно пройдем.

— Значит, постановлено? Возражающих нет? — спросил комиссар. Он был еще молод, молод в жизни и молод в политике, и любил, чтобы дело делалось по всей форме.

Члены комитета ответили одним шумным вздохом, и это было вполне понятной формой одобрения.

— Тогда предлагаю обмозговать выполнение задачи, — Бельшев бережно спрятал в бушлат боевой приказ Петроградского Совета, — сколько людей понадобится и каким способом навести мост.

— Способ определенный, — сказал, усмешливо скаля мелкие зубы, Ваня Карякин: — верти механизм, пока не сойдется, вот тебе и вся механика.

Но шутка не вызвала улыбок. Настроение в кубрике было особенное, строгое и торжественное, и Ваню обрвали.

— Закрой поддувало!

— Ишь нашелся... Ты время полусту не засти. Без тебя знаем, что механизм вертеть надо.

С рундука встал плотный, бородатый боцманмат.

— Полагаю, товарищи, что дело серьезное. На мосту и с той стороны на Сенатской и Английской набережной юнкерье. Сколько их там и чего у них есть, нам неизвестно. Разведки не делали. Броневики я у них сам видал. А может, там где-нибудь в Галерной и артиллерия припрятана. От них, гадов, всего дождешься. И думаю, что на рожон переть нечего, а то оскандалимся, как мокрые куры, и дела не делаем...

— Что ж ты предлагаешь? — спросил Бельшев.

— А допрже всего высвободить корабль из этой мышеловки. Чорта мы тут у стенки сотворим Первое дело, отсюда мы до Английской набережной не достанем, через мост. Второе — на нас

могут с берега навалиться, да и где это слыхано, чтоб флотский корабль у стенки дрался. А потому предлагаю раньше остального вывести «Аврору» на свободную воду для маневра и поставить к самому мосту. Эта пешеная шушера крейсера, как чорта, боится. Тогда и народ можно будет послать к мосту. В случае чего, пушками прикроем. А вернее, что и пушек не понадобится. Мы ж таки сила...

— Верно, — поддержал голос: — нужно к мосту выбираться.

Бельшев задумчиво повертел в руках конец шкертика, забытого кем-то на столе.

— Перевести — это так, — сказал он: — да кто переводить будет? На офицерье надежды мало. Они сейчас, как черепаха, богом суродованная. Будто им головы прищемило.

— Пугнуть можно, — отозвался Ваня Карякин.

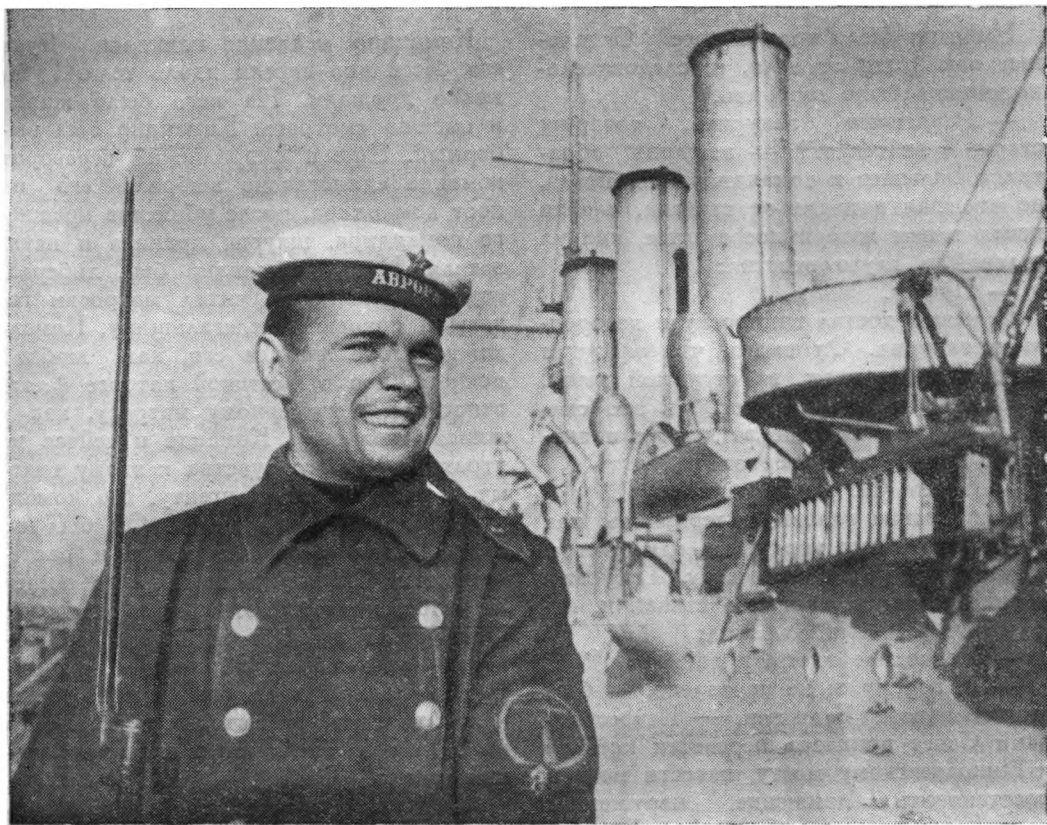
Бельшев махнул рукой.

— Уж они и так пуганы, больше некуда. Начнешь дальше пугать — хуже будет. Теперь с ними одно средство — добром поговорить. Может, и отойдут. А то они даже самые обыкновенные слова не понимают. Я вчера на палубе ревизора встретил, говорю ему, что нужно с базой поругаться насчет гнилых галет, и вижу, что не понимает меня человек. Глаза растопырил, губу отвисил, а сам дрожит, что заячий хвост. Даже мне его жалко стало. Окончательно рассуждение потерял мичманок... Верно, думал, что я его за эти сухари сейчас за борт спущу. Ихнюю психику тоже сейчас взвесить надо. Земля изпод ног ушла...

— Потопить их всех.

— Рано, — твердо отрезал Бельшев: — если б надо было, так нам бы сперва приказали с ними разделаться, а потом мост наводить. Еще пригодятся. Сейчас пойду с ними поговорю толком. Членам комитета предлагаю разойтись по отсекам, разъяснить команде положение. Да присмотреть за эсеровщиной. А то намутят. Еще сидят у нас по щелям эсеровские клопы...

Кубрик ожил. Члены комитета загрохали по палубе, торопясь к выходу.



На вахте

★

Когда Бельшев вошел в кают-компанию, был час вечернего чая и офицеры собрались за столом. Но как непохоже было это чаепитие на прежние, оживленные сборища. Молчал накрытый чехлом, как конь траурной попоной, рояль. Не слышно было ни шуток, ни беззаботного мичманского смеха. Безмолвные фигуры, угрюмо помешивающие ложечками в стаканах, низко склонив головы над столом, избегая смотреть друг на друга, напоминали людей, собравшихся на поминки по только-что схороненному родственнику и не решающихся заговорить, чтобы не оскорбить звуком голоса незримо присутствующий дух покойника.

При появлении комиссара все головы на мгновение повернулись в его сторону. В беззвучной переключке метнувшихся

глаз вспыхнула тревога, и головы еще ниже склонились над стаканами жидкого чая.

— Добрый вечер, товарищи командиры, — как можно приветливее сказал Бельшев и, положив бескозырку на диванную полочку, весело и добродушно уселся на диван.

Но, садясь, он зорко следил за реакцией на свое поведение, отразившейся на офицерских лицах. Некоторые просветлели, — очевидно, приход комиссара не сулил ничего угрожающего, а сам комиссар был все же парень неплохой, отличный в прошлом матрос, и не злой. Двое насупились еще угрюмей. Это были кондовые, негнувшиеся, ярые ревнители дворянских вольностей и офицерских привилегий, и самое появление комиссара в кают-компании и его независимое поведение резало, как ножом, их сердца.

Но этих было только двое. Остальные как будто оттаяли, и, следовательно, можно было говорить.

— Разрешите закурить, товарищ старший лейтенант? — вежливо обратился Бельшев к командиру. Командир, не отрывая взгляда от стакана, словно искал в нем потерянное счастье, кивнул головой и глухо ответил:

— Прошу.

Бельшев достал папироску и неторопливо закурил. Он видел, что офицеры искоса наблюдают за стружкой дыма, вьющейся от его папиросы, и это смешило его. Он глубоко затянулся и внезапно сказал, как оторвал:

— Через час снимаемся.

Офицерские головы вздернулись, как будто всеми ими управляла одна нитка, и повернулись к комиссару. Штурман нервно звякнул ложкой о стакан и, передернув плечами, спросил:

— Позволено знать, куда?

— А почему ж не позволено, — беззаботно ответил Бельшев: — Петроградский Совет приказал перевести крейсер к Николаевскому мосту, навести мост и восстановить движение, нарушенное контрреволюционными силами Временного правительства.

Штурман вздохнул и зазвякал ложкой. Жирный артиллерист, бывший прежде заправским весельчаком и не раз смешивший матросов забавными рассказами, а теперь потускневший и слинявший, словно его выкупали в щелке, не подымая головы, спросил напряженно и зло:

— А приказ комфлота есть?

Бельшев пристально посмотрел на него.

— Проспали, товарищ артиллерист, — сказал он спокойно: — командует флотом нынче революция, а в частности Военно-Революционный Комитет, которому флот и подчиняется.

— Не слыхал, — ответил артиллерист: — я такого адмирала не знаю.

Артиллерист явно задирался и вызывал на скандал. Бельшев понял и, не отвечая, снова обратился к командиру:

— Товарищ старший лейтенант, прошу распорядиться.

Командир медленно поднялся. Руки его бессильно висели вдоль тела. Губы мелко дрожали. На него было жалко и смешно смотреть. Командир был выборный. Еще в февральский переворот команда единогласно выбрала его на пост командира, после убийства прежнего командира, шкуры, дракона и истязателя. Новый командир был либерал, еще до революции читал матросам газеты и покрывал нелегалышину. Команда искренне любила его, как любила всякого, кто в жестокой каторге флота относился к номерному матросу, как к живому человеку. Команда и сейчас не утратила доброго чувства к этому тихому и мягкому интеллигенту. Но командир был выбит из колеи. Он был во власти полной раздвоенности и растерянности. Он иногда жалел, что пошел во флот, и думал, что ему следовало стать толстовцем, а не офицером. Теперь предложение комиссара окончательно подкашивало его. Нужно было находить какой-то выход. Он посмотрел на Бельшева отчаянными глазами больной газели.

— Вы хотите вести крейсер к Николаевскому мосту?

— А то куда ж, — удивился Бельшев: — как будто ясно сказано...

— Но... но... — командир тщетно искал убегающие от него слова: — но вы понимаете, товарищ Бельшев, что это... это невозможно.

— Почему? — тоном искреннего и наивного изумления спросил комиссар.

— Но дело в том... С начала войны расчистка реки в пределах города не производилась, — быстро заговорил командир, обрадованный тем, что уважительная причина технического порядка, внезапно осенившая мозг, дает возможность правдоподобно и без ущерба для революционной репутации объяснить отказ: — совершенно неизвестно, что происходит на дне. Фарватер представляет собой полную загадку. Я несу ответственность за крейсер, как боевую единицу флота. Мы только-что закончили ремонт и можем обратить корабль в инвалида, пропороть днище... оборвать винты... Я... я не могу взять на себя такой риск.

Артиллерист злорадно и весело кашлянул. Это было явное поощрение командиру. Но Бельшев оставался спокоен, хотя мысль работала быстро и ожесточенно. Он понимал, что командир сделал ловкий ход в политическом домино. Можно было, конечно, обратиться, смешать косточки и прекратить игру, вызвав на подмогу команду, пригрозить. Но хороший игрок так не поступает, а Бельшев играл в «козла» отменно.

Он только искоса взглянул на артиллериста, и кашель завяз у того в горле.

Потом, обращаясь к командиру, Бельшев произнес, напирая на слова:

— Соображение насчет фарватера считаю правильным.

Офицеры переглянулись. Неужели комиссар сдаст?

Но радость оказалась преждевременной. Сделав паузу, Бельшев продолжал:

— Крейсером рисковать нельзя, товарищу старлейт. Мы за него оба отвечаем. И я под расстрел тоже не охотник... Но приказ есть приказ. Мы должны передвинуться к мосту. Через полчаса фарватер будет промерен и обвехован...

Он с трудом удержался от победоносной усмешки. Удар был рассчитан здорово. Командиру некуда было приставить свою косточку. Он безнадежно оставался козлом. В кают-компании стало невыносимо тихо.

Бельшев взял бескозырку и пошел к выходу. На пороге остановился и, оглядев растерянные лица офицеров, строго и резко закончил:

— Предлагаю от имени комитета товарищам командирам до окончания промера не выходить на палубу.

— Это что же? Арест? — вскинулся артиллерист.

— Ишь какой скорый, — засмеялся Бельшев: — зачем? Нужно будет — успеем. Просто дело рискованное. Могут внезапно обстрелять, а я за вас, как за специалистов, вдвойне отвечаю. До скорого...

Дверь кают-компании захлопнулась за ним. Офицеры молчали. Это молчание нарушил штурман. Он покачал головой



Молодые краснофлотцы крейсера «Аврора» за учебой

и, как бы разговаривая с самим собой, сказал вполголоса:

— А все-таки молодцы большевики!

★

Шлюпка покачивалась на черной воде у правого трапа. Расставив вооруженных матросов по левому борту, обращенному к территории завода, осмотреть лично пулеметы и приказав внимательно следить за всяким движением на берегу, Бельшев перешел на правый борт к трапу. Четверо гребцов спускались в шлюпку. На площадке трапа стоял секретарь судового комитета, сигнальщик Захаров, застегивая на себе пояс с кобуром. На груди у него висел аккумуляторный фонарик, заклеенный черной бумагой, с проколотым в ней иглой крошечным отверстием. Узкий, как вязальная спица, лучик света выходил из отверстия.

— Готов, Серега? — спросил Бельшев, кладя руку на плечо Захарова.

— А раньше? — ответил Захаров любимой прибауткой.

— Гляди в оба. На подходе к мосту будь осторожней. Я буду на баке у носового. Если обстреляют, пускай ракету в направлении, откуда ведут огонь. Тогда мы ударим. Ну, будь здоров.

Они крепко ждали друг друга руки. Много соли было съедено вместе в это горячее времячко. И вот веселый, лихой парень, товарищ и друг шел на тяжелое дело за всех, где его могла свалить в ледяную невскую воду белая пуля.

У Бельшева защеколело в носу. Он быстро отошел от трапа. Шлюпка отделилась от борта и беззвучно ушла в темноту. Комиссар прошел на полубак. Длинный ствол носовой шестидюймовки, задравшись, смотрел в чернильное небо. Чуть различимые в темноте силуэты орудийного расчета жались друг к другу. Ночь дышала тревогой. Бельшев прошел к гюйсштоку. Неразличимая пустыня воды глухо шепталась перед ним. За ней лежал город, чудовищно огромный, плоский, чужой и враждебный. Город лощеных проспектов, дворцов, город гвардейских шинелей с бобровыми воротниками, город министерских карет и банкирских автомобилей. Город, вход в который был свободен для породистых собак и закрыт для нижних чинов. Бельшев чувствовал, как этот город дышит ему в лицо всей своей гнилью и проказой. Этот город нужно было уничтожить, чтобы на месте его создать новый, здоровый, ясный, солнечный, широко открытый ветрам и людям.

Набережные были темны. Фонари не горели. Какие-то смутные тени передвигались за гранитными парапетами. Вдалеке, очевидно с петропавловских верков, полосовал сырую мглу бледносиний меч прожектора. Он то взлетал ввысь, то рушился на воду, и тогда впереди проступали четкие разлеты мостовых арок и вода стеклянела, светясь.

Шаги сзади оторвали Бельшева от созерцания. Он оглянулся. Член судового комитета Белоусов торопливо подошел к нему.

— Сейчас налопал в машинном куб-

рике эсеровского гада Лещенко. Разводил агитацию.

— Где? — спросил Бельшев, срыгаясь.

— Не беспокойся. Забрали и засунули в канатный ящик. Пусть там троем проповедует.

— Смотрите во-всю. Чтоб не выкинули какой-нибудь пакости, — сурово сказал Бельшев.

— Комиссар, шлюпка возвращается, — доложил сигнальщик, острые глаза которого увидели в ночной черноте слабые очертания маленькой скорлупки.

— Ну, хорошо... А то я уж боялся за Серегу, — мягко и ласково сказал комиссар и направился к трапу.

★

С взятой у Захарова картой промера фарватера, влажной от дождевой воды и речной сырости, Бельшев вернулся в кают-компанию. Едва взглянув на офицеров, комиссар понял, что за время его отсутствия в кают-компании произошли какие-то события и офицерское настроение резко изменилось. Офицеры уже не были похожи на кур, долго мокших под осенним ливнем. Они выпрямились, подтянулись, и в них чувствовалась какая-то решимость. Казалось, они опять стали военными.

Это удивило и встревожило комиссара. Но, не давая понять, что он обеспокоен переменой, Бельшев спокойно направился прямо к командиру и положил на стол перед ним карту.

На промокшей бумаге лиловели сложные зигзаги химического карандаша, которым Захаров прочертил линию благоприятных глубин.

— Вот, — сказал Бельшев: — фарватер есть! Не ахти какой приятный, конечно. Можно сказать, не фарватер, а гадючий хвост. Ишь как крутится. Но, между прочим, по всей провехованной линии имеем от четырнадцати до шестнадцати метров. Значит, пройти вполне возможно — и еще под килем хватит. С хорошим рулевым вывернемся. Начинайте с'емку.

Комиссар говорил ровным, обычным голосом, как будто речь шла об окраске

шлюпок или починке кильблоков и никаких возражений не могло быть.

Но командир неожиданно поднялся, обдернул китель и, не подымая головы, судорожно захватив пальцами концы скатерти, заговорил глухо и сдавленно:

— Офицеры имели возможность обсудить положение и уполномочили меня сообщить...

Тут командир захлебнулся словом и замолчал. Бельшев с усмешкой смотрел на его пляшущие по скатерти пальцы.

— Ну, что же, господа офицеры надумали?

Командир вскинул голову, как будто его ударили кулаком под челюсть. Мгновенно покраснев до шеи и стараясь смело смотреть в глаза Бельшеву, он сказал:

— Поскольку мы понимаем, что перевод крейсера к мосту является одним из актов намеченного политическими партиями плана захвата власти, офицеры крейсера, готовые в любое время выполнить свой боевой долг в отношении внешнего врага, считают себя не вправе вмешиваться в политическую борьбу внутри России. Поэтому... вследствие этого мы... — командир начал запинаться: — мы заявляем, что в этой борьбе мы соблюдаем нейтралитет...

— Так... так, — сказал Бельшев злобно, кивая головой, и командир покраснел еще гуще.

— Мы ни за какую политическую партию... Мы за Россию... Мы против большевиков тоже выступать не будем.

Бельшев сделал шаг вперед и положил свою тяжелую ладонь на плечо командира. От неожиданного этого прикосновения лейтенант вздрогнул и молниеносно сел, как будто он был гвоздем и сильный удар молотка смаху вогнал его в кресло. Было ясно, что он испугался.

— Еще бы вы против большевиков выступили! Я так думаю, что у вас и против своей тещи пороку нехватит, — презрительно, но так же злобно обронил комиссар и, помолчав, добавил, покачивая головой: — эх-ма... а я-то думал, что вы все-таки офицеры. А вы вроде, как мелкая салага...

— Ну, ну... комиссар. Просил бы полегче, — ехидно вставил артиллерист: — посмотрим, какая из тебя осетрина выйдет.

То, что артиллерист не трусил, понравилось комиссару. Озлобления у офицеров явно не было. Была полная и жалкая растерянность, которой сами офицеры стыдились. И то, что артиллерист обратился к комиссару на «ты», тоже было не плохим признаком. Пренебрежительное выканье было бы хуже. Ясно одно. Офицеры помогать не станут, но и мешать не рискнут. Бельшев усмехнулся артиллеристу:

— Навару с меня в ухе, конечно, поменьше, чем с тебя, будет, — кинул он, тоже обращаясь на «ты» и как бы испытывая этим настроение. Если артиллерист обидится, значит он, Бельшев, ошибся насчет настроения. Но артиллерист не реагировал. Тогда комиссар отошел к дверям, захватив карту.

— Поскольку разговор зашел за нейтралитет, команда не считает нужным применять насилие. Вольному воля, а вам, господа офицеры, до выяснения обстоятельств придется посидеть под караулом. Прошу прощения... Что же касается корабля, авось, сами справимся. Счастливо!..

★

Была полночь. На баке глухо зарокотал якорный шпиль, и канат правого якоря, заведенного в реку, натягиваясь, вздрагивая, роняя капли, медленно пополз в клюз.

Бельшев стоял на мостике. Отсюда лежащий под ногами корабль казался громадным, враждебно настроенным, ожидающим промаха комиссара. Желтый круг от лампочки падал на штурманский столик, на карту промера. Темный профиль Захарова, склонившегося над картой, четко резался на бумаге. Карандаш в крепких пальцах Захарова медленно полз по фарватерной линии и, казалось, готов был сломаться.

— Нет, — сказал вдруг комиссар злобно и решительно: — не выйдет эта чертовина...

— Ты про что? — Захаров оторвал от карты и поглядел на Бельшева.

— Пойми ты, чортова голова. Если запорем корабль, что тогда делать станешь?

Захаров помолчал.

— А что будешь делать, если не выполним приказ Совета? Одно на одно... Так выходит: риск — благородное дело... Да ты не дрефь, Шурка. Рулевых я лучших поставил, орлы, а не рулевые. А я как-нибудь управлюсь. Насмотрелся за четыре года на дело, ни весть какая мудрятина на ровной воде корабль провести.

Бельшев выругался. Действительно, другого выхода не было. Если Серега берется, может, и выйдет. Парень он толковый.

Мостик затрепетал под его ногами. Очевидно, в машинном отделении проворачивали машину. Знакомая эта дрожь, оживляющая крейсер, делающая его разумным существом, ободрила комиссара. Он подошел к машинному телеграфу, нажал педаль и вынул пробку из переговорной трубы

— Василий, ты? Здорово... Сейчас тронемся. Слушать команду внимательно!

— Есть слушать команду, — ответила трубка, и это еще больше успокоило Бельшева.

— Как якорь? — крикнул он на бак.

— Встал якорь, — ответил голос из темноты.

Крейсер уже отделился носом от стенки. Вода медленно разворачивала его поперек реки. Пора было давать ход. Бельшев перевел ручку машинного телеграфа на «малый вперед». Палуба снова вздрогнула. В это мгновение на мостик выскочил из люка вооруженный винтовкой матрос.

— Товарищ комиссар... Бельшев! — закричал он.

— Чего орешь? — недовольно отозвался комиссар: — тишину соблюдай.

— Товарищ комиссар! Арестованный командир просит немедленно притти к нему.

— Чорта ему, сукиному сыну, надо, — выругался Бельшев: — скажи, некогда мне к нему таскаться. Пусть ждет, по-

ка операция кончится. Раньше надо было думать.

Матрос замялся.

— Как бы чего не вышло, Бельшев, — сказал он, потянувшись к уху комиссара: — вроде, понимаешь, как не в себе командир. Плачет.

— Тьфу, анафема, — сплюнул Бельшев: — волоки его, гада, сюда. Сам понимаешь, не могу уйти с мостика.

Матрос нырнул в люк. Крейсер забирал ход, выходя на середину реки. Кругом была непроглядная тьма. Голос Захарова сказал рулевым:

— Вон Исакия макушка поблескивает. На нее правь пока... Одерживай!

— Есть одерживать, — в один голос отозвались рулевые.

Минуту спустя на мостике появился командир в сопровождении конвоира. Шинель командира была растегнута, фуражка висела на затылке. Даже в темноте глаза командира болезненно блестели.

— Я не могу, — заговорил он еще на ходу: — я не могу допустить аварии корабля. Я люблю свой корабль, я... Я помогу вам привести его к мосту, но после этого прошу освободить меня от дальнейшего участия в военных действиях...

Бельшев смотрел на искаженное лицо, слабо освещенное отблеском лампочки над штурманским столиком. Он хорошо понимал командира. Он мог бы много сказать ему сейчас. Но разговаривать было некогда. В конце концов, и это большая победа. И Бельшев просто сказал:

— Ладно... Вступайте...

Лейтенант шатнулся, всхлипнул, но через секунду выпрямился, и голос его зазвучал командирски уверенно, когда он скомандовал рулевым, наклонившись над картой:

— Лево руля!.. Так держать!..

На середине реки внезапно налетел ветер, и хлынул проливной дождь. Все закрылось серой сетью мечущихся нитей. С мостика стало не видно полубака.

Сигнальщики, подняв воротники бушлатов, поминутно протирали глаза. Крейсер, извиваясь по фарватеру, медленно

полз вперед. Мост должен был быть совсем близко, но впереди лежала та же непроглядная серая муть. Того и гляди, «Аврора» врежется в пролет.

— Мо-ост! — диким голосом рявкнул первый, угадавший в темени смутные очертания быков.

— Тише! — шикнул Бельшев: — весь город всполошишь.

Под рукой командира зазвенел машинный телеграф. Сначала «самый малый», потом «полный назад». Судорога машин потрясла крейсер.

— Отдать якорь!

Тяжелый всплеск донесся спереди. Резко и пронзительно завизжал ринувший вниз якорный канат. «Аврора» вздрогнула и остановилась.

Командир отошел от тумбы телеграфа и, закрыв лицо руками, согнувшись, пошел к трапу. Бельшев не останавливал его. Теперь командир был ненужен.

— Проектор на мост! — приказал комиссар.

Над головой на площадке фор-марса зашипело, зафыркало, замигало синим блеском. Стремительный луч рванулся вперед, прорывая дождевую мглу. Выступили быки и фермы. Слева у берега крайний пролет был пуст.

— Разведен, — злобно вымолвил Бельшев, стиснув зубы и сжимая в кармане наган. Он вспомнил фразу из приказа Совета: «Восстановить движение всеми имеющимися в вашем распоряжении средствами». Он шумно вздохнул и посмотрел вниз на поднявшиеся стволы носовых пушек. Они застыли, готовые к бою. Весь крейсер работал, как огромный и точный механизм, подчиненный железному военному закону. С такими средствами и с такими людьми, которые стояли у пушек, готовые зажечь заряды огнем, разгоравшимся в их сердцах, можно было и восстановить, и нарушить любое движение, в любом месте.

Бельшев поднял к глазам тяжелый ночной бинокль. В окулярах мост выступил выпукло и совсем близко. Стоило вытянуть руку, и можно было коснуться мокрого железа перил. За ними жались ослепленные молнией прожек-

тора маленькие фигурки в серых шинелях.

Он опустил бинокль и снял с распорки мегафон. Приставил его ко рту.

Мегафон взревел густым и устрашающим ревом.

— Господа юнкерье, — рычало из раструба мегафона: — именем Военно-Революционного Комитета предлагается вам разойтись к чертовой матери, куда целы. Через пять минут открываю по мосту орудийный огонь.

На мосту мигнул огонек, и ударил едва слышный одинокий выстрел. Пряча усмешку, Бельшев увидел, как юнкера кучкой бросились к стреляющему и вырвали у него винтовку. Потом, спеша и спотыкаясь, они гурьбой побежали к левому берегу, к Английской набережной, и их фигуры потонули там, слизанные тьмой. Мост опустел.

— Вот так лучше, — засмеялся комиссар, поведя плечами: — тоже вояки не нашего бога.

Он повернулся к Захарову и властно, как привыкший командовать на этом мостике, приказал:

— Вторую роту наверх с винтовками и гранатами. Катера на воду. Высадить роту и немедленно навести мост.

Запел горн. Засвистали дудки. По трапам загремели ноги. Заскрипели шлюп-балки. Вытянувшись по течению, в пронизанном нитями ливня мраке, «Аврора» застыла у моста, неподвижная, черная, угрожающая.

★

День настал холодный и ветреный. Нева вздувалась. Навстречу тяжелому ходу ее вод курчавились желтые стые гребни. Летала срываема порывами вихря водяная пыль.

Город притих, обезлюдевший, мокрый. На улицах не было обычного движения. С мостика линии Васильевского Острова казались опустелыми каменными ущельями.

С левого берега катилась ружейная стрельба, то затихавшая, то разгоравшаяся. Иногда ее прорезывали гулкие удары — рвались ручные гранаты. Однажды звонко и пронзительно заби-

ла мелкокалиберная пушка, очевидно с броневи́ка. Но скоро смолкла.

Это было на Морской, где красногвардейские и матросские отряды атаковали здание главного телеграфа и телефонную станцию. Юнкера продержались в нем долго, при поддержке броневи́ка, пока броневи́к не взлетел на воздух от связи гранат, брошенной под колеса матросом балтийского экипажа, тут же погибшим под пулями разъяренных юнкеров.

С утра Бельшев непрерывно обходил кубрики и отсеки, разговаривая с командой. Матросы рвались на берег. Им хотелось принять непосредственное участие в бою. Стоянка на месте, посреди реки, раздражала и волновала матросов. Им казалось, что их обошли и забыли, и стоило немало труда доказать рвущимся в бой людям, что крейсер представляет собой ту решающую силу, которую пустят в дело, когда настанет последний час.

С полудня Бельшев неотлучно стоял на мостике. С ним был Захаров и другие члены судового комитета. Офицеры отлеживались по каютам, и у каждой двери стоял часовой.

В два часа дня запыхавшийся радист, влетевший на мостик, ткнул в руки Бельшева бланк принятой радиogramмы. Глаза радиста и его щеки пылали. Бельшев положил бланк на столик в рубке и нагнулся над ним. Через его плечо смотрели товарищи. Глаза бежали по строчкам, и в груди тепело с каждой прочтенной буквой:

«Всем, всем, всем! Временное Правительство низложено, государственная власть перешла в руки органа Петроградского Совета Рабочих и Солдатских Депутатов, Военно-Революционного Комитета, стоящего во главе петроградского пролетариата и гарнизона. Дело, за которое борется народ, — немедленное предложение демократического мира, отмена помещичьей собственности на землю, рабочий контроль над производством, создание Советского Правительства — это дело обеспечено. Да здравствует революция рабочих, солдат и крестьян!».

Бельшев выпрямился и снял бескозырку. С обнаженной головой он подошел к обвесу мостика. Под ним на полубаке стояла у орудий, не желавшая сменяться, прислуга. По бортам лепились группы военморов, оживленно беседующих и вглядывающихся в начинающий покрываться сумерками город.

С точки зрения боевой дисциплины, это был беспорядок. Боевая тревога была сыграна еще утром, и на палубе не полагалось быть никому, кроме орудийных расчетов и аварийно-пожарных постов. Но Бельшев понимал, что сейчас никакими силами не уберешь под стальную корку палуб, в низы, взволнованных, горящих людей, пока они не узнают главного, чего они так долго ждали, ради чего они не покидают верхов, не замечая времени, забыв о пище.

Он вскочил на край обвеса, держась за сигнальный фал.

— Товарищи!

Головы повернулись к мостик. Узнав комиссара, команда сдвинулась к середине корабля. Задранные головы замерли неподвижно.

— Товарищи, — повторил Бельшев, и голос его сорвался на мгновение: — Временное правительство приказало кланяться... Большевики взяли власть! Советы — хозяева России! Да здравствует Ленин!

Сотней глоток с полубака рванулось «ура», и, как будто в ответ ему, от Сенатской площади часто и трескуче отозвались пулеметы. Было ясно, что там, на берегу, еще дерутся. Бельшев сунул бланк радиogramмы в карман.

— Расчеты к орудиям! Лишние вниз! Все по местам!

Команда хлынула к люкам. Скатываясь по трапам, аврорцы бросали последние жадные взгляды на город. Полубак опустел. Носовые пушки медленно повернулись в направлении доносящейся стрельбы, качнулись и стали.

★

Опять наступила чернота октябрьской ветреной ночи. От Дворцового моста доносилась все усиливающаяся пере-

стрелка. Черной и мрачной громадой мерещился за двумя мостами Зимний дворец. Только в одном окне его горел тусклый желтый огонь. Дворец императора казался кораблем, погасившим все огни, кроме кильватерного, и приготовившимся тайком сняться с места и уйти в последнее плавание.

Судовой комитет оставался на мостике. Офицеры попрежнему сидели под арестом, кроме командира и вахтенного мичмана. Командир, прочтя радиogramму, сказал, что, поскольку правительство Керенского пало, он считает возможным приступить к выполнению обязанностей. Мичману просто стало скучно в запертой каюте, и он попросился наверх, к знакомому делу.

Стиснув пальцами ледяной металл стоек, Бельшев, не отрываясь, смотрел в сторону петропавловских верков, откуда должна была взлететь условная ракета. По этой ракете «Авроре» надлежало дать первый холостой выстрел из носовой шестидюймовки.

Там было темно. Когда от дворца усиливался пулеметный и винтовочный треск, небо над зданиями розовело, помигивая, и силуэты зданий проступали четче. Потом они снова расплывались.

Сзади подошел Захаров.

— Не видно? — спросил он.

— Нет, — ответил Бельшев.

— Скорей бы! Канителется очень.

Бельшев ответил не сразу. Он посмотрел в бинокль, опустил его и тихо сказал Захарову:

— Пройди, Серега, к носовому орудью, последи, чтоб на палубе не было ни одного боевого патрона. Потому что приказано, понимаешь, дать холостой, а ни в каком случае не боевой. А я боюсь, что ребята не выдержат и дунут по-настоящему.

Захаров понимающе кивнул и ушел с мостика. Бельшев продолжал смотреть.

Также напрягая зрение, стояли на крыльях мостика сигнальщики. В штагах и надстройках посвистывал ветер. Иногда в надстройки и трубы щелкали откуда-то залетавшие бестолковые пули.

Вдруг за Дворцовым мостом словно золотая нитка прошла темную высь и лопнула ярким бело-зеленым сполохом.

Бельшев отступил на шаг от обвеса и взглянул на командира. Глаза лейтенанта были пустыми и одичалыми, и Бельшев понял, что командир сейчас не способен ни отдать приказания, ни исполнить его. Мгновенная досада и злость вспыхнули в нем, но он сдержался. В конце концов, что требовать от офицера?

И, ощутив в себе какое-то новое, неизведанное доселе сознание власти и ответственности, Бельшев спокойно отстранил поникшую фигуру лейтенанта и, перегнувшись, крикнул на бак властно и громко:

— Носовое... Огонь!

Соломенно-желтый блеск залил полубак, черные силуэты расчета, отпрянувшее в отдаче тело орудия. От гулкого удара качнулась палуба под ногами. Грохот выстрела покрыл все звуки боя своей мощью.

Прислуга торопливо заряжала орудие, и Бельшев приготовился вторично подать команду, когда его схватил за рукав Захаров.

— Отставить!

— Что? Почему? — спросил комиссар, не понимая, почему такая невиданная улыбка цветет на лице друга.

— Отставить! Зимний взят! Но наш выстрел не пропадет. Его никогда не забудут...

И Захаров крепко стиснул комиссара горячим, сминающим ребра об'ятием.

Внизу по палубе гремели шаги. Команда вылетала из всех люков, и неистовое «ура» катилось над Невой.

Походная

АЛЕКСЕЙ СУРКОВ

★

Подтяни коню подпруги —
Сыромятные ремни,
Переливчатую ливенку
Пошире растяни.

Трону повод,
Бубен трону
На походе, под гармонь:
Пробежит по эскадрону
Светлый песенный огонь.

Ой, ковыль,
Трава степная,
Дон-река,
Кубань-река, —
Буревая,
Боевая
Путь-дорога далека.

Буревая,
Боевая,
В пыль и в зной,
Наседая,
Побеждая,
Песню пой!

Помнит Пресня
Наши песни, —

Гей да гой!
Помнят Лубны
Наши бубны, —
Гей да гой!

Помнят Кромы
Наши громы, —
Гей да гой!
Не журишь, годок, товарищ
Дорогой.

Стелет ветер
Над колонной
Красный шелк.
В бой идет
Краснознаменный
Конный полк.

И крылаты наши кони,
И легки.
Не уйдете от погони,
Беяки!

Шелк багряный
Раздувая
Ветерком,
Ходит слава
Боевая
За полком.



Первомайский парад на Красной площади

Конец „Саго-Мару“

РАССКАЗ

С. ДИКОВСКИЙ

★

Я расскажу вам эту историю с одним только условием: разыщите в Ленинграде нашего моториста Сачкова. Сделать это нетрудно и без адресного стола.

Он живет в доме номер шесть, у Елагина моста. Если запомнить приметы, вы узнаете парня, даже небритого.

Рост его 72 — ниже меня примерно на голову. Глаза обыкновенные, волосы тоже. Грудь сильно шерстистая, а на плече по старой флотской моде выколот голубой якорек. В оркестре он первая домра, на футбольной площадке всегда левый хавбек.

Если найдете — передайте Сачкову, что «Саго-Мару» не видно даже во время отлива. В прошлом году из воды еще торчала корма, а месяц назад, когда мы проходили мимо Бурунного мыса, на косе сидели только чайки. Так всегда

бывает в этих местах: что не съест море — проглотит песок.

В 1934 году вместе с Сачковым мы служили на сторожевом катере «Шустрый». Сачков — мотористом, я — рулевым. Славное это было суденышко — короткое, толстобокое, точно грецкий орех, крашенное от топа до ватерлинии светлой шаровой краской, как и подобает пограничному кораблю. Весело было смотреть (разумеется, с берега), когда море играло с катером в чехарду, а «Шустрый» шел вразвалочку, поплеывая и отряхиваясь от наседавшей волны. Не раз мы обходили на нем камчатское побережье и знали каждый камень от Олюторки до Лопатки.

По совести говоря, название подходило к нашему катеру не больше, чем парус к пловучему крану. Он был достаточно устойчив и крепок, чтобы выйти

в море в любую погоду, и слишком нетороплив, чтобы использовать эти качества при встрече с противником.

Там, где успех операции зависел только от скорости, на «Шустрый» трудно было рассчитывать... Так думали все, кроме Сачкова. Это понятно. Сидя в машинном отделении, никогда не увидишь, что делается наверху. Кроме того, Сачков был упрям и обидчив. Стоило только за обедом заметить, что «Соболь» или «Кижуч» ходят быстрее, чем «Шустрый», как наш механик мрачнел и откладывал ложку.

— А вы научитесь сначала отличать примус от дизеля, — советовал он обидчику, — вот тогда сядьте на «Соболя» и попробуйте меня обогнать.

Никаких возражений он не терпел и все, что говорилось о старом движке, принимал на свой счет... Нет в море катера, кроме «Шустрого», и Сачков — механик его, — говорили про нас остряки.

У этого тощего, остроносого парня была еще одна странность: он любил математику. Подсчитать, когда поезд обгонит улитку, или во сколько минут можно наполнить бочку без дна, было для него пустяком.

Квадратные корни наш моторист извлекал быстрее, чем ротный фельдшер рвет зубы. Этому, конечно, трудно поверить, но я видел сам, как Сачков, получив увольнительный билет, шел в городской парк, ложился на траву и начинал щелкать задачи, точно кедровые орехи. При этом он улыбался и чмокал губами.

Дошло до того, что Сачков стал решать задачи по ночам, зажигая под одеялом фонарь. Однажды он принес в кубрик и повесил рядом с портретом товарища Блюхера какого-то бородатого грека, с пустыми глазами и бородой, закрученной не хуже мерлушки. Когда я указал ему на неуместность соседства, он махнул рукой и сказал:

— Не валяйте дурака, Олещук. Что вы, Пифагора, что ли, не видели?

В то время мы еще не знали, что Сачков готовится в вуз, и сильно удивлялись чудачествам моториста.

Понятно, что математические успехи Сачкова никакого отношения к работе катера не имели. Если нам удавалось взять на буксир иностранную хищную шкуну, облопавшуюся рыбой, точно треска, то зависело это вовсе не от умения моториста решать уравнения. С каждым походом мы все больше и больше ощущали медлительность нашего катера.

В тот год мы охраняли трехмильную зсну на западном побережье, куда особенно любят заглядывать иностранные хищники-рыболовы. Море там невеселое, мутное, но урожайное, как нигде в мире.

Были здесь киты-полосатики, метровые крабы, кашалоты с рыбьими хвостами и мордами бегемота, камбалы величиной с колесо, тающая на солнце жирная сельдь, пятнистый минтай, пузатая треска, корюшка, пахнущая на воздухе огурцами, морские ежи, рыба-чорт, каракатицы, осьминоги с птичьими клювами, морские львы, ревущие на скалах у мыса Шипунского, бобры, котки, нерпы, — словом, все, что дышит, ныряет, плавает, ползает в соленой воде.

Я не назвал красную рыбу и ее родичей — кету, горбушу и чавычу, но лососи — особая тема... Рыба эта мечет икру только раз в жизни и обязательно в той реке, где нерестились ее предки. Каждый год, начиная с середины июля, лососи валом идут в пресную воду. Если река обмелеет, они будут ползти, если дорогу закроет коряжина или камень, они будут скакать.

В это время Камчатка теряет покой. Все, кто может отличить камбалу от кеты, надевают резиновые сапоги и лезут в воду навстречу лососю. В устьях рек появляются нерпы, отощавшие медведи выходят к ручьям, чужа запах свежей юколы¹, ездовые собаки скулят и рвут привязи.

По ночам на берегу и в море горят огни. Рыба рвет сети, топит кунгасы. Вода в реках кипит. Ловцы, засольщики, резчики ходят, облепленные чешуей, усталые, мокрые и веселые.

¹ Юкола — вяленая рыба.

Оживают и хищники. Японские промышленники похожи на треску: чем больше рыбы, тем шире разевают они пасти. Я не пророк, но знаю твердо: когда-нибудь рыбий хвост станет им перек горла.

«Железные китайцы»¹ на консервных заводах жуют лососей круглые сутки, японские сезонники на арендных участках не вылезают из моря, пройдохи синдо² ставят в неводах двойные открышки. Но этого мало. Господа из Хоккайдо посылают к Камчатке морской флот, вооруженный переметами и сетями Неуклюжие, но добротные кавасаки, вместительные сейнера, быстроходные шхуны, древние посудины с резными бугшпритами — сверстники фрегата «Паллада», — сотни прожорливых хищников слетаются сюда, точно мухи на кухню. Самые мелкие идут с островов Курильской гряды — без компаса и без карт, с мешком сорного риса и бочкой тухлой редьки; напарываются на рифы, платят штрафы и все-таки пытаются воровать.

Их тактика труслива и нахальна. Если пограничный корабль поблизости, хищники держатся за пределами трехмильной зоны; здесь они ждут, чинят сети, вяжут фуфайки. или прохаживаются по палубе с таким видом, как будто не могут налюбоваться камчатскими сопками.

Стоит только отвернуться, как эта орава устремляется к берегу и с непостижимым проворством хватается рыбу за жабры.

Многие из хищников были хорошо нам знакомы. Любой из нашей команды мог за три мили узнать кавасаки «НГ-43» или двухмоторный катер «Хаяи», всегда таскавший за собой целую флотилию лодок. Особенно много крови испортила нам шхуна «Саго-Мару». Это было суденышко тонн на семьдесят, с крепким корпусом и хорошими обводами. В свежую погоду оно свободно давало миль десять — ровно столько, чтобы во-время уйти в безопасную зону.

Вероятно, «Саго-Мару» имела базу поблизости, на острове Шимушу, потому что появлялась она с удивительным постоянством, каждый раз вблизи Бурунного мыса, где стоит японский консервный завод.

Намытая рекой песчаная отмель и мыс Бурунный образуют здесь неглубокий залив, в котором всегда плещется рыба. Трудно сказать, что привлекает ее в эту мутную воду, но в июле залив напоминает чан для засола сельдей.

Рыба проникает сюда в часы прилива через отмель и после отлива попадает как бы в мешок. В поисках выхода она устремляется через узкий проход вдоль мыса Бурунного. Вот тут-то она натывается на переметы или сети, украдкой расставленные японскими хищниками.

Рыбаки, преследующие треску и лосося в этом заливе, рискуют не меньше, чем рыба. Шхуна с осадкой семь футов может выйти отсюда, только держась в проходе параллельно мысу Бурунному. Однако это обстоятельство нисколько не смущало наших знакомых.

У шкипера «Саго-Мару» был замечательный нюх. Едва «Шустрый» показывался милях в пяти от завода, как шхуна выбирала сети и уходила в безопасную зону.

В тот год катером командовал Колосков. Он был из забайкальских казаков — рассудительный, хитроватый, с упрямой толстой шеей и красными ручищами, вылезавшими из любого бушлата на целую четверть. Колосков преследовал «Саго-Мару» с холодным упорством и никогда не смущался исходом погони.

— Дальше моря все равно не уйдут... — убеждал он самого себя, ложась на обратный курс. — Быть треске на крючке.

Но сквозь шутку заметно пробивалась досада. Не легко смотреть пограничнику, как обкрадывают советские воды.

Весь май мы провели на восточном побережье Камчатки. Мы задержали там шхуну фирмы Ничиро и два кунгаса, полные сельди. В июне нас пере-

¹ «Железные китайцы» — автоматы для резки и потрошения рыбы.

² Синдо — шкипер рыболовного судна.

бросили из Тихого океана в Охотское море.

«Саго-Мару» продолжала обворовывать побережье. Иногда нам удавалось подойти к шхуне ближе трех миль, и все-таки она успевала уйти, отметив затопленные сети боченком или дыновой кой. Однажды мы извлекли тресковый перемет, длиной около полукилометра, в другой раз подняли затонувшую сеть, в которой задохнулось не меньше 500 центнеров иваси.

Все эти трофеи выглядели очень скромно по сравнению с возросшим нахальством «Саго-Мару». Зная свое преимущество, в скорости она стала подпускать нас настолько близко, что мы различали лица команды. В таких случаях шкипер выходил на корму и протягивал нам конец.

Однажды мы дали предупредительный выстрел в воздух, на шхуне забегали и даже сбавили ход, но вскоре мотор застучал с удвоенной резвостью. Видимо, синдо убедил моториста в том, что пограничники не станут стрелять по безоружному судну.

Мы долго удивлялись собачьему нюху синдо, пока не обнаружили связи «Саго-Мару» с японским заводом.

Отделенные мысом от моря, хищники не могли заметить даже кончики наших мачт. Зато с заводской площадки были отлично видны берег и море.

Каждый раз, когда мы появлялись в поле видимости, на сигнальной мачте, возле конторы, поднимался полосатый конус, указывающий направление ветра. Вслед за этим невинным сигналом из-за мыса стрелой вылетала наша знаковая мая.

Мы гонялись за «Саго-Мару» весь июнь, караулили ее за Птичьим камнем, пытались подойти во время тумана, но всегда безуспешно... Когда мы добирались к месту лова, шхуна уже покачивалась за пределами трехмильной зоны.

В июле, накануне хода лосося, наш катер встал на переборку мотора. Невеселое это было время. «Шустрый» стоял на катках, без винта, гулкий, как бочка, и мы отдирали с его днища ракушки.

Доволен был только Сачков. Он при-

ходил в кубрик поздно ночью, измазанный в нагаре и масле, умывался, стараясь не греметь умывальником, и на рассвете снова исчезал в мастерской.

Собрав мотор, он долго гонял его на стенде, выслушивал и, наконец, заявил: — Бархат... Мурлыка... На дыпочках ходит.

Кто-то резонно ответил:

— Пусть кот на дыпочках ходит... Важно, как тянет...

— Зверь!.. С таким хоть на Северный полюс.

★

... Ночью мы вышли из бухты. Стояла такая тишина, что море казалось замерзшим. Воздух был свеж, плотен, мотор дышал полной грудью, мы понеслись, точно по льду.

Как только маяк скрылся из вида, Сачков позвал меня в машинное отделение.

От зубов до ботинок моторист наш блестел не хуже медяшки. Он побрился, надел новую тельняшку и свежий чехол, одеколоном от него несло так, что щипало глаза.

Жестом фокусника Сачков наполнил кружку водой и поставил ее на кожух мотора.

— Чем не паккард? — спросил он ревниво.

Вода не дрожала. По мнению моториста, это было признаком безупречной подгонки мотора и вала. Я похвалил движок, Сачков сразу заулыбался.

— Я думаю, можно готовить буксирный конец, — сказал он, оглядывая мотор, точно квочка, — не забудь, крикни, когда мы подойдем к «Саго-Мару»... Я хочу поглядеть, как будет держаться их моторист...

— Ну, а если...

— Тогда я прибавлю еще пять оборотов, — ответил он с сердцем.

На рассвете мы увидели невысокий деревянный маяк мыса Лопатка, знакомый каждому дальневосточному моряку. Маяк этот стоит на самом краю Камчатки, между Тихим океаном и Охотским морем, и в туманные дни предупреждает корабли звоном колокола.

На этот раз маяк молчал. Горизонт был чист. Легкий береговой бриз еле тормозил море.

Радуясь утренней тишине, касатки выскакивали из воды, описывали крутую дугу и уходили на глубину, оставив светящийся след. Порой из-под самого носа «Шустрога», работая крыльями, точно ножницами, вырывался испуганный топорок.

Мы подходили к Бурунному мысу, держась возле самого берега, но все-таки нас успели заметить. Кто-то из японцев лодбежал к мачте и поднял условный знак—конус.

«Саго-Мару» не появлялась. На полном ходу мы обогнули мыс и чуть не налетели на японский кунгас¹, подхлотивший к заводу.

Здоровенные, полуголые парни, в пестрых платках и куртках из синей дабы, вскочили и подняли оглушительный крик.

«Саго-Мару» стояла от нас не далее, чем в трех кабельтовых². Даже без бинокля были видны груды рыбы на палубе и намотанный на шпиль кусок сети. Вероятно, лебедка вышла из строя, потому что четверо матросов, поминутно оглядываясь на нас, выбирали якорь вручную.

Две небольших исабунэ³, заваленные рыбой до самых уключин, спешили к «Саго-Мару». Боцман бегал по палубе и покрикивал на гребцов. Но ловцы и не ждали понуканий: с горловыми отрывистыми выкриками они разом откидывались назад, — весла гнулись и рвали воду.

На палубе «Шустрога» нас было трое: Колосков за штурвалом, возле него боец-первогодок Гуторов, старательный чувашский парняга, я — на носу, держа выброску наготове.

Полным ходом «Шустрый» мчался на шхуну. Теперь нас разделяло всего два кабельтовых, но японцы, качаясь, как заведенные, все еще продолжали выбирать якорную цепь.

Трудно было понять, на что рассчитывают хищники: исабунэ с ловцами только-что подходили к борту, выход в море был отрезан сторожевым катером.

— Товарищ Гуторов, — сказал Колосков почти весело, — возьмите крапец... Видите, гости не шевелятся... Облопались.

В это время у боцмана вырвался торжествующий крик. Якорь отделился от воды. Одновременно к борту подошли исабунэ с ловцами.

Поднимать лодки на гали уже было поздно. Мы видели, как рыбаки вскочили на шхуну, и «Саго-Мару», показав нам корму, пошла прямо к песчаной мельке, отделявшей залив от реки.

В другое время — это походило бы на самоубийство. Но теперь был полный прилив, и вода покрывала косу на несколько футов, — на сколько, мы еще точно не знали.

Мы с Колосковым, точно по команде, взглянули друг на друга.

— Какая у них все же осадка? — спросил командир.

— Шесть... Не больше семи...

— Я тоже так думаю.

С этими словами Колосков взял на полкорпуса влево и направился наперез шхуне прямо на мель; по сравнению с «Саго-Мару» у нас под килем было в запасе два-три фута воды.

На стыке морской и речной воды нас сильно качнуло и поставило лагом к течению.

На несколько секунд «Шустрый» не слушался руля, затем переборол коловверсть и ходко пошел вдогонку за шхунной.

На «Саго-Мару» все еще не могли наладить мотор. Он чихал, кашлял, плевал в небо смоляными кольцами дыма. Мы были всего метрах в пятнадцати от шхуны, видели озадаченные лица команды и могли пересчитать даже рыбу, лежащую навалом на палубе.

«Шустрый» подходил к «Саго-Мару» левым бортом. Гуторов перенес сюда кранцы. Я крикнул японцам: «Стоп!» — и перекинул на палубу шхуны конец. Никто из команды не шелохнулся, и канат скользнул в воду.

¹ Кунгас — большая плоскодонная лодка.

² Три кабельтовых — немного более полукилометра.

³ Исабунэ — японская плоскодонная лодка.

Синдо, стоя на корме, лицом к нам, курил медную трубку и поплеывал в воду с таким видом, будто за кормой шел не сторожевой катер, а безвредный дельфин.

— Бросьте кошку, — тихо сказал Колосков.

Я выбежал на нос и раскрутил на тресе полупудовую кошку... Железные крючья, скользя по палубе «Саго-Мару», вцепились в фальш-борт.

— Киринасай¹! — крикнул синдо.

Боцман разрубил веревку ножом. На шхуне захохотали. Под одобрительные возгласы матросов синдо поднял с палубы лосося и помаhal рыбьим хвостом.

Гуторов впервые видел такое нахальство.

Не выдержав, он погрозил синдо кулаком и крикнул несколько слов, понятных на всех языках. За это он немедленно получил замечание.

— Это нам ни к чему, — сказал Колосков, — если нет выдержки, — отвернитесь... Вот так.

И он повернулся к разговорной трубке, шепча:

— Самый, самый полный!

— Есть... — ответил Сачков.

Некоторое время нам казалось, что «Саго-Мару» и «Шустрый» стоят на месте, затем просвет несколько увеличился. Медленно, с тяжким усилием шхуна отрывалась от катера.

— Еще два оборота... еще... — зашептал Колосков, стараясь не глядеть на рыбий хвост.

— Есть... два оборота, — ответило эхо внизу.

Нехватало немного. Быть может, действительно нескольких оборотов винта. Но мыс, защищавший воду от ветра, уже оборвался, набежала волна и сразу сбита нам ход.

Через двадцать минут шхуна была за пределами трехмильной зоны. Синдо, помажав нам рукой, сбросил в воду большой стеклянный поплавок в веревочной сетке.

— Мимо! — сказал Колосков, и мы, не задерживаясь, прошли мимо шара.

Погода подурнела. Ветер уперся в рубку. «Шустрый» начал кланяться и принимать воду на палубу. Можно было бы сразу, взяв на полкорпуса влево, уйти под защиту берега. Однако мы продолжали погоню. Колосков был упрям и всегда надеялся на удачу.

Нас сильно болтало. Корпус «Шустрого» гудел под ударами, вода, не успевая уйти за борт, шипя носилась по палубе. Временами, когда задирались корма, было слышно, как оголенный винт рвет воздух.

Наконец, волна вышибла стекло в люке и стала заглядывать в машинное отделение. Мы были усталы и мокры. Кок пытался приготовить обед, но кастрюлю вырвало из гнезда, и примус захлебнулся в борще.

На Гуторова было скучно смотреть. Зеленый, как озимь, он запустил все десять пальцев в бухту пенькового троса и закрыл глаза, чтобы не видеть воды.

Я велел Гуторову спуститься в кубрик и лечь на койку. Он крикнул: «Есть!» — и прилип к палубе еще плотнее.

— Оставьте его, — сказал Колосков громко, — я волжан знаю. Их в воде не размочишь.

Это подействовало на Гуторова не хуже стакана горячего кофе. Он поднялся и даже попытался пройтись по палубе.

Вскоре стал виден остров Шимушу — снежно-синий с теневой стороны, багровый на солнце. Низкий корпус шхуны затерялся среди беляков, и мы повернули обратно.

По дороге к Бурунному мысу командир велел поднять поплавок. Между стеклом и веревочной сеткой была вложена обернутая в клеенку записка. Она немного подмокла, но все же надпись, выведенная печатными русскими буквами, была достаточно разборчива.

«Добру ден!

Хоцице один банку горючтого? Наверно вы истратири съгодні много горючтого».

Колосков бережно разгладил бумажку ладонями и спрятал в бушлат.

— А чо? — сказал он с хитрой усмешкой, — быть может, и верно возьмем... Вместе со шхуной...

¹ Киринасай — режь.

★

На следующий день после этой истории я увидел Сачкова за книгой. Он сидел в каюте, очень веселый, чертил что-то в тетради и от удовольствия даже чмокал губами, видимо, распутывал очередную задачу с десятью неизвестными.

Меня возмутила беспечность этого несуразного парня. Он выглядел так, как будто бы только-что привел на буксире «Саго-Мару». А между тем наши бушлаты еще не успели просохнуть после неудачной погоны.

Я сел за стол, напротив Сачкова, и нарочито громко спросил:

— Что же ты не вышел на палубу? Ведь ты хотел видеть японского моториста?

Он сразу помрачнел, но ничего не ответил.

— Ладно, забудем... Я не за тем... Есть одна любопытная задача... Правда, она так запутана, что сам черт...

— Какая? — спросил Сачков, оживившись.

— Пиши... Одна хищная шхуна выловила в наших водах сто целых, запятая, пять сотых центнера рыбы. Скорость японца — икс, помноженный на нахальство. Дальше... В два часа ноль минут шхуну заметил катер «Шустрый» с мотористом Сачковым. Расстояние между ними две мили. Спрашивается...

— Как-раз я думал об этом. — быстро ответил Сачков. — Вот решение.

Он показал мне схему реки, залива и Бурунного мыса, на которую был нанесен чернилами жирный треугольник.

— Это что?

— Гипотенуза короче суммы двух катетов, — загадочно ответил Сачков. — Ты это знаешь?

В то время я не был силен в геометрии.

— Как тебе сказать, — заметил я осторожно, — бывают разные случаи...

Он с удивлением взглянул на меня и продолжал:

— ... Гипотенуза—это река. Пролив, огибающий отмель, — два катета. Если нам войти в реку ночью и дожждаться отлива... Ты понял?

— Пожалуй... За исключением катетов.

— ... Не видя нас в море, «Саго-Мару» входит в залив и начинает сыпать сеть. В это время мы вылетаем из реки... По гипотенузе... вот так...

— Тогда она уйдет вчерашним путем.

— ... Я сказал — дождемся отлива... Остается только проход вдоль мыса Бурунного. Она бросается сюда. Но ведь гипотенуза короче суммы двух катетов? Мы ждем шхуну у выхода. Ясно?

Я пробовал возражать, но спор оказался неравным. Против меня были двое: Евклид и Сачков. Под их напором пришлось согласиться, что гипотенуза— кратчайший путь к победе.

Колосков, которому мы немедленно показали чертеж, выслушал нас молча.

— Поживем — увидим, — сказал он неопределенно.

Мы расстались с командиром немного разочарованные, но через час встретили Колоскова с клеенчатой тетрадкой подмышкой. Он возвращался из штаба. Вслед за ним двое краснофлотцев почему-то несли полевой телефон и катушку.

— Увольнительных в город не будет, — предупредил Колосков на ходу.

... Вечером, не успев отдохнуть после похода, мы снова вышли из бухты.

На этот раз мы застали «Саго-Мару» у самого выхода из залива. Она успела выбрать невод и уходила в открытое море, едва не черпая воду бортами. Двое рыбаков, стоя у кормового люка по колено в навале, сортировали рыбу, ловко выхватывая крючками то камбалу, то раздувшуюся треску, то пятнистого минтая.

Носовой люк уже был загружен. Боцман в панаме и желтой зюйдвестке скатывал из брандсбойта налубу, на которой еще блестела чешуя. Увидев нас, он стал выкрикивать остроты, подкрепляя их непристойными жестами.

Мы подошли так близко, что ощущали запах гниющей рыбы, которым шхуна была пропитана от клотика до киля.

Затем все повторилось. Гуторов перенес кранцы. Я бросил кошку, на этот

раз нарочито неловко. Шхуна оторвалась от нас и пошла в открытое море.

Колосков отлично разыграл досаду. Он хлопал себя по ляжкам, растерянно разводил руками и суетливо перебегал с борта на борт, вызывая взрывы смеха на шхуне. Наконец, безнадежно махнув рукой, командир спустился в кубрик, где сидела команда.

— Дивно сыграно! — объявил он, посмеиваясь, и пощупал карман, где лежала записка синдо.

Обычно после погони мы возвращались на базу или продолжали движение к заданной цели. На этот раз Колосков повел катер прямо к Бурунному мысу.

Против обыкновения он был доволен, подтрунивал над мотористом и часто поглядывал на часы.

Было так темно, что мы перестали различать очертания берега... Только гребешки волн вспыхивали, рассыпаясь в пыль на ветру... Темень еще больше обрадовала Колоскова.

— Скоро начнется прилив, — сказал он, когда справа по борту повисли над водой заводские огни. — Хотел бы я знать, когда у них уходит третья смена...

— Через час они будут спать, — ответил Сачков, вылезая из люка. — Это легко подсчитать.

— Опять гипотенуза?

— Нет, арифметика...

— Ну, так вот что, — сказал торжественно Колосков. — Даю вам такую задачу — извлеките из вашего дизеля все сорок пять сил, умножьте их вдвое и прибавьте еще семь оборотов. Мы должны войти в реку раньше, чем начнется отлив.

С этими словами он выключил ходовые огни и засмеялся, довольный удачной остроотой.

Завод спал, когда мы на малых оборотах подошли к Бурунному мысу. Обитые толем узкие, как гроба, бараки японских рабочих были темны. Во дворе на шестах висели мокрые цыновки. Темнели накрытые брезентом штабеля красной рыбы. Кто-то ходил по деху, рассматривая с фонарем засольные ямы.

Наши рыбацкие поселки живут даже

в полночь. Всегда где-нибудь увидишь свет, услышишь песню, встретишь отчаянного курибана с ватагой засольщиц. Японский завод выглядел безлюдным, совсем, как поздней осенью, когда последний кунгас с рыбаками отчаливает от Бурунного мыса.

Здесь работали только мужчины: рыбаки с Карафутто и Хоккайдо. Они отдыхали шесть часов в сутки и дорожили каждой минутой короткого сна. Трудно было поверить, что в бараках лежали в три яруса полторы тысячи парней. В темноте стучал только мотор рефрижераторной установки.

Был полный прилив. Река, подпираемая прибоем, шла ровень с низкими берегами. Ветлы купали листья в темной воде. Далеко в море тянулась широкая полоса пены. Мы вошли в нее и, с трудом преодолевая мощное течение, двинулись к устью реки.

Чтобы заглушить шум мотора, были закрыты иллюминаторы и машинные люки.

Разговор на палубе смолк. Мы подходили к барам — отмелям, образованным в устье течением сильной реки. Колосков передал мне штурвал, перешел на нос и стал оттуда дирижировать движением катера.

Тот, кто хоть раз пробирался через бары, знает, какую опасность представляют они даже для опытных моряков. Река, разрезающая прибой, образует здесь несколько длинных, очень крутых валов. В углублениях между ними почти видно дно. Сами же валы достигают высоты нескольких метров. Стэит зазеваться или неверно рассчитать движение катера, как река поставит судно лагом к потоку и обрушит на голову ротозея несколько тонн холодной воды пополам с песком и камнями.

Иногда лодка втыкается носом в отмель, переворачивается вверх килем и накрывает тех, кто удержался на палубе. Я не вижу существенной разницы для команды, тем более, что люди, купавшиеся на барах, могут рассказать о своих приключениях только водолазам.

Эти трезвые мысли всегда приходят мне в голову, когда по обоим бортам

катера кувыркаются сучья, а воронки урчат, точно пустые желудки.

Риск для «Шустрого» был особенно велик, потому что мы шли ночью, ориентируясь только по речной пене. Стоя на носу, Колосков поднимал то правую, то левую руку, как это делают стивидоры¹, давая сигналы лебедчикам.

Медленно, точно волжская беляна, «Шустрый» подполз к опасному месту, чиркнул днищем по отмели и вдруг застрял между двумя валами.

Гуторов опустил футшток и, забывшись, гаркнул:

— Прона-ос...

Но и без футштока было заметно: «Шустрый» не сел на бар. Мощная срединная струя с такой силой навалилась на катер, что я с трудом разворачивал руль.

«Шустрый» повис между двумя толстыми выпучинами. Нос его уперся в невысокую, очень гладкую волну. Вода побежала по палубе, не переливаясь, впрочем, через ограждения люков, а за кормой пошла на буксире целая гора, с тяжелым, готовым сорваться вниз гребнем.

Старенький корпус «Шустрого» стоял и вибрировал. Забрякала цепь в якорном ящике, задрожали поручни, стекла, затряслись двери, шкаф с посудой начал лягзгать зубами, как в лихорадке. Казалось, кто-то сильнее нас схватил катер за гак и держит на месте.

Нам помогал прилив, но даже с мотором, работающим на полных оборотах, мы не могли взобраться на волну. Нос «Шустрого» врезался в нее фута на два, и никакими силами нельзя было заставить его продвинуться дальше. Все остановилось, застыло вокруг нас: берега, буруны, время, чугунная волна за кормой...

Один из люков машинного отделения был открыт. Я видел, как Сачков в тельняшке и холщевых штанах потчевал машину из долгоносой масленки. Измученная суточным переходом, она скрежетала, чихала, прыскала горячей

водой и дымком... Сидя на корточках, Сачков вытирал тряпкой ее масляные бока и разговаривал с машиной, точно дрессировщик с упрямой собакой.

— А ну, давай еще раз, — бормотал он, плача от дыма, — чудачка, милая, дьявол зеленый, мурлыка, дай пол оборота... Честное слово... Ну потерпи... Ну еще...

Он понукал ее терпеливо и ласково, перекрывал краники, регулировал смесь и, тревожась, наклонял ухо к горячей рубашке мотора.

— Апчи!.. Апчи!.. табба-бак... табба-бак!.. — отвечал Сачкову движок.

Между тем Колосков, сидевший на носу, стал показывать признаки нетерпения. Он поглядывал то на берег, то на бары, поправлял ворот бушлата, и, наконец, подойдя к трубке, тихо напомнил:

— Товарищ Сачков, о чем мы условились?

— Есть самый полный!

— Не вижу... Примерзли... Выжмите все...

— Есть выжать все! — ответил Сачков и снова зашептал над машиной.

Я слышал, как бойцы разговаривают с лошадьми, и лично знал одного младшего командира, составившего «забуку собачьего языка», но в первый раз был свидетелем беседы трезвого человека с четырехтактным движком.

Видимо, они не могли сговориться, потому что Сачков выпрямился и наградил приятеля крепким шлепком.

— Не хочешь? — спросил он обиженно. — Ну держись, чорт с тобой.

Он встал и положил руку на рычажок дросселя. Стук перешел в скрежет. Машина завывала, точно влезая на гору.

— Идем... Еще немного... Идем... — зашипел Колосков на носу.

Катер сорвался с места, разрезал, смял волну и, поплывшая горячей водой, вошел в притихшую реку.

Нам пришлось пройти семь километров вверх по течению, прежде чем мы отыскали удобную стоянку. Река делала здесь крутой поворот, как бы решив вернуться обратно. Только не-

¹ Стивидор — человек, ведающий на корабле грузовыми операциями.

высокая гряда сопок, поросшая жимолостью, отделяла наш катер от моря. Мы снова услышали глухие взрывы прибою.

Гуторов выскочил на берег и принял конец, но из кустов поднялась взлохмаченная собака с веревкой на шее. Вслед за ней зашевелились другие. Оказалось, что мы подошли прямо к собачьему стойбищу. Камчатские рыбаки и охотники на лето всегда привязывают ездовых собак возле реки. Их навещают раз в день, открывают яму с квашеной рыбой и бросают каждому псу по две горбуши.

Ездовой взвыл с перепугу. Его поддерживали приятели. Целая сотня тощих, линяющих псов стала жаловаться нам на плохую кормежку, дожди, комаров и другие собачьи невзгоды.

Мы поспешно удалились от шумных соседей, и через полчаса ошвартовались в узкой протоке, поросшей по обеим сторонам шеломайником. Здесь нам предстояло выждать появления «Саго-Мару» у Бурунного мыса.

Я собирался высушить бушлат и вздремнуть минут триста, но Колосков подошел ко мне и спросил уверенным тоном:

— Вы, конечно, еще не желаете спать, товарищ Олещук?

— Ну, ясно... разумеется, нет, — сказал я, моргая глазами. — После похода всегда страдаешь бессонницей...

Колосков засмеялся. Его также сильно пошатывало.

— Так я и думал...

И продолжал, сразу изменив тон разговора:

— Возьмите аппарат, телефонную катушку и вместе с Нехочиным отправляйтесь через сопки к Бурунному мысу. Замаскируйтесь и наблюдайте. Сообщения — раз в полчаса... В четыре вас сменят.

... Ночь была холодная и звездная. Заливистая собачья песня преследовала нас всю дорогу, пока мы, пробираясь через кедровник, разматывали катушку.

Через час мы, ежась, лежали в мокрой траве, и в трубке шептал басок командира.

Новостей было мало. Колосков пожаловался на комаров, я — на холод. Потом мы услышали, как зашипел примус, и Колосков сообщил, что для нас варится кофе.

В море было свежо. Мы видели, как японские рыбаки оттащили кунгасы подальше от берега. Ни одна шхуна не прошла в эту ночь мимо бухты.

★

На следующий день шторм усилился. Мы оказались закупоренными в протоке. Особой беды в этом не было, — хищники в такую погоду отсиживались на островах. Однако Колосков помрачнел — ему чудилось, что японцы высадились на побережье и обшаривают бобровые лежбища.

Защищенные от моря сопками, мы почти не чувствовали ветра. Люди высушили одежду, отдохнули. Сачков завел движок и включил электрический утюг. Ожил даже Гуторов. Он снова стал улыбаться и даже уверял меня, что на Волге, возле Казани бывают не такие шторма.

Я отпросился у Колоскова и направился вверх по протоке, посмотреть, как горбуша мечет икру. Был июль — время нереста лососевых, рыба тучей шла с моря в пресную воду, с которой она рассталась два года назад.

Говорят, что кошки, если отнести их в мешке на другой край города, всегда отыщут свой дом. Однако у горбуши память покрепче. Где бы лосось ни жил, хоть возле Африки или на Северном полюсе, а нереститься он обязательно придет в свою реку. В чужом море горбуша икру не оставит.

Не знаю, как объясняют ученые кочевки лосося, но меня всегда поражают эти странные стада, охваченные диким желанием пройти вверх, оставить потемство и умереть. В это время камчатские рыбаки вычерпывают рыбу, точно уху. В 1934 году лососи, задыхаясь в стае, выбрасывались на берег. На катере трудно было пройти по реке — винт рвал живое мясо.

... Я отошел от стоянки шагов на четыреста и лег в траву у самого берега.

Вода дышала холодом. Прозрачная, как воздух, она прикрывала камни дрожащим мерцанием. Временами в глубине вспыхивали и гасли длинные белые искры: шел лосось. Течение реки показалось мне слабым. Я сломал ветку жимолости и опустил ее в воду. Она тотчас выгнулась и затрепетала, точно от ветра.

Вскоре мои глаза притерпелись к резкому свету, и я смог отличать рыбу от солнечных бликов на дне. Я видел, как самцы окружили мертвую горбушу. Она лежала на боку, красновато-сизая, белоглазая, широко разинув рот. Брюхо ее было плоско, как у всех рыб, отметавших икру. Смерть застала лосося тут же, на нерестовой площадке; в полуметре от хвоста горбуши беспокойно сновали самки, еще не освободившиеся от икры.

Четыре крупных, сильных самца вели себя возбужденно; били о каменное дно хвостами, кружились, подталкивали дохлую горбушу носами. Иногда движения рыб становились такими стремительными, что над трупом возникал светящийся пузыристый круг. Мне пришла в голову нелепая мысль: рыбы, прощаясь с подругой, совершают погребальный воинственный танец. Потом я подумал, что самцы просто дерутся над падалью.

В конце-концов мне надоело наблюдать эту бесконечную карусель. Так и не решив загадки, я поднялся еще выше по течению реки и остановился у глубокой протоки, преграждавшей мне путь. Тысячи рыб поднимались к верховьям, с трудом пересиливая сильное течение. Высоко над водой черновато-зеленой стеной стоял шеломайник, с резными тяжелыми листьями. Желтели ирисы, цвел шиповник, всюду виднелись могучие, красноватые стволы «медвежьей дудки» и белые зонтики, развернутые на двухметровой высоте. Я пожалел, что на Камчатке не водятся пчелы.

Чтобы лучше видеть эту картину, я снял сапоги, закатил шаровары и отправился на середину протоки. Она оказалась мелкой, чуть выше колен, и такой холодной, что через минуту я перестал ощущать гальку на дне. Рыбы

сначала струхнули и бросились врассыпную, но с моря подходили все новые косяки, и вскоре мои посиневшие икры перестали смущать лососей.

Рыбы занялись своим делом. Прежде чем выбросить икру, самки выбирали подходящее место. Головой, плавниками, боками, хвостом они выбивали в каменном дне небольшую ямку. У многих от безжалостных ударов тело превратилось в сизые лохмотья. Горбатые, обезображенные, с зубатой мордой, изогнувшейся, точно клюв хищной птицы, они торопились расстаться с икрой и умереть. С верховьев реки течение уже сносило отнерестившую, полуживую рыбу.

В то время, как самки расчищали хвостами дно, самцы стояли на страже. Метрах в пяти ниже по течению сновали гольцы — пятнистые, очень юркие рыбы, напоминавшие окраской и формой тела форель. Они ждали окончания нереста, чтобы броситься к ямке и сожрать икру... Не тут-то было! Самцы горбуши, хотя и обессиленные путешествием, но более массивные, чем гольцы, отважно бросались на хищников.

Отгнав наглецов, они возвращались к самкам, подталкивали их головами, покусывали за хвост, точно желая, чтобы подруги поскорее расстались с опасным грузом.

Наконец, я увидел, как в полуметре от моих ног самка, изгибаясь, помогая себе сильными рывками хвоста, выбросила на расчищенное дно бледнорозовые крупинки икры. Самец подскочил, облил их молокой, и обе рыбы стали забрасывать икру песком и галькой. Вскоре на дне образовался один из тех небольших бугорков, на которые я наткнулся по дороге к середине протоки.

Покружившись над бугорком, супруги убедились в безопасности своего сокровища и медленно направились вверх по протоке.

Теперь движения их были нерешительны, вялы. Все для них было окончено. Обреченные на смерть, они не знали, как провести свои последние часы; подходили к чужим гнездам, кружились, отгоняли гольцов и, наконец, затеря-

лись в мощном потоке рыб, поднимавшихся с моря...

Набежали облака, подул ветер, воду подернуло рябью. Лязгая зубами, я вылез на берег и стал растирать онемевшие икры. Мне было немного досадно. Бродить всю жизнь в чужих морях, вернуться под старость в родную воду и перевернуться вверх брюхом, не увидев потомства. На это способны только такие бродяги, как лососи.

На обратном пути я остановился возле места, где «танцовали» четыре самца. Дохлой горбуши уже не было видно. Я обшарил глазами дно и с трудом отыскал хвост рыбы, торчавший из гальки. Видимо, инстинкт, помогающий лососю выбрать для икрометания самую чистую воду, заставил самцов прикрыть пададь песком и камнями.

Через полчаса я вернулся на борт. Колосков разговаривал с берегом, Сачков драил шкуркой бензинопровод, — как у всякого механика, у него чесались руки, когда он видел кусочек меди или латуни.

Он выслушал рассказ о моих наблюдениях без всякого интереса.

— Закон природы, — сказал он, зевнув. — Рыбы мечут икру, дерутся, естественно,дохнут... Поймал хоть одну?

— Не в том дело. Надо сущность понять.

— Ну, ясно, — сказал он, смеясь, — снять штаны — и в протоку... Боюсь, из тебя все-таки Дарвин не выйдет.

Спорить с ним было нельзя. Из всех существ на земле Сачков считал достойными уважения только двух: человека и четырехтактный мотор. Все-таки я решил напомнить ему о ночном монологе.

— Бывают чудачки позанятней... Я слышал, как один моторист беседовал с дизелем...

Сачков немного смутился.

— Быть может, это помпа шумела, — спросил он осторожно. — Когда эта чертовка визжит, мне самому кажется, будто кто-то...

— Ну, нет... Я могу повторить хоть при всех.

Мы посмотрели друг другу в глаза.

— Знаешь, Алеша, — заметил миролюбиво Сачков, — мне сдается, что нерест — довольно занятная штука... Особенно рыбья пляска, или драка с гольцами.

— А ты бы чаще смазывал помпу, — посоветовал я. — Кажется, она действительно иногда заговаривает.

Команда стала готовиться к встрече со шхуной. Сачков сменил смазку, осмотрел винт и выслушал мотор с помощью стетоскопа из шомпола и мембраны. Я проверил шпангоуты и навел на выхлопной трубе зеленую полосу — знак пограничного катера, Гуторов принялся тренироваться в передаче донесенных флажками, а Колосков, третий месяц учивший японский язык, сидел в кают-компани, без конца, повторяя:

— Здравствуйте! Конничи-ва! Дарега сенчоо-сан? — Где капитан? Коно фунева нан-то мооси масу ка? — Как называется это судно? Доко кара коокайсуримасита? — Откуда пришли?

Потом он начинал командовать, как будто мы уже задержали и взяли хищника на буксир.

— Юкинасай! — Пойдем! — Тогикази, омокази! — Право руля, лево руля!

Шли вторые сутки. Ветер упал, но шхуна не возвращалась. Каждые полчаса с берега сообщали:

— Туман... Видимость скверная... Рыбаки выгружают четыре кунгаса... Шхуны не обнаружено...

Колосков помрачнел. Ожидание стало особенно тягостным, потому что со всех сторон слетались комары. Усурийские тигры — ягнята по сравнению с этими неистово кровожадными тварями. Воздух был тускло-серый и звенел, точно балалаечная струна. Кожа наша горела даже под бушлатами. Мы дышали комарами, ели их с кашей, глотали с чаем.

Люди мазались черемшей¹ и мазутом, делали накомарники из тельняшек, заматывали полотенцами шею, курили

¹ Черемша — дикое растение, напоминающее чеснок.

махорку пополам с хвоей и листьями. А полчища все прибывали. Стоило провезти рукой по шее, как ладонь оказывалась в крови.

Колосков держался бодрее других. У него совсем заплыли глаза и шея приняла оттенок давленной вишни, но твердил он довольно настойчиво:

— А чо? Разве кусают? Вот еррунда!

Ночью под одеялом он скрипел зубами.

На третий день во время обеда пошел сильный, теплый дождь, сразу облегчивший наши мучения. Мы сидели в чают-компани, доедали консервы, слушали, как ливень хлещет по палубе.

Кто-то заметил, что «Саго-Мару» ушла на ремонт в Хакодате. Шутника поддержали. Посыпались дружеские, но увесистые остроты насчет нашего рыбьего положения, гипотенузы без катетов и возраста дизеля. Больше всего, конечно, доставалось самому Сачкову. Честный малый сидел, моргая глазами, не зная — засмеяться или рассвирепеть.

Командир немедленно взял под защиту Сачкова.

— Это еще что за цирк? — заметил он строго. — Мысль правильная... Установка верна... А в чужой борщ перец не сыпьте. Прошу.

Мы приготовились к длиннейшему разносу, но в это время зарокотал телефон. Продолжая ворчать, Колосков снял трубку и вдруг, обернувшись к Сачкову, быстро завертел рукой в воздухе.

— Есть! — ответил Сачков, оставив тарелку и бросился в машинное отделение.

Мы помчались...

С тех пор прошло больше трех лет, но до сих пор я вижу мохнатую от дождя реку, низкий берег, бегущий вровень с бортом, и напряженное, истлевшее ливнем лицо Колоскова, а когда закрываю глаза, слышу, как снова стучит, теропится, бьется мотор... Быть может, сердце, — не знаю.

Сачков взял от дизеля все, что мог, плюс пятьдесят оборотов. Течение горной реки и наше нетерпение

еще больше увеличили скорость катера.

«Шустрый» мчался, распарывая реку, с такой быстротой, что рябило в глазах. Навстречу нам с моря поднимались косяки рыбы. Мы слышали глухие удары лососей о корпус. Временами, испуганная движением катера, рыба выпрыгивала из воды, изогнувшись серпом.

Берега расступились. Стало заметно светлее. Сквозь ливень мы не увидели моря — оно напоминало о себе сильным и свежим дыханием.

— Ну, держитесь! — вдруг сказал Колосков.

Он поправил фуражку, поставил ноги шире и тверже, и в то же мгновение я почувствовал, что глотаю не воздух, а соленую воду вместе с песком. Что-то тяжелое, мутно-желтое тащило меня с палубы, висело на плечах, подламывало ноги. Я схватился за трап с такой силой, что, оторви меня волна, — на поручнях остались бы кулаки.

Катер сразмаху било днищем о гальку. Он шел скачками, вибрируя и треща. Мы стояли по пояс в воде, море врывалось в машинные люки.

И сразу все стихло. Мы снова неслись среди пены. Бары громоздились сзади — светложелтые, двухметровые складки воды. Нерпы, всегда караулящие лососей в устьях рек, подняли свои кошачьи головы, с удивлением разглядывая катер. «Шустрый» прошел от нерп так близко, что я видел их круглые темные глаза.

Было время отлива. С берегов тянуло запахом иода, всюду лежали темно-зеленые волнистые плети морской капусты. Каменная отмель, отгораживающая залив от реки, сильно просвечивала сквозь желтую воду.

Мы не замечали ни холода, ни мокрых бушлатов. «Саго-Мару» была здесь — поджарая, нахальная, с двумя красными иероглифами, похожими на крабов, прибитых к корме.

Она только-что открыла люки и готовилась к погрузке лососей, когда «Шустрый» обогнул отмель и загородил выход в море.

Гипотенуза — короче двух катетов.

Это понял, наконец, и синдо. «Саго-Мару» закричала фистулой, зовя к себе лодки, заметалась, ища выхода из ловушки, и, наконец, в отчаянии бросилась к отмели.

Мы услышали звук, похожий на треск раздираемой парусины. Рыбаки на палубе шхуны попадали один на другого.

— Только то? — разочарованно спросил Гуторов.

Колосков засмеялся.

— Можете завести патефон...

Моторист «Саго-Мару» заглушил дизель. Стало тихо. Японцы стояли на палубе и понуро наблюдали за нами.

Мы спустили тузик и направились к шхуне, чтобы составить акт. В это время рыбаки, точно по команде, стали прыгать в воду. Последним, сняв желтый халатик, нырнул синдо. Перепуганные ловцы изо всех сил спешили к нашему тузику.

Что-то странное творилось на шхуне. Палубу «Саго-Мару» выпучило, затрещали доски, посыпались стекла.казалось, что шхуна, об'евшись рыбы, раздувается от обжорства, но из всех иллюминаторов и щелей полз белый густой дым.

Колосков подозрительно понюхал воздух.

— Табань!

Его команду заглушил сильный взрыв. Корму «Саго-Мару» точно отрезало ножом. Рубка отделилась от палубы и упала в воду метрах в тридцати от нас. Гуторову чем-то острым рассекло кисть руки.

Вода вокруг шхуны приняла мутнобелый оттенок и сильно шипела.

Причина взрыва стала ясна, как только мы почувствовали характерный сладковатый запах ацетилена.

Японские рыбаки, устанавливая сети на больших морских площадях, отмечают их фонарями, чтобы пароходы не разрушили это хозяйство. На каждой шхуне можно всегда найти банки с карбидом для фонарей.

Налетев сразмаху на камень, «Саго-Мару» пропорола днище. В двухметровую щель хлынула вода и тотчас затопила отсек, где хранился карбид. Взрыв мог быть еще сильнее, если бы палуба оказалась покрепче.

...Мы выловили и приняли на борт 19 рыбаков. Перепуганные катастрофой, они стояли на баке, дружно выбивая зубами отбой. Боцман, недавно дразнивший Колоскова, кланялся и шипел с таким подхалимским видом, что Гуторова чуть не стошнило.

Закончив формальности и сфотографировав шхуну, мы направились в море.

Я вел катер всего метрах в двухстах от завода, но Колосков велел подойти еще ближе.

— В целях воспитания, — заметил он строго.

Дождь кончился. Высоко над отмелью, где дымился остов «Саго-Мару», прорезался бледный солнечный диск.

В последний раз я оглянулся на берег. Возле конторы на мачте еще висел вымокший конус, рыбаки сидели у пристани, на катках, и ждали кунгасов.

Я подумал, что с берега мокрые фигуры хищников видны хорошо.



Танкисты

К. КЛОСС

★

I

Он застегнул кожаную куртку, положил руку на кобуру и гляделся в зеркало, а мать разглаживала на коленях рубашку, вышитую васильками, и чуть не плакала. Конечно, это очень обидно: вышивала-вышивала, и вдруг не подходит... Но он мог бы сказать об этом осторожными словами, а не рубить так наотмашь. Ведь мама у человека одна, как сердце, ее надо беречь. Я-то это очень хорошо знаю. Если бы моя мама не умерла в двадцатом году от голода, то я ни за что не позволила бы ей теперь умереть... Мы, конечно, не вмешивались в их разговор, но мы сердились на Яшку и подчеркивали это своим молчанием. Он, нагнув голову, прошелся по комнате, будто потерял что-то, потом взглянул на мать, сел с нею рядом, обнял ее согнутые плечи и сказал:

— Рукава-то длинные, вот, подрасту... И потом я, когда вернусь, жениться буду, а где еще такую рубашку найдешь? — И он подмигнул нам. Мы подвинулись и тоже сказали, что жалко такую рубашку мять и пачкать, пускай она лучше полежит в сундуке.

Мать улыбнулась, кончиком косынки сняла слезу и сразу услышала запах подгорелого пирога. Она побежала к печке.

Мы облегченно вздохнули. Ну, теперь все в порядке. Конечно, неприятно же, когда в июньский праздник наворачивается тучка. Пронесло. Мы пошли туда, где звенели рюмки.

За добрым столом сидели партизаны, окутанные дымом. А что-то веселья у них никакого не было.

Отец Яшки, старый партизан, симпатичнейший человек, сидел, пригорюнившись, опустив голову на ладони, и тихо пел:

Меня вот так же провожали,
Махали так же мне платком,
И так же слезы вытирали
Своим кисейным рукавом...

Мы обступили его и стали тормозить, пригозаривая:

— Ну, полно, отец, полно.

Он поднял голову, обтер лицо и улыбнулся.

— Вот я, дурень, нашел тоже, с чем сравнить! — сказал он своим товарищам. — Да когда меня в солдаты забирали, семья вся замертво лежала: один

был кормилец. А теперь что? Об'ехал я полцарства, созвал всех друзей-товарищей. Катерина Осиповна пирогов напекла. Пир горой, праздник: сына в Красную Армию провожаю. Выпьем, партизаны!

Партизаны выпили и стали вспоминать былые походы. Мы их знали на зубок, — вот с какого возраста, когда под стол пешком ходили. Мы их знали, как сказку про серого волка, и путали: волк ли, Колчак ли зашел на деревню... партизаны его топорами да вилами... Сейчас мы стояли поодаль и с улыбкой слушали стариков. Мы — танкисты. Мы слушали, каких дел натворили старики, как несокрушимой верой отстояли победу революции, а сейчас вот нас провожают на границу сторожить ими завоеванный мир.

Мы сидели на пиру, задумавшись, как новобрачные. Новая жизнь начнется завтра. Что-то она сулит нам?.. Думали... Костя курил. И Яшка курил и косился на мать. И все мы на правой стороне стола сидели молча.

Костя курил. Глядя на него, и мы начали волноваться, потому что было уже шесть часов, а Зиночка все не приехала... Он выходил на крыльцо, подходил к окну и опять садился курить. Даже Яшка рассердился, он сказал:

— Что ты вертишься, как капустный червяк? Пей, ешь, — приедут! Я-то вот ем омуля и тебе советую.

— Я бы не беспокоился, — сказал Костя, — если бы она одна была, а то ведь их двое. Понимаешь?

Костя не успел договорить, серебряный свет рассек комнату, и к дому подлетел автомобиль. Все сорвались со своих мест, распахнули двери, и долгожданные гости в радостном смятении вошли в дом. Впереди Зинаида Александровна осторожно несла свой большой живот, Костя вел ее, держа за локоток, следя за каждым ее шагом, будто она несла в подоле золото, и оба боялись его просыпать. За ними, распахнув лицо улыбкой, вбежала Феня и, никого нисколько не стесняясь, подошла прямо к Яшке и обняла его. Старички закашляли, покосились по сторонам, пошли на свои места и занялись рыбкой... Толь-

ко Катерина Осиповна, как остановилась у печки, так и продолжала стоять.

— Во сколько? — спросила Феня.

— В двенадцать, — ответил Яшка.

— Уж я его торопила-торопила, — сказала Феня, кивнув на Саблина, — а он, понимаешь, заехал, цветов закупил. Ха-ха, глядите-глядите, словно барышень провожает!..

Все засмеялись, когда вошел Саблин с букетом цветов, а он так смутился, что торопливо ткнул букет в ушат с водой.

А Феня уже рассказывала дальше:

— Поздравляй, Яша, я теперь самая лучшая комбайнерка: впереди всех иду. Видал?

— Нет, — сказал Яшка, расплываясь от умиления, — первый раз вижу такую умницу, и потом ты у меня стала такая красавица, аж глаза режет!..

Ну, это он ей не врал: Феня, действительно, была отличная девушка, в полном расцвете, сияющая и блестящая, и полнокровная, как солнце.

Яшка обнял ее и подвел к удивленной матери.

— Ну, чего ты замерла? Очнись, пожалуйста, познакомься: моя невеста — первая комбайнерка соседнего колхоза, Феня Грибкова... Видала ты такую красавицу?..

Мать посмотрела на него припухшими глазами и тихонечко улыбнулась:

— Отродясь не видывала, и в мыслях даже не мелькало, что найдется девушка, которая полюбит тебя, дурачка!

— А вот и нашлась! — крикнула Феня и побежала вслед за Яшкой к столу, где уже Костя резал морковный пирог.

Тут Саблин поманил меня к двери и угрожающе сказал:

— Мне надо с тобой серьезно поговорить.

Мы вышли в сад. На голых деревьях, зацепившись за сук, висела бледная луна.

— Вот что, Марина, — сказал Саблин, подводя меня к скамейке, — я теперь буду работать в конторе, на лимузине, а летом опять уеду на золото,

а потом можно будет наладить жизнь. Но я без тебя не могу жить, Марина. Выходи за меня замуж.

— Ну, придумал! — вскрикнула я, очень удивленная таким предложением. Потом я даже рассмеялась. — Замуж? За тебя? Да ведь ты такой же дурак, как и я? Скажи, пожалуйста, зачем же мне за тебя замуж выходить? Уж если когда-нибудь и придется, то я выйду только за учителя, чтобы научиться от него чему-нибудь. А сейчас мне совсем не до этого. Я к отцу еду. Сам знаешь. — Он что-то стал еще бормотать про цветы, те, что в ушате, а я сказала: — Короче, короче.

Он сказал:

— Может быть, подумаешь?

Я сказала:

— Нет.

— Ну, что же, — сказал он, — до свидания, Марина Сергеевна...

— Прощайте, Василий Андреевич, — сказала я. Потом мы повернулись и молча вошли в дом.

Был уже девятый час. От партизанской трубки стояла такая дымовая завеса, что Зиночке сделалось дурно, и, не доев своего морковного пирога, она с Костей вышла в сад.

В десятом часу Катерина Осиповна начала шпиговать наши карманы пирогами, котлетами, жареной рыбой. Пихала все, что оставалось на тарелках. Все собрались и стали прощаться.

— Ну, отцы, — сказал Яшка, — до свидания!

— Будьте здоровы! — ответил партизан, отец героя Коли. Он стал по очереди, с широкого размаха, обнимать нас.

— Хотел вам сказать два слова, да чего говорить? Знаю, у нас плохих сынов не может быть. Не с чего им быть плохими, да и не в кого... Нас сама премудрая жизнь учила, а не какие-нибудь глухие профессора.

Когда дошла очередь до меня, он хлопал по плечу, провел шершавой ладонью по волосам и сказал:

— Кланяйся отцу... Да скажи, чтоб на отдых шел. Нечего ему там толкаться, — без него молодежи много, справятся.

Похлопывая меня по плечу и осматривая от затылка до пяток, он остановил свой взгляд на ремне, удивленно приподнял брови и кашлянул.

— Ну, пистолет ты рано нацепила.

— Да чтобы не опоздать, — засмеялась я, вынула из кобуры семизарядный браунинг и дала ему полюбоваться, а он только махнул рукой.

— Убери, — сказал, — я знаю эти игрушки.

Потом меня обнял яшкин отец и сказал:

— О тебе больше, чем о нем, буду думать: славная ты девушка! — Он обернулся к ребятам: — Как-никак там равенство и все такое прочее, но вы ее заслоняйте, вы ее сберегите! — ... И все такое прочее, на что ребята с улыбкой отвечали:

— Она у нас молодец, она у нас самая дорогая сестренка!

Потом меня обняла Феня.

— Никогда тебя не забуду, — сказала она: — Ты меня вывела в люди, ты меня научила, как трактором управлять.

— И я тебя никогда не забуду. Не забуду ваших золотых полей в васильках...

— Нет-нет, — засмеялась Феня, — наши поля теперь другие, мы сеем только отборное зерно и никаких васильков!..

Я пожелала ей хорошего урожая, успеха в учебе. Она пожелала мне удачи и всех возможных побед.

Потом Катерина Осиповна по очереди обняла нас и сказала:

— Держите крепче границу, не пропускайте эту бешеную войну. Ох, видела я ее и вблизи, и издали, — это же настоящее смертоубийство.

Яша сказал:

— Уж будь спокойна.

А мы с Костей ничего не сказали, только поцеловали ее старое лицо. Потом партизаны нас кололи усами, пропахшими дымом, нам что-то пихали в карманы, наказывали, и, наконец, мы все-таки добрались до порога, потом добрались до сеней, ненадолго застряли у калитки и, наконец, погрузились в автомобиль. Белые платочки, прощаль-

ные улыбки летели за нами, пока мы не скрылись за углом. Мы повернулись и стали глядеть вперед. Яшка еще облизывал губы, лучи улыбки еще освещали лицо Кости. Саблин хмуро смотрел на дорогу и грыз папиросу.

Мы ехали последний раз в школу. По этим улицам мы могли бы ехать и с закрытыми глазами, до того были изучены все переулочки, все колдобины на мостовой; мелькали лиственничные домики, такие древние, что окна их видали, как проходили здесь декабристы; церковь, старое кладбище с серыми плитами над могилами безымянных каторжан.

Миновав это грустное прошлое, мы подехали к светлому дому и прошли под аркой с вывеской: «Школа танкистов».

Год назад, когда краевой комитет комсомола обратился с призывом: «Молодежь, на танки!» — мы, шоферы Востокзолота, пришли и записались первыми. В первый отряд.

Когда вы имеете отца, командира танкового отряда, и еще когда вы научились смотреть на мир и понимать, что к чему, — то вы не могли бы не сделать такого правильного шага, какой сделали мы. Наша задача была — научиться охранять, отстаивать, защищать свою родину, свой большой дом.

В комендатуре, получив ордер на обмундирование, мы распростились со своей разношерстной одеждой. По коридору, навстречу нам, шли люди, затянутые в черную кожу. Они походили на людей с другой планеты, — марсиане какие-то... Когда я сама надела этот суровый шлем и кожаный костюм, эту броню, — я почувствовала, что со старым все покончено. И не я одна, все товарищи, бежавшие навстречу, уже не кричали: «Эй, Маринка, эй, сестренка!», — они говорили: «Товарищ Михальченко». Мы уже не были сборная молодежь, мы были танкисты, и это ко многому обязывало. Мы стали молчаливы и внимательны, свободные глаза, раньше бегавшие туда-сюда, теперь были подчинены одному, скрытому броней, сердцу.

В переполненном зале оглушительно скрипели кожаные плечи. Черные, словно жуки, танкисты производили необычайный шум. А когда они начали аплодировать начальнику школы, показалось — само Черное море ворвалось в зал. Спокоен был только алый бархат знамен.

Начальник танковой школы — голубоглазый, кудрявый, как гармонист, — долго махал руками, разгоняя бурю, потом стал стучать карандашом о графин, и только это нежное дребезжание остановило бурю.

До чего же мало походил на танкиста наш кудрявый начальник в пиджаке и галстуке! Мы, надев высокие шлемы, были на голову выше его, и потому его обычная строгость как-то даже не задевала нас, не мог унять шум его обычный, короткий сигнал «тише». Шум утих только после того, как начальник перестал улыбаться.

Наконец, в абсолютной тишине он начал свое напутственное слово. Это был первый выпуск танкистов, закончивших досрочно учебу. Первому отряду поднесли алое знамя ударников с золотыми словами: «Всегда с победой!».

— Потом, — сказал начальник, — я должен особо отметить отличников учебы. Прошу выйти сюда товарища Михальченко.

Я вышла, и он ввинтил мне в борт куртки значок, изображающий танк. Я стала протестовать.

Зал взорвался таким «ура!», что помутнело в глазах, как от фугаса. Но в это время заиграла хорошая музыка, и все утихло и стали строиться в колонны. И здесь все стерлось: разница характеров и лиц, — все будто отлиты по одной модели. Танкист казался несокрушимым, — сбрось его хоть с самой высокой горы, не разобьется, будто из богхеда¹.

Раздалась команда, над головами вспыхнуло знамя, и мы тронулись. Парадно прошли по школе, по двору, разместились в автомобиле и поехали на вокзал.

¹ Вид битуминозного угля, — залежи в Сибири.

У моста один товарищ стал кричать шоферу:

— Ваня, попридержи, тут сестренка обещалась выйти.

Все засмеялись, а Яшка крикнул:

— Гони, гони, у меня тоже сестренка есть, — со всеми останавливаться, так и к поезду опоздаем.

Шофер убавил ход поневоле, навстречу автомобилю шли девушки и махали пучками богульника, вдруг они разбежались по сторонам и засыпали нас веселыми цветочками. Потом по тротуару, вслед за нами, они побежали к вокзалу. А там, — что там началось! Мне даже показалось неприличным, до чего разошлись мой суровые на вид товарищи! Они, забыв про стыд и совесть, целовали своих девчонок у всех на глазах и тянули поцелуи, — чорт их возьми! — чуть ли не по четверть часа. Особенно шумели девчонки со слюдорезки, такие отчаянные!..

Мы с трудом нашли своих. В этой сутолоке Зиночка побоялась выйти из автомобиля, и Костя полез к ней в кузов протиснуться. Они вытаращили на нас глаза, и Феня крикнула:

— Да полно, вы ли это?.. Яшка, да ты стал железный, как чорт! Ой, тише! — вскрикнула она, когда Яшка начал обнимать ее.

Дали второй звонок, и мы начали еще раз торопливо прощаться.

— Слушай, Марина, слушай, Марина, — дергал меня за рукав Саблин. — Я все же тебя буду ждать. Я без тебя не могу. Я с горя завтра на прииски уеду. Буду ждать! — бормотал он, но мне некогда было разговаривать, и я отмахнулась, крикнув:

— Ладно, ладно!..

Последний раз оглянулись, помахали руками, построились и вошли в вагон.

Еще кричал кто-то: «Ваня! Ваня! я буду ждать...». И раздавалось в ответ:

Я вернусь, подружка, скоро,
Не грусти, не плачь ты!..

Гремели оркестры.

Но весь этот шум ровно в двенадцать оборвали свистки паровоза, и в удивленной тишине поезд пошел на восток.

II

В купе уже сидели две женщины. Одна из них в белом пушистом халате; при виде ее у меня сразу мелькнула мысль о неприятном соседстве. У другой сразу бросился в глаза орден Ленина на груди, я подумала: «Ну, с этой сговоримся!» — и спокойно хлопнула дверь.

— Это что еще за чудо? — сказала женщина в белом халате, с улыбкой разглядывая меня, а другая сказала:

— Первый раз вижу: танкистка?

— Танкистка! — ответила я. — Еду в Хабаровск. А вы?

— Во Владивосток, — сказала одна.

— В Дарасун! — сказала другая.

— Ну, все равно, путь далекий. Давайте знакомиться: танкистка Марина Михальченко.

— Капитан каботажного плавания Ксения Ридная, — сказала женщина в белом халате.

— Да ну! — вскрикнула я и вытаращила на нее глаза. — Женщина-капитан? Ну, чудеса! Ужасно рада! — забормотала я, пожимая ее руки.

На мое удивление женщина ответила улыбкой.

— У нас на востоке, — сказала она, — к этому уже привыкли, это — обычное дело, а вот на западе все очень удивляют. И даже в Москве, прямо итти неловко: прохожие останавливаются и шепчут друг другу: «Гляди, гляди, капитан в юбке!». Умора! Сначала я смущалась, а потом привыкла.

Другая, Анна Горбова, была директор золотых приисков. Она только-что окончила Промышленную академию в Москве и ехала занимать свой пост. Тоже было чему удивиться!

Довольно долго после знакомства мы ехали молча. От удивления слова разбежались, мы внимательно рассматривали друг друга.

Я усмехнулась в душе своей близорукости: меня смутил этот пушистый халат. Оказывается, такая замечательная женщина, а я-то думала!.. И как я сразу не взглянула в лицо, в эти пре-

красные карие глаза, такие давно дружеские, давно свои!..

Рассматривая ее лицо, я удивлялась, до чего эта женщина была некрасивая! Нос, как у чайника, торчал вверх, и еще скулы такие широкие, что просто странно: как заградительные щиты! Но круглые губы так хорошо улыбались, но такими-растакими лучами светились глаза, отчего ее некрасивое лицо было прекрасно! И потом — над большим профессорским лбом, как медная проволока, блестели волосы, они выбивались из-под гребешка и гуляли по ветру, то забегали на глаза, то устремлялись в открытое окно, — вслед за ними откидывалась голова Ксении и залоняла звездное небо и тайгу. На лице этой женщины сверкала такая непобедимая улыбка, что видно было: с ней дружила сама удача! Наверное, с этой большой улыбкой ей удавалось все.

Анна Горбова сидела, плотно сжав губы; можно сказать, что губ у нее совсем не было, а были одни огромные глаза да две морщинки, пересекающие лоб.

Поезд шёл через тайгу, шумел, волновался, а мы сидели и изучали друг друга. Я смотрела на них с восторгом и завистью: они ехали с запада, из Москвы, они, наверное, видели жизнь такую, о которой я редко мечтаю. И я сказала:

— Ну, расскажите теперь, как живете, какие подвиги совершаете!

Обе засмеялись.

— Как живем? — сказала Ксения, пожимая плечами. — Хорошо живем. Спокойно плаваем. Никто нас не топит, бомбы над нами не капают. Все в порядке. Тихо. Вы лучше расскажите: что нового на вашем участке?

— Нет, нет, — перебила ее Анна Яковлевна: — пускай сначала куртку снимет да чай выпьет, а то он весь расплескался.

— Верно, — сказала Ксения, — теперь до Верхнеудинска чаю не доставим.

Только я сняла сапоги, куртку, они набросили на меня халат, кофточку, дали мягкие туфли, и я, как и они, стала такая же домашняя; кто-нибудь, глядя

на нас со стороны, наверное, сказал бы: «Какие милые женщины!». А эти «милые женщины» пили чай и говорили о том, о сем, точнее, вот о чем:

Анна сказала:

— В Бодайбо, в Шилке, в Нерчинске и других местах сейчас я встречаю людей, которые знали Якова Горбова. Это мой отец, он на Лене шел впереди в тот день четвертого апреля двенадцатого года. Отец шел в беличьей шапке. Они шли на Надеждинский прииск к инженеру Тульчинскому и прокурору просить освобождения арестованных товарищей. Шли мы с Александровского прииска, и я, и мать; за рабочими шли сторонкой, по проталинкам и старались не отставать от отца, издаലെка смотрели на его беличью шапку и все боялись потерять его из виду. Народу валило — ужас! Подходим мы к Надеждинскому прииску, только завернули влево к переезду, как увидели у Народного дома множество солдат. Навстречу рабочим вышел инженер Тульчинский и стал что-то говорить; далеко было, — не слышно, — и в это время солдаты стали стрелять. Стрелять, понимаешь, прямо по живым людям...

Я сказала:

— Еще бы не понять, чорт их побери!

— И тут началось такое кровопролитие, крики, стоны, и мы с матерью потеряли из глаз беличью шапку, — сказала Анна, сверкнув глазами, и глубокие морщинки пересекали ее лоб пополам. — Когда передние упали, задние побежали; солдаты — за ними; мы с матерью спрятались за главную контору, а кто спрятался в ложину, кто — за табора... Стемнело, когда мы вылезли и пошли отыскивать отца, и никак не могли отыскать беличью шапку; потом, глядим, лежит он без шапки, лицом в сугроб, сам весь посинел-посинел... «Маманя! — закричала я, — да он совсем застыл!». И мы сняли свои шали, закутали его и понесли к сторонке, думали — там отогреем и спрячем его. Но не успели мы огнести его от дороги, как опять налетела охранка; оттолкнули нас в сугроб, а отца поволок-

ли в кучу, бросили и накрыли рогожей. Так мы с матерью и стояли до ночи, пока нас не прогнали толчками. Мать не раздевалась всю ночь до утра, а утром пошла и подожгла склад. Ее посадили в острог и там умили. Меня поместили в сиротский барак, оттуда каждое утро в шесть часов уходили мы на работу и работали по шестнадцати часов. Не жили, а, можно сказать, потихоньку подыхали. Потом пришла советская власть, и сиротский барак превратился в комсомольскую бригаду. И тогда-то меня, как лучшего бригадира, премировали путевкой на учебу, в Москву. Окончила Промышленную академию, и вот еду по назначению, директором золотых приисков. Тут недавно открыли золото, и прииски молодые еще.

Она улыбнулась счастливому концу своего рассказа. И я улыбнулась и, облегченно вздохнув, сказала:

— Да. Была жизнёнка...

На лбу Анны росчерк горя ненадолго стерся.

— Здесь, — спросила я, — у вас открытая или закрытая разработка?

— Открытая, — ответила Анна.

— Драгами?..

— Нет. Гидромониторами.

— Что это такое? В первый раз слышу.

— Гидравлическая машина, — ответила Анна, — размывает грунт струей воды под большим давлением, жижу засасывает другой насос и направляет на промывку.

— Вот что... Я еще таких машин не видела, хотя встречалась с золотообитчиками, не так давно, на Байкале.

— А!.. — сказала Анна. — Я этих мест не знаю. Только была на практике в 1934 году. Встречала земляков; нынче никого узнать нельзя. Богато живут! Да и меня не многие узнали. Стали вспоминать прошлое: мы-то ничего, а старики без слез не могут вспомнить Ленский расстрел...

Анна отвернулась к окну и сжала губы. Ее всевидящие, как звезды, глаза были суровы.

— Ладно! — сказала она. — За от-

цов, за матерей, за ад, за каторгу, — за все мы отомстим.

Поезд мчался сквозь тайгу.

— Отомстим! — повторила Анна. — И вот тому залог.

Я взглянула на орден Ленина.

Поезд стремительно мчался на восток; казалось, он изо всех сил старался. Старался угодить нам, новым хозяевам этих полей, этих гор и лесов. И мы сидели, откинувшись на кожаных диванах, и голубая лампа транссибирского экспресса мирно светила нам. Чай остыл, мы грызли сухари и задумчиво молчали. Поймав улыбку Ксении, я сказала:

— О чем мечтаете?

— Известно, — ответила она, — о чем может мечтать молодой капитан: о дальних плаваниях, о Сингапуре и Босфоре. Впрочем, я мечтала об этом с детства, со сказочных времен.

И она стала рассказывать нам о солнечном домике на берегу Золотого Рога, об отце-краболове, об устрицах, шальных спрутах и прочих чудесах.

— По словам моей бабушки, — рассказывала Ксения, — бог дал море рыбакам в наказание. Будто он сказал тогда: «Чорт с вами, живите, как хотите, и добывайте себе морской хлеб!». Так и жили. Ловили скумбрию, тонули в бурю, голодали, умирали. И вдруг — революция. И вдруг рыбаки узнали, что им дано не одно море, но и земля, и что надо эту землю поскорее прибрать к своим рукам, и тогда рыбаки бросили свои джонки и пошли во флот. Отец ушел на канонерке по Амуру, ушел и увяз в войне... А у нас — семья: мать, я да младший братишка. Жить надо. Джонка есть, море осталось, — и вот мы с матерью стали ходить на рыбалку. И так я к этому морю привыкла, что оно меня не трогало, пугать — пугало, по никогда не перевертывало. Знало: своя. Но только рыба забастовала: нейдет — да и только, да и рыба-то осталась худая. Хорошая рыба войны не любит. Только она ушла от нашего берега, как сейчас же нагрязнули и стали шнырять канонерки да катера, и пошли, пошли рвать наши сети!.. Просто, бросайся в море! А там пришла американ-

ская эскадра, японские миноносцы, — и не только рыбу, но и наши джонки перевернули вверх дном. Тогда муж маминной сестры и взял меня к себе на шхуну, и плавали мы от Владивостока до Александровска. И тут я такую морскую школу прошла, что думала — мне в настоящей школе и делать нечего... Но ошиблась: когда пришла в школу, то увидела, для чего нужна ученая премудрость, математика там всякая, астрономия. Теперь вот получила звание капитана, пока каботажного плавания, но мечтаю... Мечтаю. Вот, ездила в командировку в Ленинград, знакомилась с устройством новых судов. Знаешь, время у нас какое: плаваем-плаваем с рыбой, а в одно время вдруг сети забросим и шестнадцатидюймовку поставим.

— Ну, что вы! — засмеялась я. — Шестнадцатидюймовка задавит весь кораблик, она линкорам только-только под силу.

— Ну, тогда зенитку? — сказала Ксения.

— Это, пожалуй, можно! — согласилась я.

— Только мне об этой войне как-то не хочется думать, — продолжала Ксения, — так мы хорошо живем, все работаем: отец — начальник порта, брат заведует пушной факторией на Сахалине, и совсем нам эта война не нужна... Подольше бы ее не было, но, в случае чего, мы возьмемся за это дело и, пожалуй, от вас не отстанем.

И вдруг они обе повернулись ко мне и стали тормошить:

— Теперь ты рассказывай, как жила-была...

— Ну, — отмахивалась я, — мне и сказать нечего. Я, можно сказать, и жизни-то не видала: работала в гараже Востокзолота, — вот и все.

Они настойчиво просили: расскажи да расскажи! Но я, как ни ворочала память, ничего не могла выкопать интересного.

Поезд, пробираясь по трудному пути, устало покачивался, и, укаченные, мы незаметно, не обрывая разговора, заснули...

Утром в пульмановском вагоне танкисты пили кофе. Эти парни сидели в

рубашках с расстегнутыми воротами, и от их разговора, смеха, звона ложек можно было слабому человеку оглохнуть: до того раскатисто вылетала из них буйная молодость!..

Командир с Дальневосточной рассказывал нам о маневрах, о высадке воздушного десанта:

— Только самолеты приземлились, мы отцепили танкетки, завели и — айда! Бежит она, бежит, а впереди горная речка: танкетка — прыг через нее...

— Да ну! — вскрикнул Яшка. — Это какие же?

Командир покачивал головой:

— Будешь такие вопросы задавать — язык подстригу.

Все засмеялись, а Яшка смутился и хотел что-то сказать в оправдание, но я его подтолкнула локтем и шепнула: «Молчи!». Но не такой он был человек, чтобы молчать: он все лез с вопросами и все напарывался на замечания... Мы с Костей вывели его в коридор и там отчитали!..

— Залог победы — дисциплина; залог дисциплины — молчание. Понял?

Он кивнул головой:

— Понял. Только вы напоминайте мне об этом каждое утро.

Мы пообещали строго следить за ним.

Командир дружески подшучивал над нами, и из его слов мы поняли, что нас ждет жизнь много интереснее, чем мы предполагали. Это не то, что в школьном зале гонять по полу игрушечные танкетки. Нет, там вот, за тайгой, по настороженной земле вести всесокрушающий танк... И мы не могли удержаться от вопросов и сыпали их, да еще какие!..

— А далеко ли наш отряд от границы? — и так далее...

Командир даже нахмурился, потом стал отмахиваться от нас и крикнул:

— Ну, кто хочет меня в шахматы обыграть?

— Если не рассердитесь, — сказал Яшка, — то я сделаю вам мат на гребьем ходу.

— Валый! — ответил командир, подвигая к окну шахматный столик.

Этот номер нам совсем не нравился. Яшка не мог играть без обмана, и его плутни могли рассердить этого симпатичного командира, потому-то мы стали отводить его от игры. Костя сказал: «Пойдем, будем дочитывать «Чапаева». А я сказала: «Ты хотел познакомиться с женщиной-капитаном, — идем!».

А он отстранил нас:

— Сейчас, сейчас, только вот обыграю товарища командира. — Он двинул черную пешку и стал насвистывать песенку.

Командир молча сделал второй ход.

— Ах, вы вот как! — сказал Яшка, потирая лоб. — Ну, что ж, придется вам накинуть еще два ходика...

Но на третьем ходу командира он не сказал ничего, а на четвертом умолк на полчаса. Через час он сказал коротко: «Сдаюсь!».

Командир хлопнул его по плечу и крикнул:

— Вот как учатся молчанию!

И мы принялись смеяться над покрасневшим Яшкой.

За ужином мы уже звали нашего командира по-дружески: Григорий Иванович. Он понравился мне еще больше тем, что знал моего отца. Я удивилась, а он сказал:

— Михальченко Сергей Сергеевич, да кто же его не знает?

Человек, который так говорит о моем отце, сразу становится моим другом. Мы так уж устроены, что любим тех, кто любит нас и наших друзей. И я ему сказала, что о моем отце даже враг не мог бы сказать дурного слова.

Он улыбнулся, расстегнул полевую сумку, вынул карту и повел нас по огненной черте дальневосточных границ.

Другие полдня ушли на политучебу, на читку газет, и только после обеда все разошлись по своим купе.

Я застала своих друзей за таким делом: капитан штопала чулки, а директор золотых принсков лежала на диване и дочитывала «Анну Каренину». Она сейчас же отложила ее, но я сказала:

— Читайте, читайте, я вам мешать не буду.

Анна Яковлевна улыбнулась, закрывая книгу.

— Жизнь теперь стала интереснее книг. Расскажите лучше, Марина, почему вы стали танкисткой?

Я засмеялась и сказала:

— Не умею. Начну рассказывать, как было в жизни, так вы уснете от скуки без ужина.

Так я отговаривалась до тех пор, пока не пришли Яшка с Костей, и, когда улеглось их почтительное удивление, мы стали слушать рассказы про Москву. Эту Москву мы видели часто в кино, но все же не могли представить себе ясно, что это за город, стокий город, красное сердце земного шара...

Слушая внимательно рассказ Анны, я говорила себе: «И я там буду...». Мир только-что открывался предо мной. Я ехала на восток, но мечтала о Москве. Москва — это будущее, надо завоевать право на Москву, завоевать так же, как эти женщины...

В Дарасуне мы Анну Яковлевну торжественно пооводили, взяв с нее обещание поддерживать хотя в письмах дружбу.

Тут же, в Дарасуне, сели новые пассажирки, но, что это были за девушки, трудно сказать одним словом.

К нам в купе вошли две, сбросили куртки и выложили на стол все свои вещи: зубную щетку и томик стихов Пушкина.

— Кто вы? — робко спросили мы.

— Комсомолки.

— Куда едете?

— В свой город.

Сейчас же начался взаимный обстрел: как живете да чем живете, да специальность какая?

— Какая? — отвечали они. — Да мы на все руки... Мы город строим... Сегодня — каменщики, завтра — штукатуры, утром — поварахи, вечером — актрисы... весной — трактористки, летом — рыбачки...

Ну, было чему подивиться! И на них дивились все. Их обступали, когда они шли в ресторан обедать, их останавливали в коридорах и рассматривали со всех сторон. Это были герои... Они построили город в тайге, на месте, диком,

как бред; отогнали зверей, повалили непроходимую чащу, с невиданным еще в мире натиском совершали свое дело. О таких героях еще в книжках не написано. Внешность у них была довольно обычная: девушки вроде меня, но такие дела делали, что, узнав их поближе, нельзя освободиться от их сильного обаяния: в каждом их жесте была прекрасная самоуверенность людей, хорошо знающих свое дело и научившихся побеждать.

Девушки эти ехали с курорта, они тут отдыхали на минеральных источниках Дарасуна. Рассказывали они только о том, как побеждали. И когда они говорили: мы сделали то-то и то-то, — за их словами открывалась картина, как от этого могучего коллектива утихали ветры, отступала тайга и смирились звери...

Яшка сказал Наде Стрельцовой:

— Ну, и девушки у нас: с закрытыми глазами бери в жены, и не ошибешься... Девушки, что надо, — на все руки. Как жизнь изменилась: прежде выбирали, которая богаче, а теперь берут лучшую ударницу...

Надя засмеялась:

— Только они теперь не очень-то идут замуж. Есть дела много интереснее, чем с вами целоваться. Каждая мечтает об учебе, а не о женихах...

Яшка сделал вид, что обиделся.

— Давно ли? — спросил он, иронически шурясь.

Надя спокойно ответила:

— Да с тех пор, как Ленин сказал: Женщины, вы теперь равноправны... должны учиться управлять государством, и так далее.

Весь вагон заплодировал, и мы полезли обнимать эту замечательную комсомолку...

Яшка только развел руками.

Так, узнавая друг друга, мы узнаем свою страну, и товарищей повсюду встречаем паролем: «Ну, как дела?». И, пока все пассажиры рассказывали, как дела, — мы доехали до Хабаровска. А пока доехали до Хабаровска, мы узнали столько, сколько в целом университете не узнаешь.

III

Шли мы, нисколько не робея, по этому самому Хабаровску — легендарному городу Дальнего Востока. В ушах еще дрожал звонкий смех комсомолок, укативших в свой город. Шли мы, мысленно засучивая рукава и осматривая даль, но и вдали расстилось все то же тихое небо, все та же молодая советская земля... Войны нигде не видно. Мимо нас, как всегда и всюду, задорно покрикивая, пробегали друзья наши — автомобили. На полях фыркали сильные трактора, а там, вдалеке, на границе, где стояли мужественные сопки, не торопясь, разгоралось старое солнце. Мы пересекли почти весь город и только потом сняли шлемы; стало жарко. Разгораясь все сильнее, трудовое утро приветствовало нас. Так же приветствовали нас и проходившие мимо красноармейцы, колхозники, домашние хозяйки, школьники. Мы махали им перчатками и подмигивали солнцу. «Давай, давай, накачивай!». Дружно распевая, шли мы дальше... И вдруг столько народу вышло нам навстречу, что мы умолкли и торопливо начали прибираться. Думали мы, что таких молодых еще не видали в этих местах, мы — первые, а потому надо показаться во всей красе: поскорее застегнули шлемы, надели перчатки и стали подыскивать подходящие позы: кто положил руку на кобуру, кто задвинул ее за борт куртки, за ремень, — и пока мы стояли так, фасонясь, вышел на главный под'езд командир, посмотрел на нас издали, пошевелил бровями, потом шагнул вперед, еще раз взглянул на нас и пожал плечами.

— Что вы, как на выставке, красуетесь? Здравствуйте. Рассказывайте, как доехали?

И стоявшие позади него красноармейцы рассмеялись так по-свойски, что мы смутились и сейчас же сбросили с себя весь шик. Все было, как везде, очень просто, по-дружески, по-товарищески. Никто не заметил в нас героев — такие молодчики приезжали сюда каждый день, и всех их тут давно ждали командиры и танкисты и нисколько-

ко не удивлялись. Из гаражей, из парка выходили люди, махали нам молотками, ключами и что-то кричали, чего мы не могли разобрать. Мы наспех кивали им. Командир пожимал нам руки и спрашивал имя-отчество. И когда я сказала: «Марина Сергеевна», он удивленно вскрикнул: «Как? Женщина?» — и сейчас же улыбнулся: «Ах, да, слышал, слышал — дочь нашего Михальченко».

Тут уж кое-кто вытянул шею, рассматривая меня, но никто ничего не говорил; видно было, что это люди воспитанные.

Я не знаю, что они думали про себя, но вслух — ни слова, даже никто не улыбнулся. Женщина-танкист! Все приняли это если не как обычное явление, то как должное.

Дом этот — шестиэтажный улей — разделен был на светлые комнатки-соты, но, не успели мы пройти спортивный зал, осмотреть красный уголок, как меня позвали к телефону. Вызывал начальник бронетанковых частей товарищ Михальченко.

— Здравствуйте, товарищ младший командир, — сказал он.

— Здравствуйте, товарищ начальник, — отвечала я.

— Не желаете ли вы повидаться со своим стариком?

— Очень, — отвечаю, — желаю.

— Сейчас приходи за вами машину, — сказал он и положил трубку.

Я мигом скатилась по лестнице, побежала под душ и по дороге столкнулась с Костей.

— Возьми меня с собой, — сказал он.

— Ну да, еще с тобой возиться! — крикнула я и сунула ему в руки щетку: — Почисть поскорее мне костюм!

Пока холодный душ сдирал с меня дорожную усталость, и костюм, и машина были готовы.

Мы помчались мимо площадки, вокруг которой поднималась молодая трава, да такая дружная, что вызывала улыбку радости. Вдали чернели сопки с лысыми макушками. Туда несся мой беспоконный взгляд. А вокруг были прекрасные новые дороги. Дорога, —

это не каждый может понять, надо быть самому шофером или старым конем, чтобы понимать, что такое дорога: это — кратчайшее расстояние между желанием и достигнутой целью. Не успела я, закрыв глаза, вспомнить улыбку отца, как мы уже приехали. Во дворе было очень много военных, и все на одно лицо, — и вот узнай, который твой отец?

Я стояла, растерянно моргая глазами, до тех пор, пока кто-то не взял меня за плечо. Я обернулась: ну, так и есть, он.

— Марина, вы ли? — крикнул он.

— Здравствуйте, товарищ начальник, — отрапортовала я и, вытянувшись изо всех сил, заговорила каким-то колокольным басом, на что мой удивленный отец ответил тихим покашливанием.

— Так вот что значит школа, — сказал он после долгого осмотра. — На улице встретил, — не узнал бы. Народу много, неудобно целоваться с танкистом. Ну, так и быть, давай руку. Давай руку, Марина Сергеевна! Вид у вас уж не такой глупый, как в те годы. Школа всему научила. Да?

— Довольна, что понравилась. На тебя не угодишь! — смеялась я, вглядываясь в его лицо. Оно было попрежнему большое и открытое, только на лбу да под глазами заботы напугали сетки морщин, да инеем покрылись усы. «Эге, — подумала я, — тишина-то тишина, да, видно, спокойя нет».

Спокойя не было в его приподнятых плечах: он был весь скован настороженностью. Он улыбался, глядя на меня, но в глазах его, как в перископе, стражались земля до самого горизонта.

Мы вошли в столовую и сели у окна, раскрыли его, впустили солнце; сейчас же полезли к столу ветки разбухшего тополя.

Как всегда при первой встрече, глядя друг на друга, мы не знали, о чем говорить.

Нам подали кофе. Отец спросил меня о товарищах.

— Ребята хорошие. Ты разве их не помнишь?

— Помню. Так спросил.

Опять помолчали.

— Скажи мне, отец, когда будет война?

— Сейчас, — ответил он.

Я торопливо взглянула в окно. Кругом ярко цвело солнце и вкусно пахла земля.

— Вот так пошутил!

Он сказал:

— Ну, сегодня ночью или завтра утром, или послезавтра. Или когда ты ляжешь спать, или когда будешь обедать. Она ведь не предупредит, не скажет: «Иду, приготовьтесь!». Война может ударить неожиданно из-за угла, как нож в спину. Вот и ходим на дозоре: чуть отвернулся, а она тут — как тут.

— Лезут?

— Лезут, да не очень... Раза два разбежались, да стукнулись о великую Советскую стену так, что искры из глаз посыпались. Они нас с кем-то спутали, думали — это так просто... В прошлом году в январе расхрабрились, пришли с пулеметами, и не только пулеметы, но и самураев на нашей земле растеряли. И все же память у них плохая. Немного погодя, глядишь, опять ползут то там, то тут. Подбодряют себя всякими фантазиями: Сибирь-де возьмем, Байкал, а не могут понять, что скорее Байкал высохнет, чем будет японским... Не страшны нам их мышинные налеты, а большую войну они побоятся спустить с цепей, побоятся, потому что не знают, в какую сторону она пойдет. Может случиться так, что она повернется и набросится на своих хозяев. Потому что пушки-то стреляют туда, куда их повернут.

Мы пили кофе. Ворвавшийся в окно шум заставил нас надолго умолкнуть. Мимо прошли танки. Отец захотел взглянуть на моих товарищей. Встали мы и пошли плечо к плечу.

— Ну, расскажи мне, как живешь, как учишься?

— Как учусь? Да как все.

— Не болтай, — сказал отец, — что же, по-твоему, я тоже на парте учился?

— Ты — нет, — засмеялась я, взяв его за руку, — ты — совсем другое дело. Вы, старшее поколение, — герои: вы сами землю перевертывали, а мы ходим на всем готовом. О себе и рассказывать нечего, а вот вы — другое, вы — ходячая история. Я, как губка, впитываю все твои рассказы и намазываю их на память. Будет время, и все эти рассказы мне пригодятся.

— Внукам, что ли, будешь рассказывать?

— Почему знать, может быть, историю буду писать.

Отец покачал головой.

— Чтобы писать историю; Марина, надо быть очень грамотным человеком, а ты, как миллионерша, присылала мне в конверте по три тысячи ошибок, больших и маленьких.

Я покраснела.

— Правильно, отец. Позор. Женщина — пишу с мягким знаком. Ужас!

Танкисты обступили отца с такой радостью, будто он принадлежал им. Меня они без всякого отнесили. Они выкладывали последние новости, поклонны от стариков. «У нас все в порядке!» — отвечали они на вопросы отца. — «Как у вас?». «У нас, как видите, тоже — мир!» — отвечал отец. Они говорили о дружной весне, о посевной и еще о чем-то, чего я не слыхала, так как недалеко от меня оглушительно трещал танк.

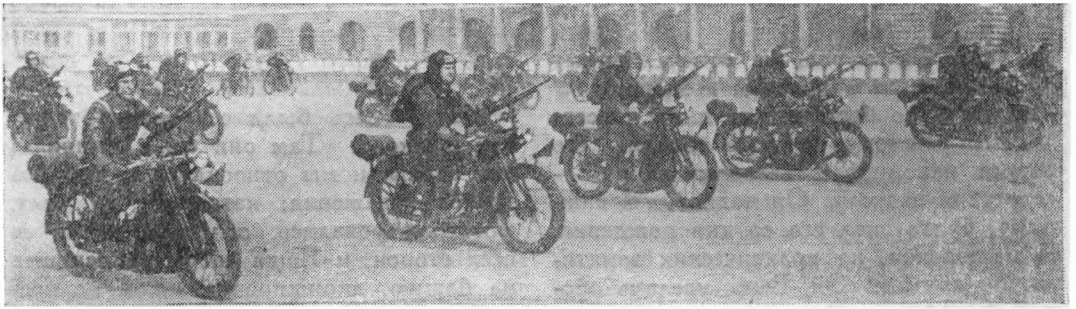
Я быстро вбежала в свое помещение и вынесла отцу подарок: патефон.

Они говорили в это время о весенней маскировке. Отец похлопал меня по плечу и сказал:

— Вот это дело. Я боялся, что ты мне ружьецо привезешь. Терпеть не могу стрелять птишек, а этот — пускай поет!

Смеясь, мы пошли провожать его, продолжая разговор о маскировках, причем Яшка всю дорогу нес этот тяжелый патефон. Отец торопился на испытания нового танка, и мы, проводив его, пошли осматривать этот не известный еще нам кусок советской земли.

Город был очень молодой, полный буйной энергии: она растекалась в элек-



трическом зареве, в гуле моторов, в победных песнях ударников с новостроек. Город окружали поля, совсем новенькие, и кое-где еще трактора горюливо поднимали целину. И тут же весна — такая миролюбивая и старательная — делала свое дело, не отставая.

По новой траве бежала узкая тропка прямо к реке. Там, направо, в затоне, сидели на корточках красноармейцы и удили рыбу.

— Клюет? — спросил Яшка. Красноармеец посмотрел на Яшку, покачал головой:

— Разве форель клюет? Неужда.

— Оно и видно — неуч, или танкист, — сказал озорной красноармеец, и все засмеялись.

Мы сейчас же присели на опрокинутые ведра и начали тары-бары. Река была такая яркая, словно ее только-что нарисовали, и краски еще не успели пожухнуть.

Выше затона, на глубоком месте, закоптелые трактористки смывали усталость и черпали воду для моторов. Не могли мы пройти мимо, не спросив, как дела. До горизонта дымилась перевернутая земля. Девушки, сдавая ночную смену, потягивались от усталости. Но только они отошли от машин, помахали руками, проветрили легкие, и сейчас же стали улыбаться новому утру, знакомым рыболовам и одному симпатичному танкисту.

Яшка уже начал о моторе, о горячем, но я оборвала его: «Пошли, пошли, не мешай людям отдыхать!».

— Чорт побери, — бурчал он, — эта трактористка ужасно похожа на одну мою знакомую. И речку тоже я такую видал. А трактора, — ты заметила, —

совсем как наши! Повсюду одинаковая жизнь, а я-то думал — здесь трах-тарарах, дым до небес!..

Тихое солнце заливало поля.

У казармы выводили аккуратные пятиконечные звезды-клумбы и обкладывали их пушистым дерном, а в середине рассаживали анютины глазки.

Все проходившие мимо них останавливались и говорили: «Замечательно красиво!».

Пока мы обозревали жизнь, Костя показывал своим новым товарищам портрет Зины и уже что-то врал про жену и про сына. Яшка не мог стерпеть такого вранья.

— Положим, сына-то еще нет! — сказал он.

Костя рассердился.

— Нет, уже есть. Мне-то лучше знать.

Он один был «семейный» и всячески это подчеркивал. Все остальные были мальчишки, им чуть перескочило за двадцать.

Эти танкисты, слетевшиеся сюда со всех концов, в своих черных спецовках издали казались стаей птиц, шумных и непоседливых!

Командир, привыкший к настороженной тишине, прямо дивился на эту энергию, бьющую через край. Он говорил на занятиях:

— Тише, да тише вы, луженые глотки!

И угрожал нам танками:

— Вот посажу в десятитонную баню, посмотрю, как вы там запоеете!

Наш командир был неказистый на вид, коренастый, неуклюжий, с хмурым, летучим взглядом. Этот взгляд, как стрела, входил в наши глаза и ви-

дел все. Он ничуть не отвечал моему представлению о красном командире. У него не было богатырских плеч и всего такого важного. Лицо и повадка его скорее напоминали «своего» парня — секретаря завкома. Он подходил к каждому, будто знал его со дня рождения. В мастерской, на практических занятиях, он кричал: «Эй, Ваня, увеличь обороты!». На что Ваня дружески говорил: «Не Ваня, а Яков Андрееч Кругликов». «Ах, — не задумываясь, говорил командир, — Яша, дай ему двести оборотов!».

Он обрабатывал нас очень здорово, но во всех его криках и жестах лучилось такое доброе сердце, что после занятий все в один голос твердили: «Ну, командир у нас — золотой парень!».

А вечером, когда я рассказала об этом отцу, он спокойно ответил:

— А у нас плохих и нету. Мы и вас так обрабатываем, что станете шелковыми.

— Куда уж лучше? И так — хоть на выставку.

Но отец только качал головой на мою похвальбу. Он улыбался молчаливой улыбкой. Видно было, он прошел хорошую школу. Мы же, чорт побери, — я даже не знаю: почему? — мы были так болтливы, так беспечны! Даже здесь, на границе опасности, мы не представляли ее себе ни на минуту. Война была где-то там, в неизвестном государстве, а у нас каждый день светило солнце, и мы не умели хмурить лицо.

В первый вечер отец сказал мне, что советский человек должен все уметь и все знать и по требованию жизни быть сегодня — танкистом, завтра — учителем. И он показал мне книжную полку и сказал:

— Ты должна прочесть все эти книги. Видишь?

— Вижу! — ответила я и подошла к книжной полке.

Мы стояли на границе мира, к нам открыто приближался враг, мы собирали все чувства и волю в кулак, и даже в книгах мы хотели бы найти такие слова, которые поднимали бы дух и вели нас к победе. Нам нужны были слова, многозначительные, как снаряд.

IV

Танки здесь были совсем не такие, как в школе. Там они были мирные, как слоны, и мы относились к ним без всякого уважения: катались на них, фотографировались, облепляя танки со всех сторон, и Яшка часто, забравшись на башню, дирижировал хором во время отдыха. Здесь танки были суровые и словно нарочно прищурили смотровые люки и глядели на нас, молодых водителей.

И все оказалось не так просто, как было раньше и как мы предполагали. Например, мы совсем не умели ходить с закрытыми люками, и потом эти танки прямо подавляли нас своей суровостью. Мы были удивлены теснотой, невозможностью выпрямиться. А главное — шум, шум был такой силы, что казалось, летишь на луну, а взглянешь в люки — и видишь: ползет, как улитка. Казалось, не мы, а они нас испытывают. Они скрипят зубами перещелкивая и нарочно заводят нас в сторону от дороги. В общем, беда! Мы шли и все ждали сигнала на остановку, потом высказывали, как из бани, и начинали бегать по лугу, махать руками, приседать и проделывать всякие физкультурные штучки. А эти несокрушимые чудовища стояли на дороге и молча улыбались и, наверно, думали: «Ладно, ладно, вы у нас еще не так попрыгаете...». Но не очень долго они мучили нас. Мы их скоро выдрессировали. Чистота отрегулированных движений скоро прекратила их воркотню... Это командир научил нас. Он говорил: «Вы не бойтесь, что они — бронированные, вы с ними построже, построже, — и они подчинятся!».

Танки шли прямолинейным, замедленным движением, держа большую дистанцию. Видимость по горизонту была прекрасная. Навстречу с красным знаменем и барабаном, оглушительным, как танк, шли пионеры в лес на прогулку. Вдруг головной танк свернул с дороги и пошел по целине; все танки подравнялись по его следу и, пройдя еще небольшое расстояние, остановились на отдых. И сейчас же, вслед за

нами, на цветущий луг сбегались дети и, остановившись поодаль, стали кричать: «Сороконожки, сороконожки, куда ползете?».

Командир подошел к ним, снял перчатку и почтительно отрапортовал:

— Держим марш вон на ту сопку.

Дети обступили нас и стали запугивать.

— Там не пройти. Там чащоба. Там медведи.

— Пройдем! — ответил наш золотой командир. — Для нас это так же легко, как обыграть вас в горелки. — Он подал команду, и сейчас же все схватились за руки, и он с Яшкой побежали первыми. Стало так шумно, словно все колокольчики на лугу зазвенели голубым звоном, зашумели кусты, запрыгало солнце. Пять минут. Команда. И танки снова пошли в свой поход. Обогнув озеро, мы стали подниматься по левой стороне на суровую сопку. Головной, тяжелый танк подмял кусты, пролез болото и выровнялся на под'еме под прямым углом. Вслед за гусеницей по разорванной земле поднималась вода, и танки, идущие сзади, потеряв сцепление с землей, буксовали. Я несвоевременно перешла на нужную передачу, и танк мой остановился на под'еме, а потом силой тяжести пополз назад. С крутого под'ема путь его вел прямо в озеро. Я это мигом учла, быстро включила ход назад по старому следу, потом выровняла, задавила кустарник; подбавив газ, увеличила число оборотов, усилила скорость и, благополучно миновав точку под'ема, закрыла газ и пошла на спуск «юзом», крепко, на всякий случай, держась за тормоза. Сверху казалось, что головной танк сейчас упрется в стену тайги. Но перед танками тайга расступилась и очистила широкую аллею. Танк бронированной грудью наваливался на деревья, и они с неслышным шумом начинали клониться, клониться и падали — то переломленные, то вырванные с корнем. Танк переползал их поперек или полз одной гусеницей по стволу — от корней до макушки.

В чаще мы остановились и вышли пройти по «танковой аллее». Над на-

шими головами бреющим полетом пролетели ошалелые птицы. Вдруг мы остановились, вытаращив глаза: посреди чащи, где только-что прошли сокрушительные танки, в примятой траве сидела тетерка на яйцах и, не моргая, глядела на нас. Яшка предложил сделать из этой находки хороший завтрак, но командир сказал:

— Уничтожать надо только то, что мешает, а эта пускай сидит себе с миром!

Весело посмеявшись, мы зачихали в бойницы букеты подснежников и спокойно тронулись дальше.

Марш закончился отлично, ни одной аварии. Наша многолетняя любовь к машине помогла нам выдержать испытание. Почистив машины, заправив их горючим, смазочным материалом, мы вышли на свет и растянулись на траве.

Восторг наш возрастал с каждым днем, от каждого практического занятия. Что только эти танки не умели делать? Они переползали широкие овраги, болота, бревна, и не было таких препятствий, перед которыми они останавливались бы в нерешительности.

В нашем батальоне были Костя, Яшка и еще один хороший парень — Володя, — и еще один, не знаю, откуда, тоже парень очень симпатичный, по фамилии Маликов. Он очень хорошо пел: тихо и нежно.

Началось строевое обучение. Боец занимал свое место, и начала работать радиоустановка. Мы уже были такими специалистами в вождении танка, что контролировали механизмы не по приборам, а прямо на слух. Посадка была уже спокойной, без напряжения, — словом, мы приобрели строевую выправку.

В голове уже не вертелись комом мозги, там были разложены по полочкам — точность, расчет, внимание, глазомер. Пустив танк, мы сосредоточиваем внимание на секторе обзора.

Мы изучаем технику преодоления препятствий и ведение боевого огня из танка.

Командир головного танка дал сигнал: брать препятствие. Это было мо-

первое испытание. Нужно было пройти глубокую воронку.

Внимание, — говорю я, — и беру крепче рычаг управления, — это чудовище будет делать то, что я захочу! И вот, он стоит, задрав нос, перед черной ямой. Ждет.

Вдруг его нос начинает опускаться все ниже и ниже; впечатление мягкого падения.

Газ совершенно закрыт, двигатель едва работает, вот машина клюет носом грунт.

В этот миг я даю полный газ, и танк, шевельнувшись, медленно выбирается из воронки.

Танк перебегает поле, на полной скорости подходит ко второму препятствию: это был широкий ров. Танк, не задумываясь, под прямым углом, с разгона, берет его, пробегает по инерции еще немного и останавливается взглянуть — какое впечатление произвел.

Танки шли все вперед и вперед, минуя препятствия, хладнокровные и настойчивые, иногда, словно почуяв врага, они поворачивали боевую башню и словно ждали команды: «Огонь!». Но кругом было тихо, и стрелок смотрелся в зеркальце телескопического прибора, ковырял в зубах и мурлыкал песенку в танкофон.

Танки беспечно шли по цветному лугу. Это были молодые, послушные танки.

V

Яшка все шутил и улыбался такими большими улыбками, что они задевали нас, и, как мы ни клялись, как ни давали слово себе, отцу, командиру, мы не могли сделаться суровыми. Веселая жизнь шла за нами по пятам, и отец говорил: «Вот, сядете в печку, так забудете, как смеяться». И он рассказывал нам, как в молодости был напуган огнем и громом танков, и показывал руки, обожженные о руль. Но это нас не смущало. В новых танках было приятно и уютно. В них было тоже весело! «Ветрогоны!» — говорил отец, но мы не обижались. Уменьше водить машины придавало нам силу и самоуверенность. Конечно, мы уставали. Да

еще как! Тогда мы выпрыгивали на землю и окунали лицо в холодную траву, а Маликов пел:

Лучина, ты моя лучинушка,
Бе-ре-зо-ва-я!
Что же ты, моя лучинушка,
Не ярко горшишь?

А мы, чтобы не мешать ему, молчали. Жевали травку и ни о чем не думали.

Танки стояли на дозоре, кругом была такая тишина, что сон подкрадывался, будто контрабандист.

Но только Маликов замолчал, все поднимали головы, и, усталость исчезала, как дым. Команда.

И все были опять на местах, веселые, как победители.

Маликов знал и другие песни, но другие нас не интересовали, только одна эта «Лучинушка» хорошо лечила нас. Мы знали и другую музыку. Часто на свободном пути мы надевали наушники и слушали концерты из Хабаровска, но то была музыка «вообще», а эта «Лучинушка» — специально для сердца, успокоительная, вроде ландышевых капель. Этой только «Лучинушкой» Маликов и отличался от нас; в остальном же это была пятая капля в нашей компании. Он учился в Омске, а набирался уму-разуму в других городах; в Омске он учился и драться. Омские шоферы — великие знатоки этого дела. Когда-то и у нас это искусство очень ценилось. Яшка был профессор по этой части, но это было так давно, что забывали даже вспоминать. Мы очень выросли. Мы уже читали «Историю гражданской войны», в свободное время обсуждали тактику боя и бомбардировали моего отца такими вопросами, что он пожимал плечами, говоря: «Просто ужас, до чего вы стали умные!». Но мы знали, что ходим на первой ступеньке знаний, что такая высокая лестница впереди нас, а там, дальше, как говорят, «храм науки». Там никаких чудес, там такие же молодцы, как мы, изучали алгебру, историю. Иногда от таких раздумий было невозможно не по себе, это было тогда, когда я сидела за своим столом и, кусая карандаш, не могла ре-

шить уравнение с двумя неизвестными. Но зато, когда мы вели танки, мы забывали о мелких горестях.

Косте пришло письмо: «Родился сын Константин Константинович». Мы прокричали три раза «ура» и решили в виду такого исключительного случая — у первого танкиста родился первый сын — пойти в ближний колхоз поселиться. Был день отдыха. Мы пошли трое; Маликов и Володя из Читы остались играть в футбол.

Только мы прошли колхозное поле, вдруг на опушку выбегает лиса. Это не вранье, действительно, выскакивает лиса, рыжая, как солнце, хвост рулем держа по ветру, летит стрелой. Вдруг с голубого неба бомбой падает на лису огромная птица и прижимает ее к земле. Мы остолбенели, только не Яшка: он выхватывает револьвер, по-снайперски пускает в них пуля в пулю и припиливает обеих к земле. Лиса уже не дрыгала ногами. Мы на нее даже не взглянули, но птица эта, открыв кривой клюв, глядела на нас, шипя, как змея. Вся окровавленная, как хищник империализма, она распластала свои двухметровые крылья, взерошила темнубурые перья и все старалась поднять свою рыжую голову: она мотала головой, будто старалась прогнать туман, застилающий ей глаза. Казалось, она хотела хорошенько разглядеть нас, но пули высасывали из нее кровь, и она слепла. Потом она совсем закрыла круглые глаза и уронила голову. Мы еще боялись ее трогать. Яшка сапогом потюкал ее, она не шевелилась. Мы отошли в сторонку, дали ей еще минут пятнадцать попритворяться, но этот хищник не обманул нас, он в самом деле подох. Тогда мы подняли его и поволокли. Лису — тоже.

Только вошли мы в колхоз, увидели своих знакомых трактористов — и сейчас же стали кричать им и махать своей добычей. Но трактористы, подходя к нам, от удивления замедляли шаг и только взглянули на птицу, только крикнули: «Орла убили! Ну, влопались!» — и помчались от нас, кто куда. Все выглядывали на нас из окон, из дворов, но никто не подходил, не приветствовал

таких героев. Мы не успели даже удивиться, как следует, вдруг из одного двора выбежал старик, заливаясь слезами, как март месяц.

— Беркут мой, беркут! — закричал он, выхватил у Яшки птицу и обеими руками прижал ее к груди.

Старик этот походил на колдуна, и, взглянув на него, мы сейчас же поняли, что влипли. Он был страшнее чорта, этот старик. Бородища из мочалы, щеткой усы; весь лохматый да всклокоченный, — прямо Кашей бессмертный или его сын. Он тыкал в нас кривым пальцем, гладил хищника, бормотал что-то и разливался в три ручья. Наконец, нам удалось разобрать несколько слов.

— Мой беркут, мой серебряный, я сам достал тебя гнездарем, я сам вынашивал тебя и научил тебя ловить добычу!

Потом он повернулся и пошел в народ, который, стоя поодаль, почтительно расступился и пропустил его. А потом, как накинудись на нас, как давая нас чествовать, — мы окончательно обалдели. Мы все стояли и старались понять — в чем дело? А в это время, оказывается, в правлении колхоза шел суд, и не успели мы сдвинуться с места, как нам сообщили о приговоре. За ученого беркута мы должны были уплатить уважаемому охотнику пятьсот рублей.

— Пятьсот рублей, поняли? — сказал председатель колхоза.

— Поняли! — негромким хором ответили мы.

Мы шли домой, понуря головы, и молчали. Пятьсот рублей — это не шутка, есть от чего закручиниться. Но когда Яшка, вздохнув, сказал: «Вот так подстрелил хищника!», — мы не могли удержаться от смеха. Беда перестала казаться нам такой безысходной, когда мы рассказали обо всем отцу. «Ну, что ж, придется вам отработать эти пятьсот рублей в колхозе» — сказал отец.

Эта простая и ясная мысль не только успокоила нас, но и развеселила. И вот в первый же день отдыха мы целым взводом отправились в колхоз на отработку штрафа. Мы сели за трактора, а Яшка, как главный виновник, взялся за

штурвал комбайна, — и началась уборка хлеба.

В другой день отдыха мы уже пришли целой ротой, а на третий мы объявили колхозникам, что весь танковый отряд в порядке шефства выходит на оборочную кампанию в колхоз имени Октябрьской революции.

Старый колдун оказался знатным человеком; он умел приучать хищников — из рода настоящих орлов; его беркуты травили волков и джейранов. Этот знатный охотник был в Москве; вместе с другими спортсменами Союза он проходил по Красной площади, и на плече его сидел, в красной шапочке с кисточкой, ученый беркут, тот самый беркут, которого Яшка так неосторожно убил. Вот что мы узнали. Но горе это все очень скоро забыли, его отодвинула, рассеяла огромная радость нашей дружбы.

Тут после работы мы пили чай с медом, Костя играл на баяне, а трактористки плясали. Маликов пел. Для нас все это было обычно, только старый охотник удивлялся и спрашивал: откуда мы такие взялись? Он качал головой и говорил:

— Скажи, пожалуйста, — из разных мест, а такие, будто все свои, будто из одного дома.

VI

Ехали мы по делу на ближнюю заставу. Видим, на дороге мертвый конь лежит, а впереди по камням ползет человек, оставляя за собой черные следы.

Шофер остановил машину, мы прыгнули и подбежали к человеку. У него была прострелена нога, он полз на руках, и за каждым взмахом рук подтягивал тело вперед; увидя машину, он отполз на край дороги и лег на бок. На нем был военный костюм и револьвер у пояса. Мы хотели его поднять, но он так заскрипел зубами, так застонал, что мы отступили в нерешительности. Он закрыл глаза и собрал силы. Он рассказал нам, как утром он выехал из города с товарищем инженером. Ехал поискать участок, пригодный для посадки картофеля, а инженер ехал насчет по-

стройки моста. Вдруг маленькая пуля, пробив его ногу, убила лошадь. Он показал нам ее. Это была тупая японская пуля, с оболочкой из никеля. Он подобрал ее от нечего делать, когда товарищ его ускакал за врачом на ближний пункт. Потом он кое-как перевязал ногу и стал ждать товарища, но боль была так нестерпима, что он три раза брался за кобуру, но не решался покончить с собой.

Рассказывая это, он с трудом шевелил искусанными, запекшимися губами, но в глазах его мелькали искры довольной улыбки.

— Я думал, — говорил он, — если допозу вон до того камня и не будет легче, так расстегну кобуру. Больше не было сил.

Мы стали поднимать его. Он задыхался от боли и не мог даже стонать.

— Еще немножко потерпите, — уговаривала я его. Мы разостлали шинель: вчетвером тихонечко подняли его и положили на шинель, подхватили его с четырех сторон и осторожно, как могли, подали его ребятам, стоявшим в кузове. Потом мы влезли наверх, и, не опуская раненого на пол, ухватились все за края шинели и держали больного, как в люльке. Шофер уже приготовился трогать, как больной беспokoйно зашевелился. Он сказал мне, указывая на полевую сумку:

— Напиши, пожалуйста: «Лева, не беспокойся, меня подобрали свои».

Я написала эту записку, положила ее на большой камень, куда он указал, прикрыла сверху камушком, чтобы не сдуло, и мы тронулись. Нас бросало и било на крутых поворотах, но мы держали больного на вытянутых руках и были счастливы, наблюдая, как спокойствие разглаживало почерневшее от страданий лицо. Молчали мы от страшной обиды: какая это сволочь оторвала от дела человека, заставила его так страдать? Мы оглядывались по сторонам. Войны нигде не было. Повсюду цвели цветы, и мы прятали месть поглубже в сердце, копили ее, думали: «Ладно, придет время, — за все рассчитаемся!».

VII

Отец уезжал. Для нас это было почти-что горе, но он не хотел видеть наши постные лица; он услаал куда-то Костю по делу, а на меня ворчал:

— Ну, чего сидишь, сложа руки? Возьми-ка иглу, пришей мне пуговицы на гимнастерке.

Я слезла с чемодана и взяла гимнастерку; все пуговицы были на месте. Это отца очень огорчило, что пуговицы крепко сидят на местах; он хотел, чтобы они отлетели или их не было бы совсем. Это его злило, он зашипел на меня еще громче:

— Займись чем-нибудь, не вздыхай, пожалуйста, как барышня.

— Займись, займись,—заладил!—ворчала я, покачиваясь на чемодане. — Я и так скоро буду с младшей группой заниматься.

— Вот и хорошо, — сказал отец, перетаскивая вещи из шкафа на стол.

— Да, тебе хорошо, — ворчала я, — а мне-то не очень. Боюсь, вдруг что забуду, — у кого спрошу? Как я теперь буду, без отца-то?..

— Так вот и будешь, — сказал он, сгоняя меня с чемодана и укладывая туда белье. — Не сиротой остаешься, кругом все отцы да братья. Без меня тесно, и еще идут, и еще придут другие.

«Так-то так, — думала я про себя, соглашаясь с отцом. — Теперь придется встать на обе ноги покрепче. Теперь сама себе командир и сама себе судья. И вообще, давно пора перестать быть дочерью командира — Сергея Михальченко, надо оформляться в самостоятельную единицу, в боевую единицу. Научиться, как шлюз, держать любую напор. В общем, многому научиться».

Отец уезжал в далекую Москву, в Высшую военную академию. Этим можно было бы гордиться и радоваться целиком, но я так давно, почти никогда, не была вместе с отцом, и теперь вот, пожив недолго вместе, я сразу поняла, какое это все-таки огромное счастье — иметь отца, тут вот, от себя недалеко. Чуть где поцарапала руку, — бежишь к отцу за иодом; не знаешь, как решить задачу, — бежишь к нему; опус-

теет в мозгах, — бежишь к отцу: он снова чему-нибудь научит.

Так вот я сидела на втором чемодане и думала, пока он меня не согнал с места, крикнув: «Приготовь хоть чай!».

Пока я в горестном раздумьи разжигала примус и ставила чайник, прибежал Костя и сказал: «Машина подана».

Подхватили они чемоданы и помчались. До поезда оставалось только-только, а еще надо было на вокзале проститься с народом. Танкистов было-о!.. рота а, может быть, две, — не видно ни конца, ни краю. Я даже удивлялась, как отец отличал их друг от друга.

Играла музыка. Все подходили, жали руку командиру, все, кроме меня. Меня в это время так оттерли, что я испугалась, но сейчас же собрала силы, поставила локти, как весла, и начала пробиваться вперед. Отец в это время говорил нашему командиру:

— С них больше спрашивай, они — комсомольцы!

Увидав меня, он засмеялся:

— Выньте носовой платочек, товарищ младший командир!

Я ничего не ответила, мне было не до шуток, и еще в этой суете мне ни одно слово не приходило на ум. Так молча я пожала его руку, молча смотрела, как он, сняв фуражку, входил в вагон. Потом поезд тронулся.

Отец уехал, а музыка все продолжала играть, все продолжали шуметь, и никто не покидал своих мест. Вдруг к передней платформе на всех парах подбежал поезд с запада и встал, как вкопанный. И посыпались из вагона молодчики. Громкая музыка первая рванулась им навстречу. Потом они, что-то крича, побежали вперед; стоявшие на перроне побежали к ним, столкнулись и стали обниматься, тут же, на горячих следах поезда, отошедшего на запад.

Вдруг кто-то и нас стукнул по-своему; повернулись мы, и из шумного моря вынырнула голова Саблина. «Как похож!» — мелькнуло в голове, а он уже кричал: «Маринка!» — и лез обниматься.

— Ты ли это, откуда? — крикнула я.

— Васька, какими судьбами? — кричал Костя.

Саблин стоял перед нами, подбоченясь, как надо.

— Никакой судьбы!.. Просто, пошел в краевой комитет, к секретарю, — записывай, надо быть танкистом... Я до этого додумался не сразу, сама знаешь, Марина, о чем я думал прежде, а потом, когда вы уехали, я все передумал заново.

Мы с Костей переглянулись.

— Так и приехал, и тебя никто не звал?

— Как никто не звал? — сказал он, обидевшись. — Жизнь звала.

Мы еще раз обняли его от всего сердца и пошли на платформу, где уже комбриг торжественно приветствовал вновь прибывших. Он говорил, а мы дополняли все улыбками и дружескими кивками. Мы были рады вновь прибывшим не потому, что нам без них здесь было скучно; сердца расцветали оттого, что нас много и еще придут, и еще.

Костя нетерпеливо ждал писем; они приехали — и письма, и поклоны. Зиночка писала: «Живем хорошо, плохо только, что вас нету». Из больших новостей была только одна: Константин Константинович уже начал улыбаться. Что Феня уехала в Москву учиться, было не ново: это давно было в плане. Но после встречи с Саблиным удивляться ничему не пришлось, его приезд уж никак не был в плане. Мы думали, он такой стяжатель, он строит только свою жизнь. Вспомнили, как он однажды летом подбил нас итти охотиться за счастьем, и мы поехали на Байкал золото мыть. Золота не нашли, но приобрели много такого, что подороже золота!

И вот, мы думали, — ему нужно золото да жена, да хата с краю. Оказалось — нет. Это было очень радостно.

Ему надо было то же, что и нам всем: мир, — прежде всего оградить от опасности нашу большую семью.

Только Костя отошел ненадолго, Саблин шепнул мне таинственно:

— Я привез с собой еще кое-что.

— Золото?

— Почтище золота. Я привез сюда одну идею.

Я сейчас же насторожилась и подозрительно стала следить за ним: уж не

коснется ли эта его новая идея тех старых разговоров, которые мы вели когда-то на проводах? Я сказала на всякий случай:

— Ох, боюсь, что твоя новая идея стара и здесь ни к чему!

Он сейчас же обиделся и сказал, что об идее он до поры до времени говорить не будет. А мне он только хотел напомнить, что любит меня попрежнему.

— Довольно, довольно, ни слова больше! — крикнула я.

— Погоди, — сказал он, схватив меня за рукав, — а если мир отстоим навсегда?

Я подумала-подумала и сказала:

— Ну, тогда напомни.

Мы разошлись и больше никогда не возвращались к этой теме. И он вдруг исчез с моих глаз, и я почти забыла о нем.

С пятнадцатого сентября мы начали обучать новую группу молодых водителей. Мы думали, что это очень просто — рассказывать другим, что знаешь; оказалось, совсем не так. Хотя это были все безусые парни, но никому из них мотор не был в диковинку. В большинстве это были шоферы или трактористы. Они говорили еще об уборке хлебов, о выполненном на «отлично» задании. Они не успели исчерпать и половины энергии на своих участках, они перенесли ее сюда. Что здесь? Овладеть двигателем. Засучиваем рукава, приступаем. Их беспокойный мозг забегал вперед и легко сбивал таких знатоков, как мы.

Сейчас же стало ясно, что наши азбучные знания для них — пустое препятствие; они легко преодолевали его и шли дальше, опережая нас. Угроза была не маленькая. Мы это немедленно учили и долго совещались со старшими товарищами. После занятий мы бежали в библиотеку пополнять свои знания. Все имеющиеся там книги по нашему делу мы быстро прочли. Оставались только английские. Как быть? Командир сказал: «Срочно садитесь за изучение английского языка».

Костя пришел однажды, помахивая английской газетой; он только-что вы-

читал последнюю новость: в Америке пробуют трактор на резиновых гусеницах. Он берет под'ем на шестьдесят градусов; на под'еме останавливается, где угодно; отлично идет по крутому спуску, и все такое. Прочел он, и сейчас же начался диспут о резиновом сплаве, о шпорах, о гусеницах. Они ничего не пропустили мимо глаз и ушей. Они словно поставили перед собой два задания: первое — жить; второе — все познать, — и выполняли эти задания, стараясь изо всех сил.

Никогда еще нам не было так трудно. Началось соревнование; оно не было объявлено, но каждый знал: отстающего бьют — насмешками, иронией, дружескими иголками, тоже не очень приятными. Чтобы быть впереди, надо было учиться, учиться, не останавливаться ни перед какими вопросами. Так, идя от книги к книге, мы вдруг вошли в это могучее русло, которое вело прямо в открытый океан. «Назад! — подсказывал малодушный страх, — не окутаться в эти дебри науки!». Но в наших глазах вспыхивал только один сигнал: «Вперед! По океану науки нас поведет надежный корабль — высшая школа». Не даром отец уехал в Высшую военную академию. Он прошел все начальные речки на углу суденышке. Теперь требовалась пересадка.

Так перед нами открылось будущее. «Знание — сила!» — учил меня давным-давно отец. Нам нужно было много-много силы, чтобы победить. Мы очень хорошо помним слова Сталина о том, что слабых бьют.

Читали мы английскую газету, и вдруг кто-то сказал:

— Ничего, у нас тоже не дремлют. — И стали говорить все о каком-то чудесном изобретении, называя его просто — «ползунок». Изобрел этот «ползунок» молодой механик Саблин.

— Какой это Саблин? — спросила я Костю, когда мы шли в экспериментальные мастерские.

— Да наш! — отвечал Костя так спо-

койно, будто ничего удивительного в этом не было. Но я-то уж никак не могла не удивляться. Васька Саблин... И вдруг, он изобрел какую-то машину? — Не верю, не верю! — твердила я, раздеваясь и поднимаясь по лестнице в экспериментальный зал.

По паркетному полу ходила игрушка, да такая занятная, будто была сработана золотыми руками, для детей. Но видели бы они, как на эту игрушечку таращили глаза большие дяди, как они поднимались с корточек и отступали к стене, когда «ползунок», стремительно вертясь, вдруг надвигался на них, загнав их в угол, он несся в другую сторону и кружился на полу, как солнечный зайчик. Видали мы много занятного, но такого вот «ползунка» встречали впервые.

Саблин не смотрел на нас, он все оборачивался то к одному, то к другому, слушал, что ему говорили, и морщил лоб. Нас он будто бы и не видел. Нам пришлось поработать плечами, прежде чем пробиться к нему.

— Поздравляю, Василий Андреевич, — сказала я.

— Спасибо! — ответил он.

— Тебе спасибо, — сказал Костя, — что придумал такую штуку!

— Веселая штука, — говорили окружающие. — Полезная штука! — И жали Саблину обе руки.

Мы вышли гордые и счастливые, это придавало нам еще больше силы. Мы шли — такие шумные и радостные, что даже небо не казалось нам уж таким высоким, и звезды — такими недоступными. Мы шли и говорили о том, как мы доживем до тех дней, когда «ползунок» вырастет большой, потом обзаведется большой семьей. Мы говорили в эту тихую звездную ночь, что победу должны сделать стахановцы и ударники. Больше угля, металла, машин. Хотя мы очень хорошо знаем, что побеждают не только одним оружием, но и бессмертными идеями. Наша вера в победу сильнее смерти, сильнее многих смертей.

Фрунзе

Перевод с казахского

★

Из глаз батыра¹ струился огонь, —
Он ехал ломать судьбу.
Уздой звенел его рыжий конь
С белым пятном на лбу.
Он ехал по солончакам, по траве,
По желтым горбам песков.
За ним колыхались в густой синеве
Тысячи светлых штыков.
Он по аулам встревожил молву
Силой и смелостью льва.
«Кто это?» — спрашивал ветер
траву,
«Фрунзе!» — шептала трава.
Он появился, как сон наяву,
Слава его несла.
«Откуда он?» — спрашивал ветер
траву,
«Сталин его послал!»
Множились сабли его и штыки!
Весь Казахстан — в пыли:
Все чабаны и все батраки

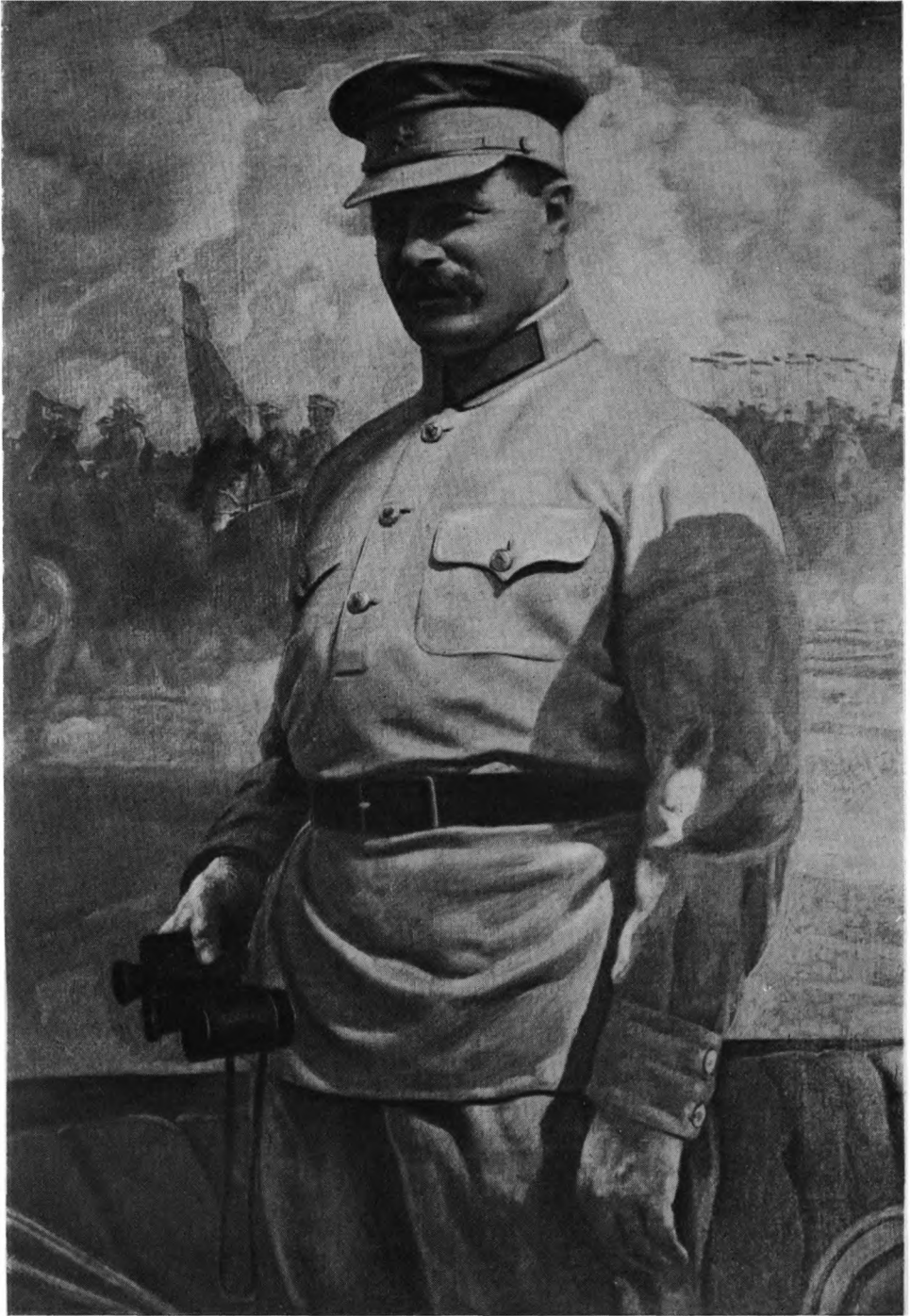
В дальний поход пошли.
Сын бедноты, он ломал судьбу,
Рвал звенья цепей,
Он поднимал на большую борьбу
Всю бедноту степей.
Как голубых его глаз нам не знать?
Как не помнить лица?
Белые банды и байскую² знать
Он разгромил до конца.
С другом, бывало, речь поведет —
Ласково говорит.
Слово его душисто, как мед,
Теплом, как весна, дарит.
Если же с баями вел он речь,
Он беспощаден бывал,
Слово его, будто кованый меч.
Било врагов наповал.
Сквозь Казахстан он прошел в огне.
Он победил судьбу.
Уздой звенел его рыжий конь
С белым пятном на лбу.

Записано в декабре 1936 года со
слов акына Утепа Онгарбаева,
30 лет, в Кастекском районе, Ка-
захской ССР.

Из книги
«Творчество народов СССР»,
изд. ред. «Правда», 1937 г.

¹ Батыр — богатырь.

² Бай — кулак, богач.





Михаил Васильевич Фрунзе

Н. КРУЖКОВ

★

Михаил Васильевич Фрунзе принадлежит к числу замечательных полководцев, возвращенных революцией. Он не был военным человеком по образованию, но вся его боевая, революционная жизнь, насыщенная высоким героизмом, подготовила из него крупного военного деятеля. Тюрьмы, каторга и ссылка не только не сломили Михаила Фрунзе, но, наоборот, в огне лишений и страданий закалился его характер, выработалась несокрушимая воля.

В правительственном сообщении о смерти Михаила Васильевича Фрунзе дана яркая характеристика его великих заслуг перед революцией: «Союз ССР потерял в лице умершего опытного, закаленного в революционной борьбе вождя революционного народа, потерял борца, который всю свою жизнь, от подпольного кружка до ожесточенных боев в гражданской войне, был на самых опасных и передовых постах.

Армия и флот потеряли одного из лучших знатоков военного дела, организатора вооруженных сил Республики, непосредственного руководителя победы над Врангелем и организатора первого победоносного удара против Колчака.

В лице покойного сошел в могилу виднейший член правительства, один из лучших организаторов и руководителей Советского государства».

Михаил Васильевич Фрунзе родился в 1885 году в Семиречьи, уездном го-

родке Пишпек, ныне Фрунзе, Киргизской ССР. Отец его был военным фельдшером. Семья Фрунзе жила бедно, ничтожного фельдшерского жалованья едва хватало на жизнь, но, тем не менее, Михаилу Фрунзе ценой упорного труда и больших лишений удалось получить среднее образование. В 1904 году, по окончании в г. Верном гимназии, Михаил Васильевич уехал в Петербург, где поступил в Политехнический институт. Здесь он сразу попал в кипучий водоворот политической жизни. С конца 1904 года он уже принимает самое активное участие в работе большевистских организаций как прекрасный агитатор и пропагандист. Молодой большевик Михаил Фрунзе быстро завоевал популярность среди рабочих. В ноябре 1904 года во время большой революционной демонстрации он был арестован, затем выслан из Петербурга.

Из Петербурга Фрунзе приехал сперва в Москву, а потом в Иваново-Вознесенский промышленный район Владимирской губернии. Здесь он окончательно сформировался как стойкий и мужественный революционер, пламенный рабочий трибун и прекрасный партийный организатор. Иваново-вознесенские рабочие, являвшиеся одним из передовых отрядов русского рабочего класса, горячо полюбили Михаила Васильевича Фрунзе за его мужество, самоотвержен-

ность и умение объединять вокруг себя людей. Скоро он был избран членом иваново-вознесенского комитета большевиков.

В 1905 году 20-летний Михаил Фрунзе принимает активное участие в восстании московских рабочих. Гром дубасовой артиллерии пробудил у Фрунзе стремление посвятить себя целиком военно-организаторской деятельности. Вооружить рабочий класс, создать народную армию и повести ее на штурм твердынь капитализма, — тогда эти мечты казались фантазией. Впрочем, всего только 12 лет отделяли эту мечту молодого Фрунзе от осуществления.

Двенадцать лет!

За эти годы Фрунзе был несколько раз арестован, приговорен к смертной казни, замененной каторгой, сослан на поселение и снова арестован. В Верхленской тайге, в степях Забайкалья, в Белоруссии, работая под разными фамилиями и кличками, всюду Фрунзе оставался самим собой — верным сыном большевистской партии, борцом за народное счастье.

После февральской революции «след Тараса» отыскался в Минске, — в марте 1917 года мы видим Михаила Васильевича Фрунзе на посту председателя Совета крестьянских депутатов Белоруссии.

В корниловские дни Михаил Васильевич Фрунзе был избран начальником штаба революционных войск Минского участка. Его работа на этом посту сыграла немалую роль в том, что Корнилову не удалось осуществить своего замысла.

Но Михаила Васильевича Фрунзе неудержимо тянуло в Иваново, к ивановским ткачам. К осени 1917 года его желание осуществилось. Снова ивановцы увидели своего дорогого и любимого «Арсения», на этот раз в качестве военного организатора.

В октябрьские дни в Москве успешно сражался с юнкерами и офицерами двухтысячный отряд ивановских рабочих и солдат под водительством Фрунзе. С тех пор до самой смерти Фрунзе не расставался с военной работой, ко-

торая стала для него любимым делом жизни. Он знал, что осуществлено его жизненное призвание, к которому он стремился с юношеских лет.

Фрунзе звал прославленных ивановских рабочих итти на фронт, грудью защищать революцию.

В конце декабря 1918 года на общем партийном собрании в Иваново-Вознесенске Фрунзе сделал большой доклад о военном положении в Советской России. С огромным воодушевлением собрание постановило сформировать из ивановских рабочих, коммунистов и беспартийных, особый отряд и передать его Красной Армии.

В местной газете «Рабочий край» было опубликовано воззвание губернского комитета партии: «Записывайтесь в отряд товарища Фрунзе. В настоящее время формируется отряд особого назначения из товарищей-коммунистов. Отряд вместе с тов. Фрунзе в ближайшее время пойдет на один из фронтов. Товарищи коммунисты Иваново-Вознесенской губернии сумеют выделить достаточное количество добровольцев на фронт. Состояние нашей текстильной промышленности исключительно зависит от успехов красных войск».

Ивановцы знали, что для текстильных фабрик нужен хлопок. Хлопка не было, драгоценное текстильное сырье находилось в областях, занятых белогвардейцами. Ивановские текстильщики решили вооруженной рукой проложить себе дорогу к хлопку, к текстильному сырью.

Около тысячи человек ивановских коммунистов и беспартийных рабочих выехали на колчаковский фронт.

Но еще раньше своих ивановцев выехал на фронт Михаил Васильевич Фрунзе, назначенный командующим IV армией на Восточном фронте.

★

Блестящие военные дарования Михаила Васильевича Фрунзе впервые развернулись в полной мере именно на Восточном фронте, в боях против войск черного адмирала.

Фрунзе не принадлежал к числу тех командиров штабного типа, которые избегают личного участия в боевых операциях. Он считал, что в условиях революционной войны он должен не только быть организатором-командиром, но и показывать личный пример храбрости и самоотверженности, личным примером увлекать за собой бойцов. Поэтому мы постоянно видим Фрунзе на передовых позициях под огнем неприятеля. Он показывал своим войскам высокий образец доблести и мужества.

Иваново-вознесенцы, приехавшие на фронт, долгое время никак не могли повидаться со своим шефом. Когда отряд прибыл в Самару, Фрунзе был уже в Уральске, когда отряд прибыл в Уральск, Фрунзе был на передовых позициях. Ивановцы увидели его, горячо любимого друга и товарища, лишь тогда, когда Фрунзе вернулся с передовых позиций обратно в Уральск. Как описывает Фурманов, встреча была самая радушная, простецкая и задушевно-товарищеская. Ивановцы почувствовали, что перед ними все тот же простой, доступный, всегда такой милый и равный товарищ.

Фурманов рассказывает, что на ивановцев огромное впечатление произвела товарищеская беседа с Фрунзе:

— Ему все понятно, он тут совершенно легко разбирается, все учитывает, предвидит.

На посту командующего IV армией Фрунзе быстро проявил себя как полководец великолепного стиля. Легкость и ясность понимания самого сложного положения, способность к своевременному и тщательному анализу, уверенный подход к решению самых трудных задач сочетались в нем с твердой убежденностью в успехе. Эта убежденность покоилась на тщательном изучении обстановки и не имела ничего общего с легкомысленной верой в то, что победа, успех придут сами. Как настоящий большевик, Фрунзе знал, что победу надо организовать.

В апреле 1919 года, когда колчаковская армия грозной лавиной двинулась на Советскую Россию, когда создалась непосредственная опасность Казани,

Симбирску и Самаре, Фрунзе был назначен командующим четырьмя армиями Южной группы Восточного фронта. Две трети боевых сил Восточного фронта были отданы под руководство прекрасного полководца - большевика. В чрезвычайно напряженной обстановке, когда казалось, что вот-вот дрогнет весь Восточный фронт и Колчаку будет открыта дорога к сердцу Советской страны, Фрунзе организовал и мастерски провел удар во фланг наступавшим колчаковским армиям из района Бузулука. 4 мая 1919 года был неожиданно для противника взят Бугуруслан, 13 мая — Бугульма, 17 мая — Белебей.

Эта великолепно проведенная операция свела на-нет все колчаковское наступление. Войска черного адмирала покатались назад, в Сибирь. Инициатива бесповоротно перешла в руки Красной Армии. Судьба колчаковщины была предрешена.

Армия Фрунзе энергично развивала успешное наступление. 9 июня пала Уфа, были захвачены переправы через реки Белую и Уфу, отступление колчаковцев превращалось в бегство.

При наступлении на Уфу, во время переправы через р. Белую, у селения Красный Яр, тов. Фрунзе, находясь с Иваново-Вознесенским полком на передовых позициях, был контужен разорвавшейся бомбой с вражеского самолета.

За уфимскую операцию Михаил Васильевич Фрунзе был награжден орденом Красного Знамени.

В конце июня Фрунзе был назначен командующим всеми армиями Восточного фронта. Под его руководством был занят Челябинск, перейден Уральский хребет и начато безостановочное наступление на Омск — столицу сибирского адмирала.

Громадные успехи, одержанные Фрунзе, открыли советским войскам дорогу в Туркестан. Армии Восточного фронта разделились по двум направлениям: одни продолжали вести наступление вдоль Сибирской железнодорожной магистрали, другие свернули на юг. Фрунзе принял на себя командование армией Туркестанского направления.



Парад Красной Армии в Харькове, 1919 г.

В своем выступлении на VII Всероссийском Съезде Советов Михаил Васильевич Фрунзе сообщил делегатам, что «вслед за разгромом южной армии Колчака, пришедшей в развал в сентябре, вслед за пленением ее почти поголовно армией Туркестанского фронта, был открыт путь в советский Туркестан. Тем самым была открыта дорога к одному из важнейших продуктов туркестанского сырья — к туркестанскому хлопку. Вслед за этим, в результате непрерывного движения нашего на восток, которым все далее и далее отодвигался наш противник, мы в конце концов овладели столицей Колчака, гор. Омском. В настоящее время мы имеем перед собой уже не цельную, организованную армию противника, а жалкие ее остатки. Противник, кроме того, имеет у себя в тылу могучие партизанские красные отряды, и можно с уверенностью утверждать, что отныне перед нами открывается дорога далеко на восток. Противника, как организованной силы, на Восточном фронте в данный момент нет, и нет сомнения, что это

приведет к скорому концу разрешение наших военных задач на восточных окраинах республики, позволит нам даже в кратчайший срок эти задачи разрешить».

С энтузиазмом приветствовал съезд доблестного полководца Михаила Васильевича Фрунзе, под командованием которого в течение года Советской республике была возвращена огромная территория с населением в тринадцать миллионов человек. Республике был возвращен и Туркестан.

Под палящим солнцем среднеазиатских пустынь армия Фрунзе двигалась все дальше и дальше на юг. В течение весны и лета 1920 года Фрунзе ликвидирует Семиреченский белогвардейский фронт и оказывает помощь трудящимся бухарского эмирата, восставшим против своего поработителя. Войска эмира были разбиты, сам эмир бежал в Афганистан, и над древней Бухарой взвился красный флаг революции. Вплоть до границ Китая и Афганистана продвинулись полки Туркестанской армии Фрунзе.



Парад Красной Армии в Москве. Ноябрь 1935 г.

★

В это время на другом конце Советской страны активизировался и перешел к решительным действиям новый враг — последний белогвардейский недобиток, барон Врангель, засевший в Крыму, реорганизовавший там свою армию и выступивший в тот самый момент, когда Советская Россия громила войска панской Польши.

Главные силы Красной Армии в это время стремительно наступали на Варшаву и Львов. Врангель вылез из своей норы, отбросил незначительные силы советских войск и начал быстро двигаться в направлении Екатеринослава и Мариуполя. Надо было в экстренном порядке предпринимать самые решительные меры для того, чтобы не повторился 1919 год. Товарищ Ленин писал, что нужно опять напрячь все силы, что победа над Врангелем — главная и основная задача.

21 сентября 1920 года был сформирован Южный фронт, и командующим

его назначен Михаил Васильевич Фрунзе. На этом высоком посту он покрыл себя неувядаемой славой.

27 сентября Фрунзе вступил в исполнение своих новых обязанностей. Его обращение к красноармейцам и всему командному и политическому составу фронта является образцом революционного военного стиля:

«Товарищи! Вся рабоче-крестьянская Россия, затаив дыхание, следит сейчас за ходом вашей борьбы здесь, на врангелевском фронте. Наша измученная, исстрадавшаяся и изголодавшаяся, но попрежнему крепкая духом, сермяжная Русь жаждет мира, чтобы скорее взяться за лечение нанесенных войной ран. скорее дать возможность народу забыть о муках и лишениях ныне переживаемого периода борьбы. И на пути к этому миру она встречает сильнейшее препятствие в лице крымского разбойника — барона Врангеля.

Это — тот самый барон Врангель, который, несмотря на крушение контрреволюционных затей своих черносотенных предшественников: адмирала Колча-

ка, генералов Корнилова, Юденича, Деникина и др., все еще продолжает пробивать себе дорогу к царскому трону через горы рабочих и крестьянских трупов...

Это — тот барон Врангель, который в последние дни глубоко вонзил свой нож в спину России, сорвав победный марш армии Западного фронта и наш мир с Польшей...

На нас, на наши армии, падает задача... развеять прахом все расчеты и козни врагов трудового народа. Этот удар должен быть стремительным и молниеносным. Он должен избавить страну от тягот зимней кампании, должен теперь же, в ближайшее время, раз навсегда закончить последние счета с капиталом...

Врангель должен быть разгромлен, и это сделают армии Южногфронта».

Барон Врангель был чрезвычайно серьезным противником. Из остатков Добровольческой армии он сумел сколотить отличные боевые части. Костяком их было закаленное в боях белогвардейское офицерство и контрреволюционное казачество, полное ненависти к красным. Вооруженная на деньги французских капиталистов по последнему слову военной техники, армия Врангеля представляла из себя крупную военную силу. Само географическое положение Крымского полуострова давало возможность Врангелю создать цепь укреплений, запиравших наглухо ворота в Крым.

Прежде, чем перейти в решительное наступление против нового серьезного противника, Фрунзе реорганизовал и усилил войска Южного фронта.

24 октября 1920 года Фрунзе был отдан приказ о переходе в наступление по всему фронту: «Красные бойцы фронта! — писал в приказе командующий. — Для нас наступил час последнего и решительного боя. Никакого отступления отныне не будет, каждый должен выполнить свой долг до конца. Вперед на врага! Да сгинет последний счаг контрреволюции! Да здравствует наша победоносная рабоче-крестьянская Красная армия!».

План операций, выработанный Фрунзе, сводился к тому, чтобы не допустить отхода противника в Крым, уничтожить его главные силы и стремиться на плечах противника овладеть перешейками.

Начались кровавые бои, равных которым не было во время всей гражданской войны. Выполняя приказ своего командующего, армии Южного фронта нанесли противнику ряд жестоких ударов, вынудив его к поспешному отступлению под прикрытием Перекопских, Чонгарских и Юшунских позиций. Эти позиции были чрезвычайно укреплены и считались неприступными. Сосредоточенные в большом количестве артиллерия и пулеметы давали возможность развивать огонь ураганной силы, способный, казалось, сокрушить любое наступление.

Перед армиями Южного фронта встала труднейшая задача — лобовой атакой, штурмом взять последний оплот врангелевских войск.

Эти незабываемые бои вошли в историю нашей гражданской войны под общим названием:

«Перекоп».

Легендарной славой овеваны солончаковые перекопские степи. Народ поет песни в честь доблестных бойцов Красной Армии, сложивших свои головы в боях под Перекопом. До сих пор еще находят люди то заржавленное оружие, то осколки снаряда в тех местах, где теперь расстилаются богатые колхозные поля. Как святые реликвии, народ оберегает все, что является свидетельством этих героических боев.

... В холодную, мрачную осеннюю ночь начали красные войска беспримерный штурм Перекопских позиций. Свинцовый дождь сметал наступающие части. Падали передние цепи, а за ними непрерывной стеной шли новые и новые бойцы, соревнуясь друг с другом в беззаветной храбрости. Шли испытанные ветераны боев на Восточном фронте. Шли молодые красноармейцы, еще не обстрелянные, но полные революционного пыла.

У каждого была одна мысль — во что бы то ни стало ворваться в Крым,

ибо это означало конец войне, конец лишениям, начало мирной жизни.

Командующий Южным фронтом товарищ Фрунзе приказал частям VI армии не позднее 8 ноября переправиться через Сиваш. В 12 часов ночи оркестры заиграли «Интернационал». Полки пошли вброд через Сиваш, для того чтобы обойти с фланга перекопские позиции. Двигались осторожно. И вот, наконец, вязкие топи Сиваша остались позади.

Бой разгорелся по всей линии наступления. Враг сопротивлялся отчаянно. К тому же начался прилив, и броды в Сиваше потерялись. Переправившиеся части оказались отрезанными от тыла. Против изолированных передовых частей враг бросил свою лучшую конницу. Возникла опасность, что авангард советских войск будет уничтожен.

Но одновременно с этим развертывался лобовой штурм неприступного Перекопа. В 1 час 40 минут ночи первая атака была с большими потерями отбита. В 2 часа 50 минут ночи была отбита вторая атака, но это не остановило напора войск революции — части 51-й дивизии и огневой бригады под командой нынешнего маршала Блюхера ринулись на новый штурм. В 3 часа 30 минут ночи Перекопский вал был прорван.

Лихая красная конница ринулась в прорыв, сея панику в рядах отступающих врангелевцев.

Михаил Васильевич Фрунзе в своей статье «Памяти Перекопа и Чонгара» пишет:

«... Части 51-й дивизии в 3 часа 30 минут по полуночи овладели штурмом Перекопским валом и продолжают наступление на Армянский базар. Прочитал донесения, и с плеч словно гора свалилась. Правда, это еще не означало окончание задачи, ибо дальше путь в Крым преграждали сильные Юшунские позиции, и главная развязка всей операции должна была произойти там, но все же со взятием Перекопа для нас в значительной мере ослабела опасность погубить целиком две дивизии, отрезываемые водами Сиваша».

На следующую ночь 30-я стрелковая дивизия начала штурм Чонгарских по-

зиций. Настроение полков было выше всяких похвал. Сообщение о взятии VI армией Перекопа подняло настроение. Бойцы рвались в бой. Утром враг был разбит и на этом участке. 30-я дивизия стремительно ворвалась в Джанкой.

Фрунзе в своей статье пишет:

«Победа, и победа блестящая, была одержана по всей линии. Но досталась она нам дорогой ценой. Кровью десяти тысяч своих лучших сынов оплатили рабочий класс и крестьянство свой последний, смертельный удар контрреволюции. Революционный порыв оказался сильнее соединенных усилий природы, техники и смертоносного огня».

Память об этих десяти тысячах красных героев, легших у входов в Крым за рабочее и крестьянское дело, должна быть вечно светла и жива в сознании всех трудящихся. Если нам теперь легче, если мы, наконец, окончательно закрепили торжество труда не только на военном, но и на хозяйственном фронте, то не забудем, что этим мы в значительной степени обязаны героям Перекопа и Чонгара. Их незабвенной памяти посвящаю эти строки и перед ними склоняюсь обнаженной головой».

Итак, последний оплот контрреволюции пал.

Жалкие остатки врангелевских войск погрузились на корабли и уплыли в Константинополь.

16 ноября Крым был целиком и полностью очищен от белых войск. 17 ноября в Симферополе тов. Фрунзе обратился к армиям фронта с приветственным приказом, в котором писал: «Отныне красное знамя — знамя борьбы и победы реет в долинах и на высотах Крыма и грозным призраком преследует остатки врагов, ищущих спасения на кораблях. 50 дней прошло с момента образования Южфронта; за этот короткий срок, благодаря вашей стойкости и энергии, была ликвидирована угроза врага Донбассейну, очищено все Приднепровье и занят весь Крым. Честь и слава погибшим в борьбе за свободу, вечная слава творцам революции и освободителям трудового народа. Особо отмечаю исключительную доблесть 51 и

15 стр. дивизий в упорных боях под Юшунюм, героическую атаку 30 стр. дивизией Чонгарских переправ, лихую работу 1 и 2 конармий, выполнивших задачу вдвое скорее поставленного срока, и всех многих героев, давших новую великую победу нашей советской республике».

Задача, поставленная перед Фрунзе, была им блистательно выполнена. Но боевая работа еще не закончилась. Еще бродили по Украине петлюровские и махновские шайки, еще копошились различные бандитские отряды, мешая советскому народу строить новую жизнь.

Партия и правительство послали Фрунзе очистить Украину от петлюровских, махновских и иных банд. Фрунзе получил двойное ранение в правый бок; плащ Фрунзе был прострелен семью пулями. Это задание было также им блестяще выполнено, с большой опасностью для жизни. За ликвидацию махновцев правительством наградило Михаила Васильевича Фрунзе вторым орденом Красного Знамени.

В 1922 году, когда Турция героически отстаивала свое существование от интервентов, когда Константинополь был занят войсками Антанты, а греки, вооруженные на деньги империалистов, подходили к Ангоре, нами было снаряжено чрезвычайное посольство в Турцию во главе с Михаилом Васильевичем Фрунзе.

Советы Фрунзе оказали большую помощь молодой Турецкой республике.

Вскоре после приезда Фрунзе греки были наголову разбиты и выброшены из пределов Турции.

В 1924 г. Фрунзе становится во главе всей Красной Армии. На его долю выпала громадная работа по созданию и реорганизации вооруженных сил Республики. Предательская, разлагающая работа Троцкого оставила тяжелые следы в системе организации Красной Армии. Надо было перестраивать армию, сделать ее надежным оплотом завоеванной революции.

Михаил Васильевич Фрунзе вошел в историю Великой Социалистической революции как один из крупнейших организаторов и вождей Красной Армии.

Заветы, которые он оставил, до сих пор еще имеют огромное практическое значение. Фрунзе говорил, что армию военного времени, которая и будет настоящей Красной Армией, составит весь вооруженный советский народ.. «Нам нужно беспощадно разбивать эти иллюзии, этот детский лепет о том, что в современной мировой обстановке нам нужно иметь маленькую, но кадровую армию. Эта кадровая армия при огромном протяжении наших границ с задачей обороны Советского Союза не справится».

В своей статье в «Правде» «Даешь технику!» Фрунзе писал: «Даешь технику» — вот лозунг, с которым Красная армия обращается в седьмую годовщину своего существования к отечественной промышленности, к рабочим, инженерам, техникам, химикам и ученым Советского Союза... Только этим путем мы добьемся побед «с малой кровью», с наименьшими жертвами. Только этим путем Красная армия даст Союзу рабоче-крестьянских республик ту мощь, о которую разобьются бешеные волны окружающего нас моря буржуазной злобы, вражды и ненависти».

С исчерпывающей ясностью Михаил Васильевич Фрунзе поставил вопросы взаимодействия фронта и тыла в будущей войне: «Фронт в смысле района, непосредственно охваченного военными действиями, теряет характер прежнего живого барьера, преграждавшего врагу доступ в «тыл». Если не полностью, то во всяком случае в значительной своей части (в зависимости главным образом от размеров территории данной страны) тыл теперь совмещается с фронтом. Отсюда — новые задачи и новые методы подготовки обороны страны и в частности новая роль самого тыла как прямого участника в деле борьбы. Раз непосредственная тяжесть ведения войны падает на весь народ, на всю страну, раз тыл приобретает такое значение в общем ходе военных операций, то естественно на первое место выступает задача всесторонней и планомерной подготовки его еще в мирное время».

Как настоящий большевик Фрунзе прекрасно понимал, что стратегия в узко военном смысле этого слова является частью стратегии политической. Поэтому огромное внимание он уделяет укреплению политической работы в Красной Армии.

«Наш командир, — писал он в статье «Вопросы высшего военного образования», — должен уметь ставить работу так, чтобы масса видела в нем не только технического руководителя, но и воспитателя. Но это возможно только в том случае, если наш командир будет иметь достаточно широкий политический кругозор...

Короче говоря, для того чтобы наш командир рабоче-крестьянской Красной армии стоял на должной высоте как командир совершенно своеобразной армии социалистической революции, — для этого нужно, чтобы он в совершенстве овладел методом марксизма и ленинизма».

Все это писалось 13 лет тому назад, но, тем не менее, до сих пор указания и выводы Михаила Васильевича Фрунзе сохраняют свою силу.

★

Великий мастер победы, Михаил Васильевич Фрунзе является гордостью нашей Красной Армии. Его имя окружено в нашей стране величайшим ореолом. Подобно Дзержинскому, Куйбышеву, Кирову, Орджоникидзе и другим мужественным орлам большевистской партии, он соединил в своей личности все черты, которые присущи подлинному большевику-революционеру. Один из крупнейших полководцев нашего времени, блестящий военный теоретик, он вместе с тем на протяжении всей своей жизни являет образ непримиримого, честного, мужественного, доблестного большевика, до конца преданного пар-

тии Ленина—Сталина. У него не было других интересов, кроме интересов партии, у него не было других забот, кроме забот о благе народа, о победе коммунизма.

И сейчас, когда мы видим, как выросла и укрепилась наша героическая Красная Армия — вооруженный авангард советского народа, когда мы видим могучие полки, оснащенные первоклассной оборонной техникой, когда мы видим грозное движение наших танков, слышим тяжелую поступь нашей мощной артиллерии, когда мы видим тысячи и десятки тысяч самолетов, идущих развернутым боевым строем, мы знаем — это результат и тех громадных трудов, какие вложил Михаил Васильевич Фрунзе в дело организации нашей Красной Армии.

В своей статье «Памяти дорогого друга М. В. Фрунзе» его достойный преемник и продолжатель — Маршал Советского Союза Климент Ефремович Ворошилов — писал:

«И вот его нет... Нет лучшего из наилучших. Не стало полководца-вождя, не стало крупнейшего большевика-политика, перестало биться сердце, кристально чистое.

А жизнь идет своим чередом. Дело, которому служил и отдал жизнь незабвенный друг, попрежнему требует напряжения всех сил и воли. Воля на миг парализована. А сила? Нет, силы нас не оставили. И мы утверждаем: дело Михаила Васильевича Фрунзе есть дело всего мирового пролетариата, и оно будет доведено до победного конца».

В XX годовщину Рабоче-Крестьянской Красной Армии и Военно-Морского Флота вся могучая Советская страна склоняет свои революционные знамена перед памятью Михаила Васильевича Фрунзе, крупнейшего полководца, блестящего государственного деятеля, пламенного большевика.

Обращение к Ворошилову

Перевод с казахского

★

Привет тебе, Клим Ворошилов,
Испытанный сын бедноты.
Кипят в тебе грозные силы,
Но полон спокойствия ты.

Лишь крикни — и зов твой услышит
Великий степной Казахстан.
Умом и отвагой ты выше,
Чем в песнях народа Рустам¹.

Все армии вражьи разбил ты —
Был путь их от крови багров.
Твой конь боевой, знаменитый
Промчался по трупам врагов.

В борьбе и в бессонных походах
Ты силы своей не щадил,
За славу и счастье народо́в
В жестокие битвы ходил.

Летит твое имя, как песня,
До черных песков Кара-Кум,
Шумит твоя слава чудесней,
Чем слава Сарсар и Заркум².

Свободна, от края до края,
От вражьих налетов страна,

И сабля твоя золотая
Тебе по заслугам дана.

Нам враг недобитый не страшен,
Мы примем навязанный бой...
Ты с нами, ты с нами на страже,
Советских земель часовой!

И если о битве набатом
Тревожные вести дойдут, —
За рыжим твоим казанатом³
Коней миллионы пойдут!

Мы вспомним години походов
И выступим тигров смелей
За мирное счастье народов,
За верное братство народов,
За гордую славу народов
Под грозной командой твоей.

В нас зреет могучая сила,
Не страшен нам завтрашний бой.
Учи нас, батыр⁴ Ворошилов,
Учи и веди за собой!

Записано в январе 1936 г. со
слов акына Ертая в Илийском райо-
не, Казахской ССР.

Из книги
«Творчество нарсов СССР»,
изд. ред. «Правда», 1937 г

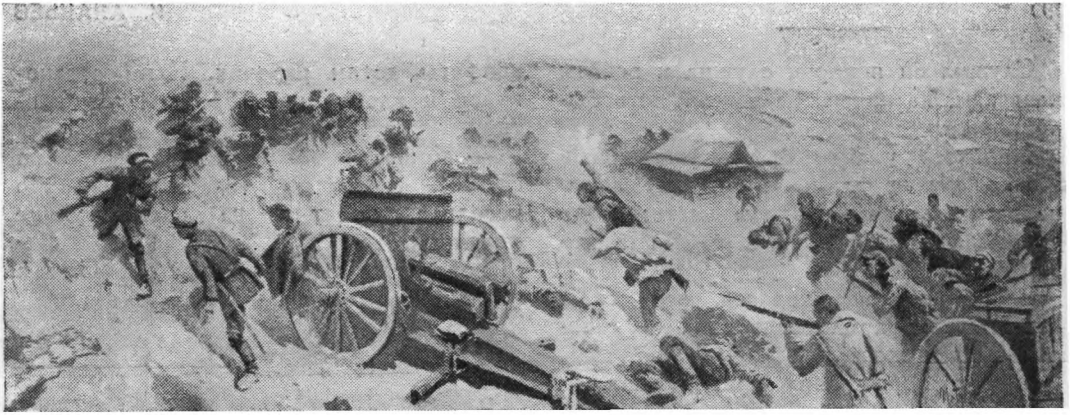
¹ *Рустам* (*Рустем*) — герой «Шах-Намэ»,
поэмы Фирдоуси.

² *Сарсар* и *Заркум* — легендарные герои
персидского эпоса.

³ *Казанат* — породистый конь.

⁴ *Батыр* — богатырь.





Худ. М. Б. Грекоз. Оборона Царицына

Климент Ворошилов

К. АНАНЬЕВ

★

На краю залитого солнцем поля золотой пшеницы, близ широкой проселочной дороги, соединяющей редкие в этих местах села и хутора, сидели пятилетний мальчик и восьмилетняя девочка. Белокурый мальчуган был одет в порванную и вылинявшую рубашонку, девочка была одета в заплатанное ситцевое платьице. В двух ее косичках были вплетены голубые васильки и ромашки. У обоих босые загорелые ноги были покрыты густым слоем пыли. Около них лежал небольшой холщевый мешок, наполненный кусками хлеба. Мальчику не сиделось. Он то-и-дело быстрым движением глаз и головы следил то за полетом птиц, то за беготней суслика, то за бабочкой. Очень много вокруг него, в мире было интересного. По дороге шли волы, запряженные в арбы. Украинцы и донские казаки погоняли их:

— Цоб! цоб тоби!..

Но некогда было обращать на все это внимание. Девочка, хотя и сама утомилась, поднимала мальчугана, и они

Из книги, готовящейся к печати Детиздатом ЦК ВЛКСМ.

шагали дальше. Они были заняты делом: они собирали хлеб, просили его у прохожих и у крестьян в деревнях. Это были брат и сестра, звали их Климент и Анна. Они были дети железнодорожного сторожа Ефрема Ворошилова и его жены Марии Васильевны. Жили они в селе Верхнем. Туда они недавно переехали из железнодорожной будки, что на высоком косогоре близ с. Верхнего. В этой будке родился 23 января 1881 года будущий вождь Красной Армии, Нарком обороны СССР и первый Маршал Советского Союза Климент Ефремович Ворошилов.

В этот год особенно бедно жилось Ворошиловым; отец Ефрем Ворошилов был безработным, а мать Мария Васильевна, хоть и выбивалась из сил на поденных работах, все же прокормить, обути и одеть семью не могла.

Ефрем Ворошилов был старый рабочий, много повидавший на своем веку. Он был и шахтером, и сторожем. Был он и солдатом. В солдатах он прослужил не больше и не меньше как двадцать пять лет: такова была тогда «царская служба».

Служил он и царю, служил и всяким хозяевам, да ничего не нажил; есть было нечего.

Характер у него был неуживчивый. Хозяев он не любил и поэтому долго не засиживался на одном месте; опять оказывался без работы и уходил искать заработка.

— Мучают нас хозяева, все силы выматывают, а платят гроши, — говорил Ефрем жене.

Ефрем Ворошилов принадлежал к тем рабочим, которые еще тогда протестовали — бунтовали против хозяев, против жестокой эксплуатации, но их было еще мало, они были еще одиночки.

И вот, когда в доме не оставалось ни куска хлеба, мать со слезами на глазах обнимала ребят и снаряжала их в путь.

Девочка брала за руку маленького брата. Они шли «по миру». Мальчик шагал с серьезным лицом, босиком, с сумой за плечами.

Это был Климент Ворошилов. Ему было пять лет. Так он начинал свою жизнь.

★

С ранних лет Клим Ворошилов пошел по стопам отца — в шахты. Он выбирал колчедан. Десять копеек за 12—14 часов работы в день — заработок Клима. Весь этот заработок маленький Клим приносил матери.

Питались Ворошиловы плохо. Ели борщ, и большей частью без мяса, да ржаные галушки, замешенные на воде. А в это время рядом стояли огромные амбары помещика, заваленные пшеницей.

★

В летние школьные каникулы Клим с товарищами работал у помещика. Как-то лопатили пшеницу от зари до зари, устали до изнеможения, получили за день по двадцать копеек. Вместе со своими друзьями возвращался Клим домой мимо дачи помещика Алчевского. Помещик только-что приехал и на каких-то своих радостях разбрасывал

конфеты детям рабочих. Клим остановился и злобно посмотрел на эту картину.

— Конфетки-то наши. За наш счет, — сказал он товарищам. — Но погодите, будет и на нашей улице праздник.

Товарищи очень удивились. Они в первый раз слышали такие слова.

★

В 1896 году, когда 15-летний Клим поступил подручным слесаря на Юрьевский завод, при ст. Алчевская, многое уже было ясно Климу. Он уже понимал, зачем на заводе полиция, что такое хозяйская прибыль, куда она идет и что такое рабочее «жалованье».

... Не выносил Клим полиции. Не ломал перед полицейскими шапки. Однажды летом мирно, как обычно, шли с завода рабочие. Среди них Клим. Рабочие уже издали увидели у дома почтмейстера нового полицейского пристава.

— Гляди, — говорили они друг другу, — нового прислали. Это Греков. Зверь-зверем.

Не прибавляя шага, медленно шли мимо пристава Грекова рабочие. Греков сверкал серебряными погонами со звездочками, галунным поясом, белоснежным кителем, новенькими синими шароварами и лакированными сапогами. Сбоку висела шашка, у пояса — револьвер в лакированной кобуре. Греков сидел на скамейке около дома почтмейстера в окружении важных дам — жен администрации завода. Греков не спускал сверкающих глаз с рабочих. Рабочие, нехотя снимая шапки, проходили мимо.

Клим не снял своей кепки перед полицейским.

Как тигр, сорвался Греков с места и бросился на юношу.

— Шапку долой!

«Почему же долой?» — думал Клим.

Но в тот же миг он почувствовал, как Греков схватил его за воротник рубашки, которая под его пальцами затрещала по всем швам.

— Шапку долой, прохвост! — кричал в иступлении Греков.

Вскипел от обиды Клима. Он вцепился обеими руками в белоснежный воротник кителя пристава, оставляя на нем черно-желтые пятна смазки крана. Греков побагровел от ярости и смелости Клима. Рабочие разбежались. Дамы и почтмейстер исчезли.

Но на зов пристава прибежали городовые. Они избили Клима и затем посадили за решетку в полицейский участок при заводе.

Это был первый арест Клима Ворошилова. Это уже было бунтарство на глазах рабочих почти всего завода.

★

В 1903 году в одном из цехов огромного паровозостроительного завода Гартмана в Луганске стоял у своего рабочего места молодой рабочий. Увлеченный работой и мыслями, он не заметил, как сзади подошел пристав, и вздрогнул, когда на его плечо легла тяжелая волосатая рука полицейского. Рабочий оглянулся и, слегка прищурив глаза, посмотрел вопросительно на пристава, как бы говоря: «Знаем, знаем, зачем опять пришли».

— Фамилия? Имя? — хрипло пробасил пристав.

— Ворошилов, Климент, — ответил рабочий.

— Бросай работу, сдавай инструменты, ступай в контору за расчетом, и чтоб твоего духа не только на заводе, но и в городе не было! Слышал? Живо! Чортов социалист!

Молодой рабочий усмехнулся, вытер руки и отправился в контору.

Так закончился трехмесячный трудовой стаж Ворошилова на новом месте работы — Гартмановском заводе в Луганске.

В тот же день Ворошилов, перейдя опять на нелегальное положение, стал называться «Плаховым».

В эти месяцы усилил Ворошилов печатание прокламаций. Печатал главным образом сам, в разных местах, в том числе и на Брянском руднике.

Всего лишь три месяца назад поступил он на Гартмановский завод. Поступил он рабочим, по рекомендации старого своего учителя С. М. Рыжкова, пе-

решедшего учителем на тот же завод. А он — уже признанный руководитель рабочих. Да и учителя своего он может теперь сам многому научить. Бывший ученик Рыжкова не только любознательный мальчик и не только читает книжки. Он уже член социал-демократической рабочей партии, организатор подпольного кружка в чугунолитейном цеху одного из крупнейших заводов России — завода Гартмана.

В 1903 году на Луганском заводе — около шести тысяч рабочих. Кружок уже выделил свой подпольный комитет. Комитет связан с социал-демократическим союзом горно-заводских рабочих. Рабочие уже не те. Эти уже не побегут, когда будут избивать их друга...

Молодой слесарь, в потертом черном пиджачке, в черной русской рубашке, в простенькой кепке и вылинявших брюках, заткнутых в яловочные высокие сапоги, идет к выходу, шагает по цехам завода Гартмана, в контору, получать расчет.

Вокруг себя он видит дружеские улыбки, ободряющие жесты.

— Опять сняли Клима, сволочи... — пронесится по цехам.

— Приходи ко мне — спрячу, — шепнул Климу его друг, рабочий Саша Пархоменко.

Рабочие с уважением провожают своего организатора. Они знают, что сегодня же вечером снова услышат голос «Володи», его речь. Он уже опытный революционный борец. Он один из тех, кто подготавливает будущий взрыв рабочего гнева. «Володя» делает решительно все. Он ведет ту черновую подпольную, повседневную работу, которая требует каждодневной, многочасовой кипучей деятельности. Эта упорная ворошиловская деятельность привела луганскую организацию к высокому званию передовой большевистской организации в Донбассе.

Вот «Володя» сам пишет воззвания, прокламации и сам же их печатает на гектографе; вот он руководит кружком. В кружке занимаются серьезно, пишут рефераты, взволнованно слушают Ворошилова.

Ворошилов закладывает начало боевых рабочих дружин. Он вербовщик новых членов партии из испытанных рабочих. Он сам распространяет воззвания и прокламации, он организует и проводит массовки, стачки и забастовки. Ворошилова видят организатором и оратором на массовках и в Орловской балке, в Павловской базе, на Жилинском руднике, на Французском руднике, в Красной балке, под Большой Варгункою.

На массовки идут в одиночку, собираются тайком с наступлением темноты. Соберутся, сядут, начнутся занятия или речи. Луна своим холодным светом освещает собравшихся, уступы оврагов, выжженные донецкие поля, холмы. А на холмах лежат, притаившись, рабочие боевики-караульные. Зорки глаза караульных. Густ еще мрак над страной и очень силен враг. Крепко держит он эту страну лапами полицейских, жандармов, шпиков; нельзя дать шупальцам этого спрута пробраться сюда, чтобы затушить первые искры революции...

Слесаря Ворошилова убрали с завода, но он остался среди луганских рабочих. Ворошилова полиция выслала из Луганска. Слесаря Ворошилова нет в Луганске; но есть большевик-организатор «Плахов».

★

— Товарищи, эти негодяи начали ремонт старой тюрьмы, готовят ее для пролетариата Донбасса. Сожжем, товарищи, тюрьму?!

— Сожжем, Клим, — решительно ответили рабочие.

В наступивших сумерках запылала красными языками луганская старая тюрьма. Тревожно спрашивали жители Луганска друг друга:

— Что это горит?

Рабочие веселыми голосами отвечали:

— Тюрьма, товарищ, тюрьма, не жалеи.

... Вспыхнула новая забастовка на заводе Гартмана. Надо было добиться удовлетворения всех требований рабочих.

Ворошилов вел рабочее собрание на

большом лугу близ завода. В это время 60 городских с револьверами наготове ползли на животах по балке и оврагам, окружая кольцом массовку. Они решили разгромить революционное ядро луганских рабочих.

Не успели караульные дать сигналы собравшимся, как городские открыли стрельбу прямо по гуще рабочих. Огромная толпа рабочих от неожиданности бросилась врассыпную. Значительная часть рабочих бросилась к реке Луганке и, бросая по дороге пиджаки, сапоги, бросилась переправляться вплавь на другую сторону.

Городские не прекращали стрельбы. Ворошилов отступал одним из последних. Когда он подбежал к реке и, оглянувшись, увидел эту паническую картину бегства, он остановился.

«Не поплыву! Не побегу от этих палачей» — решил Клим Ворошилов и остался на этом берегу.

Пули продолжали свистеть над головой Ворошилова, но он, спокойно сжимая кулаки, продолжал стоять на берегу.

Как разъяренные дикие звери, бросились полицейские на Ворошилова с взведенными курками револьверов и, сбив его с ног, стали бить его сапогами...

Ворошилов очнулся только в полицейском участке, где нашел и другого партийца, также смертельно избитого. Всю ночь полицейские приходили в камеру и издевались.

— Депутаты, революционеры, перевешать бы вас всех! — кричали они и снова били, били кулаками, швабрами, метлами, сапогами.

Однако было заметно, что полицейские боялись нападения рабочих на участок. Они решили Ворошилова и его товарища убрать.

Глубокой ночью полицейские связали Ворошилова и его друга толстыми веревками, спинами друг к другу и, подталкивая кулаками в лицо и в шею, повели на улицу. Длинные концы веревок полицейские держали в своих руках.

Пристав знал, кого он арестовал. Перед отправкой пристав держал речь к полицейским и казакам:



На Красной площади, 7 ноября 1937 г.

— Вы ведете врагов царя и отечества и злейших преступников против существующего строя. Имейте в виду, что на вас может быть произведено нападение. Будьте бдительны и при малейшем вмешательстве толпы убейте этих молодцов...

В июле 1905 года полицейские псы вели на веревке Климента Ефремовича Ворошилова, рабочего и большевика.

Из улицы в улицу вели они его глухой ночью, как разбойники, боясь света, по улицам города, который в будущем стал носить имя этого рабочего. Из улицы в улицу, мимо домов и рабочих хибарок, которые знал наперечет этот большевик, куда он заронил слова правды. У некоторых рабочих хибарок останавливались. Из них полицейские выводили новых арестованных рабочих, которых здесь же избивали.

Климент Ефремсвич был измучен побоями и шел, едва передвигая связанные ноги, с заплывшими от побоев глазами, связанный с товарищем и окруженный тесным кольцом полицейских.

Но он высоко держал голову. Это были не первые побои. Это была закладка. Это был революционный путь большевика и будущего наркома...

★

На краю Луганска лежит Гусиновское кладбище, еще подальше — Воргунский лес. Тихо в лесу. Свесились над просеками ветви никнувших берез. Ветхие кресты, непрямая трава, пустынные лужайки и низины — ничто не нарушает тишины, разве что иногда пройдут деревенские прохожие или маленькие грибки с лукошком...

Но странные вещи стали происходить ночью на этих полянах. Из-за деревьев показывается фигура, потом другая, третья. Со всех сторон собираются люди, они становятся в шеренги и начинают маршировать по лесу.

Делают они это серьезно, под командой начальников. Люди в кепках, в ситцевых рубашках, в пиджаках, в штиблетах, в брюках навыпуск занимаются, как заправские рекруты.

Потом откуда-то поязляется оружие. На дереве укрепляется мишень, при свете луны люди ложатся в цепь, и старый Воргунский лес оглашается звуками выстрелов...

Это — занятия боевых луганских дружинников.

Ворошилов с активом Луганского комитета партии и депутатского собрания организует вооружение рабочих, обучение их стрельбе и налаживает изготовление бомб. Ворошилову удается организовать сбор денег. Он ухитряется достать денег даже у либеральствующей буржуазии. Дающие деньги буржуи и не подозревали, что их деньги идут на покупку оружия. Всего собрали 10 000 рублей.

Ворошилов вызвал к себе в депутатское собрание рабочего котельного цеха завода Гартмана большевика Бондырева:

— Ты, говорят, был гвардейским унтер-офицером?

— Был, — отвечает Бондырев.

— Ну, будешь на Гартмановском заводе начальником боевой дружины.

Рабочие-большевики, члены боевой дружины, под непосредственным наблюдением Ворошилова и при его участии стали заниматься стрельбой. Надо было научиться бить врага его же оружием.

Учились стрельбе не только мужчины, но и активистки-работницы. Проходили строй, учились строить баррикады, защищать их, охранять трибуну, учились оттеснять полицию, метать бомбы.

Учились сборке и разборке винтовок, ружей и револьверов. Для револьверов сами изготовляли особые патроны.

Дружина была разбита на десятки, и на каждый десяток был свой инструктор. В часы ночных занятий боевой дружины оживал Воргунский лес, Гусиновское кладбище.

Успехам дружинников мог бы позавидовать любой кадровый унтер-офицер.

Ворошилов не пропускал занятий. Особенно любил он стрелять боевыми и достиг очень хороших попаданий. На квартире, которую никто, кроме Ворошилова, не знал, делали бомбы. Материалы для бомб собирали постепенно; динамит несли из шахт, глицерин до-

ставали через фармацевтов из аптек, коробочки делали на заводе сами. Все было строго конспиративным.

★

В Стокгольме, на IV съезде партии, в 1906 году Клим Ворошилов встретился с Лениным, Сталиным, Фрунзе. У руководителя луганских рабочих, который сам прошел тяжелую школу жизни, у которого сердце бьется ненавистью к угнетателям, не могло быть другого пути, кроме как с большевиками. У него не могло быть ничего общего с предателями рабочего класса — меньшевиками.

И слова вождя о необходимости вооруженной революции не представляли для него ни неожиданности, ни спорности; в них были и его мысли, и мысли тысяч пролетариев. Он их принимает как директиву, с энтузиазмом и деловитостью.

Прямо после съезда он сейчас же едет в Финляндию и через финляндских революционеров закупает оружие для луганских боевых дружин. Первую партию револьверов «Смит и Вессон» привозит вместе с Ворошиловым с громадным риском старик-рабочий Рябков — «Пчела», как его звали в подполье. Но первой партии оказалось недостаточно. Спрос на оружие был велик. Снова Ворошилов организует сбор денег среди рабочих и снова едет в Финляндию. Тем временем в Луганске, в заводских цехах, тайком ковали для борьбы пики.

★

В мае месяце 1906 года на луганском вокзале из поезда вышел несколько необычный путешественник; у него было очень много багажа, и все это были изящные, «дамские» коробки.

Молодого человека встречала веселая и дружная компания. Путешественник вытаскивал из вагона одну за другой свои бесчисленные коробки и передавал их собравшимся, под их шумный смех.

— Ох, умаялся с ними! — говорил он. — Вот в этой коробке тифельки. В

этой платье. А в этой, — осторожнее, — тут дорогая шляпка с перьями на шелковой подкладке.

Вся компания бережно потащила драгоценный багаж мимо добродушно усмехавшихся пассажиров, носильщиков и многочисленных жандармов.

Придя домой, они открыли коробки и стали вынимать багаж. Никаких шляпок и туфелек там не было. Там было 60 браунингов, 20 наганов и 400 пачек патронов. Их привез Ворошилов для боевой дружины из Финляндии.

— Молодец Клим! — говорили товарищи. — Знаменитые ты дамские гостинцы привез!

★

«Секретно. 17 октября 1907 г. № 21127. От екатеринославского губернатора: «По рассмотрении особым совещанием, образованным согласно ст. 34 положения о государственной охране, обстоятельству дела о содержащемся под стражей в Луганской тюрьме крестьянине Климентии Ефремове Ворошилове, избличенном в революционной деятельности и в подстрекательстве рабочих к забастовкам, господин министр внутренних дел постановил:

«Выслать Ворсшилова в Архангельскую губернию под гласный надзор полиции на три года, считая с 1 октября 1907 г.».

С такой бумагой отправили Ворошилова на Север.

В декабре архангельская полиция не нашла уже Ворошилова в пределах губернии. Ворошилов бежал из ссылки, чтобы продолжать подпольную работу. ЦК партии дает ему направление к Сталину в Баку.

Труден был путь бегства Клим Ворошилова. На всем огромном пути, от Архангельска до Баку, всюду в вагонах, на улицах шныряли шпики, пристально вглядываясь в лица. Иногда казалось, вот-вот схватят и опять потащат в тюрьму...

Баку представлял собой яркий революционный остров. Политическая жизнь была ключом. Профсоюзы, руководимые

партийными лидерами, работали интенсивно. Всюду чувствовалось сильное сталинское руководство.

Бакинские большевики уже хорошо знали Ворошилова. Они тепло встретили Клим, сразу же ввели его в состав Бакинского комитета партии и назначили организатором Биби-Эйбатского района и секретарем Биби-Эйбатского отделения профсоюза нефтепромышленных рабочих. Со свойственной страстностью вел Клим Ворошилов рядом и под руководством Сталина привычную ему работу. Нефтяные вышки Баку, волнующийся Каспий, окрестные горы и виноградники видели луганского металлурга — большевика Клим Ворошилова — на его привычной работе: борьбе за дело рабочего класса.

В золотую осень 1908 г. покидал Кавказ Клим Ворошилов. Поездом пересек он всю страну и в слякотный, дождливый день вышел с Николаевского вокзала на Знаменскую площадь царской столицы Петербурга. В бурлящей столице императорской России сейчас же после приезда по заданию ЦК партии Клим Ворошилов ведет подпольную работу. Но проследили полиция и шпики Ворошилова, они шли за ним по пятам. Через несколько дней в сентябрьскую ночь на Шпалерную улицу полицейские вели нового арестанта. В воротах огромного, мрачного, серого дома, где все окна были заделаны толстыми железными прутьями, открылось окошечко, показалось усатое лицо привратника. Загремели ключи. За арестантом закрылись ворота. Это была знаменитая санкт-петербургская тюрьма «Кресты», а арестованный был Клим Ворошилов, схваченный полицией.

— Крестьянин-мастеровой Климент Ефремов Ворошилов? — спрашивал в тюрьме жандармский офицер.

— Я, — спокойно отвечал Ворошилов.

— Бегал из ссылки?

— Бегал.

— Так вот, — продолжал жандарм. —

Завтра отправляешься в ссылку туда же, в Архангельскую губернию, только немножко посевней, туда, где поменьше народу и похолодней немножко. За

бунт или революционную агитацию — в тюрьму посадим, а за побег из тюрьмы — поймаем, повесим. За второй побег и бегство с места ссылки — тоже виселица...

И через час Ворошилов в группе ссыльных под конвоем шел по темным улицам спящей столицы для посадки в арестантский вагон и отправки в глухой северный Архангельский край, откуда он недавно бежал.

★

Архангельск. Январь 1910 г. Сорокаградусный мороз причудливыми своими рисунками затянул маленькое, находящееся почти под самым потолком, окно тюремной одиночки. Скрип обшитых кожей валенок часовых едва доносится в камеру; изредка слышны шаги тюремного дежурного надзирателя, взглядывающего в глазок, сделанный в двери камеры. В одиночной камере, на вделанной в каменный холодный пол железной кровати, с соломенным матрацем, в сером арестантском халате сидел арестованный. Это был Клим Ворошилов. Не смутили его в «Крестах» угрозы жандармов. Приехав на место ссылки в Холмогоры, Ворошилов организовал ссыльных политических и начал вести с ними революционную работу. Снова арест, снова тюрьма, снова одиночка. Вот уже десятый месяц в одиночке архангельской тюрьмы сидит Клим Ворошилов. Невыносимо тягостно тянутся дни заключения. Жандармы не дают Климу Ворошилову никаких книг, никаких газет, ни бумаги, ни даже карандаша. Только сказано ему, что, если он хочет, ему могут дать почитать... евангелие.

Пятый день из одиночки Клима Ворошилова тюремщик выносит нетронутую пищу.

— Почему не ешь? — кричит начальник тюрьмы на Ворошилова.

— Протестую против содержания меня в тюрьме, — отвечает Клим Ворошилов.

Начальник тюрьмы бормочет ругательства и отходит.

И только после второй восьмиднев-

ной голодовки Клима Ворошилова выпустили из тюрьмы.

Одиннадцать месяцев просидел в одиночке архангельской тюрьмы Клим Ворошилов. На прощанье начальник тюрьмы, хитро ухмыляясь в усы, вручая Ворошилову бумагу об освобождении из тюрьмы, сказал:

— А вот другая бумажечка. Это решение жандармского управления. За революционную пропаганду еще годик ссылки накинута. Сегодня же — в новую ссылку, немного подальше, в Мезенский уезд. Там с волками да воронами будешь сидеть...

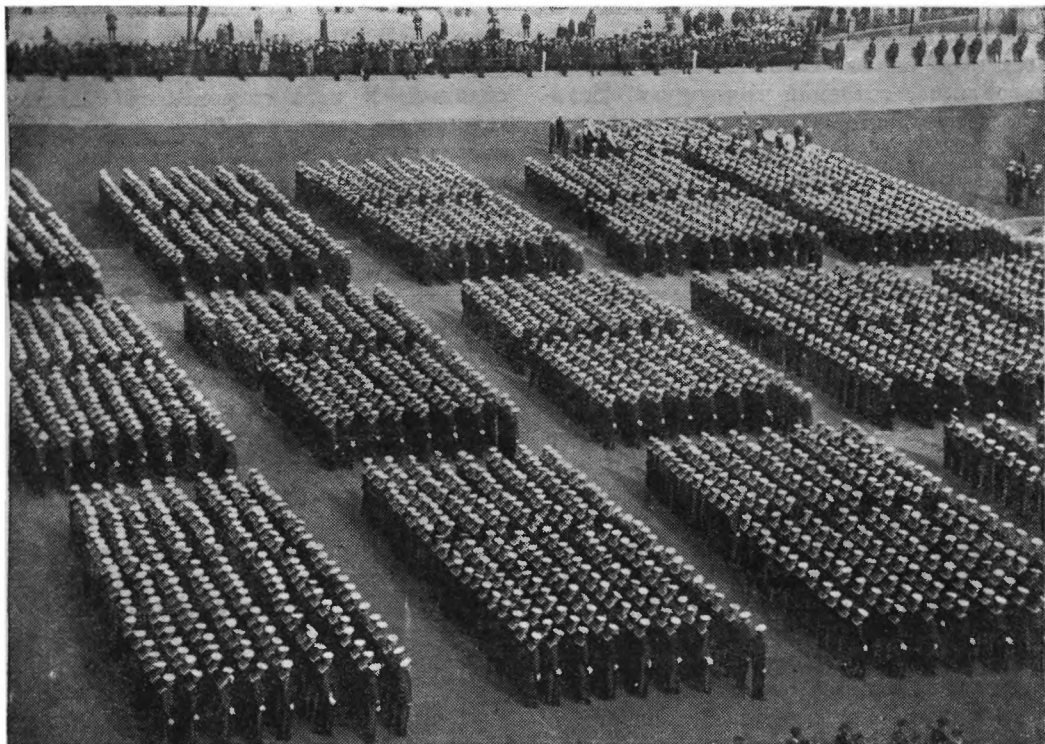
Бежать из Мезени Ворошилову, за которым по пятам ежедневно, ежечасно следили полицейские, не удалось.

★

Мимо вагона пассажирского поезда мелькали густые, покрытые снегом, непроходимые леса Северного края, овраги, деревушки, заштатные города; мелькали телеграфные столбы. Вот Москва. Радостно билось сердце революционера Клима Ворошилова, отбывшего срок ссылки в далекой Мезени. Хотелось скорее в родной Донбасс. Вот промелькнули Тамбов, Козлов, Воронеж, Лиски — начался Донбасс. Клим Ворошилов не отрывался от окна. Казалось, что поезд идет, как черепаха. Вот Луганск — завод Гартмана. Еще сильнее забилося сердце Клима Ворошилова. Нахлынули воспоминания; вот станция Алчевская, завод «Дюмо». Снова волна воспоминаний — детство, отрочество, начало революционной деятельности...

Дал знать Ворошилов ЦК партии о своем освобождении и приезде из ссылки. Но по пятам Клима Ворошилова шли казенные бумаги — отношения, приказания, указания, приговоры. И не успевает Ворошилов поступить на работу в кооператив завода «Дюмо» и начать затихшую в Алчевске подпольную революционную работу, как снова нагрянула полиция. Новый арест, затем несколько дней свободы в декабре и снова арест и тюрьма.

Тюрьмой начался 1913 год. Три месяца продержали Клима Ворошилова в



Краснофлотцы на первомайском параде в Ленинграде

тюрьме жандармы и снова выслали, но уже в далекий северно-уральский Чердынский край. Туда, где начинается тундра, а за ней Северный Ледовитый океан — Арктика...

Два томительных года ссылки. Короткое лето и длинные-длинные зимы Севера. Клим Ворошилов читал, занимался и вел незаметную для полиции революционную работу среди чердынцев.

... И когда много позже, в 1918 году, чердынцы организовали свои первые боевые отряды на борьбу с Колчаком, затем вошли в ряды славной 51-й, впоследствии Перекопской, красной знаменной дивизии, начавшей здесь, на Северном Урале, свой славный боевой путь под командованием маршала Блюхера, они помнили политического ссыльного Клина Ворошилова, помнили его пламенные речи. История жизни Клина Ворошилова этих лет есть живая история предреволюционной работы большевиков в России.

Только в марте 1914 года удалось Климу Ворошилову освободиться из чердынской ссылки и вернуться на ро-

дину в Донбасс, в родные места, на родные заводы.

— А-а-а?! Приехали, товарищ социалист. Небось, опять бомбов, пистолетов привезли? — так встретила полиция Клина Ворошилова.

Через три дня обыск, за ним — еще, потом еще. Шпики ходили по пятам Ворошилова.

Работать в Луганске было невозможно. Ворошилов уехал, в Царицын. Поступил на оружейный завод рабочим... Никто тогда не подозревал, что в 1918 году здесь, в этом самом Царицыне, во главе обороны города от белых и командующим 10-й армии будет рабочий-большевик Клим Ворошилов. И что на этом самом заводе рабочие будут по его призыву отливать и пушки, и броневики для армии рабочих и крестьян...

Клим Ворошилов ковал тогда другое оружие. Оружие это было грозным; капля за каплей, шаг за шагом самоотверженные большевики-подпольщики по всей огромной стране — и в Сибири, и в Баку, и в Чердыни, и в Луганске, и в Питере, и в Царицыне — органи-

зовывали взрыв накопившегося народного гнева, готовили грядущую Великую Социалистическую революцию.

★

При первых известиях о вторжении германских войск и петлюровцев на Украину ЦК партии большевиков обратился ко всем народам Советской России с призывом встать с оружием в руках на защиту родины.

Клим Ворошилов немедленно отправился в Луганск. Когда Ворошилов приехал в Луганск, там уже знали, что орды оккупантов, нарушив Брестский мир, занимают Украину.

Призывные гудки заводов Луганска звали рабочих на митинг.

— Родина в опасности!!!

Тысячи рабочих с тревожными лицами пришли на площадь выслушать своего вождя Клина Ворошилова.

— Грозный час настал!.. Товарищи! Все, кому дороги идеалы пролетариата, все, кто ценит пролитую кровь наших братьев за освобождение России, все, кому дорог социализм, освобождающий человечество, все до единого — к оружию! С оружием в руках, стройными железными рядами ударим на врагов труда, на трутней, на белогвардейцев, немецких, великорусских и украинских... — говорил Ворошилов.

— Веди, Клим! За тобой пойдем. Организуй отряд! — ответили ему луганские пролетарии.

По заводам Луганска и окрестным шахтам и рудникам лихорадочно шла запись добровольцев. В отряд записывали всех желающих. Через несколько дней отряд был сколочен. Тогда открыли запись во второй отряд.

Клим Ворошилов мчался с завода на завод, осматривал и готовил оружие, занимался с записавшимися в отряд.

Своим помощником Клим Ворошилов назначил Александра Пархоменко, своего старого друга, товарища по подпольной революционной работе.

Большое внимание Клим Ворошилов уделял технической части своего отряда. На одном из совещаний актива отряда Ворошилов сказал:

— Против нас, товарищи, идет враг сильный. У него современная богатая техника — самолеты, броневики, бронепоезда, дальнобойная артиллерия. Нам надо, товарищи, создать свои бронепоезда.

Закипела работа. Рабочие завода Гартмана из простых пудмановских вагонов в несколько дней оборудовали два бронепоезда с пулеметными и орудийными установками.

Луганск превратился в вооруженный лагерь. Всюду шли военные занятия, военные приготовления. Рабочие учились военному делу. Отряд был разбит на батальоны и роты. Вскоре отряд был готов к отправке.

По предложению Ворошилова отряд был назван: «Первый Луганский Социалистический Партизанский отряд».

★

10 марта 1918 года рабочий Луганск провожал свой первый отряд на фронт — на бой с интервентами.

Расположились по эшелонам в товарных вагонах. Впереди — бронепоезд, сделанный в несколько дней рабочими завода Гартмана, — того самого, где когда-то работал Клим, «Володя», «Плахов» — подпольщик-большевик. На нем едет теперь он — командир отряда — вождь луганских пролетариев Клим Ворошилов и его помощник Александр Пархоменко — «Лавруша», луганский рабочий-слесарь, большевик.

Перед отъездом из Луганска Ворошилов телеграфировал ЦК партии:

«С отрядом в 600 человек, состоящим, главным образом, из луганских рабочих, выступил из Луганска на встречу наступающим и занимающим территорию родины — оккупантам немцам. Идем через Радоково, Купянск, Харьков, Ворожбу — на Конотоп. Будем биться с палачами пролетарской революции».

Эшелоны шли вперед. Бойцы отряда, в большинстве одетые в пиджаки, кепки, с приколотыми к ним красными ленточками, пели в вагонах революционные песни, песни Украины, читали газеты, чистили оружие...

Вот уже далеко остался родной Луганск. Проехали Купянск, Эмиев, приближался Харьков.

Начался великий легендарный поход.

★

Навстречу от Харькова, от Конотопа, на Луганск, на Воронеж шли поезда, шли эшелоны, наполненные эвакуированным добром, пассажирами, дезертирами, беженцами. Среди них было немало трусов, шурунников и предателей.

— Куда, братишки, едете? Кого бить собираетесь? Ворочай-ка лучше назад, — кричали они.

Затесавшиеся в луганский стряд уголовники и предатели на одной из остановок завопили:

— Куда едем? Братишки, ворочай назад! Где командир? А подай его сюда!

Они уже успели наворовать отрядного имущества. Воевать же им вовсе не хотелось.

В воздухе висела отборная матерщина.

Среди бузотеров появляется кряжистая фигура Пархоменко.

— Вы что тут разорались? Я вам покажу командира!

На Пархоменко посыпалась ругань, поднялись кулаки... Пархоменко взялся за наган.

— Молчать! — раздался стальной голос подошедшего Ворошилова. — Луганский партизанский отряд позорите? Революцию продаете?

Раздвинув ряды бойцов, за которыми спрятался один из наиболее горластых бандитов, Клим Ворошилов вытащил его вперед. Пархоменко подталкивал его в шею, говоря:

— Иди, иди, мерзавец! Вот тебе Клим пропишет!

— Снимай, изменник революции, револьвер! — сказал Ворошилов. — Давай сюда винтовку!

— Ну, ну, пошевеливайся, — нетерпеливо говорил Пархоменко и сам стаскивал с бандита револьвер и выхватывал из рук винтовку.

В наступившей тишине Ворошилов здесь же, на глазах у всех, обезоружил десять бандитов.

— Объявляю вас арестованными и от имени всего 1-го Луганского партизанского социалистического отряда предаю вас на общий рабочий суд в городе Луганске.

Потом Ворошилов обратился ко всему отряду:

— Кто боится умереть за родину, уходи назад, тому не по пути с нами. Не боишься — идем вместе в бой.

— Все идем. Клим! Веди на немецов! — отвечали рабочие.

★

Близ ст. Дубовязовка, что у самого Конотопа, бронепоезд Ворошилова, проехавший для разведки несколько вперед, замедлил ход.

Ворошилов и Пархоменко в бинокль внимательно осматривали местность. Здесь должны были быть уже немцы. В бинокль было видно, как стороной вереницей шли с вещевыми мешками за плечами солдаты старой армии, возвращающиеся с фронта домой.

— Вот бы их в наши ряды, Саша, — сказал Ворошилов Пархоменко. — Ведь они опытные солдаты.

— Клим! — воскликнул вдруг на бронепоезде пулеметчик Лутун. — Немцы! Смотри, вон за поворотом... Бронепоезд!.. С германским орлом!..

Поезд остановился.

— Саша! Выгружаться, живо! В цепь! — раздалась команда Ворошилова.

Пархоменко бежал около вагонов, командовал:

— Выгружайся, живо! В цепь! За мной, товарищи, вперед!

Пустые вагоны быстро отошли назад. Сгруженные с платформы две 3-дюймовки бойцы Луганского отряда тащили на позицию на своих руках.

— Стой! Ложись! — скомандовал Пархоменко, завидя немецкие цепи.

Отряд залег, соединившись с каким-то небольшим отрядом матросов. Сзади подходил еще какой-то партизанский отряд.

Ворошилов внимательно наблюдал за развертыванием своего отряда. Он видел, как энергично распорядился Пар-

хоменко, расставляя на позиции орудия и распределяя в цепи бойцов.

— Вперед полный ход! Наступаем! — скомандовал машинисту бронепоезда Ворошилов.

Немецкий бронепоезд также подвигался вперед. Сзади него были видны цепи серых мундиров германских солдат.

— Огонь! — махнул рукой Ворошилов. Начался первый бой. Засвистели первые снаряды с бронепоезда Ворошилова к немцам.

Пархоменко, увидев начало артиллерийской стрельбы с бронепоезда и его движение вперед, поднял цепи:

— Вперед, товарищи! Бей немцев!

Луганские пролетарии пошли в бой на интервентов. Цепь луганских бойцов осыпала немцев пулями. За пулеметом сидел Пархоменко и метко стрелял по серым немецким мундирам. Артиллеристы ворошиловского бронепоезда состязались в стрельбе с германскими артиллеристами. Пулеметчик Лутун, прищурив один глаз, бил по немецкой цепи из «максима». В грохоте боя едва было слышно первое «ура», которое кричали луганские рабочие. Луганчане смело наступали перебежками. Впереди бежал Пархоменко.

Из орудия ворошиловского бронепоезда метким выстрелом был поврежден немецкий бронепоезд. Немцы, не ожидавшие такой напористости, впервые встретившие настоящих большевистских бойцов, начали отходить.

Но через полчаса, видимо, пополнившись снарядами и исправив повреждения, немецкий бронепоезд двинулся снова вперед. За ним шли уже густые колонны немецких солдат. Артиллерия немцев засыпала луганских рабочих шрапнелью и гранатами.

— Товарищ Ворошилов, — крикнул Лутун, — смотри, немецкие снаряды здорово бьют по нашей цепи. Вон один недалеко от Пархоменко разорвался. Ложатся все ближе к нашему бронепоезду снаряды...

Пороховой дым окутал поле боя. Вокруг бронепоезда непрерывно рвались немецкие снаряды, поднимая почти у колес столбы земли. Осколки свистели над головами.

— Смелее, товарищи, не бойся немцев! — кричал Пархоменко и, выхватив из рук пулеметчика пулемет, снова сел за него и снова метким огнем косил немецкие цепи.

Ряды Луганского отряда стали редеть. Сырая, кой-где белеющая снегом, земля покрылась телами погибших героев, бойцов 1-го Луганского социалистического партизанского отряда. Среди них было много подпольщиков-коммунистов, луганских рабочих; тут же рядом лежали убитые матросы и партизаны других отрядов.

Немцы продолжали ураганный огонь по ворошиловскому бронепоезду и из цепи. Ворошилов, стоявший недалеко от непрерывно стреляющего по немцам орудия, руководил боем, находясь примерно в центре своего отряда, и, двигаясь с бронепоездом впереди отряда, поддерживал наступление орудийным и пулеметным огнем. Но вдруг со страшным грохотом и визгом немецкий снаряд разорвался прямо у орудия ворошиловского бронепоезда. Густой дым заволок всю площадку, которая мгновенно покрылась убитыми и ранеными бойцами.

Орудие было изувечено и выбыло из строя. Храброму пулеметчику, луганскому рабочему Лутуну оторвало голову. Бронепоезд заволокло дымом...

Пархоменко, командовавший цепями отряда, то-и-дело смотрел на бронепоезд, где находился Клим Ворошилов, и, когда он увидел, что снаряд угодил прямо туда, где должен был стоять Ворошилов, у Пархоменко точно оборвалось сердце, и он бросился к бронепоезду:

— Неужели Клим убит?

Когда Пархоменко подбежал к бронепоезду, Ворошилов стоял у дверцы и держался за голову. Он был контужен. Больше половины бойцов на бронепоезде были убиты и ранены. Ворошилов смотрел вдаль — там луганцы медленно отступали перед цепью немецких солдат.

— Саша! Ни шагу назад! — закричал Ворошилов и, соскочив с бронепоезда, бросился в цепь.



Красная конница

— В атаку! Вперед! Смелей, товарищи! Бей интервентов!

И они вдвоем с Пархоменко снова подняли цепи луганских рабочих и побели их в атаку на немцев. Рядом с ними, не отставая ни на шаг, бежал шахтер Михайловский.

Было видно, как падали один за другим немецкие солдаты. В некоторых местах луганчане дрались врукопашную.

★

... На одной из улиц осажденного белогвардейцами Царицына, в высоком доме, всю ночь напролет горели в окнах огни. У под'езда рычали мотоциклетки и автомобили, к столбам были привязаны взмыленные кони. Это был штаб. В одной из комнат Военного Совета сидел, склонившись над картой, спокойный человек, попыхивая из-под усов коротенькой трубкой. Рядом с ним был человек помоложе — тот, кто привел сюда луганские отряды. Это были

Сталин и Ворошилов. Они разрабатывали план великой обороны Царицына.

— Вот оборонительная линия. Здесь расположены отряды. Вот камышинские отряды; вот отряды, сражающиеся у Маныча. Все надо здесь в корне перестроить, переделать. Город кишит всякой падалью и отбросами революции. Много беспорядка. Главное, нет твердого и единого командования. В штабе Северо-Кавказского военного округа если не предатели, так никуда негодные военспецы...

В кабинет к Сталину то-и-дело входили командиры, ординарцы, несли донесения, телеграммы, непрерывно звонил телефон.

И, когда через несколько часов работы Сталин открыл окно, был уже рассвет. С Волги доносилась песня:

Волга, Волга, мать родная,
Волга, русская река...

— Хорошо поют, черти, — сказал Сталин. — Люблю волжские песни, какая ширь, сила!

— А я, Иосиф Виссарионович, сам люблю иногда запевать... — сказал Ворошилов.

Он посмотрел в окно и на минуту задумался. На востоке занималась заря. Просыпался город. Да, сейчас было не до песен...

Десятого июля Сталин подписал Ворошилову мандат о назначении его командующим объединенными силами Царицынского фронта.

Десятки отрядов, разбросанных между Волгой и Доном, на огромном пространстве от города Камышина до реки Маныч, вошли в подчинение Клима Ворошилова.

Фактически Царицын стал центром фронта от Арчела до Астрахани.

Под руководством Сталина и Ворошилова Царицын стал очищаться от контрреволюционеров. Город стал военным лагерем. На улицах ежедневно граждане могли читать боевую газету «Солдат революции». Редактировал ее Ворошилов.

Под наблюдением Ворошилова на оружейном заводе, на том самом заводе, на котором в 1914 году он работал простым рабочим, создали 13 новых и исправили 39 старых бронепоездов; выпустили 18 новых броневиков и наладили регулярное изготовление снарядов. Здесь же отремонтировали 300 орудий. Получилась уже солидная техника. Ворошилов уже из боевого опыта знал цену технике.

Бронепоезда пошли на линию, помчались к станциям, гремя железными гостинцами, сделанными руками царицынских рабочих. Но они могли ходить только по рельсам. Они не могли помчаться в волжские степи, в балки, за холмы, на скопища белых казаков.

Нужна была своя, пролетарская конница.

Однажды Ворошилов прослышал про храбрые атаки, умелое командование одного из командиров кавалерийских полков.

— Здравствуйте, товарищ Буденный, — сказал Ворошилов. И стал подробно и внимательно вести беседу с командиром кавполка Буденным.

— Даю вам, товарищ Буденный, бое-

вую задачу. Выполните — получите бригаду, а за ней и дивизию. Действуйте!

Буденный оправдал доверие командующего Ворошилова. Задание было им выполнено, и Буденный получил в командование бригаду, а затем дивизию. Здесь Сталиным и Ворошиловым был заложен фундамент будущей Первой Конной армии.

Ворошилов сводит отряды в дивизии; отрядам, находящимся на большом расстоянии от Царицына и отрезанным от него, Ворошилов помогает посылкой подкреплений — людьми и огнеприпасами.

Где только не видели в эти боевые дни Сталина и Ворошилова! Там, где был решающий бой, там, где была опасность, председатель Военного Совета Сталин и командарм Ворошилов были всегда впереди на командном пункте, управляя боем.

— Отступить нам, товарищи, — говорил красноармейцам Ворошилов, — некуда. Сзади Волга, перед нами один путь — вперед, на врага...

★

Бережет Ворошилов патроны, снаряды, — мало их. Не дает зря стрелять. Сдерживает цепи бойцов.

С косогора катится белоказачья лава. Еще десять минут, и казаки прорвут фронт. Рядом с бойцами в окопах — Ворошилов. С ним вместе — Щаденко, Пархоменко, Кулик, Михайловский, Руднев.

— Не стрелять! — слышна команда Ворошилова.

Ближе и ближе белоказачи. Уже видны их бородатые лица, сверкают клинки, храпят лошади.

— Огонь!

Подпустив близко белых, Ворошилов с бойцами бьет их метким огнем. Сыплются с коней белоказачи, скачут лошади без всадников. Отступают белые, несут большие потери.

— Вперед, вперед! Ура! — И Клима Ворошилов, выскакивая из окопов, бросается в атаку на белых.

Часть белых сопротивляется. На группу бойцов, окружавших Ворошило-

ва, летят несколько всадников. Патронов нет. Бойцы дерутся штыками. Белоказачий полковник, сверкая клинком, летит на бойцов.

— Клим, Клим! Стреляй! — кричит один из командиров.

Ворошилов приложился и выстрелил предпоследним патроном. Полковник подпрыгнул в седле и рухнул на землю.

Бойцы сняли с полковника серебряную шашку и вручили ее Ворошилову. Это была первая боевая награда Клина Ворошилова, полученная из рук самих бойцов на поле боя.

★

В середине июля, в самую жару, белоказачи после молебнов и крестных ходов с хоругвями пошли на приступ — братъ Царицын. Сначала им повезло. 13 июля они взяли станцию Карповку, 18-го станцию Каталино и двигались дальше.

Но в Царицыне были Сталин и Ворошилов.

Сталин и Ворошилов лично повели в наступление дивизии Царицынского фронта по всем трем железнодорожным линиям. К половине августа белоказачи были отброшены к Дону...

... В одном из боев близ станицы Пятизбьанской Ворошилов выехал в бронемашине на очередную разведку. Машина, поднимая пыль, примчалась в безмолвующий хутор. Ворошилов внимательно осматривал местность. Шофер остановил машину посреди узкой, пустынной улочки.

Командир броневика открыл броневые дверцы, вылез из машины. Внезапно из домов хутора раздались ружейные выстрелы. Командир был убит наповал. Ворошилов едва успел захлопнуть дверцы. Пули посыпались на броневик, но отскакивали, как горох, лишь обдавая лицо и шею Ворошилова и шофера мелкими осколками от брони.

Бронемашина не имела заднего хода, а надо было уходить. Белоказачи подвигались к машине все ближе и ближе.

Пока шофер двигал машину, Ворошилов метким пулеметным огнем отстреливался от казаков.

Заряжая новую ленту, Ворошилов крикнул шоферу:

— Если эти бородачи не догадаются дорогу перекопать, то уйдем. Нажимай, товарищ!

Полтора часа просидел Ворошилов в броневике, отбиваясь от казаков, пока шофер не развернул машину и пока она не дала полный ход и не понеслась мимо белоказачков.

Продолжая отстреливаться, поглядывая в щелку, Ворошилов крикнул шоферу:

— Молодец! Натянул нос белоказачкам.

Когда Ворошилов приехал в штаб и вылез из машины, по его шее текла тонкая струйка крови из раны, причиненной осколком брони.

— Это пустяки, — сказал Ворошилов, когда ему указали на кровь. — Могло бы быть хуже...

★

В сентябре под Царицыном продолжались ожесточенные бои.

Однако и вторая попытка белых овладеть Царицыном кончилась также неудачно. Эта героическая оборона Царицына и удачные бои дали возможность отобрать у белых Казань, Симбирск, Сызрань, Самару. Сверху по Волге уже шли в Царицын пароходы.

Наступили осенние холода. Бойцы были без шинелей. Было плохо и с питанием. Однако бойцы продолжали героически сражаться. Атаки сменялись атаками.

В армии шла большая работа. Были организованы революционные трибуналы, во всех частях были введены комиссары. Под грохот пушек в Царицыне была проведена общеармейская конференция.

Железные ряды бойцов, оборонявших Царицын, были укреплены и готовы к новым испытаниям.

После отъезда в октябре Сталина по вызову Ленина в Москву все руководство по обороне Царицынского фронта перешло к его соратнику — героическому луганскому большевику.

... Через несколько дней Ворошилов выехал на разведку. Он не спускал глаз с позиции противника. Машина стремительно неслась вперед. Впереди показалась на позиции батарея. Ворошилов, как всегда, держал у ног карабин. Два его спутника также были с карабинами. Быстро под'ехали к батарее. Не знали— свои или белые.

Не доезжая нескольких десятков шагов до батареи, остановились. От батареи отделился всадник и поскакал к машине.

Всадник взял под козырек и под'ехал с рапортом. Это был белогвардейский казачий урядник, принявший автомобиль за машину генерала.

Широко раскрылись глаза урядника, когда он увидел в машине людей в кожаных куртках, с красными звездами на фуражках и с карабинами в руках. Рука урядника быстро скользнула к кобуре револьвера.

Но еще быстрее Ворошилов вскинул карабин и выстрелил. Через несколько секунд урядник качнулся в седле и, упав с лошади, распластался на земле. Машина быстро рванула назад. За ней погнались белые конники. По ним метко стрелял Ворошилов и его товарищи.

И только тогда, когда машина ушла из поля зрения батареи, раздался орудейный выстрел картечью. Этому выстрелу все время мешали свои же белые кавалеристы, скакавшие вслед за машиной.

— Нельзя так рисковать, товарищ командарм, — сказали спутники Ворошилову.

Одним из спутников Ворошилова был Пархоменко.

— Ничего, — улыбнулся Ворошилов. — Война есть война. Зато теперь я знаю прекрасно расположение противника на этом участке, и это меняет мой план.

★

Наступили холода. Дул холодный осенний ветер. Волга все чаще и чаще бушевала в порывах ветра, вздымая белые гребни волн. Бешено раскачивались и рвались с якорей суда волжской воен-

ной флотилии, стоявшие у Царицына. В садах, лесах и рощах ветер поднимал охапки желтых осенних листьев.

Ворошилов сидел в штабном вагоне на станции Воропаново. Он склонился над картой со своими соратниками Куликом, Крусером, Рудневым, Пархоменко, обсуждал ход задуманной операции.

Внезапно раздался крики: «Казачки!». Все вскочили. За окошком послышался топот ног, голоса.

Ворошилов вышел на платформу и увидел мечущихся по станции беженцев, ковляющих раненых и удирающих под вагоны караульных красноармейцев. А за вокзалом по степи неслась на станцию конная колонна противника. Она прорвала фронт и через 10—15 минут могла быть здесь...

Защищать штаб армии, защищать командарма было некому, кроме его близких соратников. Даже пулемет караульной команды вокзала, и тот был брошен. Ворошилов посмотрел на своих товарищей. По их лицам было видно, что положение было очень тяжелое, почти безнадежное. Кто-то из сзади стоящих шепнул Ворошилову: «Конь ваш, Климент Ефремович, хороший. Садитесь на него скорей и скачите. Вы еще успеете спастись...». Ворошилов смерил говорившего презрительным взглядом и, заметив пулемет, быстро подбежал к нему.

С помощью своих штабных товарищей он оттащил пулемет на пригорок, установил его, прицелился.

Через минуту меткие пули ворошиловского пулемета начали косить конную лаву белых.

Казачи повернули коней и поскакали рассыпную обратне.

Заслышав пулеметный огонь на станции, к ней с виноватыми лицами бежали караульные красноармейцы и тащили второпях пулемет.

Ворошилов возвратился в вагон продолжать занятия. Подходя к вагону, он сказал:

— Надо проследить, чтобы казачью лаву отогнали как можно дальше от станции.

... Часто после боя в ротах, в штабах бойцы, командиры и политработни-



ки с любовью говорили о своем мужественном, непоколебимом командарме.

— Мы ворошиловцы, — с гордостью говорили они.

Но не любил похвал, скромн был всегда Ворошилов.

— Я лишь рядовой большевик, честно выполняющий задания партии и ее волю.

★

В дни гибели своих соратников грустен был Ворошилов. Он тяжело переживал потери своих друзей и боевых соратников.

Но и в самые тяжелые дни он никогда не падал духом и был на-чеку.

Суровые годы подполья, революционной борьбы, гражданской войны, выковали черты полководца-большевика — готовность к боям и бдительность. Этим качествам он учил и окружающих.

*Из дневника
Председателя РВС 1-й Конной армии
К. Е. Ворошилова за 1920 год*

«17 июля 1920 г., с. Уженец, р. Стырь.

Посетил 31-й полк 6-й дивизии. Убедился еще раз, что наши командиры по-прежнему не ведут должной разведки

охранения, вследствие чего противник смог сегодня утром целыми тремя пехотными полками уйти на шоссе из леса, где стоял наш 31-й полк».

«18 июля 1920 г., г. Млынов.

Попрежнему мы страдаем от отсутствия руководства связи и действительной разведки. Красноармейцы выше всяких похвал. Комсостав лично безумно храбр и предан делу, тогда как руководители многие ниже всякой критики».

«19 июля 1920 г.

Противник, отбив атаку конницы 14-й кавдивизии, бросился в контратаку и, сбив наши пехотные цепи, занял высоту, что на южной стороне д. Сморгва. Сосредоточенным огнем наших 3-х батарей группа противника была буквально смешана с землей. Вследствие все той же расхлябанности нашего комсостава противник после столь блестящей артиллерийской работы сумел уйти в лес, 3-я бригада 14-й див. без уведомления соседней бросилась в атаку на левый фланг неприятеля, не выдержала ураганного огня противника и в беспорядке откатилась за прикрывающий бугор.. Наши командиры медлительны, нерешительны и плохо ориентируются в обстановке. Связь до сих пор налажена плохо: рядом действующие дивизии не

знают друг друга. Сторожевое охранение отсутствует. Начдивы до безумия храбры, как и весь комсостав, но плохо справляются с управлением...».

«28 августа 1920 г., с. Зубовицы.

...дивизия уже вступила в Комаров. Начдиву, военкомдиву и наштадиву была мной и командармом прочтена нотация и сделано «военное внушение», после чего обещали исправиться. Сами признали, что вчера противника могли бы разбить двумя эскадронами, но все дело испортил милый комбриг. Приказали прислать и его к нам для «исповеди». Беда с такими командирами, которые, пользуясь исключительным влиянием в своих частях, поддельваются под массы и вместо командиров делаются «батьками». Я это выведу, чего бы это мне ни стоило».

★

... И Клим Ворошилов «выводил» действительно эти пятна. Он учил быть коммунистом: не плестись в хвосте у массы, а вести массы за собой. Он умел, когда нужно было, быть строгим.

... Сентябрь. В хату, где остановился военком 6-й кавдивизии тов. Шепелев, вбежал запыхавшийся красноармеец.

— Товарищ комиссар, обозники баблуют. Перепились самогону, бьют крестьян. Бабы там плачут. Грабят... Я знаю этих обозников. Это, что с денкинской армии с нами пошли от Майкопа панов бить.

— Как грабят? — вскочил Шепелев. — Где? Веди меня сейчас же туда.

Шепелев, застегивая на-ходу ремень, бежит по селу.

У двух домов стояло десятка два пьяных обозников. Другие недалеке орали и ругались с крестьянами.

Какой-то ветеринарный фельдшер призывал разбивать окна.

— Остановитесь, негодяи! Как вы смеете трогать крестьян! Убирайтесь вон отсюда! — закричал Шепелев толпе бандитов.

Но разбушевались анархистские и бандитские элементы. Жалко было расставаться с добычей. Загремели выстрелы. Надо было убить свидетеля — политического руководителя дивизии.

Пал на своем посту комиссар Шепелев.

Обнаглевшие темные силы двинулись дальше...

Через час, когда командование дивизии уже было на месте происшествия, сюда же прибыли Ворошилов и Буденный.

Убийцы, бандиты разбежались.

На заседании РВС Ворошилов коротко предложил — разоружить и расформировать 6-ю дивизию. Начдива — под суд.

— Климент Ефремович! — сказал кто-то из командиров, — ведь на врангелевский фронт идем, лишимся целой дивизии. Это ослабит армию.

— Лучше смерть, чем терпеть такой позор, — отчеканил Ворошилов.

Предложение Ворошилова было принято.

11 октября у ст. Ольшаница была выстроена вся 6-я кавалерийская дивизия. Впереди 33-го кавполка — боевое знамя ВЦИК.

— Сми-и-рно!

Замерла дивизия.

Громкий голос командира читал приказ Реввоенсовета.

... Разоружить 6-ю кавдивизию. Лишить дивизию всех боевых наград, а 33-й полк — боевого знамени, полученного от ВЦИК. Расформировать дивизию. Начдива арестовать и отдать под суд.

Кончилось чтение приказа — ворошиловского приговора.

Раздалась кавалерийская команда:

— Сдавай знамена и оружие!

Был такой миг, когда казалось, дивизия не выполнит приказа. Однако бойцы дивизии знали, с кем имеют дело. Со слезами на глазах, а многие рыдая, снимали с себя боевое оружие — шашки, револьверы, карабины, точно отрывали куски сердца. Как один человек, выполнили приказ и положили оружие.

Снова голос командира:

— Выдать бандитов, участвовавших в грабеже, насилии и убийстве товарища Шепелева.

Здесь же бойцы дивизии выдали 150 человек бандитов, и через несколько

дней их судил военный трибунал Конной армии.

Твердая рука Революционного Военного Совета Конной армии встряхнула всю армию, призвала ее в полную готовность к боям на врангелевском фронте. Бойцы, командиры, политработники расформированной 6-й кавдивизии дали слово Ворошилову и Буденному испривиться и в боях на врангелевском фронте заслужить себе право вновь быть в рядах 6-й дивизии и вернуть свои боевые знамена и свою боевую доблесть. Эти слова не остались пустым обещанием. Бойцы, командиры и политработники 6-й кавдивизии доказали свою верность рабоче-крестьянскому делу, дивизия была вновь восстановлена и после героических сражений на врангелевском фронте снова получила свой номер и свои боевые отличия, а после боев под Чонгаром получила наименование «Чонгарской».

★

Ворошилов учил революционной твердости, принципиальности, суровости, когда это нужно. Он, сам прекрасный товарищ, беспощаден, когда дело идет о преступлениях и проступках, если бы их совершили даже самые близкие люди.

И тяжелой для него была весть об одном проступке, совершенном старым другом, соратником, луганчанином Александром Пархоменко. Это было еще в Ростове-на-Дону.

У Пархоменко, коменданта города, в прифронтовой сутолоке кто-то угнал автомобиль. Он вскочил на коня и принялся искать свою машину. Он нашел ее за решетками ворот дома, во дворе, у одной из расположенных здесь воинских частей.

Пархоменко, не обращая никакого внимания на пытавшегося остановить его часового, вошел во двор. Часовой поднял панику. Из караульного помещения выбежало 10 красноармейцев, ставших на пути Пархоменко к его автомобилю. Винтовки были взяты наизготовку.

— Вы тут еще чего? — закричал Пархоменко.—Мою машину заграбаста-

ли, черти полосатые, и еще со штыками лезут.

— Стой, товарищ! — крикнул кто-то из окруживших Пархоменко красноармейцев, пытавшихся его обезоружить.

Но было уже поздно, Пархоменко покраснел, вспылал и, выхватив клинок, начал защищаться...

В тот же день Ворошилову доложили об этом случае.

— Арестовать! Отправить в тюрьму и немедленно судить в Ревтрибунале, — отчеканил он.

Все просьбы друзей о смягчении решения, напоминания о боевых заслугах Александра он неумолимо отклонял. Он говорил, что это решит не он, а законные органы.

Боевые заслуги и прошлое Пархоменко принял во внимание ВЦИК. Он помиловал его. За Пархоменко ходатайствовал перед ВЦИК Сталин.

В апреле Пархоменко вновь был послан в Первую Конную армию. Ворошилов и Буденный приняли его хорошо. Он был назначен начальником 14-й кавалерийской дивизии на Польском фронте, где, под руководством Ворошилова и Буденного, Пархоменко показал изумительное мужество, храбрость, доблесть и умение водительства кавалерийских масс. Дивизия Пархоменко первая прорвала Польский фронт.

Это был прежний Александр, «Лавруша», большевик, страстный революционный боец.

★

— Нам мало одной лихости, товарищи,—постоянно говорил Ворошилов командирам, политработникам на собраниях коммунистов Первой Конной. — С партизанщиной надо кончить. Нужно воспитывать людей. Из неграмотного делать грамотного, из незнатного — сознательного, из преданного — активного бойца и коммуниста...

И он сам боролся за каждого грамотного, как за боевой оплот.

Культурную и политическую работу большевики вели и на конях, и в клу-

бах, и в боях, и на бивуаках. Это была борьба не только за километры, за города, станции и села, за пушки и обозы, но и борьба за нового человека, человека нового, социалистического общества.

В начале быстрого, но огромного пути красной конницы в армии было 300 коммунистов. К Ростову в Первой Конной армии было 44 партийных ячейки и около полутора тысяч преданных бойцов, сознательно вставших в ряды партии.

— Нам нужны люди, которые разбираются, с кем и за что они сражаются, — говорил Ворошилов.

Сам бывший пастух и рабочий, он никогда в жизни не забывал, что он борется за счастье трудящихся, и ежедневно напоминал об этом другим. И всегда, даже в самые тяжелые минуты на фронте, Ворошилов помнил об интересах, о нуждах трудящихся.

Через несколько часов после взятия Ростова он прежде всего вызвал Пархоменко и спросил — велики ли в Ростове и окрестностях запасы хлеба?

— Да, запасы есть, — ответил Пархоменко, комендант города.

— Немедленно отправь несколько эшелонов рабочим Питера, Москвы, в Донбасс. Там люди голодают. Кроме того, нужно сейчас же связаться с крупнейшими угольными шахтами и двинуть в центр поезда с углем... Да, еще: всем рабочим и крестьянским делегациям, приезжающим в Ростов, давать один-два вагона хлеба. За них деремся! — строго добавил Ворошилов.

★

Все видели на Красной площади в Москве, или на фотографиях этих двух людей в дни демонстраций и всенародных празднеств в советской столице.

Все знают образ Сталина; он стоит на трибуне мавзолея, скромный и строгий, как всегда, в военной шинели, слегка прищурившись. смотрит вдаль. Перед ним проходят миллионы счастливых людей, которые когда-то были под гнетом и которые сейчас живут в самой свободной стране. в такой стране, кото-

рая казалась бы им двадцать лет назад сказкой. Их привел в эту сказочную страну человек в военной шинели, стоящий на крыле мавзолея Ленина, стоящий строго и просто, как часовой, неусыпно охраняющий дело великого Ленина.

Все знают и его ближайшего сподвижника — бывшего луганского слесаря, бывшего подпольщика-революционера, боевого командира, Народного Комиссара Обороны, первого Маршала необъятной и необыкновенной страны — СССР.

Вот он появляется верхом на коне из ворот кремлевской Спасской башни. Вот он об'езжает неподвижно-замершие нескончаемые шеренги войск. Вот он поднимается на ступеньки мавзолея и стоит, тоже в шинели, как всегда подтянутый, с рукой у козырька.

На груди его блещут ордена; он награжден всеми орденами Советского Союза, в том числе и четырьмя орденами боевого Красного Знамени, и, кроме того, боевой почетной золотой шашкой и кинжалом.

А перед мавзолеем проходят нескончаемые ряды войск; да, эта армия не та, что была в 1919 году, она неизмеримо сильнее! Где наспех вооруженные отряды луганчан, где поломанные пушки, где самодельные снаряды царицынцев, телогрейки, кунтуши и венгерки буденновцев?.. Они отошли в прошлое.

По ровным торцам Красной площади проходят великолепно вооруженные бойцы, грохочут новейшие танки, механизированная артиллерия, ровные шеренги мотоциклистов, бегут прекрасные кони кавалеристов, в небе летят сотни усовершенствованных самолетов — разведчики, истребители, бомбовозы..

Смотрят молча, блестя погонами и саблями, иностранные представители то на проходящие войска, то на трибуну. Знают они, знает стоящий молча с рукой у козырька нарком, знает великий человек в шинели, стоящий на трибуне мавзолея, знают проходящие и проезжающие и пролетающие бойцы, знают и за границей все трудящиеся и капиталисты, что вся эта усовершенствованная и сильнейшая армия готова пойти, по-

ехать, взлететь, по единому сигналу броситься на врага, если он посмеет напасть на родину социализма.

Климент Ефремович Ворошилов стоящий на параде у мавзолея, работающий в своем кабинете, сражающийся под Царицыном, у Каховки, под Львовом, у Замостья, у Чонгара, мчащийся на коне в атаку, едущий на броневике, стреляющий из пулемета, сидящий в штабе над картой, беседующий с луганчанами, подпольно провозящий оружие, ведущий революционную демонстрацию... Всегда и всюду он вместе с массой, потому что сам он плоть от плоти этой миллионной массы веками истстрадавшихся, трудящихся людей, вышедших на бой за свое счастье. В этом сила этой армии и этого вождя, которого масса подняла на своих плечах. Он подлинный сын народа!

В этом его особенность. Этим он не похож и не может быть похожим ни на кого другого, самого блестящего полководца истории. Его выдвинула революция. Он стратег, полководец, он выдающийся военный деятель современности. Он большевик. Он рабочий. Он скромный, до конца честный, трудящийся человек. И поэтому интересы всех трудящихся — для него самые дорогие интересы.

Он живой и многогранный человек. И поэтому ни один из его портретов не расскажет о нем полностью. Он живет, работает, творит, руководит, учит и учится — постоянно стремится вперед.

Крепнут, растут Красная Армия и Флот.

С огромной энергией проводит Ворошилов механизацию армии.

На Балтике, на Тихом океане, в Черном море, в Белом море — всюду на страже боевые корабли. В воздухе реют тысячи новых, тяжелых, приводящих в неистовство фашистов, многомоторных боевых самолетов, быстроход-

ных разведчиков, истребителей; на земле ползут крепости-танки. Они плывут через реки, озера, они берут горы, овраги, они прыгают. В Красной Армии дальнобойная моторизованная артиллерия, моторизованная пехота; десятки тысяч парашютистов. Современная химия, средства связи, инженерное дело, промышленность, народное хозяйство, — все, что дала современная наука и техника, поставлено Ворошиловым на службу обороны нашей родины.

Ворошилов знает цену технике.

Красная конница — сегодняшние полки Первой Конной с ее боевыми знаменами, красное казачество, воспитанное Ворошиловым, — готова к бою.

Сотни генштабистов, тысячи красных командиров, политработников, инженеров, от командармов до лейтенантов, обладающих современными военными и политическими знаниями, — подготовлены под руководством Ворошилова для защиты родины.

Красная Армия, Воздушный и Военно-Морской Флот — школа молодых людей нашей родины. Она их воспитывает. Из нее они выходят грамотными, уходят, получив квалификацию — специальность для гражданской работы. Художественная самодеятельность армии многих из них сделала талантливыми работниками искусств.

Родина наша под руководством Сталина идет от победы к победе. От победы к победе на фронте боевой, политической подготовки идет и Красная Армия во главе с Ворошиловым.

Неустанно Красная Армия совершенствуется, и с каждым днем она становится сильней, грозней и могущественней. Народы нашей необъятной родины трудятся и отдыхают спокойно, они знают, что в карауле, на вахте, на часах родины стоит бессменный, верный часовой — Нарком и Маршал Клим Ворошилов.

По долинам и по взгорьям

Русская песня

★

По долинам и по взгорьям
Шла дивизия вперед,
Чтобы с бою взять Приморье—
Белой армии оплот.

Наливались знамена
Кумачом последних ран.
Шли лихие эскадроны
Приамурских партизан.

Этих лет не смолкнет слава
Не померкнет никогда!
Партизанские отряды
Занимали города.

И останутся, как сказка,
Как манящие огни,
Штурмовые ночи Спасска,
Волочаевские дни.

Разгромили атаманов,
Разогнали воевод,
И на Тихом океане
Свой закончили поход.

Из книги
«Творчество народов СССР»,
изд. ред. «Правда», 1937 г.



Маршал Блюхер

К. ПАУСТОВСКИЙ

★

До сих пор мы еще плохо знаем, как создаются народные легенды. Они возникают в глубинах страны — на степных шляхах, в лесах, у догорающих ночью костров. Их рассказывают бывшие бойцы, сельские школьники, пастухи. Их поют дрожащими голосами лирники, ашуги и ахуны.

Легенды рождаются, как ветер. Они шумят над страной и передаются из

уст в уста. Они разносят славу побед и гордость народа своими сынами и дочерьми. Народ награждает лучших людей прекрасными легендами, точно так же, как правительство награждает их званием героев.

Легенда — это всенародное признание, проявление любви и благодарности. Мы знаем легенды и песни о Ленине и Сталине, Пушкине и Горьком, Ворошилове и Блюхере, Кирове и Фрунзе.

Имя Блюхера окружено славой освободителя. Ни один из завоевателей-полководцев прошлого не мог сказать, как Блюхер:

— Волочаевская эпопея показала всему миру, как умеют драться люди, желающие быть свободными.

Слава Блюхера — это отблеск славы величайшей в мире революции. Блюхер рожден и воспитан ею. Он — ее сын, ее солдат и один из ее полководцев. Он обладает личными качествами, свойственными гражданину социалистической страны и полководцу рабочей армии. Он спокоен и скромн, смел и находчив, упорен и тверд.

★

Василий Константинович Блюхер — волжанин. Он родился в 1889 году. Всего полтора года он учился в сельской школе, потом его отвезли в Петербург и отдали «мальчиком» в магазин.

Жизнь этих «мальчиков при магазине» была невыносимой. Их били за каждую пустяковую провинность или просто так, без нужды, чтобы «выбить дурь». У приказчиков существовала традиция непрерывно глумиться над ними. Их заставляли работать почти круглые сутки — мести и мыть полы, перетаскивать тяжелые товары, разносить по городу покупки, прислуживать хозяину и его подручным. Их воспитывали покупчески: «не обманешь — не продашь», «не пойман — не вор». Обстановка мелких краж и злобы окружала этих худых, без кровинки в лице, маленьких рабов.

У Блюхера не было детства. В петербургской лавке, на побегушках, он сразу же, без всяких подготовок узнал и возненавидел тогдашнюю жизнь, отталкивающее лицо старого строя.

Из магазина Блюхер еще подростком ушел на завод. Он работал на франко-русском заводе Берга. Все свободное время он читал запоем, без разбора.

У Блюхера, как и у Горького, единственной школой, единственным его университетом в молодости были книги и люди.

Сила книг, сила знаний, добытых из этих книг, была в те времена различна для людей разных классов. Блюхер сам вырывал знания из книг, он их искал всюду. Его пылливость была неистощима. Поэтому знания и обогащали его во стократ сильнее, чем сыновей других классов, сыновей буржуазии, учившихся в гимназиях и университетах в силу обязанности или традиции.

Обширные знания дают закалку революционному темпераменту. Эту закалку Блюхер начал приобретать с мальчишеских лет.

В 1909 году, когда Блюхер поступил рабочим на Мытищинский вагоностроительный завод под Москвой, он уже был юношей-революционером с ясной головой и твердой волей.

Были годы реакции. Их звали тогда безвременьем. Смысл этого слова почти непонятен мелодому советскому поколению. Это слово умерло с первых же дней революции.

Безвременье — это серые, долгие годы приглушенной, почти потухшей легальной общественной мысли, годы ожидания, годы жестоких расправ царского правительства со всем живым и беспокойным, что еще оставалось в стране.

Но безвременье существовало преимущественно для интеллигенции. На заочных заводах, в дощатых домах рабочих окраин шла напряженная жизнь. Революционная мысль и революционный гнев росли, крепились, захватывали все более широкие пласты рабочих масс и городской бедноты, ремесленников и крестьян. Большевицкая партия упорно работала в подполье.

В 1910 году молодой мытищинский рабочий Блюхер впервые выступил как революционер. С каменной тумбы на заводском дворе он произнес перед рабочими горячую речь. Он призывал к забастовке. За это он был приговорен к 2 годам 8 месяцам тюрьмы.

Тюрьма была для Блюхера продолжением революционной школы. Для истинных революционеров даже годы сидения в одиночестве никогда не пропадали даром, — тюрьма делала их непримиримыми, уничтожала без остатка мысль о

возможности мирного пересоздания общества.

С первых же дней европейской войны Блюхер был взят в армию. Он был простым солдатом, рядовым, но прежде всего — революционером.

Не было лучшего места для роста революционного сознания и для революционной работы, чем затоптанные поля сражений, сгоревшие местечки, залитые глинистой водой окопы. Громадные армии, миллионы рабочих и крестьян, одетых в шинели и папахи, были согнаны на эти поля убивать и умирать во имя прибылей, рынков, торговых сделок.

Нищие, измаявшиеся от непонимания своей беды крестьяне, растерянные, не знавшие, где враги, где друзья, месили кровавую грязь, отступая без снарядов, без патронов, озлобленные, ежеминутно готовые к восстанию. Слово «измена» катилось по фронтам и еще больше мutilовало головы солдатам.

Позади, за спиной ждала нищета, бесправие, голодный тиф. Впереди — ураганный огонь, немцы, бессмысленная смерть. Чудовищный, еще небывалый в мировой истории обман народных масс совершался у всех на глазах.

Всюду — в окопах и на ночевках в амбарах-стодолах, в походе и в боях Блюхер разоблачал этот обман, бросал во взбудораженные умы солдат простые, ясные слова о причинах войны, об ее отвратительных целях, об единственном средстве избавить человечество от ужасов войны и эксплуатации — о пролетарской революции.

В 1916 году Блюхер был тяжело ранен и уволен из царской армии. Он вернулся в родные места, на Волгу, работал токарем на Сормовском судостроительном заводе, оттуда перешел на механический завод Остермана в Казани.

В Казани в 1916 году Блюхер вступил в партию.

Он много и упорно учился, хотел даже сдать экзамен при гимназии на аттестат зрелости. Каждый вечер после работы на заводе он ходил в Собачий переулок к студенту-репетитору Нагорного.

Нагорный был энергичный юноша, бравшийся за одну зиму пройти с учениками полный курс гимназии. Он давал Блюхеру чудовищные уроки. Один из питомцев Нагорного, учившийся у него вместе с Блюхером, вспоминая об этом времени, сознается, что от обилия заданного все ученики Нагорного совершенно шалели, и один только Блюхер упорно и точно выполнял все требования неистового репетитора.

На заводе Остермана было много молодых рабочих. Все заводы работали тогда «на оборону», и старых рабочих не хватало. Большинство остермановских рабочих были неопытны, не потерялись еще в пролетарской среде, не знали самых простых технических навыков. Среди молодых рабочих было много «горчичников». Так на Средней Волге зовут городских бедняков, ремесленников-«люмпенов».

«Горчичники» долго не могли привыкнуть к тому, что Блюхер — такой же рабочий, как и они. Их поражала его сдержанность, вежливость, привычка чисто одеваться, его правильный русский язык. «Горчичников» Блюхер учил не только токарному делу, но и политической грамоте.

На заводе Блюхер провел итальянскую забастовку в защиту уволенного товарища. В те годы увольнение с завода грозило отправкой на фронт.

Февральская революция застала Блюхера в городе Петровске бывшей Самарской губернии. Блюхер работал на тамошнем маслобойном заводе. При первом же известии о революции он бросил Петровск и уехал в Самару.

Приближался Октябрь. В Самаре во главе местных большевиков работал Куйбышев. Блюхер работал вместе с ним, — он руководил всем, что имело отношение к военному делу, к солдатам, к организации вооруженных рабочих отрядов.

Популярность Блюхера среди солдат запасных частей, стоявших в Самаре, была огромна. Военские части, формально подчиненные Временному правительству, на деле были целиком в ру-

как скромного и смелого большевика, токаря Блюхера.

В октябрьские дни Блюхер был членом самарского революционного комитета и начальником губернской охраны.

С октября 1917 года начался стремительный рост Блюхера, — столь же стремительный, как и развитие самой революции.

Все предыдущие годы с их упорной, но небольшой по размаху революционной работой, годы войны и медленного, трудного самовоспитания, создания из самого себя при помощи партии культурного и пронизательного революционера, сразу же отодвинулись в прошлое. Они кажутся только необходимой подготовкой и коротким предисловием к новой жизненной эпохе, отмеченной великими делами, победами и славой.

★

Талант Блюхера, как полководца, проявился на Урале в 1918 году во время героического похода в тылу у белых.

В мае 1918 года восстали чешские батальоны. Чехи шли эшелонами во Владивосток. Поезда с чехами растянулись от Пензы до Иркутска. Восстание чехов началось одновременно по всему этому длинному пути.

Вооруженные до зубов чехо-белогвардейцы захватывали города, арестовывали и расстреливали советских работников, создавали в занятых областях «маргариновые» белые правительства.

Плохо вооруженные, разрозненные партизанские отряды отчаянно дрались с чехами, но вынуждены были отступить, — не было патронов, не было пулеметных лент. Вместо пулеметов, чтобы хотя на время ввести в заблуждение врага, пускали в ход самодельные деревянные трескотки.

На Урале партизанские отряды отошли с тяжелыми боями под натиском чехов и белых к Белорецкому заводу.

На западе, востоке и севере были чехи, на юге — банды атамана Дутова. Красные отряды оказались в кольце белых. До своих, до ближайших регулярных частей Красной Армии было свыше

1 000 километров пути через области, занятые белыми.

На юге, в Оренбурге, стоял Блюхер, выбивший из города казачьи полки Дутова. Блюхер пошел на помощь уральским рабочим отрядам и соединился с ними в Белорецке. Был образован Южно-Уральский отряд численностью в 10 000 человек. Отряд этот отличался от остальных партизанских отрядов тем, что в его составе было крепкое, испытанное в революционной борьбе ядро рабочих-большевиков, составивших Белорецкий социалистический полк. В этот полк входили рабочие Белорецкого, Тирлянского, Кагинского и Узянского заводов.

Старинный Белорецкий завод был запружен оборванной, запыленной, измученной боями армией и тысячами беженцев.

Нужно было во что бы то ни стало прорваться к своим. Путь на юг, к Ташкенту, был долог и шел по открытым степям. Можно было пробиться на север, к Екатеринбург, занятому Красной Армией, и на восток.

На пути к Екатеринбург лежал Верхнеуральск. Туда белые стянули крупные силы. Чтобы пройти на север нужно было выбить белых из Верхнеуральска.

Десять дней красные части прорывались с боем через густые, девственные леса. Лето стояло знойное, засушливое.

Лесные бои — самые трудные и медленные. Каждое дерево превращается в форт, каждая заросль дикой малины — в засаду. Но все же бойцы, хотя и ограниченные «патронным пайком», медленно, шаг за шагом, сбивали белые казачьи части и офицерские роты и подошли к Верхнеуральску.

Белые окопались под городом на горе Извоз — лысой, пыльной, заросшей низкой колючей травой. Гора была густо заплетена проволокой и изрыта волчьими ямами. Длина проволочных заграждений составляла двадцать километров — неслыханная длина в истории гражданской войны. А в отряде не было даже ножниц, чтобы резать проволоку.

Начался кровопролитный штурм Извоза. Красные части карабкались под ураганным огнем на крутую и гладкую гору, где не было никаких, даже самых пустяковых, прикрытий. Пулеметные пули поднимали густую пыль.

Бойцы ломали проволоку руками, бросались на нее сразмаху всей тяжестью своих тел и рвали ее, оставляя на колючках куски кожи и одежды. Многие бойцы проползали под проволокой по земле.

Патроны быстро иссякли. Единственный выход был в том, чтобы скорее прорваться через проволоку и броситься на белых в штыхы.

К вечеру проволока была прорвана и начался безмолвный рукопашный бой. Белые дрогнули. К ночи Извоз был взят, путь на север был свободен, но этой же ночью в отряде узнали, что Екатеринбург пал, захвачен белыми.

Двигаться дальше на север было бесполезно. Нужно было выбрать другой путь.

Созвали совещание командиров. На нем Блюхер изложил свой план соединения с Красной Армией.

Надо было вернуться в Белорецк и двигаться оттуда через горы на запад по глухим дорогам, дойти до берега Белой, свернуть вдоль реки на север, пересечь железную дорогу и соединиться с частями Красной Армии около Кунгура. На этом пути было меньше белых. Высокие горные цепи защищали от ударов с флангов, и, кроме того, были сведения, что в этом районе действовали небольшие партизанские отряды.

План Блюхера был принят всеми командирами. На этом же совещании Блюхер был избран командующим Южно-Уральским отрядом.

Отряд начал с боями отходить от Верхнеуральска к Белорецку. Каждый день налетали казаки.

В одной из стычек казаки окружили пулеметчика Бачурина. Он выпустил последнюю ленту, лег на пулемет и взорвал себя вместе с пулеметом ручной гранатой.

Через много лет после этого Блюхер писал: «Мне вспоминается бесконечное число случаев беспримерного героизма».

Смерть Бачурина была одним из этих бесконечных случаев.

В старой, дореволюционной армии, в армиях других стран бывали проявления храбрости. Но нигде и никогда еще не было такого случая, чтобы вся армия состояла из людей, для которых героизм стал второй натурой, как это было и есть в Красной Армии.

Героизм определяется не только личной храбростью, но, главным образом, величием и силой идей, за которые люди дерутся. В этом причина героизма Красной Армии и залог ее непобедимости.

После недолгой передышки в Белорецке начался беспримерный поход Южно-Уральского отряда на запад, через территорию, занятую белыми.

5 августа 1918 г. отряд выступил из Белорецка. Он растянулся по глухим горным проселкам на двадцать километров. Шла босая пехота, шла измученная кавалерия, гремели старые, износившиеся орудия, тянулись сотни подвод с ранеными бойцами, боевыми припасами и провиантом. Вместе с отрядом уходили из Белорецка сотни рабочих.

Путь был мучителен. У телег горели немазаные колеса, на тяжелых, почти непроходимых подъемах лошади выбивались из сил, есть было нечего.

Босая и голодная армия медленно, непрерывно и упорно двигалась на запад, легко отбрасывая налетавшие на нее казачьи отряды. В этом движении было столько настойчивости и спокойствия, что белые вначале растерялись.

Имя Блюхера вызывало трепет. Кто он, откуда появился этот неустрашимый и талантливый полководец, чьи обрванные полки спяны, как легендарные римские легионы? Кто он, полководец армии, которую невозможно остановить, как нельзя остановить медленно текущую глубокую, полноводную реку? Не может быть, чтобы это был простой рабочий, токарь, бывший рядовой царской армии. Белые газеты печатали сенсационные известия о том, что Блюхер — немецкий генерал, нанятый за большие деньги Совнаркомом. Белое командование назначило за голову Блюхера награду в двадцать тысяч

рублей. Блюхер, читая об'явления об этом, сдержанно улыбался, — он был совершенно спокоен за свою голову

У себя в штабе он изучал карты и разгадывал их с необычайной легкостью. Карта оживала в его руках и выдавала все свои тайны, ловушки, скрытые опасности.

В боях он был рядом с бойцами. Под ним убивали лошадей, но пули не трогали его. Его видели всюду в отряде — этого стройного жизнерадостного человека с серыми, очень внимательными, чуть прищуренными глазами и спокойным, мужественным голосом. Всяду была видна его потертая до белых лысин кожаная куртка и старая солдатская фуражка.

Он мало смеялся. Смех у него заменяла улыбка. Только один раз во время похода бойцы видели, как командующий смеялся громко, от души.

Это было на берегу реки Сарыган. Измученные кавалеристы остановились на привал под черными густыми ивами, разделись и начали купаться. Неожиданно из леса вырвались казаки.

— Кошомники! — успел крикнуть кто-то из бойцов. Нет более обидного прозвища для казаков, чем это малопонятное слово. Казаки спешили и открыли по кавалеристам огонь. Пули с треском распарывали воду. Одеваться было некогда. Голые кавалеристы вскочили на коней и с громкими криками ринулись на казаков в атаку. Казаки бежали. Блюхер смеялся. Должно быть, впервые в военной истории кавалерия голый ходила в атаку.

Стояла медная и звонкая уральская осень. Дороги и леса были засыпаны пальмы листьями. Их терпкий, холодный запах освежал усталых бойцов. На привалах бойцы собирали костянику, — они называли ее «крововыми слезками». Осень была на счастье сухая, ясная, почти не было дождей.

В Богоявленском к отряду Блюхера присоединился партизанский отряд Калмыкова. Богоявленские рабочие решили уходить от белых вместе с красными частями. По всему поселку зазвонили в старинные чугунные била, — созывали сход. Надо было решить — брать ли

с собой семьи или оставить их в Богоявленском? Рабочие решили семей не брать, чтобы не задерживать громоздкими обозами движение отряда и дать ему возможность поскорее соединиться с главными силами Красной Армии.

За Богоявленским горы стали ниже. появились первые липовые леса, — отряд выходил в предгорья Урала.

От села Макарова отряд повернул на север, на Кунгур, оставляя Уфу к западу. В Уфе началась паника. Белые газеты писали, что Блюхер убит, но никто в это не верил.

Отряд остановился у глубокой и быстрой реки Сим. Начали строить мост. Гвоздей не было, пришлось связывать бревна веревками.

Белые воспользовались остановкой Блюхера, чтобы нанести ему сильный удар. Блюхер принял бой.

Сражение развернулось широким фронтом, — длина его составляла тридцать километров. Чтобы отвлечь внимание белых от строящегося на Симе моста, Блюхер начал ложную переправу через реку Белую около Бердиной Поляны.

Бой шел в деревнях Зилим, Ирныкши и Бердина Поляна. Деревни горели. Под Блюхером был убит его любимый конь. Белые наседали с неслыханным ожесточением. Дралась главным образом на околицах деревень. Поэтому бои за переправу через Сим получили у бойцов название «околичных». Несколько раз белые начинали теснить красные части, но положение спасали стремительные встречные атаки.

Главные силы вступили на мост. Белых сдерживали только арвергарды. К ночи переправа всего Уральского отряда через Сим была закончена.

Мост сожгли, и отряд стремительно двинулся дальше на север и перерезал около станции Иглино (к востоку от Уфы) Самаро-Златоустовскую железную дорогу, отшвырнув к Уфе заградительные отряды белых.

Чешские батальоны отступили к Уфе, даже не приняв боя. Подтянутые и чистые чешские полки не выдерживали схваток с голодной армией — нестойкой и бесстрашной.



Московская Пролетарская дивизия.

Отступление чехов усилило панику в Уфе. Она достигла наивысшего напряжения, когда красные части обстреляли поезд, в котором ехали в Уфу члены пресловутого уфимского учредительного собрания. Среди обстрелянных были Чернов и Брешко-Брешковская.

Части Блюхера разрушили железную дорогу на двадцать километров и двинулись дальше на север. Впереди было последнее препятствие — река Уфа

Белое командование бросило в погоню за Блюхером отборные части. Неудовольствием Блюхер уходил из западни, из окружения, быстро двигаясь к рубежам, за которыми преследование его становилось уже невозможным. Необходимо было задержать его на реке Уфе. Белые рассчитывали, что Блюхеру не удастся перейти реку, — места вокруг были безлесные, не из чего было построить мост, а река была полноводная и быстрая, с топкими, болотистыми берегами.

Когда Уральский отряд выходил из Иглина, Блюхер стоял на крыльце деревянного дома и смотрел на свои войска.

Удивительная армия проходила перед ним — исхудалая, почерневшая от не-

прерывных походов и сражений. Бойцы несли самодельные грубые знамена, покрытые пылью, изорванные в клочья в боях. Армия была одета в лапти, в зипуны, в пиджаки, в заскорузлые солдатские шинели. Разнокалиберные потертые винтовки качались за плечами, шашки у кавалеристов были не в ножнах, а в деревянных колодках.

Шли русские, башкиры, латыши, уральские казаки, украинцы, китайцы, шли молча, попеременно с обозами. Возницы, проезжая мимо Блюхера, снимали шапки, раненые подымали вверх костыли, приветствуя своего командующего.

Блюхер молчал. Голодная армия, покрытая славой, армия первых дней революции шла на новые испытания. Ее не надо было ободрять, она не нуждалась в благодарности, — каждый боец дрался за свое кровное дело.

На реке Уфе не было леса. Мост пришлось строить под ураганным огнем в обстановке напряженного боя. Мост длиной в сто саженей складывали из гнилых бревен от разобранных изб. Бревна доставляли крестьяне-башкиры. Они подвозили их к берегу реки по болотам под орудийным огнем.

Бревна закидали хворостом, и началась осторожная переправа. Кавалерийские части Блюхера ударили во фланг белым и приняли на себя весь огонь, пока отряд не переправился через Уфу.

За рекой армия Блюхера вышла из лесов и гор в глухие, безлюдные, равнины, заросшие редким березовым лесом. Шли по проселочным дорогам. Главные силы Красной Армии были уже недалеко.

В один из серых и сырых осенних дней разведка Блюхера встретилась с передовыми частями Красной Армии. Случилось это около деревни Аскино к югу от Кунгура. А через несколько часов регулярные части Бирской бригады, выстроившись, пропускали мимо себя неожиданно появившуюся из уральских земель армию Блюхера.

Весть о появлении этой армии, прошедшей с боем 1 500 километров по белым тылам, быстро разнеслась по всей стране, по фронтам. Застучали аппараты прямых проводов. Шли донесения Блюхера, шли радостные ответы из Кремля.

30 октября 1918 года Блюхер был награжден за героический поход по Уральским горам орденом Красного Знамени. Блюхер был первым человеком в стране, получившим этот орден.

А через семнадцать лет — в 1935 году — молодые рабочие Белорецкого завода прошли пешком весь этот героический путь, чтобы изучить и на всю жизнь запомнить места, где проходили вместе с Блюхером, отбиваясь от белых, их отцы и деды. Молодых рабочих провели по этому пути трое старых партизан, участников легендарного похода.

★

В 1919 году Блюхер с 51-й стрелковой дивизией прошел всю Сибирь, очищая ее от Колчака. 51-я дивизия была сформирована им из закаленных бойцов — уральских рабочих и сибирских партизан.

В 1920 году дивизия была переброшена под Каховку и Перекоп против Врангеля.

К своим воспоминаниям о Перекопском бое Блюхер взял эпитафию из Багрицкого:

И, разогнав густые волны дыма,
Забрызганные кровью и в пыли,
По берегам широкошумным Крыма
Мы красные знамена пронесли.

Так встретились полководец и поэт. Эта как будто незначительная черта характеризует все наше время.

Командующий пролетарской армией знает и любит поэзию, — она ему родни. Характерна также на ненависть, с которой Блюхер упоминает о солдафонстве иностранных генералов и офицеров. Дух старых армий ненавистен ему, врожденному пролетарскому полководцу. В бою Блюхер смел и решителен, в личной жизни он мягок и культурен в самом высоком значении этого слова.

51-я дивизия получила приказ овладеть Перекопом. Нет ни одного человека в Советском Союзе, который бы не знал хотя бы в общих чертах картины этого громадного беспримерного боя. Перед ним меркнет слава Аустерлица, Бородина, Ватерлоо.

Части 51-й дивизии шли на штурм перекопских бетонных укреплений и Турецкого вала, закрывавших наглухо Крым. Крупные военные специалисты Европы считали, что Перекоп неприступен.

Но Перекоп был взят. В своих воспоминаниях — сдержанных и полных скупой выразительности — Блюхер говорит: «Мы наблюдали грандиозную панораму еще невиданного по масштабу боя. Мы натолкнулись на стену из жерл орудий и дул пулеметов»

Волны огня с суши и с моря били в ряды бойцов 51-й дивизии. Дивизия бросалась на штурм, огонь сбивал ее с Турецкого вала, бойцы слепли от света прожекторов, но бросались в штыки слова и снова, и к вечеру белые офицерские полки были выбиты из бетонных укреплений и в беспорядке отошли на Юшунские позиции.

11 ноября 51-я дивизия прорвала и Юшунские позиции белых. Сегодня, — телеграфировал в этот день Блюхер, —

в 9 часов утра дивизия вступила твердой ногой в чистое поле Крыма.

15 ноября дивизия вошла в Севастополь. Прекрасный город, город Черноморского флота и революционных традиций, прекрасная южная земля были возвращены революции.

51-й дивизии было присвоено с тех пор название Перекопской. За бой под Каховкой и Перекопом Блюхер получил еще два ордена Красного Знамени.

★

В 1921 году Блюхер был назначен председателем военного совета и главнокомандующим всеми вооруженными силами Дальневосточной республики

Приморье было занято японцами. Как и все интервенты, японцы прибегли к излюбленному шаблонному приему, — они создали во Владивостоке белое правительство Меркулова, сами же изображали из себя только недолгих друзей, призванных этим правительством для защиты от большевиков. Интервенты были всегда наглы, в этом же случае они были еще и глупы. Совершенно непонятно, кого они хотели убедить в своих «мирных намерениях». Никто в мире в это не мог поверить.

Свое настоящее лицо японцы показали во время переговоров с представителями Дальневосточной республики в Дайрене в 1921 году. В этих переговорах участвовал Блюхер.

Японцы выставили ряд наглых и разбойничьих требований. Они требовали, чтобы на территории Дальневосточной республики не был введен «коммунистический режим», требовали сохранения частной собственности, уничтожения всех укреплений и береговых батарей, передачи им якобы на 80 лет Северного Сахалина. Наконец они требовали, чтобы Дальневосточная республика не имела на Тихом океане ни одного военного корабля.

Представители Дальневосточной республики ответили резким отказом и уехали из Дайрена.

Тогда японцы бросили против частей народно-революционной армии Дальневосточной республики банды атамана

Калмыкова и генерала Молчанова. Чтобы охарактеризовать этих людей, достаточно привести отзыв о Калмыкове американского генерала Гревса, начальника американских экспедиционных войск на Дальнем Востоке. Ему то уж не было смысла разоблачать Калмыкова. «Калмыков, — сказал Гревс, — был самым отъявленным негодяем, которого я когда-либо видел».

Калмыкова сменил Молчанов. Лозунг у Молчанова был простой: «Вперед к Кремлю».

В декабре 1921 года войска Молчанова перешли нейтральную зону, установленную между Владивостоком и Хабаровском, и захватили Хабаровск. Части народно-революционной армии отступили.

«Необходимо было, — говорит Блюхер, — крепко ударить белых интервентов в зубы».

Вскоре после занятия Хабаровска белыми Блюхер был назначен главнокомандующим народно-революционной армией. Он уничтожил в ней дух партизанщины и превратил ее в регулярную армию, хотя и плохо еще одетую и вооруженную, но все же гораздо более крепкую и дисциплинированную, чем раньше.

С первых же дней своей военной работы Блюхер стремился к превращению вооруженных рабочих дружин и партизанских отрядов в регулярные красноармейские части. Он боролся за дисциплину, за четкость, за культурность армии, за новейшее вооружение, за использование всего ценного, что заключается в военной практике других стран, иными словами, он всегда боролся за то, чтобы армия первого в мире социалистического государства была непобедимой.

Вступив в командование армией Дальневосточной республики, Блюхер немедленно начал разрабатывать план сокрушительного удара по войскам генерала Молчанова.

В поезде по пути на Дальний Восток он написал письмо генералу Молчанову, являющееся блестящим образцом агитации. Письмо это широко рас-

пространили по белой армии и только после этого переслали самому Молчанову.

«Я — солдат революции, — писал Блюхер, — и хочу говорить с вами, прежде чем начать последний разговор на языке пушек.

Какое солнце вы предпочитаете видеть на Дальнем Востоке? То ли, которое красуется на японском флаге, или восходящее солнце новой русской государственности, начинающее согревать нашу родную землю после дней очищающей революционной грозы».

На станции Волочаевка белые создали второй, дальневосточный Перекоп. Высокая сопка Карань около станции была оплетена проволокой в шесть рядов. Все было изрыто окопами, блиндажами, волчьими ямами. У белых были орудия, бронепоезда, танки. «В Волочаевке создан Верден» — с восторгом писали белые газеты.

Народно-революционная армия была раздета, плохо обута. В армии был всего один старенький танк.

Стояли жестокие, невыносимые морозы в 40 — 45 градусов. Несмотря на это, Блюхер решил взять Волочаевку. Старые военные специалисты считали, что брать Волочаевку зимой — безумие, что армия погибнет от морозов, не сможет даже вести огня, что операцию надо отложить до весны. Но Блюхер назначил штурм Волочаевки на 10 февраля, — ждать было нельзя. Каждый день промедления укреплял белых и усиливал наглость интервентов.

10 февраля поздним утром на низкой, болотистой равнине, засыпанной снегом, в редком березняке, свистевшем от ледяного ветра, в жестокий мороз, в зимней тяжелой мгле бойцы народной армии начали штурм сопки Карани — подступа к Волочаевке.

Пальцы прилипали к затворам, мороз душил, ослеплял, пули звенели в застывшем воздухе, как в битом стекле.

Проваливаясь в снег, бойцы рвали колючую проволоку руками и несколько раз ходили на белых в штыковые атаки. Бронепоезда били по частям Народной армии сосредоточенным огнем. Бе-

лые заливали равнину огнем свинца. Раненых было немного, потому что раненые падали в снег и замерзали от чудовищной стужи. Многие замерзли во время перевязок.

К вечеру бой стих, не дав решительных результатов. Обмороженные части Народной армии остановились.

11 февраля боя не было. Наши части лежали в снегу около проволочных заграждений противника.

«На морозе, от которого стыла кровь, — пишет один из участников волочаевских боев, — залегла армия Восточного фронта».

Блюхер по колено в снегу обходил части. Веселый и простой, он шутил с народоармейцами, очень внимательно слушал и тепло отвечал. В беседе его открытое, загорелое лицо быстро меняло свое выражение. Когда он был чем-нибудь недоволен, его черные брови тесно сдвигались. Блюхер недавно прибыл на фронт, но народоармейцы уже хорошо знали и любили его.

Места вокруг Волочаевки были безлюдные, пустынные. Поблизости не было ни деревень, ни поселков. На равнине стояло только три небольших дома.

Весь день 11 февраля бойцы по очереди отогревались в этих домах. У многих бойцов были отморожены уши и руки. Дома были жарко натоплены. В одну маленькую комнату набивались десятки бойцов. Люди лежали штабелями друг на друге.

Белые недоумевали. Молчание Народной армии они приняли за какую-то военную хитрость и начали нервничать.

12 февраля в седом рассветном дыму Народная армия бросилась на второй штурм Волочаевки. Бой за короткое время достиг жестокого напряжения. К десяти утра вся равнина дрожала от орудийного грома и криков атакующих частей. Белые дрогнули.

Заросшие ином, засыпанные снегом, окутанные паром от дыхания, бойцы Народной армии пошли в штыки. Тусклое солнце осветило цепи людей, похожих на глыбы снега и льда. Но эти люди не лежали пластом на земле, они бежа-



Худ. Машков. Волочаевский бой.

ли вперед по снегу, покрытому розовыми пятнами крови, и, казалось, ничто в мире не могло их остановить.

Белые не выдержали. Они начали отходить, отстреливаясь от бойцов Народной армии, как от призраков, потом отход превратился в бегство. Днем Волочаевка была взята, а 14 февраля был взят и Хабаровск.

Героизм красных частей под Волочаевкой был беспрецедентен. Даже сдержанный Блюхер, объезжая места боя, сказал, что он затрудняется выделить доблесть какой-нибудь отдельной части: героически борлись и самоотверженно глядели в лицо смерти все.

Даже белые были поражены отвагой наших частей. Полковник Аргунов, командовавший белыми частями в районе Волочаевки, убегая к Иману, сказал, что он всем бы красным героям Волочаевки дал по георгиевскому кресту.

Белым не помогло ничто — ни прекрасное вооружение, ни опытное командование, ни то, что белая армия хорошо питалась, была тепло одета. Не помогли и призывы генерала Молчанова к своим старшим начальникам «вдунуть в сердца подчиненных страстный дух победы и наэлектризовать каждого».

Через несколько дней Народная армия встретилась в Спасске с японцами. Японцы начали отходить к Владивосто-

ку, — их карта была бита. Вскоре и Владивосток стал советским, стал «нашенским», как сказал Ленин.

За разгром белых и интервентов на Дальнем Востоке Блюхер был награжден четвертым орденом Красного Знамени. Слава его, как полководца, перешла за рубежи Советского Союза. Иностранные военные специалисты писали о нем, как о блестящем стратеге, — писали скрепя сердце, с тайным страхом в душе.

Ведь даже врангелевские газеты говорили о Блюхере, что он «силен, хитер, но наши войска с божьей помощью его разобьют». Врангелю не мог помочь ни бог, ни чорт, ни даже высокая военная техника, переданная ему оккупантами, ибо в классовой войне победа определяется силой классовой ненависти и чувством правого дела.

★

С 1924-го по 1927 год Блюхер работал в Китае. Он был главным военным советником национального правительства Китая, советником Сун Ятсена. После того Блюхер вернулся в Советский Союз и продолжал упорную работу над укреплением Красной Армии.

Осенью 1929 года, когда китайские белобандиты захватили Китайско-Во-

сточную железную дорогу и перешли границы Советского Союза, Блюхер был назначен командующим Особой Дальневосточной Армией.

Всем памятна эта короткая война, получившая название конфликта. Одним быстрым и метким ударом Блюхер уничтожил ядро белобандитских войск. Еще у всех в памяти несметное число пленных и военного снаряжения, захваченного Блюхером.

Все методы и характер этой войны определяются следующим приказом Блюхера:

«Я призываю к величайшей бдительности. Еще раз заявляю, что наше правительство и в данном конфликте придерживается неизменной политики мира.

На провокацию необходимо отвечать нашей выдержкой и спокойствием, допуская впредь, как и раньше, применение оружия исключительно только в целях собственной самообороны от налетчиков».

В этой войне Дальневосточная Красная армия и Блюхер, руководивший ею, снова показали всему миру не только свою боевую, но и революционную и моральную мощь.

В первые дни войны было замечено, что китайцы проявляют панический страх перед пленом. Некоторые пленные даже пытались покончить с собой самоубийством. Об этом стало известно Блюхеру. Надо было найти причину необоснованного страха. Блюхер изучил для этого всю агитационную белую литературу, — он понимал, что страх этот навязан со стороны и не является непосредственным.

Оказалось, что белые листовки были наполнены рассказами о жестокости русских. Листовки напоминали китайским солдатам о так называемом боксерском восстании, когда по приказу русских генералов в Амуре были утоплены тысячи китайских крестьян. Белые использовали этот случай для агитации против Дальневосточной Красной армии, — ведь эта армия по национальности была в большинстве своем русской.

Разбить эту агитацию ничего не стоило. Она была уничтожена самим

ходом вещей — гуманным и товарищеским отношением к пленным китайским солдатам.

Дальневосточная армия была первой армией в мире, подвизившей на поля сражения не только патроны и снаряды, но и муку и продовольствие. Муку раздавали бесплатно китайской бедноте. Нищие китайские деревни благословляли приход таких необыкновенных «врагов». Но это не было военным приемом, средством заслужить любовь населения, — это было простое выражение солидарности с бедняками-крестьянами всех стран, всех народов.

★

В нашей Красной Армии рождаются прекрасные традиции. Одна из таких традиций — тесная связь армии с родителями бойцов. Эта традиция особенно крепка в Дальневосточной армии. Блюхер является ее вдохновителем. Он неотступно проводит ее в жизнь. Он переписывается с семьями бойцов, ежедневно укрепляет крепкие нити, связывающие армию с ее народом. Он приглашает родителей бойцов посетить армию и встречает их, как дорогих и почетных гостей.

Служба в Дальневосточной армии требует особой бдительности. Сплошь и рядом белые и японские банды переходят границу и встречают жестокий отпор. В этих стычках бывают убитые и раненые бойцы, и каждый раз Блюхер пишет родителям этих бойцов письма, чтобы утешить их в горе. Блюхер хорошо знает цену простой народной мудрости, цену слов: «Какова березка — таковы и листочки». Он знает, что за спиной его бойцов стоят не менее мужественные, отважные отцы, братья, сестры. И почти всегда на место погибшего семья дает другого бойца, чтобы так же стойко и бдительно охранять границы Союза от врагов, и новому бойцу передается по традиции винтовка погибшего.

Не даром старый колхозник Михеев, побывав в Дальневосточной армии, писал Блюхеру:

«Я — седовласый старик, много видел на своем веку, но, честное слово, я еще не видел такого прекрасного края, как Дальний Восток, и вы его, товарищ Блюхер, вместе с нашими сыновьями зорко охраняете. Особая Краснознаменная армия, ее бойцы и ее командиры украшают Дальний Восток».

Четыре сына Михеева служат в ОКДВА. Из этих четырех братьев создан экипаж одного из танков.

«В своем письме, — ответил Блюхер Михееву, — вы с чувством неподдельного восторга отзывались о бойцах и командирах ОКДВА, заявляя, — какой хороший народ в Красной Армии. А ведь народ этот — ваши сыновья, дорогой Дмитрий Федорович».

Наша молодежь мечтает о том, чтобы служить под начальством маршала Блюхера. Блюхер получает сотни писем от юношей с просьбой принять их в Дальневосточную армию.

Из множества этих писем я останавлиюсь на одном.

Содержание его таково:

«Может быть, вы помните Казань, где вы работали токарем на заводе Остермана; может быть, вы помните, как к вам приходили два соседских маленьких мальчика. Вы вырезали им деревянные пистолеты и сделали деревянные пули, обернутые серебряной бумагой. Так вот, один из этих мальчиков уже вырос и мечтает только о том, чтобы свою красноармейскую службу отслужить в героической армии, которой вы командуете».

★

Имя Блюхера в последние годы неразрывно связано с Дальним Востоком, под его руководством наша дальневосточная граница превратилась в «границу из бетона».

Блюхер охраняет границу — зорко, спокойно, охраняет сильной рукой. Нужна большая выдержка, чтобы не отвечать на бесчисленные провокации, которыми так богата эга граница, и вместе с тем давать беспокойным соседям хорошие уроки, когда это бывает нужно.

Страна спокойна за этот далекий и сказочно богатый край. Он расцветает на глазах. По словам Блюхера, карта Дальнего Востока меняется непрерывно. Эти слова — деловое замечание, а не художественный образ. Они характерны для полководца, привыкшего читать карты, как мы читаем книги.

Когда Блюхер говорит, что дальневосточная тайга расступается перед волей большевиков, в этой фразе точно и коротко выражен грандиозный процесс изумительного культурного и хозяйственного роста края.

Страна спокойна за Дальний Восток, — его охраняет Маршал Советского Союза Блюхер — человек высокой революционной закалки, воспитанный ленинской и сталинской эпохой, человек громадного личного мужества и стойкости, прямоты и военного таланта, человек нового времени и новой социалистической культуры.

Освободителю Кавказа

Перевод с кабардинского

★

Свет наш Серго!
Освободитель любимого родного
Кавказа!
Поднял ты здесь, на Кавказе,
красное знамя.
И оно неизменно реет над нами
Сегодня и завтра, — будет реять
всегда!
Ленинским словом живым,
Сталинской речью живою
Был на Кавказе Серго!

Хищные птицы слетались...
Клекотом жадным скликали черную
зловую стаю.
Проклятый Корнилов, Каледин
и Бабич,
Краснов, Алексеев, Деникин и Коцов.
Хищные черные птицы
острожелезными клювами терзали
горцев Кавказа.

На сердце Советов,
На родную Москву,
Чтоб одеть ее в черную ризу, черные
тучи тянулись
С востока, с заката, и сверху,
и снизу.
Враг похитить задумал дивный ключ
нашей жизни.
Зло ярился Колчак,
Рвался дикий Юденич.

Но ты от врагов нас избавил,
Посланец великого Ленина!
В те грозные дни на Кавказе Серго
воевал — побеждал.

Неустрасимо-отважный!
Вражья пуля и шашка тебе были
всегда нипочем:
Нагло-дерзких врагов ты победно
снял с крутогривых коней,
Москва собирала могучие силы,
Москва собрала их
И сталинским маршем свершила свой
славный, победный поход.

Полководец наш, славный Серго!
Под командой твоей мы боролись,
Под командой твоей победили!

Знает силу твою и стервятник —
чернокрылый германский орел.
Улетал он трусливо с Кавказа,
на лету свои перья теряя,
Когда гнал его, не уставая,
страшный нашим врагам наш Серго.
Знает силу твою польский белый
орел.
Улетал он трусливо, на лету свои
перья теряя.
Когда гнал его, не уставая,
страшный нашим врагам наш Серго.

Много-много добра ты принес нам
И отвагой своей и делами,
Серго, полководец наш славный!

Записано со слов колхозника
Кильчуко Сижажева в с. Заюково,
Баксанского района, Кабардино-Бал-
карской АССР.

Из книги
«Творчество народов СССР»,
изд. ред. «Правда», 1937 г.



Товарищ Серго

Из повести «Чрезвычайный комиссар»

ВС. САБЛИН, З. ФАЗИН

★

В холодный январский день бойцы выстраивались на платформе станции Беслан. Одеты они были как попало. На ком зипун, на ком ватник или рваная шинель. Красноармейцы шопотом передавали друг другу:

— Ленинский комиссар сейчас прибыл.

Бойцы выстроились ровным четырех-

угольником. Мимо них торопливо пробежал командир. Все заметили, что он был в приподнято-радостном настроении.

С поезда сошла группа людей. Среди них красноармейцы сразу узнали Орджоникидзе, чрезвычайного комиссара юга России.

Прозвучала команда:

— Смирно!

Серго был в серой длинной шинели, внизу слегка забрызганной грязью. Поверх шинели на боку висел маузер в увесистой деревянной кобуре. Напряженные, тревожные дни и бессонные ночи избородили преждевременными морщинами его широкий открытый лоб. Но глаза попрежнему искрились улыбкой, — большие черные глаза, сообщавшие мужественному лицу одновременно выражение и веселости, и грусти.

В руке он держал измятую шапку.

— Здравствуйте, товарищи!

Бойцы хором ответили на приветствие и замерли в молчаливом ожидании. Серго поднял руку:

— Товарищи! Враг подходит к Пятигорску. Он жестоко расправляется со всеми, кто имел какое-либо отношение к советской власти, к большевикам.

По станицам и селам Дона, Кубани и Ставрополя идет жестокая расправа. Казачий генерал, немецкий барон пытаются вновь закабалить нас, отнять завоеванную землю и навязать нам голодную, беспросветную жизнь.

Не бывать этому никогда!

Здесь, на подступах Терека, где пролита горячая кровь лучших сынов пролетариата, мы задержим врага... Не допустим его вглубь Терекала.

... После митинга началась посадка в вагоны. У теплушек толпились красноармейцы, ждавшие отправления поезда. Возле одного вагона стоял молодой белобрысый парнишка в потертом пиджачишке и рваных башмаках. Пожевываясь от холода, он быстро притопывал ногами и балагурил:

— Эх, ребята! Где бы тут застрелить медведя? Мне шубу треба, ей-богу!

— А на што тебе шуба? — смеялись бойцы. — Без шубы в случае чего — удирать легче... Но как ты, скажи, пожалуйста, свою одежду потерял? Продад, а?

— Продать? А у меня и нечего было продавать.

— И шинели не было?

— Не!

— Брешешь, браток! Продад!..

— Вот истинный крест. Я, может, через это теперя и с вами сроднился, что одежи не имею. Ей-богу. Я ж и не думал воевать!..

— И мы, браток, не думали. А приходится!..

— Вот и мне пришлось. И все через шубу. Будь она проклята.

— Стало быть, была у тебя шуба?

— Да не. Дело так было: на позапрошлой неделе иду я по Кисловодской улице да около скверика встречаю младшего урядника станицы нашей, Алексея Яковлевича. Поздоровались, стали говорить о Деникине. Вижу — осторожно он мне отвечает, будто и не огорчен, что народ на фронте страдает. «Холода, — говорю, — Алексей Яковлевич!..». А он мне говорит: «Холода не отменишь приказом. По мне, так хоть бы сейчас мороз!». Вот гад! «А знаете, — говорю, — Алексей Яковлевич, на фронте люди раздеды?». — «Знаю». «А знаете, — говорю, — одежда в Ессентуках припрятана? Коли пошукать хорошо, так найдется одежда!». — «Где?». Я говорю: «Мы знаем, где. Найдем — да возьмем». Как он вскинется на меня: «У кого, — кричит, — одежда припрятана?». — «А у кого ее много, — говорю, — мы знаем». Ну, братцы, — белобрысый вдруг соорил изумленное лицо и хлопнул себя по сизой от холода щеке, — как он глянет на меня! «Так ты большевик, сукин сын, а?». А я ему: «Может, и большевик» — и стращаю: «К пятнадцатому декабря мы подготовили страшный взрыв: пудов до двадцати напихали в яму динамиту, и кто теплой одежи не даст по сей день, взлетит к чертовой матери на воздух...».

Рассказ белобрысого развеселил бойцов. Они от души посмеивались над его выдумкой о взрыве.

— «Совершенно, — кричит, — ты большевик!..», — продолжал белобрысый, — и тут он набрасывается на меня, расстегает шубу и грозит: «Я тебя застрелю!». Я не оробел, тоже расстегнул пиджак, — тут белобрысый, забыв о холоде, распахнул свой пиджачишко, обнажив ситцевую заплатанную руба-

ху, — вот так. Под пиджаком у меня был кинжал, а у него ничего не оказалось, и я от него ушел...

— Товарищи! Товарищи! — предупреждая крикнул кто-то сзади. Бойцы расступились, давая дорогу своему командиру. Он шел рядом с Серго, озабоченно считая вагоны: «Семь, восемь, девять...», и ставил мелом номера на каждом вагоне.

Бойцы притихли, подтянулись. Белобрысый отступил немного в сторону и взял под козырек, выпятив открытую грудь. Серго с недоумением посмотрел на него:

— Ты почему без шинели? Куда направляешься?

— Вместе с ротой, товарищ комиссар, на фронт!

— На фронт?

— На Деникина, товарищ комиссар.

— Почему же ты без шинели?

— Не смог достать, товарищ комиссар.

— Ты никуда не поедешь! — строго сказал Серго, оглядывая тщедушную фигурку белобрысого. — Останься при штабе...

У белобрысого вытянулось лицо. Он переступил с ноги на ногу и, пряча руки за спину, дрогнувшим голосом проговорил:

— Нет, я поеду...

— А я говорю: нельзя тебе ехать!

— Нет уж, товарищ комиссар, дозвоьте поехать. Не отстану я от своей роты...

— Не хочешь?

— Нет. Дозвольте поехать, товарищ комиссар.

Наступило молчанье. Серго с минуту думал, не спуская пристального взгляда с белобрысого. Потом, вдруг улыбнувшись, снял с себя шинель и кинул ее на плечо белобрысого.

— Ну, поезжай!

— Това... товарищ комиссар! — залепетал белобрысый. — Ни за что не возьму!..

— Бери, бери! — ответил Серго, застегивая воротник своего френча. — У меня есть еще бурка. А у тебя ничего нет. Ты не волнуйся. Прощай...

Эшелон отбыл на фронт час спустя. Но он не дошел до Пятигорска. В город уже вступал конный корпус Шкуро.

Эшелон попятился задним ходом к Беслану.

★

Из Беслана Серго вернулся во Владикавказ поздно ночью. В своем вагоне на станции он застал Керим-Султана. Вид у Керим-Султана был встревоженный.

— Серго! — сразу же заговорил он. — Слышал ты новость?

— Какую новость? — спокойно спросил Серго, сбрасывая с себя черную лохматую бурку.

— Деникинцы заняли Пятигорск!

— Знаю, — ответил Серго.

— У нас в Ингушетии появились агенты, которые подбивают народ помочь Деникину. Опять стало неспокойно...

— Да, неспокойно, — вздохнул Серго, устало не опускаясь на скамью. — Враг наступает... Всего у него вдоволь — и оружия, и продовольствия, и амуниции. А у нас, — задумчиво продолжал Серго, — почти ничего. Раздетая, разузтая армия. Ни снарядов, ни патронов. Видишь, я без шинели приехал. Отдал ее одному красноармейцу. А сколько еще шинелей нужно, чтобы одеть всех бойцов? Но и без шинелей будем драться. Верно я говорю, Керим-Султан?

Керим-Султан улыбнулся и кивнул головой.

— Ну вот, — удовлетворенно сказал Серго, — я на таких, как ты, надеюсь, не подведете.

— Ингуши с тобой до последнего человека! — сказал Керим-Султан. — Весь народ поднимется, если придет Деникин!

— Деникин уже здесь... Страшный тиф скосил почти половину наших бойцов. Главные силы армии отступают теперь на Астрахань...

Серго закрыл глаза и некоторое время сидел молча, опустив голову.

— Вот что, Керим-Султан, — заговорил он, — сегодня же поезжай в Базоркино и предупреди всех, чтоб завтра

ингуши собрали в Назрани с'езд. Поговорим с народом.

— Все будет сделано, — ответил Керим-Султан. — Сейчас мне ехать?

— Сегодня же. А утром я буду у вас. Поезжай... Впрочем, если хочешь, обожди. Я тебя подвезу немножко. Мне надо на радиостанцию ехать. Тебе по пути... Захар! Куда он девался?

Керим-Султан бросился искать коменданта вагона, а Серго занялся почтой, которая была свалена на письменном столе.

В последние дни Серго большую часть времени проводил в разъездах по фронту и редко бывал во Владикавказе. Он прилагал все усилия, чтобы остановить отступление армии.

Но, отрезанная от Советской России, лишенная снарядов и патронов, армия не в силах была противостоять натиску многочисленных полков, хорошо вооруженной армии Деникина.

Эпидемия тифа с каждым днем принимала все более ужасающие размеры. Из двухсот тысяч бойцов было около пятидесяти тысяч тифозных, которым ничем нельзя было помочь. Все дороги к Владикавказу были забиты поездами и фургонами с тифозными красноармейцами. Их отвозили в тыл.

Просматривая почту, Серго с надеждой искал среди бумаг телеграмму или какое-нибудь другое известие из Москвы. Но никаких известий из Москвы не оказалось.

Серго отодвинул груды писем и газет, вынул из ящика письменного стола блокнот и стал быстро писать:

«Москва, Ленину...».

В вагон вернулся Керим-Султан и, заглянув через плечо Серго, прочел:

«... Нет снарядов и патронов. Нет денег... Шесть месяцев ведем войну, покупаем патроны по пяти рублей.

... Владимир Ильич. Сообщая вам об этом, заверяю, что все мы погибнем в неравном бою, но чести своей не опозорим бегством... Среди рабочих Грозного, Владикавказа непоколебимое решение сражаться и не уходить. Симпатии горских народов на нашей стороне...».

Серго посмотрел на Керим-Султана и прикоснулся рукой к его плечу.

— Верно я пишу?

— Верно, Серго, — сквозь стиснутые зубы глухо ответил Керим-Султан.

Серго, отвернувшись, снова взялся за перо:

«... Дорогой Владимир Ильич. В момент смертельной опасности шлем Вам привет и ждем Вашей помощи...».

Подписавшись, Серго встал из-за стола и несколько раз прошелся взад и вперед по вагону. Керим-Султан молча стоял у окна и теребил занавеску. Какие-то огоньки светились за окном, лязгали в темноте буфера проходивших мимо поездов. Послышались чьи-то торопливые шаги, и через минуту у дверей показался комендант вагона — Захар. Увидев Серго, он обрадованно пошел ему навстречу.

— А мы тут вас ждем!..

— Где жена, не знаешь? — спросил Серго.

— В городе, — за тифозными ухаживает.

— Позови шофера, — сказал Серго, — мне надо ехать на радиостанцию.

— Как же так? — запротестовал Захар, глядя с каким-то недружелюбием на Керим-Султана, словно тот был виновником предстоящей поездки Серго. — Да вы отдохните с дороги!

— Захар, я прошу, чтоб сейчас подали машину. Вечно у меня с тобою споры. Раз дело требует, так ведь не послушаюсь я тебя, уж лучше не спорь!..

Спустя немного времени по темным улицам Владикавказа неслась машина, в которой сидели Серго и Керим-Султан. На перекрестке стояли патрули. Падал снег. При ярком свете фар было видно, как в воздухе кружатся снежинки и заметают дорогу.

★

В Назрани, на площади, возле старой крепости, собирались ингуши. Вооруженные всадники под'езжали со всех сторон, и скоро площадь заполнилась густой толпой. Вдруг в толпе закрича-

ли, задвигались. Люди расступились, образуя широкий круг.

В середину круга вышел Серго.

— Ингуши, — негромко сказал он, — положение наше очень тяжелое. Мы собираем последние силы. Но ваш маленький народ не одинок. С вами идет Чечня, с вами идут кабардинцы, рядом с вами дерутся русские красноармейцы. Москва нам поможет. Ингушетия должна стать горской советской республикой.

— У нас есть еще силы! — крикнул кто-то из круга. — Мы будем защищаться. У нас есть власть, ты нам принес эту власть, и никого другого мы не пустим на нашу землю!..

К дереву подошел старый, сгорбленный ингуш.

— Сын мой, Эрджикинез¹, — сказал старик, покачивая головой, — князь бедных, вождь обездоленных! Говорю сегодня от народа я, говорю потому, что все знают, как знаешь и ты, что я раньше был недоволен советской властью, не верил ей. Тем ценнее, тем дороже, тем вернее мое слово сегодня, когда надвигается на нас время плохое, — вот почему сегодня говорю.

Старик замолчал и взглянул на Серго. Глубокая тишина царила над толпой ингушей.

Все сгрудились тесно вокруг липы, раскачивавшей на ветру свои обнаженные ветви.

Старик продолжал:

— Ингушский народ — сирота. Не было у него ни отца, не было у него вождя. Его родину-мать, его землю пленили, надругались над ней, осквернили ее царь и чиновники, и злые купцы. Настала революция. Много прошло перед нашими глазами разных людей — и своих, и приезжих. Все они говорили, что желают нам добра. Все они обещали, что это добро само снизойдет к нам, как бы с небес. Но правды в их словах и делах не было... Пришла советская власть. Пришел ты, Эрджикинез. Пришел от Ленина со своей правдой. Правда твоя — как строгая мать. Ты ничего не сулишь. Ты

ничем не балуешь. Ты говоришь — берите с боем! Берите в борьбе!.. Не всякому эта правда может быть матерью. Кто слаб духом, кто ждет милости, — тот не примет этой правды. Она сурова, правда твоя, но она, и только она, несет народу счастье. Ингушский народ был сиротой. Знай это, сын мой, Эрджикинез! Но он в тебе обрел вождя. Ты несешь нашему народу счастье. Ты орел с могучими крыльями! Сейчас твои крылья связаны. Но придет время, — мы это знаем, — ты расправишь их снова и будешь парить над горами и степью. Мы пойдем за тобой, Эрджикинез! Мы сохраним, сбережем тебя и твоих товарищей. Мы стойко перенесем грядущие испытания, любую нужду, любые лишения. И когда ты снова расправишь свои орлиные крылья, не забудь маленький ингушский народ, всем своим горячим сердцем полюбивший тебя, нашедший в тебе вождя и отца...

В то время, как шел митинг, к толпе подскочил ингуш на взмыленной лошади и сообщил, что правый фланг деникинских частей подходит к ингушским аулам Долаково и Кантышево. Какое-то офицеры явились в аулы и требуют от имени деникинского командования заключить с ними соглашение о нейтралитете. В противном случае они подвергнут аулы артиллерийскому обстрелу.

— Что им ответить? — спрашивал гонец.

В толпе поднялся шум. Керим-Султан выскочил вперед и, указывая на развалины крепости, крикнул:

— Ингуши! Эта крепость носит имя Шамиля. Отсюда он грозил царю, борясь за свободу. Так будем достойны нашего предка!..

Прямо с митинга ингуши двинулись в Долаково рыть окопы.

.....

★

Деникинское командование повело наступление на Владикавказ двумя колоннами: правее города, через Осетию к Беслану двигались отборные части Шкуро. Левое крыло противника при-

¹ По-ингушки — князь бедняков.

ближалось к Ингушетии, намереваясь, повидимому, зайти в тыл красных через Базоркино. Но на пути эта колонна неожиданно наткнулась на сопротивление ингушей аула Долаково, которые встретили белых ружейным и пулеметным огнем.

Терская армия, включая отряды рабочих горских народностей и остатков XI армии, насчитывала к этому времени всего несколько тысяч штыков и сабель.

Армия белых насчитывала более ста тысяч.

В конце января начались жестокие, кровопролитные бои на подступах к Владикавказу.

★

На рассвете в Базоркино, где находился Серго со своим штабом, примчался верхом на лошади Керим-Султан. В штабе никто не смыкал глаз в эту ночь. Керим-Султан поразился, увидев красные, воспаленные глаза Серго: он сидел за столом и пил чай из оловянной кружки. На столе, рядом с чайником, стоял полевой телефон.

— Какие новости?

— Патронов мало...

— Надо поискать в аулах, — проговорил Серго, отставляя кружку, — надо купить. Запасы наши на исходе... За деньги найдешь!.. Что еще?

Керим-Султан отвернул полу черкески и вытащил из кармана смятый листок. Разгладив его, он прочел вслух:

— «Горские казаки и осетины...».

— Это что? — перебил Серго, вставая и выходя из-за стола. — Покажи!..

— Воззвание Шкуро, — мрачно ответил Керим-Султан. И, отдавая листок Серго, вытер руку о черкеску, словно от грязи.

Серго подошел к окну. На востоке уже брезжила утренняя заря.

— «Терские казаки и осетины, — прочел Серго, — ингушский народ пошел с большевиками против нас... Поэтому мы объявили им беспощадную войну и уничтожили все их аулы. Настало время отомстить ингушам... сторицей расплатиться с ними... Подыми-

тись же все, как один человек, против ингушей, присоединитесь к нам...».

— Где ты это достал? — спросил Серго, поворачиваясь к Керим-Султану.

— Взял у пленного казака...

— Так! — протянул Серго.

Наступило молчание. С улицы слышалось нетерпеливое ржание коня. Графский дом, где прежде помещался национальный совет Ингушетии, гудел хриплыми голосами.

— Вот что, — заговорил Серго. — Возьми-ка это воззвание и поезжай в аулы. Сзови народ...

— Нет! — воскликнул Керим-Султан. Он весь затрясся, когда Серго повторил:

— С ним ты поедешь в аулы...

— Нет, не поеду!

— Не спорь, Керим-Султан. Время дорого, — тихо проговорил Серго. Чувствовалось, что и у него закипает в груди ярость. — Надо иметь голову на плечах, Керим-Султан. Патроны тебе нужны?

— Я сказал, что нужны...

— Прочти это воззвание народу...

— Не буду!

— Прочти, и у тебя будут патроны.

— Не буду, Серго!

Серго вдруг выхватил из кобуры свой маузер.

— На, — стреляй в меня! Ну! Стреляй, если не веришь!..

На шум голосов вбежали из соседней комнаты встревоженные красноармейцы. Застучали затворы винтовок. Серго стоял возле Керим-Султана, держа в вытянутой руке черный маузер.

— Кто такой? — закричали красноармейцы.

Серго оглянулся на них и опустил руку.

— Это мой друг! — чуть слышно проговорил он.

Керим-Султан взял со стола листовку Шкуро. Он быстро зашагал к выходу.

Вскоре с улицы донесся топот коня. Серго подошел к окну. Керим-Султан галопом понесся вдоль аула, и было видно, как он нещадно хлещет коня плеткой.



Василий Чапаев

А. ВИНОГРАДОВ

★

Простое упоминание имени Василия Ивановича Чапаева иногда бывает достаточным для того, чтобы глаза слушающих загорелись.

Подлинный сын трудового народа, выходец из бедной крестьянской семьи, он, естественно, вызывает гордость на-

шего великого народа своими подвигами. Чапаевцы, войдя в Уфу почти с боевого марш-маневра в знойный июньский день, с красными звездами на шапках, запыленные, вспотевшие, забыв собственную усталость, прежде всего бросились к уфимским тюрьмам, и как

удар молота в кремень вызывает искры, так и они вызвали в этих стенах крики горячей радости многих тысяч заключенных, ждавших в этот день расстрела и петли.

Город, подавленный и мрачный, терроризированный белогвардейцами, повеселел и в течение какого-нибудь часа наполнился ликованием освобожденного народа.

★

Чапаева можно смело назвать гением степной войны, блестящим тактическим изобретателем, например, в применении децентрализованного огня артиллерии. Военную службу В. И. Чапаев знал прекрасно. Поэтому нелепы легенды о Чапаеве-партизане в стиле какого-то «мужичка», вооруженного косою или деревенскими вилами. Можно ли выдумать больший вздор о человеке, который несколько лет не выходил из позиционной войны и штыкового боя с австро-германцами, о Чапаеве, в силу своего военного опыта, приобретенного еще в старой армии, призванном в ряды организаторов Красной гвардии города Пугачевска, о военном командире, по поручению партии формировавшем кадровые батальоны, полки и бригады после декрета о создании Красной Армии.

Когда на Уральский фронт были стянуты красногвардейские отряды из Новоузенска и Саратова, то и в этих молодых и беспорядочных формированиях, не отличавшихся стойкой дисциплиной, Чапаев быстро завоевал авторитет и одним своим присутствием подымал среди них дисциплину. Части, соприкасавшиеся с Чапаевым, переставали беспорядочно жечь патроны по всякому поводу.

При Чапаеве они научились беречь огнеприпасы как социалистическое имущество; по этой характерной черте можно судить о навыках той «партизанщины», которую до сих пор некоторые упорно приписывают Чапаеву.

Чапаев обладал героической личной отвагой, он беззаветно был предан делу народа.

★

28 января 1887 года в семье крестьянина деревни Буданки, Чебоксарского уезда, в нынешней Чувашской республике, родился у Ивана и Екатерины Чапаевых третий сын, которого назвали Василием. Семья Ивана Чапаева была большая. Сам Иван Степанович был плотником и часто уходил от земли на заработки в Поволжье. Детство Чапаева было детством безрадостным и трудным. Десятилетний Василий Чапаев, едва научившись грамоте, попадает в услужение к чужим людям, в городе Балакове, Пугачевского уезда, Самарской губернии. Два года маленький Чапаев «прислуживал» в купеческой лавке. Самое тяжелое из воспоминаний Чапаева о детстве — это побои за отказ обмеривать и обвешивать. В пятнадцать лет Чапаев работает в харчевне, получает три рубля в месяц. Сделавшись помехой хозяйским обманам, Чапаев снова остается без работы, ведет бродяжническую жизнь и голодает в поисках заработка. Он сам рассказывал своим многим соратникам об интересной встрече со стариком шарманщиком, который увлек его с собой. Мальчик Чапаев распевал песни, шарманщик играл, — так они от Балакова, через Сызрань и Самару, вдвоем пришли в Нижний-Новгород — теперешний Горький.

Встреча с этим безымянным шарманщиком, по словам Чапаева, раскрыла ему глаза на царские порядки. Песни и сказания о Степане Разине и Пугачеве оживили его воображение, впервые мальчик стал сознательно думать о социальной несправедливости, а не только чувствовать ее на себе и на своей семье. Два года длились скитания Чапаева со старым шарманщиком. Но усталость, дошедшая до изнурения и полного истощения сил, заставила Василия Ивановича расстаться с бродяжничеством. Он вернулся в Балаково и стал помогать отцу в плотницких его работах.

Вместе с отцом, в поисках заработка, так же, как вместе с шарманщиком, молодой Чапаев исколесил вдоль и поперек все Поволжье.

В 1910 году, сразу же после женитьбы, Чапаеву пришлось познакомиться со всей тягостью царской солдатчины, а по окончании воинской службы снова взяться за топор, долото и пилу. Оставив жену и троих ребят, Василий Иванович должен был отбыть на германский фронт, в 1-ю армию Ренненкампа — сражаться за чужое для народа дело. Сильная, солдатская ненависть к царизму росла на фронте, где Чапаев все более и более закалялся в боях, все лучше и лучше познавал сложное искусство войны. Контуженный несколько раз, он не выходил из строя. Раненный, он попал в лазарет, получил отпуск и вернулся на короткий срок домой, где убедился, что личная жизнь его разбита. Жена ушла, бросила детей. Отпуск кончился, и Чапаев — снова на фронте.

Замкнувшись в себе, он, как никогда, рисковал жизнью в бою. Он так часто ставил жизнь на карту, с такой отвагой бросался на атакующего врага, что у него выработалась совершенная точность смертельного сабельного удара, психология военной хитрости, рассчитанная на секунды. Бойцы-чапаевцы рассказывают прямо фантастические вещи о том, как сражался и побеждал Чапаев лично, и эти рассказы подтверждены документально.

Характерен, например, случай в селе Озниках в ноябре 1918 года. В белогвардейских газетах была обещана крупная денежная награда за голову Чапаева, а шпионы белоказаков подкидывали печатные листовки с большими денежными посулами тому, кто Чапаева, живого или мертвого, доставит в белогвардейский штаб. В ответ на это Чапаев подобрал семьдесят наилучших разведчиков и заявил им, что он лично поведет разведку фронта на большом протяжении, что дело «смертное», что он «берет с собою только добровольцев». Типичные две вертикальные складки залегли между бровями усталого Чапаева. Он плотно сжал губы и горячими, зоркими глазами осматривал весь свой отряд. Раздались голоса: «Будет тебе, товарищ Чапаев! Едем все вместе!». Ни один не ушел из строя.

Разведка работала всю ночь; и вдруг на заре сквозь лесную опушку увидели по дороге не менее сотни конников. Окликнули: «Какого полка?». Конники остановились, задали тот же вопрос Чапаеву. Переключка перешла в ругань. Тогда Чапаев прищипил коня, приказав перед этим своим разведчикам рассыпаться цепью и приготовиться. В одиночку подскочил Чапаев к неизвестному отряду, увидел лампы и золотые погоны царских офицеров, снова прищипил коня и помчался на них, держа наган в левой руке, а правой размахивая шашкой. Привычный конь мчался без повода, а Чапаев, привстав на стременах, крикнул:

— Я — Чапаев! Бросай оружие!

И все сто белогвардейцев с полковником и двумя есаулами были так поражены, что безропотно сложили оружие к ногам чапаевского коня. Потом, окруженные разведчиками Чапаева, сдались без сопротивления.

В периоды позиционной войны на германском фронте деятельная и кипучая натура Чапаева нашла себе применение. В землянках, блиндажах и даже просто в окопах Чапаев не расставался с книгами. С георгиевскими крестами и медалями на груди, всегда холодный и занятой, Чапаев внушал удивление офицерству. Прапорщики из студентов охотно выполняли просьбы Чапаева о книгах. Но парадная военная литература того времени, высокопарным и цветистым языком излагавшая древнеримские походы, жизнь Наполеона и т. д., не утоляла горячей любознательности Чапаева.

Однажды он прочитал «Капитанскую дочку» Пушкина. Образ Пугачева невольно воскрешал перед Чапаевым степные легенды о старинных крестьянских вождах, о восстании на реке Яик. Но попадалась в окопах и иная литература, простые листки печатной бумаги, рассказывавшие горькую правду солдатам, замерзающим в землянках, о тяжких преступлениях царя и российских капиталистов перед народом. Встречалась Чапаеву еще одна книга, живым и горячим языком говорившая о борьбе за свободу и национальную

независимость итальянского народа, во главе которого стал Гарибальди. Чапаев забыл автора этой книги, но он ни на минуту не расставался с солдатской надеждой на революцию, он ждал ее. В декабре 1916 года он упал на бруствер, обливаясь кровью, и очнулся на перевязочном пункте. Рана была опасна, но не смертельна. Однако нечего было и думать о скором выздоровлении.

Весть о низвержении самодержавия застаёт Чапаева на лазаретной койке в Саратове. Надо было разобраться, с кем и как идти, но твердо было решение: идти в революцию. Для Чапаева вопрос ставился таким образом: «Чьи интересы защищаете?..». И тут выбора не было; Чапаев, слушая ораторов-большевиков, твердо сказал себе, что это — единственная партия, отстаивающая интересы трудящихся масс. Он слушал неоднократно речи рядового 92-го запасного полка Л. М. Кагановича.

Эти пламенные речи большевика, руководителя саратовской организации, зажигали сердце не только Чапаева, но и тысячи других.

Правда, давало знать себя прошлое, — не изжитое еще одиночное бунтарство, боязнь дисциплины, протест против всякого намека на начальническое распределение обязанностей. Все это приходилось перебороть в себе. Однако на митингах и собраниях Чапаев всегда голосовал с большевиками, а в 1919 году вступил в партию Ленина — Сталина, следуя примеру брата Григория, который сразу же после февральской революции сделался большевиком и погиб от ранений и пыток в 1918 году на посту военного комиссара г. Балакова, в дни восстания, поднятого всерами и белогвардейцами.

В. И. Чапаев настолько горячо выступал в Саратове против Временного правительства и Керенского, что ему пришлось скрываться от преследований юнкеров. Он переселился в Пугачевск, где 138-й запасный пехотный полк избрал его своим командиром. С этого момента советская власть в Пугачевске имела твердого военного руководителя.

Партийная организация поручает Чапаеву осуществление ряда мероприятий, связанных с опасностью для жизни, например, ночные аресты вооруженных контрреволюционных банд; Чапаеву поручается проведение реквизиций, конфискации. В приемочных актах по этим делам имелись собственноручные записи Чапаева, свидетельствовавшие о крайне бережливом его отношении к социалистической собственности. Одновременно Чапаев подробно знакомится с личным составом 138-го полка и убеждается в наличии там не только колеблющихся элементов и дезертиров, но и сознательных врагов советской власти. По настоянию Чапаева полк был расформирован. На месте 138-го полка возникает отряд Красной гвардии в 800 штыков. Так было положено начало будущей героической 25-й Краснознаменной стрелковой дивизии.

Чапаев ведет свой отряд против кулацких, во много раз сильнейших, отрядов, руководимых царскими офицерами. Несмотря на их численное превосходство, белогвардейские отряды все же были разбиты Чапаевым, и население в нем увидело подлинного избавителя от неслыханных кулацких зверств.

В январские бураны устанавливал Чапаев советскую власть по степным деревням и станицам, захваченным белогвардейцами. Не давая остынуть горячей ненависти к белогвардейцам, Чапаев немедленно приступал к организации красногвардейских отрядов из местного населения. Часть этих отрядов оставалась на местах, часть шла за Чапаевым. До февраля 1918 года Чапаев успел сформировать 10 красногвардейских отрядов в Пугачевске и Пугачевском районе, численностью около 3 500 штыков и сабель (последних было, впрочем, не более двухсот). Было готово лишь ядро будущего дивизионного формирования, но слава Чапаева, подавлявшего на первых порах местные кулацкие восстания, гремела уже далеко за пределами Пугачевского района.

На Чапаева смотрели, как на героя-избавителя, и в отдаленных местах Поволжья. Села и деревни, бывшие под

угрозой захвата белыми, ждали Чапаева как освободителя. И Чапаев не заставил себя долго ждать. Чапаевское войско выступило для подавления контрреволюционного выступления уральских белоказаков. Чапаев уже тогда пошел на формирование небольших подразделений по национальному признаку. Из этих подразделений впоследствии выросли целые национальные бригады Международной рабоче - крестьянской красной дивизии. Бывало, что врагу наносился сокрушительный удар то отдельной «киргизской бригадой», то «татарским батальоном», «немецким полком», «китайским батальоном», — все частями будущей 25-й Краснознаменной стрелковой дивизии.

В начале марта 1918 года илецкие белоказаки уничтожили самарский отряд Красной гвардии, а в последних числах марта эсеры и белогвардейцы, с царскими офицерами во главе, ворвались в совет рабочих депутатов г. Уральска.

Уральск становился местом накопления новых контрреволюционных формирований. Планы белоказаков надо было расстроить во что бы то ни стало.

6 июля Чапаев вплотную подошел к Уральску и обложил его осадой. Операция была трудная, и Чапаев больше всего рассчитывал на недооценку сил его, чапаевского, отряда со стороны белого командования. Белые пытались совершить несколько вылазок. Но прорвать железное кольцо чапаевских войск не смогли. Чапаеву, однако, сильно повредило то обстоятельство, что IV армией красных войск командовал царский полковник Ржевский. Чапаев обратился к нему с указанием, что для осады Уральска чапаевцев хватит, но для штурма необходимы пополнения. Ржевский ответил отказом; мало того, он отдал станции Дерекул и Семиглавый Мар белоказакам, и сам до такой степени растерялся, что, бросив армию на произвол судьбы, подал рапорт о болезни и уехал, предательски оставив под ударом тыл чапаевских отрядов.

Полная гибель грозила полкам Чапаева в эти роковые дни, ибо белогвардейский полковник Мартынов сумел по-

мешать доставке для Чапаева огнеприпасов и продовольствия тотчас же после подлой выходки полковника Ржевского. Шла речь теперь уже не о штурме Уральска, а о сохранении жизни чапаевских войск, о спасении от бессмысленной гибели нескольких тысяч человек. Здесь-то обнаружилась талантливая инициатива, огромная воля и логика Чапаева. Ни бесшабашности, ни ложной удали не проявил этот человек, умевший ставить на карту свою собственную жизнь. Поняв, что Уральска не взять, так как сил не хватает даже для кольцевого оцепления города, Чапаев сумел убедить своих товарищей в необходимости вернуться в Пугачевск. Но самый возврат среди вражеского окружения был чрезвычайно рискованным маневром. Белые, имея чрезвычайно плохую разведку, лишенную возможности опираться на добрую волю населения, не сумели превратить свою вылазку в преследование отходящих от Уральска чапаевцев. Чапаев же замаскировал свой отход стремительным контрударом, разбившим налет белоказачьей лавы. 12 июля Чапаев одержал крупную тактическую победу: он вывел свои части совершенно невредимыми. Во время этой пераборки войск к Пугачевску Чапаев не только прикрыл отступление армии, но все время наносил ущерб белым войскам. Редкий случай в истории войны: отступая, Чапаев отнимал у белоказаков броневые машины, взрывал блиндированные поезда и разрушал коммуникации.

Спасенные находчивостью Чапаева, войска вернулись в Пугачевск не для отдыха. В мае 1918 года белочехи, как известно, подняли восстание против правительства страны Советов. Обманутые чехословацкие солдаты были приведены белогвардейским офицерством 8 июля 1918 года в Самару и, заняв этот город, широко повели операции в направлении Оренбург—Уфа—Челябинск, а также по Волге, вниз к Саратову и Пугачевску. Против этой новой контрреволюционной силы предстояло выступить чапаевцам. Чапаевский отряд вошел в состав Восточного фронта под названием 1-й Самарской дивизи-

зии. Наступление белых из Самары имело целью соединение с астраханскими белыми бандами и уральским белоказачеством. Само по себе казачье население этих областей по природе своей не было контрреволюционным, но весь его «приписной» командный состав не имел никакого отношения к коренному населению казачьих областей. Это были петербургские князья, прибалтийские графы и бароны или просто недоучившиеся русские дворяне. За ними пошли кулацкие части казачества, вышколенные полицейской службой. Надо было помешать этому соединению.

ЦК партии, учитывая все значение Волги, превратил город Царицын в «Красный Верден», направив туда в качестве основного руководителя товарища Сталина.

1 августа товарищ Ленин писал Реввоенсовету Восточного фронта: «Сейчас вся судьба революции стоит на одной карте: быстрая победа над чехословаками на фронте Казань—Урал—Самара. Все зависит от этого...».

В конце августа белогвардейцы заняли село Духовницкое, деревню Липовку и село Ивантьевку. Они шли двумя группами: первая — 10 тысяч белогвардейцев — по левому берегу Волги на Царицын; вторая — 5 тысяч чехословаков — на Пугачевск. Василий Чапаев и Сергей Захаров, — командир балаковской Красной гвардии, впоследствии повешенный под Краснодаром по приказу Деникина, так как отказался отвечать на какие бы то ни было вопросы белых, — устраивают короткое совещание. Чапаев предлагает свой план: разбить две группы противника, отдать Пугачевск и село Каменку для виду без боя, а когда, таким образом, расстояние между обеими белогвардейскими группами увеличится, начисто ликвидировать чешскую группу в пять тысяч человек. Ликвидация чехов была поручена Чапаеву. Он применил облюбленный способ фланговой атаки противника. Чапаев направляет Пугачевский полк на село Таволжанка. Не довольствуясь этим, он направляет Разинский полк через село Гусиху, чтобы не только подкрепить таволжанский маневр, но

заходом с севера ударить неожиданно по чехословацкому тылу.

Укоренилось представление, будто Чапаев любил безудержный натиск. Но даже на этом начальном этапе своих походов Чапаев был чрезвычайно выдержанным командиром, прибегающим к стремительному удару только в случае твердой уверенности в успехе. В данном случае Чапаев «разыграл» легкое замешательство в самом начале боя. Разыгранное им обманчивое, суетливое трепетание всей фронтовой линии имело целью «вымотать» и заманить чехов, оторвать их от другой группы войск. Убедившись в успехе своего маневра, Чапаев открывает короткий встречный бой. Пугачевцы с фланга и разинцы со всех тыловых пунктов начинают разгром прекрасно обученных регулярных чехословацких полков, вооруженных всем великолепием европейской военной техники.

Вечером следующего дня Чапаев подчитывает трофеи. Разбив вдвое сильнейшего противника, Чапаев захватил четыре английских орудия, 60 пулеметов и такой запас ящиков с новыми винтовками, который послужил затем настоящим резервным арсеналом Чапаева. Самое замечательное, что в этом бою чапаевцы выдержали принцип победы с малой кровью. Пять тысяч белочехов были разбиты в пух и прах вдвое слабейшим Чапаевым, причем чапаевская группа потеряла только 80 человек, из них 15 убитыми, остальные — раненые.

Чапаев приказал преследовать разбитого противника до самого вечера. Наступила черная августовская ночь, когда для чехословаков всякая задержка в пути по незнакомой местности была губительна. На это больше всего рассчитывали чапаевцы. Бойцам Разинского и Пугачевского полков была известна каждая тропинка, равно как и их командиру. Около полуночи, когда чехословацкие офицеры потеряли всякую ориентировку, разинцы и пугачевцы обнаружили в пяти километрах от Пугачевска, около деревни Пузановки, отдельный чешский полк, шедший на подкрепление пугачевской группы белых.

Чапаевец Иван Бубенец, 20-летний батальонный командир, вместе с красным бойцом Папоновым отправляется на разведку. Оба скрывают свою принадлежность к Красной армии. Бубенец приближается к командиру чешского полка и рапортует ему как «капитан народной армии» о том, что он послан на разведку в целях предупреждения ошибочного пути чехов. Чешский офицер поверил ловкому чапаевскому разведчику. С невозмутимым спокойствием Бубенец отправляет Папона разведать, «нет ли по дороге красных». После этого «капитан народной армии» спокойно закуривает папироску, предложенную чешским полковником, и начинает плести долгую околесицу, рапортует о расположении красных частей и заставляя чеха подавать реплики, раскрывающие схему последующей чешской операции.

Так проходят в оживленной беседе первые полчаса. Папонов не возвращается, чехи стоят и ждут разведки, которую, по их мнению, русский белогвардеец проведет лучше, нежели они. Беседа понемногу затихает. Проходит еще час. Колонна постепенно теряет на покое дисциплину. Полковник непрерывно курит, Бубенец не отказывается от папиросы, но у него плохо обстоит дело со спичками, он рвет кусок бумаги, зажигает его и от яркого пламени прикуривает. В это время возвращается Папонов. Делая рукой под козырек и называя Бубенца «господин капитан», Папонов тоже несет околесицу, из которой Бубенец понимает только одно, что нужно как можно дольше задерживать чехов в таком положении.

Двое чапаевцев с веселым видом убеждают чешского полковника в том, что необходимо дожидаться «сигнала из батальона народоармейцев», после чего продолжать совместный путь. Бубенец понимал, что он подвергается смертельной опасности, ибо за это время Чапаев, после доклада Папона, ежеминутно мог открыть смертельный огонь, от которого погибнут не только чехи, но и «капитан народной армии» с его разведчиком.

Бубенец отказался от последней папиросы и стремительно отскочил от эки-

пажа чешского командира. По всей длине чешской полковой колонны шли разговоры, офицеры курили, и Чапаев, несмотря на темноту ночи, имел полную возможность по огонькам папирос и гулу голосов определить длину чешской колонны и на сто шагов подвести два своих батальона. Чапаев бьет из орудий прямой наводкой картечью по чехам. В докладе чапаевскому штабу читает: «Стало светать. В проблесках раннего утра обрисовалось поле боя, покрытое трупами чехов, подводчиков и лошадей».

Все оружие чехословацкого полка, обмундирование, винтовки, пагроны, огромный склад ручных гранат и четыре десятка новеньких пулеметов с запасными частями достались Чапаеву.

21 августа белые бежали из Пугачевска, бежали из села Богородского. Чапаевская бригада, не потеряв ни единого бойца, заняла город.

Помимо тактического успеха, эта первая встреча чапаевцев с европейскими войсками имела колоссальное политическое значение. Повсюду стало известно, что не только рядовые бойцы, но и командиры чапаевских частей — это бывшие плотники, пастухи, грузчики, крестьяне и рабочие. Точно так же повсюду знали, что вооруженные по последнему слову техники офицеры чехословацких войск, среди которых были французы и американцы, являются превосходно обученными, окончившими специальные военные школы, командирами. Легендарные командиры Чапаева блестяще справились с чехословацкими отрядами. Могучая уверенность в себе воодушевила Красную Армию всего Поволжья. Все эти люди, испытавшие «прелесть» кулацкой и помещичьей кабалы, почувствовали себя победителями. Именно это первое победоносное соприкосновение чапаевцев с Европой показало, что Чапаев неотделим от трудового народа, питаясь из неиссякаемого источника его сил и энергии.

Со времени занятия Пугачевска, отбитого Чапаевым у первоклассных антантовских сил, слава о Чапаеве и чапаевцах пошла по всему краю. О них слагались песни, о них рассказывались

легенды. Из края в край шла молва о Чапаеве. И если раньше ему приходилось скликать добровольцев, то теперь отбою не было от тех, кто стремился вступить в ряды чапаевских войск. Сам Чапаев не прислушивался к этой молве о себе. Человек он был простой и скромный, занятый повседневной работой среди своих бойцов. С большой сердечностью рассказывает об этом Фурманов в своей замечательной книге, передавая обращение Чапаева к бойцам:

«А я не генерал, я с вами сам и навсегда впереди, а если грозит опасность, так первому она попадет мне самому... Первая-то пуля мне летит... А душа ведь жизни просит, умирать-то кому же охота?.. Я поэтому и выберу место, чтобы все вы были целы, да самому не погибнуть напрасно... Вот мы как воюем, товарищи...».

Рассказывают эпизод из отношений Чапаева и Фурманова: в дивизию приехал Михаил Васильевич Фрунзе, которому услужливые люди по дороге успели сделать сообщение о «вражде» между командиром Чапаевым и комиссаром Фурмановым. Поводом для вражды послужила будто бы неизжитая манера Фурманова «кланяться», — свойство, обычное для каждого новичка под пулями. Чапаев, будто бы, заметил это свойство и за спиною Фурманова трунил над ним. Фурманов, будто бы, узнал... и между друзьями пробежала «черная кошка». По приезде в дивизию Михаил Васильевич Фрунзе был горячо обрадован тем, что вся эта сказка не подтвердилась. Однако он спросил: «Василий Иванович, ну как вы тут ладите с вашим комиссаром?..». Чапаев, хитро улыбнувшись, подмигнул Фурманову незаметно. Потом встал, выпрямился, звякнул шпорами и отчетливо произнес: «Товарищ командарм, никаких претензий к военному комиссару Фурманову не имею!».

Фрунзе залился звонким хохотом: «Поддел, поддел меня Чапаев!» — говорил он, прерывая самого себя смехом.

Красное командование поручило Чапаеву провести новую операцию против соединения чехов с войсками самарской

«учредилки», пытавшейся опереться на чехов и уральских белоказаков.

Если раньше Чапаев действовал временами с намеренной медлительностью, на этот раз он развил чрезвычайную быстроту в осуществлении принятых решений. Перед ним стояла задача нанести сокрушительный удар живой силой противника. Чапаев имел в своем распоряжении четыре стрелковых полка и один неполный кавалерийский полк (впоследствии Чапаев осуществил свою мечту и развернул свой конвой в «Кавалерийский полк имени Гарибальди», под командой Ивана Бубенца). Он начал с того, что три стрелковых полка и кавалерию сосредоточил на северо-западе от Пугачевска по Иргизскому рубежу, в районе деревень Раевка — Шеншиновка. Если взглянуть на карту и представить себе направление ударов чехословаков и белогвардейцев к югу от Пугачевска, видно, что Чапаев применяет самой расстановкой сил свой любимый маневр — «фланговый удар» по белогвардейцам Самарской «учредилки». Один полк он оставил в районе деревни Озенки для фронтального удара в целях чисто тактических.

9 сентября разгорелся бой. Чувствуя вялость чапаевского натиска, противник потерял всякую осторожность, и тогда с фланга и тыла Чапаев нанес врагу удар — короткий, сокрушающий и стремительный.

Ничтожные остатки самарских белогвардейцев без оглядки, в панике, бежали по тропинкам и проселочным дорогам к Самаре.

9 сентября, датируя приказ «20 ч. 30 м.», Чапаев докладывает командарму: «Бой под Орловкой и Ливенкой закончился полным разгромом врага. Противник потерял убитыми до тысячи человек; двести пятьдесят подвод со снарядами; десять пулеметов и много тысяч винтовок».

Значение этой победы состояло в том, что район Царицына был обезопасен с востока. Врагам советской власти не удалось соединиться. Все это отразилось благоприятно и на нашей X Красной армии, которой командовал в то время Климент Ефремович Во-

рошилов, армии, победы которой с радостью приветствовала страна. Штаб фронта поднял вопрос о награждении Чапаева и чапаевских полков Красным Знаменем. Военская часть, возглавляемая Чапаевым, стала краснознаменной.

25 сентября началось общее наступление на Самару. Справа, вдоль тракта Пугачевск—Самара, упираясь левым флангом в Волгу, наступал Чапаев; левее, вдоль волжского правобережья, наступала Вольская дивизия. На долю Чапаева выпало нанести главный удар; вольские бойцы получили вспомогательное задание. Но белогвардейское командование двинуло тогда уральских белоказаков с целью сорвать наступление Чапаева на Самару. Белоказаки усилили натиск на Пугачевск и Саратов, когда командарм приказывает Чапаеву оставить бригаду в районе Пугачевска. Чапаев получает приказание итти на Уральск совместно с 22-й дивизией. Этим командование возложило на Чапаева труднейшую задачу — прикрыть тыл и правый фланг всей армии. Таким образом, Чапаевская дивизия с двух концов выполняла одну и ту же операцию: в противоположных направлениях навстречу друг другу шли чапаевцы с разных флангов армии. Против бригады Чапаева белоказачьи командиры бросили все наилучшие свои силы. Однако белоказаки были разбиты. Первая Революционная армия, руководимая тов. В. В. Куйбышевым, с чапаевцами, ударила на чехов, разгромила учредилковских белогвардейцев и рано утром 7 октября торжественно вступила в Самару. Так была выполнена гениальная директива Ленина о быстрой победе над чехословаками на фронте Казань — Уральск — Самара, от чего зависел тогда успех всей Красной Армии.

Под Уральском Чапаев, получив приказ остановить наступление уральских белоказаков и не дать им соединиться с самарскими белогвардейцами, попал в исключительно трудное положение. Силы врага вшестеро превышали его силы. Начались многодневные и тяжелые бои. 15 и 16 октября прошли с переменным успехом, а 20 октября противник полу-

чил подкрепление, и Чапаев оказался в железном кольце врагов.

— Что делать будешь, Василий Иванович? — спрашивали командиры на совещании.

— Пробиваться буду, — ответил Чапаев.

— А если не прорвешься?

— Хотя бы ценою гибели прорвем казачье окружение.

Чапаева считали погибшим. Врагами распространялись слухи о гибели красного командира. Но Чапаев уцелел. Трудно вообразить ту страшную, ужасающую силу удара, с какой бросились чапаевцы на сторожевые охранения и фронтовое кольцо врагов. Это не была битва отчаявшихся людей, стремившихся отдать жизнь подороже, — это было полное благородной страсти и энтузиазма выполнение нашего полевого устава, который приказывает нести гибель врагу, а самому оставаться целым. Бригада разорвала казачье кольцо, вырвалась из окружения. Положение было спасено.

После этого произошло событие, о котором Чапаев не любил вспоминать и рассказывал с неохотой. В ноябре 1918 года Чапаева вызывают в штаб IV армии с предложением поехать учиться в Военную академию. Между тем дивизия Чапаева взяла Уральск и, как ни отбивали его белоказаки, Уральска не отдала.

Чапаев же томился в стенах Академии, дефекты которой он особенно остро чувствовал, стремясь всей душой туда, где пылали села и деревни, зажженные белоказаками, где по городам свирепствует белый террор и люди ждут Чапаева как избавителя от смерти. Только в порядке подчинения дисциплине Чапаев просидел в Москве три месяца. Из Академии он написал одному из членов Реввоенсовета IV армии просьбу, чтобы его отозвали в боевые части армии «на любую должность командира или комиссара любого полка». Чапаев совершенно правильно ставил вопрос о том, что он не получает никакой общеобразовательной подготовки, что военное дело не преподается вовсе., «Я хочу работать, а не лежать» — заканчивает Чапаев свое

письмо. С 30 января 1919 года командующим IV армии партия назначила Михаила Васильевича Фрунзе.

Только с прибытием в армию М. В. Фрунзе в феврале 1919 года Чапаеву удалось получить разрешение отбыть на фронт.

Штаб Фрунзе был в Самаре. Фрунзе лично убедился, на какой большой высоте стояли чапаевцы как бойцы. Они только-что взяли Уральск — политический центр белоказачества, поэтому приезд Чапаева был очень своевременным. Новое формирование из трудящихся Заволжья, в районе Александрова-Гая, было поручено Чапаеву. Комиссаром к нему был назначен Дмитрий Андреевич Фурманов.

Фрунзе дал задание чапаевцам «итти на Абищенск, ломать белоказачий фронт, разбивать врага».

— До Каспия дойдем, товарищ Фрунзе, — ответили ему чапаевцы.

Александро-Гайская бригада должна была занять станицу Сламихинскую. 10 марта 1919 года Чапаев принял командование, и началась его совместная работа с Фурмановым. Через пять дней Сламихинская была взята. Казаки были отброшены в степь, за озера. Так закончилась операция, начатая чапаевцами в феврале.

Западная армия Колчака получила новую поддержку Антанты и из района Уфы перешла в наступление силами, впятеро превышавшими нашу Красную Армию. Под ударами колчаковщины, поддерживаемой замаскированными и открытыми интервентами, падали один за другим наши города на пути к Самаре и Саратову. Резервов не было.

ЦК партии поручает операции против Колчака Фрунзе и Куйбышеву.

В. И. Ленин дает твердую установку — ни в коем случае не допускать противника к Волге.

Мундир английский,
Погон российский,
Табак японский,
Правитель Омский, —

вот как характеризовала народная молва Колчака.

Его расправы с трудящимся населением привели к восстаниям в ты-

лу, помогавшим разложению колчаковского фронта и продвижению красных войск. В Красную Армию перебежали не единицы, а сотни и тысячи людей. В штабе Фрунзе были напечатаны «билеты на право входа в Советскую Рабоче-Крестьянскую Россию», действительные «на одно лицо и на целую воинскую часть, до дивизии включительно». Билеты разбрасывались с самолетов, завозились и заносились в колчаковский тыл. И не было случаев, чтобы они оказались недействительными. Роль Михаила Васильевича Фрунзе в разгроме Колчака огромна.

С возвращением Чапаева Фрунзе, приступивший к ликвидации Колчака, решает воссоздать 25 дивизию во главе с Чапаевым.

В мае 1919 г. Красная Армия нанесла удар по главным колчаковским силам. В состав ударной группы Фрунзе, поразившей Колчака, вошла и 25-я дивизия. Из Абищенска и Сламихинской станицы, через Уральск, дивизия была переброшена походным порядком в бездорожье, ночными переходами, в район Бузулука. Часть дивизии развернулась севернее Бузулука, по линии реки Боровки, а две бригады расположились в Самарском районе. Здесь в состав дивизии вошел известный своей боевой славой полк иваново-вознесенских ткачей, приехавших с Фурмановым.

Расчеты Фрунзе и Куйбышева свелись к тому, чтобы фланговым маневром Бугуруслан—Бугульма окружить и уничтожить всю Западную белую армию.

20 апреля. 6-й белогвардейский корпус, брошенный на Бузулук, вступил в бой по линии Боровки с передовыми частями нашей ударной группы. Восемь дней длились бои, требовавшие исключительной самоотверженности бойцов, воодушевленных мыслью — не допускать Колчака к Волге. Один полк, помятый и изнуренный, был, например, приведен снова в боевую готовность группой в тридцать коммунистов, бросившихся в штыковую атаку.

Бесчисленные эпизоды героизма чапаевцев показывают, до какой степени

самый факт возглавления дивизии Чапаевым определил геройское поведение бойцов. Рабочий Михайлов, из деревни Болиновки, во главе батальона переправился через реку Кинель. Батальон тщательно замаскировался. Без единого выстрела снял он белую заставу и кинулся в атаку на 43-й белый полк. Чапаев использовал этот момент для того, чтобы поражение одного 43-го полка превратить в разгром 11-й белой дивизии, а в дальнейшем развернуть эту операцию до разгрома 6-го колчаковского корпуса.

Жалкие остатки 6-го белогвардейского корпуса бежали к Белебею. 2-й и 3-й колчаковские корпуса поспешно уходили к Бугульме. Фрунзе приказал: «уничтожить 6-й корпус Колчака», возлагая основные надежды на 25-ю дивизию, Почитатель флангового удара, Василий Иванович Чапаев становится во главе фланговой части целой армии и с горящей торопливостью стремится использовать счастье, выпавшее на его долю.

Крутой фланговый маневр против 2-го и 3-го белогвардейских корпусов показывает, что перед Чапаевым очень серьезный враг, отборные, вышколенные белогвардейцы, белоказаки Оренбургской бригады, 4-я пехотная колчаковская дивизия и так называемая Отдельная Ижевская бригада. Чапаев не ограничился быстрым темпом удара. Он рассчитал все до мельчайших подробностей, чуть ли не для каждого бойца определил задание в предстоящем бою. Мало того, развернув военный талант во всем блеске, Чапаев дал варианты тактических заданий и определил значение разнотипности заданий почти для каждого подразделения, с учетом всех возможных приемов противника. Чапаев не только обеспечил органическую целостность операции, но насытил жизнью, действенностью, сознательностью каждую часть большого оперативного целого. Но самое главное: он лишил своего врага возможности защищаться каким бы то ни было единым приемом. Под Русским Кандызом была уничтожена Оренбургская бригада, а в ночь с 9-го на 10 мая чапаевцы истребили поголовно и Отдельную Ижевскую бри-

гаду, и 4-ю пехотную дивизию. В результате так называемой Бугульминской операции большая часть белой Западной армии была уничтожена.

Под Белебеем Колчак накопил три пехотных дивизии, к ним присоединил кавалерийскую бригаду. Это был последний оплот колчаковщины. Отборные колчаковские опричники, озверевшие, утратившие моральный облик люди. Двенадцать тысяч каппелевцев — это была гвардия Колчака. Воспитанные в презрении к Красной Армии, самонадеянные до легкомыслия, с отчаянием самоубийц, каппелевцы составляли офицерские батальоны и даже целые полки. Длительной подготовкой они стремились так организовать удар по красным войскам, чтобы добиться решительного перелома во всей сибирской авантюре Колчака. В то время как красное командование тщательно изучило своего противника, в то время как Чапаев знал состав и намерения каппелевцев, — каппелевцы продолжали упорствовать в своей основной ошибке. Они готовились к разгрому Чапаева и большевиков, как к борьбе с обыкновенным противником. Они отрицали даже самую возможность военного искусства в Красной Армии, хотя факты и логика должны были заставить их убедиться в обратном.

Фрунзе приказал 25-й дивизии остановить движение каппелевцев, предполагавших идти от Белебея на Самару. 14 мая Фрунзе подписал приказ. Дивизия Чапаева должна была глубоким охватом Белебея прервать связь каппелевцев с Уфой. Через два дня после приказа Фрунзе Чапаев приказывает войскам выступать.

«В район Белебея и по Самаро-Златоустинской железной дороге подходят части неприятельского корпуса Каппеля. Дабы не дать инициативу противнику и довести его до окончательного состояния панического бегства, вверенной мне дивизии приказываю: все подходящие части противника, не дав им осмотреться и ориентироваться, встречать молниеносным громовым уда-

ром. По выяснении занимаемых противником пунктов, пользоваться местной природой, заходить с тыла и бить всех беспощадно».

С одной стороны — генералитет, блестящие военные сюртуки, эполеты и золотые погоны, иконостас орденов, золотые портсигары в карманах и золотые рукоятки шашек, украшенные георгиевскими оранжевыми и анненскими красными темляками, а с другой — организатор Красной гвардии, малоземельный крестьянин Василий Чапаев, комиссар писатель Дмитрий Фурманов и командир мужичок Потапов. Утром 16 мая части противника соприкоснулись, и в районе Белебeya завязался ожесточеннейший бой — Чапаева и Каппеля. Командующий белой Западной армией генерал Ханшин ошибся в расчетах. В этот ожидаемый им день поражения красных войск пришлось заняться вызовом резервов из Сибири.

На пути к Уфе есть узловая станция Чишма. Белые решили воспользоваться неровностями местности для того, чтобы защитить Чишму. Чапаев приказал: «Дружным единовременным ударом на Чишму столкнем белогвардейцев с железной дороги. Для большего удобства топите в реке последних белых, и тем самым очистим себе пути к Уфе и дальше».

На заре 30 мая Чапаевская дивизия с соседней 2-й дивизией, сильным ударом опрокинув белых, захватили Чишму. Характерная для Чапаева черта: головокружительное преследование противника не сопровождается разрывом коммуникаций чапаевцев с тылом. Вдогонку Чапаеву идет приказ Фрунзе — Куйбышева продолжать наступление на Уфу.

В самой Уфе находились колчаковские офицерские отряды, юнкера и добровольческие буржуазно-дворянские формирования. Решающую роль в форсировании Белой Фрунзе возлагает на 25-ю дивизию Чапаева. Насколько велико было участие М. В. Фрунзе и как близко он принимал к сердцу каждую деталь операции, видно из того факта, что в уфимском деле он лично вел части в атаку с винтовкой в руках.

На заре 8 июня два парохода с красными переправились через реку Белую. Высаженный десант атаковал сторожевое охранение 4-й Уфимской дивизии у проволочных заграждений противоположного берега. Белые бросились бежать. Тем временем иваново-вознесенцы двинулись к деревне Новые Турбаслы, а с восходом солнца 44 артиллерийских орудия открыли огонь по заграждениям белых. Через 37 минут все прикрытие белых были уничтожены. Белогвардейцы, ошеломленные неожиданностью, бросали позиции, пулеметы, винтовки, бежали в тыл, сдавались в плен. Красные войска, не торопясь, овладевали каждым бугорком, спокойно и осмотрительно торжествовали победу, ни на секунду не забывая о необходимости дальнейшего продвижения вперед. Белое офицерство цеплялось за каждую муравьиную кочку, но солдаты покидали их, и офицерам приходилось сдаваться. Разведчики — самолеты противника — чертили небо; надував переправу красных, делали все, чтобы задержать форсирование реки; Чапаев был ранен с неприятельского самолета в голову, Фрунзе был тоже задет пулей неприятельского самолета, но наступление продолжалось, — оба командира остались в строю и приказали занять Уфу.

В 5 часов утра 9 июня приказано было быть в Уфе именно потому, что рабочий из Уфы сообщил чапаевцам, что на 5 часов утра 9 июня белые назначили атаку красных войск — одновременно 4-й и 8-й дивизиями, офицерским полком и юнкерским батальоном, вместе с остатками каппелевцев. В 4 часа 30 минут утра разведчики сообщили в штаб Чапаева, что из района деревни Степановки двинулись колонны белых. Они шли без единого выстрела, стремясь не шуметь ни снаряжением, ни оружием. Они свернули с дороги по полям несжатой ржи и думали, что под колосьями уфимской крестьянской ржи их не увидят глаза чапаевских бойцов.

Белые повзводно и поротно двинулись в наступление. Расчет их был на внезапный удар, на стремительную и неожиданную атаку. Был большой со-

блази встретить досрочным, несвоевременным огнем самоуверенного и наглого врага, но сдерживали воспитанная в чапаевцах выдержка и дисциплина. Бойцы, которые когда-то на митингах и просто в разговорах безжалостно жгли патроны в воздух, теперь были неузнаваемы: они научились беречь огнеприпасы, не жечь даром пороха, они знали цену военной выдержке, и поэтому все, как один, знали, что нужно, выгодно как можно ближе подпустить белых.

До 100 метров сократилось расстояние между врагами, а красные молчали. И только, когда можно было уже рассмотреть цвет человеческого зрачка, чапаевцы открыли такой огонь из 90 пулеметов, тысячи винтовок и 12 орудий, что враг был разбит вдребезги, подавлен морально, главным образом этим потрясающим впечатлением выдержки и пролетарской бдительности. Через 40 минут после начала огня лежало 3 тысячи трупов каппелевцев на несжатом ржаном поле. Рожь была не помята, она была скошена точным и ровным пулеметным огнем, как косилкой.

Остатки 8-й Камской, 4-й Уфимской белых дивизий в безумном ужасе бежали к линиям железной дороги. Можно ли было разрешить им уйти? Батальон Пугачевского полка решил, что нельзя. Занимая фланговое положение по отношению к бегущим, батальон пугачевцев открыл по ним огонь, заставил их свернуть в сторону. Сбитые фланговым огнем, одни бежали назад, другие вперед. Начался круговой бег обезумевших белогвардейцев; они попадали из огня в полымя и к 8 часам утра начали сплошное отступление, похожее на паническое бегство, к реке Уфе.

Все, кто видел замечательный фильм «Чапаев», помнят колонны каппелевцев, идущих в так называемую психическую атаку. Военная история не забудет, как в ответ на «психические атаки» белых ударная группа Красной Армии, разгромившая каппелевцев, немедленно, буквально не переводя дыхания, без отдыха ринулась на Уфу. Отсюда та стремительность удара, с которой загорелые, запыленные, окровавленные красноармейцы ворвались в Уфу, чтобы во-

время освободить из тюрем тех, кто ждал смерти в этот день.

Официальные донесения белогвардейцев говорят, что они потеряли под Уфой 5 тысяч человек. Красные знамена развевались над Уфой, а в Москве приказом 14 июня 1919 года правительство награждало Василия Ивановича Чапаева орденом Красного Знамени.

Носить его Чапаеву не пришлось. Героический путь его закончился раньше, чем пришел орден.

Но Колчак не мог оправиться. Мы знаем его бесславный конец:

Мундир сносился,
Погон свалился,
Табак скурился,
Правитель смылся.

Колчак был расстрелян в Иркутске в 1920 году, но до этого времени еще очень долго штыковое кольцо Антанты сжимало Советскую страну.

Весна и лето 1919 года были страдной порой нашей прекрасной родины.

Уральск и его защитники оказались отрезанными со всех сторон. Две дивизии белоказаков бросились на Бузулук, чтобы сорвать там сосредоточение ударной красной группы. Маневр белых не удался. Но май и июнь были страдной порой и для Уральского. Осажденные уральцы писали и говорили только о том, что спасти их может Чапаев. Осажденные уральцы получают от Ленина горячий привет. Владимир Ильич просит их не падать духом, продержаться еще немного недель, и геройское дело защиты Уральского увенчается успехом.

В неслыханных трудностях протекает жизнь Уральского. Штурмовые атаки белых не прекращаются, но через линию фронта врагов проникают радостные слухи, что легендарные чапаевцы идут на выручку Уральского.

30 июня передовые части Чапаевской дивизии вышли из вагонов на станции Богатая, а затем час за часом начали выбегать из воинских поездов люди в шлемах и со штыками на выручку Уральского.

На самарском перроне 2 июля встречаются два человека — это Фрунзе и

Чапаев—с блокнотами, полевыми сумками и картами. Они подсчитывают количество продовольствия, оставшегося в Уральске, число огнеприпасов, нужных для выручки города, и решают, что не позже 12 июля Уральск должен быть свободен. В тяжелейшей обстановке ночных и дневных походов, прерывая тревожный сон в беспокойной ночевке, двигались чапаевцы, как по часовому графику. Теряли убитых и раненых, шли через огонь и кровь, пока утренней зарей 11 июля не показались на горизонте очертания ближайших к Уральску домов.

Вечером осажденный Уральск был освобожден.

Под натиском красных войск белоказаки идут на юг к Лбищенску. Фрунзе приказал чапаевцам преследовать белоказаков. Континентальный климат этого пояса и без того трудно переносим, а летом 1919 года дневная жара с безводьем и ночные заморозки делали поход особенно тяжелым. По безводной и раскаленной стране шли чапаевцы днем. На мерзлой земле засыпали ночью, все больше и больше отрываясь от коммуникаций, среди безводных пустынь и полувраждебных, кулаками заселенных, станиц.

Перед походом, скрывая взаимные огорчения, мужественно простились навеки спаянные дружбой Чапаев и Фурманов. Чапаев лишился замечательного комиссара, обаятельного человека и друга. Фурманову очень не хотелось уезжать от Чапаева, но внутренняя уверенность в необходимости дисциплины разлучила двух друзей. Комиссаром дивизии при Чапаеве состоял в это время иваново-вознесенский текстильщик Батурич.

За пятнадцать суток дивизия прошла свыше 200 километров. На столько же километров она была отдалена от уральской базы. Генерал Толстов ушел из Лбищенска. Выполнив задание занять Лбищенск и Джамбейтинскую ставку, Чапаев приступил к установлению коммуникации. Ему приходилось поддерживать связь на протяжении 200 километров, были случаи, когда дивизия не получала по трое суток хлеба.

Когда Лбищенск был занят, Чапаев расположил в нем штаб дивизии, политотдел, дивизионную школу, но не оставил себе в Лбищенске необходимого резерва, хотя, конечно, он учитывал, что против его дивизии действует подвижной, как ртуть, постоянно меняющий форму, конный противник, и конники могли появляться группами в любое время, порождая тревогу и заставляя растрачивать силы.

Повидимому, белогвардейцы задались целью расстроить управление красными войсками, когда организовали ночной налет на чапаевцев. Для этого предприняли простой разбойничий набег на Лбищенск, чтобы разгромить штаб и тылы 25-й дивизии. И вот с запада по долине реки Кушум 2 сентября была направлена 2-й казачий корпус генерала Сладкова. Обычно указывают на то обстоятельство, что 5 сентября на рассвете чапаевские сторожевики были недостаточно бдительны и, если бы сторожевое охранение выполнило тщательно приказ Чапаева, врагу не удалось бы пробраться в Лбищенск. Конечно, если бы сторожевое охранение и патрулирующие были более бдительны, не произошла бы лбищенская кровавая драма, не погибли бы трагически вечно дорогой в памяти Красной Армии и народа Чапаев и комиссар его Батурич. Тысячи славных чапаевцев жили бы с нами в наши прекрасные дни торжества Сталинской Конституции.

Но кровавая лбищенская драма имеет и другие причины. Один из летчиков-разведчиков предательски обманул Чапаева, сообщив, что воздушная разведка установила отсутствие врага на огромном пространстве к западу от Лбищенска.

★

Почуввав беду, в ночь с 4-го на 5 сентября летнаб Олехнович и моторист Жердин пытались предупредить командование. Пробравшись на вражеский аэродром и заняв кабину «Сопвича», они были замечены часовым. Отстреливаясь и уродуя пулеметом самолеты врага, Олехнович обеспечил побег

к своим тов. Жердина, а сам застрелился из нагана.

Раненый Чапаев не покидал командования. Он находился в строю и руководил боями, и не только руководил. Будучи ранен, он сам вместе с комиссаром Батуриным повел в штыковую контратаку своих бойцов на Соборную площадь. Четыре часа длился этот убийственный бой — пулеметный, штыковой, сабельный — на площадях и улицах Абищенска.

Степной город горел. Сентябрьское солнце яркими лучами заливало клубы дыма и гигантские красные полотнища огня, шевелящиеся над улицами и площадями. В этом аду, под рикошетом пуль, при звоне большого соборного колокола, под звуки пулеметов и разрывающейся шрапнели, не сдавались чапаевские части и теснили все более и более белоказачков, буквально запрудивших толпами улицы. Солнце помогло белым. Стоявшая за городом артиллерия, подоспевшая к белоказачкам, начала артиллерийским огнем громить дом за домом, где находились храбрые чапаевцы. Город, наполненный белоказачьими бандами, все-таки не был взят ими.

Чапаев приказал выбираться из города, пробиваться к Уралу, чтобы, бросившись вплавь в реку, спастись. Но вдоль берега белоказачки стреляли из пулеметов в бойцов, кидавшихся с кручи в воду, и открыли артиллерийский огонь.

Ординарцы умоляли Василия Ивановича прежде всего позаботиться о спасении своей жизни. Чапаев минутами терял сознание от колоссальной потери крови, но сопротивлялся воле ординарцев и продолжал отдавать распоряжения. Петр Исаев силой заставил Чапаева броситься в воду.

Соборная площадь в третий раз была захвачена белоказачками. Оттуда волна белых вылилась на дорогу к реке. Курсанты дивизионной школы бились, как герои: один за другим они отдавали свои молодые жизни, не отступая ни на пядь от занятой площади. На ступеньках, за большим брусом, стоял командир этой школы Чеков, положив руку на плечо своего старшего сына.

Он направлял огонь красных курсантов. Но вот сначала сын поддержал простреленного в грудь отца, затем, захлебываясь кровью, отец усилием воли повернулся к сыну для того, чтобы поддержать его закинувшуюся голову. Потом оба упали у ступенек.

Меньше сотни чапаевцев осталось на Соборной площади Абищенска. Вот убит комиссар Батурин. Вот зарублен на-смерть шашками белоказачков старший комиссар чапаевцев — Крайнюков, положивший руку на пулемет и не разжавший кулаков. Вот, взявши винтовку для штыкового удара, падает от белогвардейской пули начальник политотдела 25-й дивизии Суворов.

Соборная площадь окружена со всех сторон, но в голозе каждого бойца сверлящая мысль о Чапаеве: нужно дать ему возможность уйти, переплыть через реку Урал, и для этого задержать белоказачью лавину во что бы то ни стало.

Среди отбивающихся храбрецов остается почти один большевик Козлов. Это начальник снабжения. В левой ладони у него пригоршня револьверных пуль, в правой — наган. Чудесный стрелок, Козлов без промаха на выбор бьет наступающих белогвардейцев, бьет в лоб всякого, кто осмелится выйти вперед. Всего только один патрон остается в нагане. Подпустив врага настолько, чтобы его услышали, Козлов кричит: «Чапаевцы умирают, но в плен не сдаются!». Козлов прикидывает дуло нагана к виску и умирает, не сдавшись.

Чапаев был спущен в воду под градом ружейных и пулеметных пуль, в бессознательном состоянии. Ледяная вода Урала мгновенно вернула ему ясность мысли. Захватывая воду здоровой рукой, Чапаев поплыл. Он доплыл уже до середины Урала, когда белогвардейцы поняли, кто от них уплывает, и направили пулемет по его следам.

Чапаев погиб.

Его порученец, Петр Исаев, замечательный пулеметчик, терпеливо и с выдержкой направлял пулемет в ту сторону, откуда сыпались пули на Чапаева. Исаев надеялся, что этим способом он даст возможность Чапаеву доплыть к

другому берегу. И когда он увидел, что голова Чапаева не поднимается уже над волнами, он подошел к берегу и, разрядив себе в висок наганный патрон, замертво упал в ледяные волны Урала в том самом месте, где за минуту перед тем он спустил в воду живого еще Василия Ивановича Чапаева.

Все чапаевцы — казначей, снабженцы, комиссары, бойцы, командиры — одинаково с честью несли великое, благородное знамя героев-большевиков. Простой обозник, красногвардеец-чапаевец, имя которого до нас не дошло, фигурирует в рассказах наших врагов. Когда начальник 6-й кавалерийской Чижинской дивизии белогвардейцев полковник Бородин в'ехал во двор захваченного Лбищенска, чапаевец взял винтовку и, нацелившись сквозь щель амбара в грудь белогвардейского полковника, убил его наповал. Одинарцы полковника Бородина изрубили старого чапаевца. Белые офицеры поняли, откуда осыпали их градом пулеметные, винтовочные, револьверные пули: на складах в амбаре этот крепкий чапаевский обозник приладил и пулемет, и винтовку, и револьвер. Он ловко расстреливал из своего убежища офицеров, проходивших по улице, до тех пор, пока, уложив Бородина, не погиб сам, зарубленный белогвардейцами.

★

Так погиб Чапаев. Именем его украшена 25-я Краснознаменная стрелковая дивизия. В книге о Чапаеве Д. А. Фурманов писал:

«Где героичность Чапаева? где его подвиги, существуют ли они вообще и существуют ли сами герои? Они были так долго неразлучны — изо дня в день, из часа в час... Времена были самые жаркие, походные, сплошь боевые... Каждый шаг Чапаева Федор знал, видел, понимал, даже скрытые пружинки, закулисные соображения — и те, в большинстве, знал и видел от-

лично. Вот он перебирает в памяти день за днем — от встречи в Александровом-Гаю, до последнего дня здесь, в Уральске. Сламихинский бой, колоссальная работоспособность, быстрота передвижения, быстрота сообразительности, быстрота в работе... На Уфу... Пилюгинский бой, Уфимский... Опять сюда... Где же конкретно те факты, которые надо считать героическими? А молва о Чапаеве широкая, и молва эта, верно, более заслужена, чем кем-либо другим. Чапаевская дивизия не знала поражений, и в этом немалая заслуга самого Чапаева. Слить ее, дивизию, в одном порыве, заставить поверить в свою непобедимость, приучиться относиться терпеливо и даже пренебрежительно к лишениям и трудностям походной жизни, дать командиров, подбрать их, закалить, пронизать и насытить своей стремительной волей, собрать их вокруг себя и сосредоточить всецело только на одной мысли, на одном стремлении — к победе, к победе, к победе, — о, это великий героизм!».

Говорить о героях — это значит говорить не только о Чапаеве, но говорить и о Фурманове. Фурманов о себе молчит.

Иващенко, снабжавший Чапаева оружием, теперь называется Чапаевском. Колхозники Волги поставили в Куйбышеве прекрасный бронзовый памятник Чапаеву. Как всякое прекрасное явление жизни, так и Чапаев открыл источники для широкого творчества в области искусства. Фильм «Чапаев» является непревзойденной картиной, изображающей героизм нашего народа.

Народ наш ощущает живое счастье от сознания, что у него есть великая и непобедимая, молодая и закаленная Рабоче-Крестьянская Красная Армия и Красный Военно-Морской Флот. Народ счастлив сознанием, что эта армия и флот воспитали в своей среде тысячи Чапаевых.



Николай Щорс

Щорс и Боженко

(Из повести)

МИХ. ЕВГЕНЬЕВ

Первой регулярной частью Красной Армии, созданной из украинских повстанческих отрядов, был Богунский полк, сформировавшийся Щорсом осенью 1918 года на станции Унеча. Второй полк формировался в местечке Середина-Буда. Вблизи этих пунктов в 1918 году проходила временная граница, отделявшая захваченную немцами

Украину от Советской России. Сюда, в лесную пограничную полосу, прорывались с юга и юго-запада наиболее стойкие отряды повстанцев.

В конце августа вступили в пограничную полосу и повстанцы Таращанского уезда Киевщины. Они прорывались через Полтавщину к местечку Середина-Буда, у станции Зерново, где

на запасных путях стояли прибывшие со стороны Брянска эшелоны с оружием, обмундированием, снарядами.

В местечке Середина-Буда таращанцев встретили бойцы отряда, прибывшие сюда раньше, во главе с Боженко. Таращанцы хорошо знали своего земляка. Боженко был уроженцем Таращанского уезда.

Ему шел пятьдесят шестой год, когда он первый раз взял в руки винтовку, чтобы защищать родину и советскую власть от немецких захватчиков и украинских контрреволюционеров.

— Батько! Василий Назарович! — восторженно приветствовали его таращанцы.

Боженко встретил их верхом на коне. Таращанцы окружили батько. Он протянул вперед руку и крикнул:

— Голосую — кто з таращанцев зараз иде у Красну армию?

Шестьсот таращанцев подняли винтовки.

Боженко медленно посмотрел вокруг и сказал:

— Добре, земляки, зачисляю вас у свой полк. Хай буде он Таращанским.

Сотни рук потянулись к Боженко и подняли его в воздух, дрожавший от криков:

— Хай живе Красная армия!

— Хай живе Таращанский полк!

★

О Щорсе таращанцы знали только по слухам, доходившим из Унечи, и по рассказам местных крестьян.

Ясно, никто из таращанцев не мог сказать, кто такой Щорс, но все хотели быть к нему поближе, так как слышали, что Щорс был у Ленина, беседовал с Ильичом и действует по его указаниям. Они представляли Щорса «трошки пограмотнее» своего батько, который еле-еле подписывался, медленно выводя на бумаге большие, кривые буквы, в то время как на морщинистом лбу его выступали капельки пота. Они верили, что Щорс знает что-то, чего не знает их батько, твердивший своим командирам перед боем всегда одно и то же: «Дывься — посылай вперед разведку».

Вскоре представление о Щорсе у таращанцев стало более ясное. Это произошло после неудачного наступления на Михайловский хутор, когда Таращанский полк, понеся в боях большие потери, отошел в район посада Погар и установил с Богунским полком Щорса непосредственную связь.

Прежде всего таращанцев поразил внешний вид богунцев, превосходивших своей строгой выправкой старых солдат. Несколько красноармейцев, приехавших с поручением от Щорса, обмундированных хотя и бедно, но строго по форме, были сейчас же окружены шумной и пестрой толпой таращанцев, одетых кто во что горазд. На радостях встречи кто-то притащил бутылку с самогоном. Богунцы наотрез отказались от угощения.

— О цем Щорс и думки велел не иметь, — сказали они.

Таращанцы закричали:

— Брешете, хлопцы, не может того быть!

— Побачите сами, — ответили богунцы.

Богунцы уехали, но их рассказы о порядках, которые устанавливает Щорс в своем полку, долго еще волновали таращанцев. Им казалось диким, что у Щорса, как говорили богунцы, не только пьянство, но даже неряшливость и сквернословие считались преступлением. Особенно много толков среди них вызвала весть о том, что в Богунском полку Щорс проводит строевые занятия регулярно каждый день по расписанию. Одни одобряли это, другие возмущались:

— Що це, старый режим?

Таращанцы призывали к вольной партизанской жизни. Батько учил их только одному: не щадить своей головы за революцию. Остальное считал мелочами, не достойными его внимания.

★

Через село, в котором стоял штаб Таращанского полка, нередко проходили на север группы крестьян-повстанцев, прорвавшихся из оккупированных немцами территорий.

— Куда, дядьки? — спрашивали их таращанцы.

— До Щорса, в Богунский полк, — отвечали повстанцы.

Пришлось раз и самому батько встретиться с одной группой повстанцев, державших путь в Унечу.

— Хиба вас Щорс медком кормит? — воскликнул Боженко.

Повстанцы об'яснили:

— Земляков наших у Щорса в полку богато. кличут до себе.

— Кличут, — презрительно повторил Боженко и вдруг спросил: — «Интернационал» спиваете, чи ни?

— Спиваем, товарищ командир.

— Як там — чи земляки, чи весь свит? — спросил батько, и в его маленьких глазках, прятавшихся под мохнатыми бровями, заблестели зеленые лукавые огоньки.

— Весь свит, — ответили повстанцы.

— А вы що кажите? Весь свит, а вы — земляки кличут. Що то за «Интернационал», дурни головы! — закричал Боженко.

Его растрепанная борода и усы скрывали хитрую улыбку. Сбитые с толку повстанцы мялись, не зная, что ответить.

Тогда батько закурил толстую самодельную сигару и сказал:

— Есть у мене думка зачислить вас, дядьки, до Таращанского полку.

Повстанцы поблагодарили батько за приглашение, но отказались от него.

— Нам треба до Щорса, — сказали они.

Батько убеждал:

— Що таращанцы, що богунцы — один «Интернационал» спивают!

Но повстанцы твердо стояли на своем:

— Земляки кличут до богунцев.

Боженко в сердцах махнул рукой. Глубокой ночью он разбудил своего ординарца и велел ему седлать коней.

— Поскачем в Унечу. Сон не иде. Думка мучит: що мени уси очи колют Щорсом?

Ночь была темная. Батько скакал на своем рослом жеребце по дорогам, пересекавшим спящие села, голые поля,

сливающиеся с черным небом, и дремучие леса, веющие осенней сыростью.

Был уже день, когда на взмысленных конях они прискакали в Унечу. Над крышами пристанционных домов, усыпанных желтыми листьями, бледно сияло октябрьское солнце. На улицах поселка было многолюдно и шумно. Под сенью поблекших деревьев дымила походная кухня, у забора на привязи ржали оседланые кони, у двухэтажного деревянного дома с красным флагом толпились люди в крестьянских армяках, опоясанные пулеметными лентами, мимо с песней шла рота красноармейцев, одетых по-летнему, в гимнастерки.

Боженко под'ехал к дому с красным флагом.

— Це буде штаб Богунского полку?

— Да, товарищ, — ответил человек в кожаной куртке.

Он разговаривал с крестьянами, толпившимися у крыльца. Это были те самые повстанцы, которых накануне Боженко хотел завербовать в свой полк.

Батько сделал вид, что не узнал их.

— Мени треба Миколу Щорса, — крикнул он.

— Сейчас, товарищ, — ответил тот же человек и, кинув быстрый взгляд на под'ехавших всадников, продолжал разговор с повстанцами.

Боженко слез с коня и скинул бурку, ловко подхваченную ординарцем, который успел уже привлечь внимание всей улицы. Он был в старых лаптях и щегольских малиновых рейтузах, до колен замотанных онучами.

Батько поднялся на крыльцо.

— Товарищ, вы, кажется, ко мне? — окликнул его кто-то.

— Я до самого Щорса, — ответил батько.

— Я — Щорс.

Это сказал человек в кожаной куртке. У него было молодое, но истощенное лицо, большие яркие глаза и черная борода.

— Не брешешь? — спросил батько.

Щорс улыбнулся.

— А что, разве не похож?

— Це не бачил, но думал, поважнее с виду.

— Издалека? — спросил Щорс.

Батько сказал:

— Меня зовут Боженко. Чул чи ни?

— Батько Боженко! Дорогой гость! Добро пожаловать к богунцам! — радостно воскликнул Щорс.

Он быстро подошел к батько и, обняв его крепко, поцеловал в полные губы.

— Слышал о тебе. Много слышал. Давно хотел потолковать с тобой.

— Треба, дюже треба побалакать и мени с тобой, Микола... А по батьке як?

— Александрович, Василий Назарьевич, — сказал Щорс, четко выговаривая имя и отчество Боженко.

— Знаешь?! — воскликнул батько, и его лицо посветлело от удовольствия.

В штабе Боженко был принят с большим почетом. Представляя его, Щорс сказал:

— Наш дорогой гость командир Таращанского повстанческого полка красный атаман Боженко.

Потом он провел растроганного приемом батько в свою маленькую комнату, в которой стояла аккуратно заправленная койка, и запер дверь на ключ.

— Слушаю тебя, Василий Назарьевич.

Щорс сел на подоконник, предоставив Боженко единственный в комнате табурет. Дружески хлопнув ладонью по колену Щорса, батько сказал:

— Приехал подивиться, яки порядки ты в полку заводишь, що народ валом валит до богунцев.

— Пора и тебе, Василий Назарьевич, заводить эти порядки, — сказал Щорс.

— Яки? — быстро спросил батько.

— Порядки регулярной Рабоче-Крестьянской Красной Армии.

В глазах батько вспыхнули злые огоньки. Он пытливо посмотрел на Щорса.

— А у таращанцев що — анархия?

Щорс засмеялся.

— Ядовитый ты человек, Василий Назарьевич.

— Ты мени очи не замазывай, скажи прямо — у таращанцев анархия? — допытывался батько.

— Нет, этого я не говорю. Но партизанщины у тебя, Василий Назарьевич, еще много.

— Нехай буде так, но хйба таращанцы не вмирают за революцию?

— Умереть легче, чем победить, батько.

— О, це добре сказано!

Батько задумался, опустил голову. Жидкие прямые волосы падали на высокий покатый лоб, пересеченный глубокими морщинами.

Щорс, искоса поглядывая на батько, рассказывал, какие трудности ему пришлось перебороть, формируя из партизанских отрядов повстанцев первый на Украине регулярный полк Красной Армии.

Боженко долго молчал. Потом вдруг сказал:

— Уколот ты мене, Микола, у самое сердце.

— Чем, Василий Назарьевич?

— Ну як же! З пид Михайловского хутора довелось-таки тикать нам, хочь таращанцы билися, як львы.

— Знаю, народ ты подобрал замечательный.

— Тараща! — с гордостью сказал батько.

— Земляки?

Щорс задал вопрос таким вкрадчивым голосом, что Боженко сразу понял намек и насторожился.

— Невже чул?

— Чул, Василий Назарьевич: «чи земляки, чи весь свит», так чи ни? — спросил Щорс и засмеялся заразительно весело.

Батько затрясся от смеха.

— Схитрить думал, да не вышло. Ты же, Микола, хитрей мене. Ой, хитрей!.. Ты ж с Лениным балакал.

Щорс встал.

— Да, я говорил с Ильичом. Хочешь знать, о чем шла речь?

— Усей душой.

— О регулярной Рабоче-Крестьянской Красной Армии, которая должна быть самой могучей и самой культурной армией в мире, товарищ командир полка, — сказал Щорс.

Было уже под вечер, когда Щорс провожал Боженко из Унечи.

Батько сел на ксня, простился и вдруг, наклонившись, сказал Щорсу на ухо:

— Эх, Микола, и мени б не вредно побувать у Ильича.

Щорс не успел промолвить слова.

Батько рванул повод, взмахнул нагайкой и ускакал.

Таращанцы, встретив Боженко, обступили его.

— Балакал с Щорсом, батько?

— Миколой Щорсом? — удивленно воскликнул Боженко. — Так вин же мой найкращий друг, як же я не балакал с ним!..

★

В ноябре 1918 года, когда под руководством товарища Сталина, возглавившего Украинский реввоенсовет, Красная Армия дружным натиском погнала немецкие войска с Украины, Таращанский полк наступал на Киев в одной бригаде с Богунским полком. Бригадой командовал Щорс, оставшийся в то же время командиром Богунского полка.

★

Заняв город Клинцы, Щорс повел Богунский полк вдоль железной дороги на Новозыбков, оттуда повернул на Городню, Седнев, Чернигов. Гайдамацкие отряды отходили вслед за спешно эвакуировавшимися немцами. Зима выдалась ранняя, лютая, многоснежная. Лесными дорогами мчались на санях богунцы. Разбушует метель, и ничего не видно — скрылся куда-то занесенный снегом ошетилившийся штыками обоз. Слышно только, хрипят где-то надсаженно кони, стучат, взвизгивают, стелквиваясь, сани.

Как снежный ком, разрастался по пути полк. Едва влетят богунцы в село — на площади уже выстроился местный отряд повстанцев, ожидающих приказа Щорса о зачислении их в полк.

Щорс не успевал формировать новые роты. Оружия хватало, гайдамаки, отступая, бросали его, но с обмундированием было плохо. Морозы все крепчали, выюга утихала не надолго, а многие богунцы были одеты, как летом.

Начались серьезные бои. Еще в Новозыбков полк вступил, как на парад, торжественно встреченный местным на-

селением, а Городню и Седнев пришлось уже брать с боя.

Ведя полк в атаку, Щорс всегда был впереди с револьвером в руке. У него было несколько нигде не записанных, но твердых, обязательных для всех правил. Одно из них гласило: командиры и коммунисты должны быть всегда впереди. Людей, которые уклонялись от этого правила, Щорс презирал, — в полку они долго не удерживались. Однако он был далеко не из тех командиров, которые любят красоваться своей отвагой. Удалым атакам, рассчитанным на эффект, он предпочитал обдуманность и расчет, скрытность действий и ошеломляющую внезапность нападения.

Из Чернигова Щорс наступал на занятый петлюровцами Киев через Козелец, Дымирки, Бровары. Посадив один из батальонов на сани, Щорс мчался во главе его сквозь метель, глубоким снегом, в обход петлюровских «курней смерти» и бил их во фланг и тыл.

Как ни умел Щорс сдерживать свой горячий темперамент, но в бою он иногда брал свое, прорывался пылкой юношеской удалейю. В такие моменты остановить Щорса было невысказимо. Дерзость, отвага его тогда не знали границ. Однажды, приказав полку наступать на занятое петлюровцами село, он взял ручной пулемет и поскакал куда-то со своим коноводом. И в тот момент, когда богунцы, под покровом темноты, кинулись в атаку, в тылу врага началась вдруг паника. Оказалось, что Щорс, пробравшись в тыл петлюровцев, обстреливал их из ручного пулемета.

★

Таращанцы соревновались своей слабой с богунцами. Но, когда командование армии назначило смотр полков 1-й украинской дивизии, богунцы, ставшие против таращанцев на снежном поле у села Бровары, затмили их своей строгой воинской выправкой.

Щорс в своей неизменной кожаной куртке, неподвижно стоявший перед строем богунцев, по сравнению с Боженко, лихо гарцовавшим на коне, выгля-

дел очень скромным. На батько была богатая бекеша, вся оплетенная ремнями, оправленная в серебро шашка.

Спрыгнув с коня, Боженко подошел к Щорсу:

— Здорово, Микола.

— Здравствуй, батько.

— Не богато живешь, Микола, не богато. Подывись, як обдрипались твои хлопцы.

— Подожди, батько, скоро приоде-немся.

Боженко, сообразив, что Щорс намекает на киевские запасы Петлюры, сразу забеспокоился. Щорс целился и попал в самое больное место батько. Все знали, что для Боженко не было большей радости, как возможность сообщить в донесении о захваченных у врага богатых трофеях.

— На киевские склады зарисься, — воскликнул батько. — Так таращанцы же уперед пидут!

— А я слышал, что богунцы.

— Кто то балакает?

— Чего там балакать, когда приказ есть, — хитро улыбаясь, сказал Щорс.

Боженко совсем разволновался:

— Ой, хитришь, нема ще такого приказа, — и, наклонившись к Щорсу, шепнул ему на ухо: — Знаешь що, Микола, пидем до Киева разом.

★

В Киев богунцы и таращанцы вступили одновременно. Разрушая мосты, дороги и водокачки, петлюровцы бежали по линии железной дороги на Бердичев и Винницу. Казатин был взят без боя. Здесь Щорс получил приказание вступить в командование 1-й украинской советской дивизией.

В день вступления Щорса в командование дивизией ее части готовились к наступлению на Винницу.

Щорс, вызвав в штаб командиров полков, приказал Боженко наступать с таращанцами с юго-востока на западную окраину города.

— Добре, — сказал батько и, подозрительно взглянув на Щорса, спросил:

— А богунцы?

— Богунцы наступают вдоль шляха через Калиновку и Стрижавку, — ответил Щорс, рассматривая карту.

Боженко толкнул локтем своего начальника штаба:

— Подывись, бо у мене очи болят.

Сам Боженко пренебрегал картой, потому что плохо разбирался в ней. Начальник штаба таращанцев объяснил батько задачу пальцами. Проведя по карте прямую линию, он показал на только-что назначенного молодого командира Богунского полка, а, сделав пальцем загогулину, кивнул на Боженко. Батько махнул рукой.

— Це не грає роли, начальник штаба. Таращанцы перши будут у Винниці.

Щорс приказал наступать на рассвете, но было еще темно, когда Боженко, прорвав петлюровский фронт, помчался во главе сводного кавалерийского отряда в направлении Винницы, которую он жаждал захватить первым. Перешли в наступление и богунцы. Калиновку они заняли на следующий день после учиненного здесь петлюровцами еврейского погрома.

Узнав от населения, что петлюровские банды сейчас режут и грабят еврейскую бедноту местечка Стрижавки, командир Богунского полка собрал всех конных разведчиков и во главе отряда в 180 сабель поскакал вперед. Преследуя погромщиков, богунцы по мосту через реку Буг ворвались в Винницу, рубя на улицах бегущих в панике, скидывавших свои жупаны петлюровцев.

Со стороны вокзала донеслись гудки паровоза. Изменив направление, отряд поскакал на станцию и захватил эшелоны с петлюровским имуществом в момент отправления. Богунцам достались богатейшие трофеи.

Вдруг кто-то заметил несколько подхивших к городу дрезин.

— Да это же Щорс! — в один голос воскликнуло несколько богунцев, пораженных неожиданным появлением начальника.

Выслушав рапорт командира полка, Щорс засмеялся:

— Ну, тепер наш батько не найдет себе покоя!

Тут Щорсу доложили, что с востока на Винницу наступают крупный кавалерийский отряд.

Щорс посмотрел в бинокль.

— Так и есть, батько мчится. Надо его встретить поторжественнее.

Когда Боженко галопом подлетел к вокзалу, навстречу ему вышла группа богунцев. Один из них, коварно улыбаясь, держал каравай хлеба и соль.

— Добро пожаловать, батько. Богунцы просят вас в Винницу.

Боженко воскликнул вне себя:

— Хлопцы, тут вже богунцы!

Командир Богунского полка, подмигнув Щорсу, опять начал перечислять захваченные трофеи.

— Немыслимо! — закричал Боженко. — Начальник штаба, ступай до мене! Я з тебе, чортяка, голову зныму.

Начальник штаба не решался приблизиться к Боженко, размахивавшему нагайкой.

— Легче, батько, легче, — тихо сказал Щорс.

— Так вин же, чертяка, мени голову задурив свсею картой скаженной, а то я вже давненько був бы у Винници.

— В Виннице богунцы, а в Жмеринке еще же петлюровцы, — засмеявшись, сказал Щорс.

На следующий же день таращанцы лихим налетом захватили Жмеринку. Щорс получил донесение, в котором батько сообщал о колоссальных трофеях.

★

Дивизия Щорса выходила с боями к старой галицийской границе. В июле богунцы, тесня петлюровцев на линии Старо-Константинов — Проскуров, достигли пограничного местечка Волочиск; наступавшие со стороны Новоград-Вольнска, захватив Дубно, вышли к границе у местечка Радзивилов. Под властью петлюровской директории, не вылезавшей из вагонов, оставался только небольшой клочок украинской земли в районе Каменец-Подольска. Богунцы и таращанцы смеялись:

— В вагоне директория, а под вагоном территория.

Дивизия Щорса блестяще выполнила

поставленные ей командованием задачи. Однако в штабе армии некоторые военные специалисты начали вдруг распространять слухи, что Щорс не считается с оперативными планами, действует попартизански, что в дивизии Щорса очень трудно работать бывшим офицерам, что Щорс выживает их, всем огульно не доверяет.

Правда, бывали случаи, когда он отсылал назад бывших царских офицеров, прибывших с предписанием о назначении на должность «не ниже командира батальона». Бывали случаи, когда он, посылая в свои части на командные должности непроверенных еще в бою бывших царских офицеров, предупреждал командира полка и комиссара: «Смотрите за ним в оба». Однако к тем военным специалистам, которые доказали свою преданность и работали честно, Щорс относился по-товарищески, чутко. Обвинения его в партизанщине и спецеестве были злостной клеветой. И Щорс чувствовал, откуда она идет.

Как-раз в это время зачастили к нему инспектора с мандатами от Троцкого. Судя по их поведению, можно было подумать, что им важно только одно: дискредитировать Щорса и его ближайших соратников. Они выискивали всякие поводы для придирки. Щорс принимал инспекторов вежливо, но сухо, терпеливо отвечал на вопросы, однако далеко не на все. Когда речь заходила о том, о чем Щорс не хотел с ними говорить, он незаметно переводил разговор на другую тему. Слово предчувствуя предательство Иудушки-Троцкого, Щорс относился к его ставленникам, как к чужим людям.

Однажды, занятый подготовкой боевой операции, Щорс получил телеграмму из Бердичева от инспекции с требованием выслать паровоз.

— Выясните состав инспекции и доложите мне, — приказал Щорс своему начальнику штаба.

После разговора с Бердичевом по прямому поводу выяснилось, что инспекция следует в трех классных вагонах, состоит из бывших царских офицеров, а возглавляет ее известный Щорсу бывший царский генерал.

— Коммунисты есть? — спросил Щорс.

— Один, состоящий при генерале, — сказал начальник штаба.

Щорс зло засмеялся.

— Состоящий при генерале?.. Между прочим, это его политика, он им доверяет больше, чем нам.

Все знали, что под «его политикой» Щорс подразумевает политику Троцкого, чье имя было ему ненавистно.

— Как же быть? — спросил начальника штаба.

— Сообщите: паровозы нужны для выполнения боевой операции. Свободных нет.

★

Боженко командовал уже бригадой. Он сидел в своем штабном вагоне и беседовал с только-что приехавшим из дивизии начснабом Тысленко. Комендант доложил, что прибыла инспекция и просит ее принять.

— А что, Микола принимает их? — спросил батько у Тысленко.

— Ну, конечно, — ответил Тысленко.

— Добре, так и я приму. Пусть идут. Побалакаем, — сказал батько.

Он положил на стол нагайку и закурил самодельную сигару.

Вошло несколько военных, судя по внешности, — бывшие царские офицеры.

— Сидайте, — сказал Боженко, — дуже радый вас бачити.

Представившись, старший из инспекторов сообщил, что он должен прежде всего ознакомиться с личным составом бригады.

— Придется начать с вас, товарищ комбриг.

— Пытайте, — согласился батько.

Разговор происходил в таком духе:

— Ваше образование?

— Брехать не буду, что шибко важное. Поныже среднего.

— Но все-таки? Где учились?

— У дьячка. Це як подпаском був. Пидписуваться у него, биса, навчився.

— А ваше военное образование?

— Да тож поныже среднего. Просто сказать — царский каземат.

— Простите, но я не понимаю: при чем здесь каземат?

— А так нас же, аристантив, в каземате на прогулку строим гоняли, пид команду, тут я шибко навчився командовать.

Старший инспектор пожал плечами:

— Ну, а как, товарищ Боженко, вам не трудно командовать бригадой, не имея более серьезной подготовки?

— Спытайте у Микола, вин вам скаже, — заявил батько и, наклонившись к Тысленко, спросил шопотом:

— Невже ж у Микола така ж история?

Тысленко кивнул головой.

Боженко взял нагайку и ударил ею два раза по столу.

Явился комендант.

— Причинить вагон цих начальников до мого состава. Через пять хвылын дайте отправление.

Инспектора растерянно переглянулись.

— Куда, товарищ Боженко?

— На передовые позиции, — сказал батько, играя нагайкой.

Инспектора пытались что-то возразить.

— Як я сказал, так и буде. Побачите сами, як я командую. Я вас прикрепляю до батальонов. А як живы останетесь — побалакаем ще.

Когда перепуганные инспектора вышли, Тысленко сказал:

— Смотри, батько, Микола осерчает, опять партизанщиной занимаешься.

Боженко серьезно взволновался:

— Да ну? Не брешешь?

— Факт.

— Что же мини робыты?

— Отмени приказ.

— Ой, як це не хочеться робыть!..

Але придется.

Боженко опять вызвал коменданта.

— Хай идут, куда вгодно, а паровоза не давать, — батько хитро улыбнулся. — Тут вже Микола до мене не прицепится. Вин сам паровоз цим господам не дае.



Воспоминания о Котовском

О. КОТОВСКАЯ

К началу Великой Октябрьской Социалистической революции Г. И. Котовский имел уже свыше чем десятилетний стаж вооруженной борьбы с буржуазией. Годы подполья, капиталистической каторги, тюрем-одиночек воспитали в Котовском характер, непреклонную волю к выполнению наме-

ченной задачи, научили его анализу обстановки, среды. В народе живет память о нем, как о легендарном герое, как о безумно храбром.

Однако его храбрость была всегда связана с заранее обдуманном плане, с учетом всей обстановки.

Побег из башни Кишиневской тюрь-

мы в 1906 г., смелый до дерзости, ошеломил не только царских опричников, но и друзей Котовского. Григорий Иванович любил рассказывать бойцам и молодежи об этом побеге. В подтверждение того, как важно изучать обстановку, людей, он приводил, в качестве примера, свой побег из тюремной башни. Он рассказывал, как, сидя в высокой клетке, он мог видеть только свою охрану и вскоре сделал открытие, что охранники по какому-то привычному закону повторяют изо дня в день одни и те же движения. Проверив свое открытие, он намечает план бегства чуть ли не на глазах у стражи. Несколько месяцев готовится к этому побегу. Котовского сторожат три смены охранников, и он изучает условные рефлексy всех трех смен. С часами в руках он отмечает минуты и секунды всех движений каждого охранника. В дальнейшем Котовский по записи своей проверяет точность и соответствие записи их движениям: поворот головы, закуривание папиросы, шаг и прочее. Свое время Котовский проводит ежедневно точно по часам, чтобы не нарушить у охранника его привычных рефлексов. Охранники привыкли к тому, что Котовский всегда в определенное время занимается, например, гимнастикой, — пользуясь этим, он усиленно тренируется, ибо от этого зависит успех побега.

Осуществление плана побега требовало выдержки и математической точности. Надо было оставить камеру после вечернего обхода (в 7 часов вечера) и к 8 часам вечера быть на свободе, до момента объезда конными стражниками тюремного забора.

Побегу помогли друзья Котовского, передавшие ему марселевое одеяло и опийные папиросы. От камеры вели коридорчик и лесенка на чердак башни. Татарин, ежедневно приходивший убирать камеру, получал от Котовского полоску одеяла и прятал на чердак под бревно, связав с ранее спрятанной полосой. Веревка была готова. Григорий Иванович еще раз проверил математические вычисления. Пора.

После вечернего обхода начальника тюрьмы Котовский угостил опийной па-

пирсой своего охранника, который быстро заснул, а Григорий Иванович открыл камеру, вскочил на чердак, привязал один конец веревки к бревну и начал спускаться над головой охранника, стоявшего внизу, с таким расчетом, чтобы опуститься в момент, когда тот поставит винтовку и станет закуривать, — время, достаточное для того, чтобы в два прыжка перескочить внутренний двор, а там через ров — и... свобода!

Побег удался.

В 1916 году, приговоренный военнопольевым судом к повешению и ежедневно ожидая приведения приговора в исполнение, Котовский ни на минуту не оставлял мысли о побеге. У него был готов уже план, он все сорок пять дней готовился к побегу. Февральская революция освободила его.

Ни тюрьма, ни каторга не могли сломить его волю к борьбе. Вырвавшись на свободу, он сейчас же вступал в бой с ненавистной ему буржуазией.

Во времена царизма Котовский был бунтарь-одиночка. Знакомые ему тогда кружки эсеров и анархистов не удовлетворяли его, о большевиках, об учении Карла Маркса он не имел понятия, но жестокая эксплуатация буржуазии и помещиков толкала Григория Ивановича на активную борьбу с ними. В своей автобиографии он пишет, что «в те годы не мог вложиться в какие-нибудь определенные рамки, но по натуре и психологии был человеком реального действия...». «...Я с первого момента моей сознательной жизни, не имея еще тогда никакого понятия о революционерах, был стихийным коммунистом, своей психикой, своей интуицией схватывающим сущность классовоy борьбы между трудом и капиталом».

После февральской революции он из тюрьмы направляется на румынский фронт и там, в армии, примыкает к большевикам. «Еще не осознавая, не охватывая всей работы большевиков, я по интуиции, по чутью присоединяюсь к ним, как к партии, которая мне наиболее близка и к которой я близок по своей психике».

Котовский видел, как народ, сбросив цепи рабства, боролся за власть Советов против российского и иностранного капитала, видел действительность, к которой стремился всю жизнь.

Он, бывший бунтарь-одиночка, встал в ряды бойцов за дело рабочих и крестьян. Позднее расцветает его талант организатора и командира Рабоче-Крестьянской Красной Армии. Одновременно формируется и политическое самосознание его.

В 1919 году я увидела в Котовском непартийного большевика, жадно впитывавшего все лозунги партии и проводившего их в жизнь. Книг не было. Он много часов слушает о В. И. Ленине, об истории ленинско-сталинской партии и учении К. Маркса. Человек прямой, честный, человек, у которого слово не расходилось с делом, — он очень серьезно подходил к вопросу о своем вступлении в партию, проверял себя, боролся с остатками партизанщины и, проверив, вступил в партию в начале 1920 года.

Еще до революции 1917 г. Котовский был постоянно кровно связан с рабочей массой, с ее интересами и устремлениями. «Работая на Волге грузчиком, чернорабочим на постройках и в помещичьих имениях, кочегаром на мельнице, помощником машиниста, кучером, разливальщиком на пивоваренном заводе, рабочим кирпичного завода, рабочим на постройке железной дороги, — везде я будил ненависть к эксплуататорам, к тем, кто выжимает последние соки из рабочего и бедняка» — говорит Котовский в своей автобиографии.

Хорошо изучив в годы подполья жизнь жестоко эксплуатируемых рабочих, пережив вместе с ними всю тяжесть капиталистического гнета, Котовский в годы гражданской войны, а затем восстановительного периода, вплоть до момента убийства его в 1925 г., боролся за свободу народа, за победу социализма, за счастье родины.

Кавалерийская бригада под командованием Котовского прошла длинный боевой путь гражданской войны и нигде не знала поражений. А ведь часто приходилось выполнять ответственные

боевые задания очень широкого масштаба. Противник называл «конной армией Котовского» бригаду в 350 сабель. Сила бригады была в организованности, в сознательной дисциплине, в повседневной заботе о бойцах, в беззаветной преданности советской власти.

В бою, на привале, на останках Котовский всегда находился среди бойцов. Он знал каждого из них — его положительные и слабые стороны, расставлял силы, давая задания с учетом способностей бойца. Молодых, еще не «обстрелянных» или проявивших малодушие, он вел в бой сам, увлекая их личным примером. Он убеждал бойца, что не близкая, а дальняя пуля ранит или убивает, а посему надо быть впереди. Быстротой действия, напористостью подтверждал он свои слова, — потери в бригаде были невелики в сравнении с потерями противника.

Вне полка боец также чувствовал постоянную заботу о нем Котовского, который получал от меня сведения о состоянии больных и раненых. Передовой перевязочный отряд и подвижной лазарет всегда были обеспечены медикаментами и перевязочным материалом, так как мои просьбы всегда удовлетворялись: перед боем бойцам давался наказ — делать «ставку» и на перевязочный отряд противника.

В бою подготавливались кадры командного состава, — вместо выбывшего командование сейчас же принимал другой, замешательства в рядах не было. В основном бригада состояла из бессарабцев-молдаван и пополнялась, главным образом, добровольцами, перебежчиками из Бессарабии.

В бою, в переходах все их мысли были по ту сторону Днестра. Они ждали момента, когда бросятся на захватчиков и освободят родные места. Той же мыслью жил и Котовский.

Бригада была совсем близко к родным полям. Освобождая в упорных боях левый берег Днестра, бойцы видели свои села, а многие и свои хаты. Они спрашивали своего командира: когда же? Котовский со свойственной ему убедительностью разъяснял бойцам политику советской власти, задачи, стоя-

щие перед Красной Армией, и вел бригаду на новые бои.

Когда с поляками был заключен мир, бригада Котовского отошла от границы и погналась за бандой Махно, гнала ее вплоть до Харьковской губернии. Банда была ликвидирована, а Махно бежал за границу. Но недолго отдыхала бригада. В Тамбовской губернии свила себе гнездо эсеровщина. Банда Антонова гуляла по селам и лесам Тамбовщины. Бригада Котовского была направлена на борьбу и с этой бандой.

В операции против Антонова бригада показала высокую революционную дисциплину, образец советского патриотизма. Лично Котовский дал пример мужества, яркий образ большевика, жизнь которого принадлежит партии.

1 мая 1921 г. бригада Котовского прибыла в Моршанск, Тамбовской губернии. Котовский выехал в штаб боевого участка в Тамбове. Знакомясь с положением участка, Котовский сразу же указал на недопустимо плохую работу связи, несоблюдение военной тайны. Он вызвал для связи своего штабиста и потребовал все сведения для бригады передавать через него. На своем участке действий он также посадил связистами своих людей. В селах Тамбовщины, как прежде на Украине, бригада вошла в близкий контакт с беднотой. На митингах Котовский разъяснял крестьянам сущность антоновщины, значение борьбы с кулачеством, цели приезда бригады, — ибо кулацкие агитаторы усиленно распространяли контрреволюционные слухи, что, мол, какой-то Котов с хохлами приехали отбирать хлеб для Украины. В первой же схватке с антоновской бандой было взято сто лошадей и розданы безлошадным крестьянам. Наши обозные лошади работали на полевых работах у безлошадных и вдов. Такая связь скоро сказалась, крестьяне спешили указать местопребывание отрядов банды, что было особенно ценно, так как небольшие отряды бандитов, узнав о приближении Красной Армии, укрывались по селам.

В июле Антонов был разбит. Остатки его банды бежали и преследовались в Саратовской и Пензенской губерниях.

Штаб Антонова и командный состав с личной охраной скрылись в тамбовских лесах.

В июне, в разгар боев, был получен приказ Реввоенсовета о демобилизации некоторых возрастов. Бригада наша, выслушав приказ, решила, что никто не воспользуется правом демобилизации, пока не будет окончательно ликвидирована антоновская банда. Ядро банды — ее штаб еще жив и снова будет вредить мирному строительству. Котовский целыми ночами обдумывает планы уничтожения этого штаба, но ни один план не удовлетворяет его. В это время ВЧК передает арестованного в Москве начальника штаба банды Антонова — Ектова в распоряжение штаба боевого участка. Ектвов обещал помочь захватить Антонова. Штаб боевого участка передал Ектова в распоряжение Котовского. Несколько дней Котовский живет вместе с Ектовым, узнает, что Ектвов был в Москве на подпольном совещании всех контрреволюционных группировок, как представитель вооруженной силы эсеров. В искреннее раскаяние Ектова Котовский не верил. Узнав от него подробно о московском подпольном совещании, Котовский решил использовать для целей уничтожения бандитского штаба данное совещание, как бы продолжив его. Успех плана зависит от соблюдения строгой тайны, и Котовский просит командование не давать сводок о действиях бригады между 15—20 июля.

Предварительный план заключался в том, что Котовский личным письмом Ектова свяжется с начальником антоновского штаба — заместителем Ектова — Матюхиным, вызовет его в штаб на совещание, где бандиты и будут схвачены. В письме Ектвов сообщал, что прибыл из Москвы окружным путем, с отрядом казаков, во главе с атаманом Фроловым.

Бригада Котовского покинула место своей стоянки. На рассвете в поле Котовский собрал бойцов и сообщил им подробности плана окончательной ликвидации антоновской банды. От каждого бойца зависит успех всей операции. Отныне, до конца ликвидации банды.

нет бригады Котовского — есть казаки атамана Фролова; нет слова «товарищ» — есть «станишник», нет Котовского — есть атаман Фролов.

Бригада быстро принимает казачий вид, — нашивают лампасы, прячут звездочки, надевают кубанки, и в село въезжает «атаман Фролов со своими казаками». Минуты части Красной Армии, «казаки» приближаются к расположенному близ леса селу. Через кулаков устанавливают связь и посылают письмо Ектова Матюхину. Матюхин наудочку не идет. Он требует выслать для переговоров представителей от казачества. К нему едут два бойца. Матюхин колеблется, ему не верится, хотя он и признает, что письмо от действительного Ектова. Он оставляет наших бойцов заложниками и требует, чтобы атаман Фролов и Ектов вдвоем прибыли к нему, тогда он со штабом согласен выехать в село.

Котовский объявляет командному составу, что намерен ехать, но командиры категорически возражают, так как жизни Котовского грозит явная опасность, и они не в силах будут спасти его. Но Котовский непреклонен: ведь там, у бандитов, остались под угрозой дикой расправы два бойца. Да, кроме того, если сейчас план сорвется, борьба затянется.

Котовский и Ектов едут в лес. Ектов сильно волнуется, Котовский предупреждает Ектова, что жизнь их обоих поставлена на карту. Одно слово, один жест измены, и ему, Котовскому, не жить, но не будет жить и Ектов. Он будет стрелять в него и в себя. Он приказал ему ехать рядом, стремя в стремя, и при малейшей попытке уйти убьет его. Въезжают в лес, оставляя взвод. На условленной поляне встречают под'езжающего Матюхина со штабом. Радостные восклицания, объятия. Котовский — Фролов торопит Матюхина, ибо приближаются красные к селу. Поскакали к селу.

Чтобы не вызвать сомнений у Матюхина, для его кавалеристов отвели часть села, ближе к лесу, но пути к лесу были защищены скрытыми пулеметами. Началось совещание. Для Котовского

важно было не только уничтожить штаб Матюхина, но и разузнать бандитские явки, разведать, откуда получают снабжение. В таком духе и происходило совещание. Антоновцев было 13, наших — 12. «Гостям» уступили почетные места в переднем углу, а сами сели против них. По сигналу Котовского каждый должен был стрелять в сидящего против. Сначала выступали «докладчики с мест» — эсер, анархист (заранее составлены были доклады). «Фролов» расспрашивал Матюхина, где достать подковы, фураж, Матюхин называл имена. После речи Матюхина, хвастливо рассказывавшего о дикой расправе бандитов над захваченными красноармейцами, настроение дошло до высшего напряжения. Котовский встал, за ним — его друзья. Взявшись за револьвер, Котовский крикнул: «Довольно играть комедию, я не атаман Фролов, а Котовский, расстрелять эту сволочь!» — и выстрелил в Матюхина. Поднялась пальба. Стрельба в избе послужила сигналом к захвату «гостей». Бежавшим в лес преградили дорогу пулеметчики.

Банда Антонова была окончательно ликвидирована. Котовский был ранен в правую руку, — пуля раздробила плечевую кость. С гипсовой повязкой он выехал для лечения в Москву. Здесь происходит его первая и, кажется, единственная встреча с Троцким, который еще осенью 1919 года дал Котовскому и бригаде название «диких». Троцкий объявляет Котовскому о своем решении — оставить его, Котовского, в Тамбове. Стараясь играть на честолюбии, он заявляет, что Украина не оценила Котовского, а сейчас он дает ему в командование дивизию, что Котовский в России будет быстро выдвигаться, на что Котовский ответил, что он не карьерист, а боец революции, куда партия пошлет, там он и будет работать, но считает, что целесообразнее его использовать ближе к границе, где обстановка ему знакома. Он сейчас же обратился к приехавшему тогда из Харькова М. В. Фрунзе за помощью. Благодаря настойчивости Михаила Васильевича Котовский вернулся на

Украину. После личного знакомства с Троцким у Котовского появилось недоверие к нему. «Не настоящий, не искренний коммунист, а демагог» — делился он со мной своим впечатлением.

Вернувшись на Украину, бригада Котовского ликвидирует диверсионную банду Тютюника в составе тысячи «кавалеров Железного креста».

С 1922 года боевая дивизия Котовского перешла на мирное положение. Котовский весь уходит в работу мирного строительства. С осени этого года дивизия развертывается в корпус. Котовский работает над созданием образцового корпуса, организует работу военной кооперации, восстанавливает взятый в аренду, законсервированный сахарный завод, пускает в ход кожевенный завод, организует мыловаренный завод и усиленно пополняет свои теоретические знания, — спешит наверстать прошлое, потерянное для учебы время.

Возвращаясь из Москвы или Харькова, Котовский привозил кипы книг. Здесь были и политэкономия, и исторический материализм, и учебники французского и английского языков, и руководства по обработке свеклы, о способах дубления кожи, о мыловарении, художественная и военная литература.

Можно было удивляться энергии этого человека. Трудовой день его начинался летом с 5 часов, зимой с 6 часов утра. Делая утреннюю гимнастику, он диктовал мне в свой блокнот вопросы, которые требовали разрешения в ближайшие дни. Эти записи дают представление о характере его работы:

«Проверить ход контрактации свеклы».

«Проверить торговлю воен.-кооперативных лавок».

«В президиуме горсовета поднять вопрос о восстановлении кирпичного завода в городе».

«Расследовать жалобу крестьянина на неправильные действия сельсовета».

«О постройке городского стадиона».

«Об агрономической школе».

«О детском саде», и т. д.

Котовский придавал большое значение внедрению физкультуры в частях

Красной Армии. Он ратовал за физкультуру как за обязательную дисциплину в курсе учебных занятий бойца. В первый же год мирного положения он отобрал от каждого полка несколько молодых командиров и сам занимался с ними — это были первые кадры инструкторов физкультуры в корпусе. При его активной помощи был устроен стадион и гимнастический зал в Умани.

Работу по созданию руководящих кадров в сельском хозяйстве Котовский считал для себя обязательной. Он предвидел расцвет в недалеком будущем социалистического сельского хозяйства и организовал бессарабскую коммуну из бывших бойцов-хлеборобов, считая ее школой кадров для будущего социалистического хозяйства. Котовский принимал самое активное участие в деле политического воспитания и материальной помощи коммуне со стороны своего корпуса. Плохо работает агрошкола в селе — молодежь идет к Котовскому за помощью, и он систематически оказывает эту помощь и своими указаниями, и сортовыми семенами, и предоставлением тягловой силы.

Человек глубокого ума, Котовский не ограничивался кругом своей местной работы; и на фронте, и в мирной обстановке он как бы синтезировал, обобщал свои наблюдения. С другой стороны, человек кристальной честности, прямолинейный, он не сворачивал с прямой дороги, настороженно относился к людям, переходившим из одного лагеря в другой.

Помню случай, когда мы стояли несколько дней на отдыхе в Ананьеве. Котовский изучал карту дислокации частей. Ему бросилось в глаза, что ряд важнейших пунктов занят перешедшими на нашу сторону галицийскими частями. Он сейчас же выехал в штаб армии, где высказал опасения, что, если галичане изменят, Красная Армия очутится в невыгодном положении. Котовского успокоили... А через месяц галичане изменили...

Также настороженно относился он к бывшим меньшевикам, боротьбистам. Они же, скрывая свою неприязнь в личных взаимоотношениях с ним, тихой

сапой подрывали его авторитет, как большевика, изображая его профессионалом-войкой, попутчиком революции. Начало дискуссии с троцкистами застает Григория Ивановича в дороге. На мой вопрос, чем объясняется неожиданное его возвращение, он ответил: «Я еще хорошо не разобрался, в чем дело, но демагогия Троцкого означает, что надо быть настороже». Григорий Иванович резко выступал против оппозиции, добивался резолюций за генеральную линию партии.

В личной жизни Котовский не терпел проявления мещанства, обывательщины. Он считал, что личная жизнь коммуниста должна быть примером для беспартийных, для подрастающей смены. Он боролся против «обрастания» отдельных коммунистов на фоне существовавшей еще тогда безработицы и бедности.

Котовский любил детей, с ними он находил общий язык. Пионеры зачисляли его в свои отряды, переписывались с ним. Он мечтал о своих детях. Родился на радость ему сын.

Ребенок был худой и слабенький. Котовский хочет знать, почему от здоровых родителей такой слабый ребенок. Я в шутку отвечаю, что мама его не пользовалась положенным декретным отпуском, но пусть он не волнуется, ребенок здоров и скоро наберет в весе. Я не забуду никогда его фразы, в которой слышалось как бы извинение, но вместе с тем глубокая убежденность: «Да, но жить только для себя, тогда не стоит и жить». На вопрос, какое имя дать ребенку, он задумался, а затем сказал: «Назовем Григорием. Если бандитская пуля срзит меня, пусть не радуются враги, будет второй Григорий Котовский». Это был завет отца воспитать его детей преданными борцами за дело коммунизма, за дело Ленина — Сталина.

Котовский не был мстительным. В 1920 году среди пленных попал и пристав Хаджи-Коли, не раз ловивший Котовского. Хаджи-Коли, дрожа, бросился на колени, ожидая, что Котовский сам расправится с ним, но Котовский ответил ему, что в великой ре-

волюции народа не место личной мести.

Квартира наша представляла как бы переселенческий пункт, — люди сменялись, задерживаясь на день-два, кто на неделю. Бывшие бойцы, перебежчики из Бессарабии, молдаване из приднестровских сел со своими жалобами и бедами, матери и вдовы, потерявшие своих сыновей и мужей на фронте, все побывали у нас. Прожив суровую жизнь, испытав жестокие нравы уголовной тюрьмы, Котовский остался добрым, чутким к чужому горю. Все приезжающие находили в его доме приют, совет и помощь. Он каждого, по его способностям, направлял на работу: кого в коммуну, кого в совхоз, кого на фабричные предприятия. Десятки писем поступали от бойцов, от сельских работников с просьбой дать те или иные указания, совет в работе, и на каждое письмо был ответ.

Котовского сразила бандитская пуля не в открытом бою, а из-за угла. Ныне разоблаченные враги народа травили Котовского при жизни, а после убийства физического хотели убить морально. Они создавали гнусную версию о загадочности убийства, распространяя клевету среди бойцов и командиров Красной Армии. Но память о светлом образе Котовского живет в народе.

Вот что писал великий Сталин о Котовском:

«Я знал тов. Котовского, как примерного партийца, опытного военного организатора и искусного командира. Я особенно хорошо помню его на польском фронте в 1920 году, когда Буденный прорывался к Житомиру в тылу польской армии, а Котовский вел свою кавбригаду на отчаянно смелые налеты на киевскую армию поляков. Он был грозой поляков, ибо он умел «крошить» их, как никто, как говорили тогда красноармейцы.

Храбрый среди скромных наших командиров и скромнейший среди храбрых — таким помню я тов. Котовского.

Вечная ему память и слава!».

До сих пор получают письма от различных лиц из самых отдаленных мест нашей родины.

В этих письмах выражается уважение, благодарность одному из героев, отдавшему жизнь в борьбе за счастливую, радостную жизнь нашего великого народа.

Живет образ Котовского и в Бессарабии. Его именем названы дубы, растущие по бессарабским дорогам, — «Стэжирул муй Котовский»; по этим дубам трудящиеся Бессарабии вспоминают этапы борьбы Котовского. Его

заветы живут в мыслях бессарабских крестьян.

Его призыв к борьбе за освобождение от ига капитализма они облекли в форму поэтической легенды о кладе Котовского под дубом: «Оставил клад Котовский. Не из золота этот клад, не из серебра, не из камней драгоценных... Клад Котовского — в шуме леса и в вольной песне ветра, и каждый может найти этот клад».



Слева направо: Иван Кочубей, его заместитель по бригаде Михайлов и Антон Кочубей, брат Ивана

Иван Кочубей

А. ПЕРВЕНЦЕВ

★

1

В не столь отдаленные времена, когда на нашу родину нападали иноземные пришельцы, то ли польская вельможная шляхта, то ли крымские и турецкие ханы и им подобные, и страна наша подвергалась разорению, а люди глумлению, над бескрайними степями Украины появлялись бунчужные полки запорожской вольницы — казаков-сечевиков. Против врага разворачивались для боя запорожские стяги, широкие степи звенели подковами, гремели великими схватками.

И где-то под пестрыми значками казачьих куреней дрались горячо и беззаветно мужественные предки Ивана Кочубея. История донесла до нас замечательные подвиги народные, совершенные во имя защиты родины от иноземных посягательств; история рассказала нам о черной корысти и предательстве некоторых атаманов казачьих, променявших славу свою и народное уважение на иностранное золото и ядовитую ласку. Это были отдельные люди, одиночки, самовлюбленные и честолюбивые, и, как правило, ни один из них не живет с добрым именем в народной молве.

наоборот, — глубочайшее презрение и ненависть следуют за их именами! Народ никогда не прощал еще измены отчизне!

Когда у полевых шатров, возле дымных костров, в короткий момент передышки, рассказывались были и небыллицы, страшные и веселые истории, всякие присказки и «побрехеньки», можно было слышать взрывы смеха, нарочитый перебой рассказчика неожиданным переливом гармошки. Но вот начинает старый казак, сивоусый и мудрый, тихую речь о подвигах народных, о великой славе героев и о безмерной подлости «перевертней». Тогда стихает смех, кучкуются люди, гармонисты перекидывают через плечи расписные ремни гармошек, цыкают на шумливых, хотя и они-то сидят тихо и незаметно, и над этими людьми, сгрудившимися у костров, звучит спокойный и строгий голос рассказчика. Вот в огонь подкинули хвороста, взвился искрящийся столб, пахнет дымом, горелыми листьями, и на медных лицах, на ценном казачьем оружии, на чеканных гозырях играют потешные огненные зайчики. У коновязей заржет зверюга-жеребец, где-то предостерегающе заорет филин, а тут тихие и внимательные, по-детски восприимчивые, страшные врагу воины Ивана Кочубея, всадники революционной конной бригады.

Среди них такой же притихший и зачарованный сказанием далекой были сам Кочубей. На нем серая дагестанского сукна черкеска, каракулевая шапка-кубанка, надвинутая на лоб, ластиковые черные шаровары, вобранные в козловые сапоги-чуваки, а на плече покоится пурпурный конец широкого кубанского башлыка. Башлык висит за спиной, конец башлыка случайно перекинут вперед, но это хорошо, это как-то выделяет комбрига, придает ему красочно ощутимые элементы превосходства, власти.

Окончен рассказ. С минуту все молчат, потом разом начинают говорить, делается шумно. Кочубей поднимается, обходит костер, приближается к сивоусому сказителю, хлопает его по широкой спине.

— Добры истории балакал батько. Это дуже треба знать красным бойцам-товарищам. — Тяжело вздыхает и продолжает с оттенком зависти. — Все помнишь, як было при царе Петре, при Катерине царице. Добра память у тебя, казак...

Не обращая внимания на попытку казака оправдаться, доказать, что он и не такой уже древний старик, что былины эти он слышал от деда, а тот, может, от людей постарше, — Кочубей продолжает говорить, и в голосе заметны повелительные нотки командира:

— Будешь вслух вспоминать все это, як на то будет свободное время. Даю приказ тебе обучить своей розмове другого и третьего.. бо, не дай боже, могут подвалить тебя в бою кадеты, так заступят те на твое место. А вы, хлопцы, — обращаясь к бойцам, говорит Кочубей, — бережите этого батьку, он сурьезный казак, а не який-ся там хи-хи да ха-ха-ха...

После он говорит комиссару:

— Слухай сюда, политичный ты мой комиссар! Треба в сотнях пустить розмову про польское падло Мазепу, як он Карлам всяким казаков продавал, да про мазепова недруга Кочубея... — Тут он мнется, точно стесняется, потом суровеет и быстро добавляет, — только треба пояснить, шо тот Кочубей был княжеского звания и богатого роду, а я ж, як ни як, простой казак, без всякого сродствия к тому князю, и, як сам знаешь, роду не богатого, а казак-бедняк, станицы Александро-Невской, станция Бурсак, Катеринодарской ветки...

II

Александро-Невская, небольшая станица бывшей Кубанской области, ныне Краснодарского края, расположена по долине мелководной степной речушки, впадающей в плавно текущий Бейсуг. К речушке прилепились хутора—Доно-Хоперский, Крупский, богатая станица Ново-Донецкая, а в устье—хутора Буряковские и Мальцевские. Когда населялась Кубань, то ли выходцами из Запорожской Сечи, то ли переселенцами из России, образовавшими так назы-

ваемое линейное казачество, — всегда внимание колонистов привлекали реки. По долинам рек селились станицы, чтобы, наряду с выпасами, иметь для табунов и скота пресные водопои, рыболовные угодья и огороды, а также возможность копать питьевые колодцы на местах с неглубокими грунтовыми водами.

Кубань начала обживаться, устраиваться. Постоянные стычки с горцами, несение беспокойной кордонной службы, частые войны и промежуточные между войнами набег, — воспитали отважное племя всадников, одинаково умеющих владеть как клинками, так и орудиями мирного земледельческого труда.

Кое-кто богател, кто нищал и попал в кабалу к богачам, захватившим лучшие земли и выпасы. Казачество, которое посторонним наблюдателям казалось чрезвычайно однородным, классово дифференцировалось. Станичная верхушка цензового казачества держала в повиновении и кабале не только пришлых людей, так называемых иногородних, но также казачью бедноту и значительную часть середнячества. Поэтому после Великой Октябрьской Социалистической революции казачество резко разделилось на два враждующих лагеря: с одной стороны — богатеи-казаков, с другой — казачью и иногороднюю голытьбу. Средняческие казачьи слои населения либо нейтрализовались, выжидали, либо переходили на ту или другую сторону. Фронтное казачество, испытавшее не только ужасы войны, но и издевательство офицерщины, в большей своей части примкнуло к революции. К числу последних относится Иван Кочубей, вышедший из казачьих низов, из бедноты.

В молодости Кочубей жил у своих богатых дядей, в предгорьях, в Рощинских хуторах. Нелегко доставался кусок хлеба мальчишке. Зверская эксплуатация батраков, практиковавшаяся у кулаков-казаков, распространялась и на бедных родственников. Иван Кочубей жил вместе с батраками, вместе с ними крутил быкам хвосты, вместе с ними в лихне морозы перегонял скот, задавал корма, чистил базы, пахал, сеял, косил. Кочубей знал, как тяжело и горько до-

бывается пропитание, ему была известна ценность хлеба. Не даром уже в 1918 году он говорил своему адъютанту Левшакову:

— Вот хлебороб. Кинет он хлеб в навоз? Нет. А горожанин кинет. Бо он не знает, кто и як тот хлеб рождает.

Навсегда осталась у Кочубей неистребимая ярость к буржуазии, кулачеству, к золотопогонным офицерам и замечательная, трогательная любовь к своему брату, к бедному землепашцу, к батраку. Кочубею чужды были сомнения, раздвоение личности. Перед ним никогда не стояла дилемма: «Куда идти? К белым или к красным?» Прожив безрадостное детство и юность, не имевши возможности даже посещать школу и оставшись неграмотным, он накалил сердце ненавистью к издевательским порядкам царского режима, к бесправию и беспросветности.

Вот он тыждневой при станичном правлении, молодой казак, высланный в очередной наряд для несения караульной службы. Его грубо оскорбляет атаман. Кочубей не выносит оскорбления и пускает в ход штык. Покушение на атаманскую жизнь! Такие преступления не проходили даром. Его ожидала публичная порка, когда виновных уносили за мертвое с места экзекуции. Кочубей бежит из родной станицы и надолго делается изгнанником. Он пристаёт к казачьей части, добровольно проходит действительную службу. Против него прекращается преследование. Кочубей обзаводится семьей. Началась война... Кочубей на турецком фронте. Будущий противник Кочубея — есаул Шкуро — организует партизанский отряд из лихачей казаков и горцев. Кочубей попадает под начальство Шкуро, выделяется своей отчаянной храбростью и становится некоронованным вожаком в отряде. Здесь сталкиваются Шкуро и Кочубей, и отсюда возгорается непримиримая вражда между этими людьми.

Шкуро, авантюрист и бреттер, неказистый по виду казачий офицер, всю жизнь посвятил честолюбивой мечте — прославиться какими бы то ни было путями. Не будучи достаточно умным,

чтобы познать сложные и недоступные ему военные науки, он всю военную деятельность основывает на использовании высоких качеств удали и отваги своих подчиненных.

Особенно отчетливо выявились человеческие качества Шкуро и Кочубея в гражданскую войну. В то время как Кочубей с глубокой скорбью переживал гибель всякого рядового бойца своей части, Шкуро расшвыривался людьми, всегда имея возможность пополнить убыль насильственными мобилизациями и сбродом, идущим под его команду ради личной наживы. После, когда история поставила друг перед другом конные полки генерала Шкуро и революционные сотни Кочубея, он неоднократно вызывал генерала на честный поединок. Кочубей хотел сразить ненавистного ему генерала на виду выстроенных частей, коими они предводительствовали. По условию единоборства полки сраженного должны были перейти к победителю. Кочубей знал, что под знаменами Шкуро стоит обманутая масса, которую нужно привлечь на свою сторону каким-то необычным способом. Раздольное баталпашинское плато, покрытое пыреем, ковылями и маками, не стало свидетелем этой дуэли. Шкуро струсил, как заяц. Поединок не состоялся, но десятки перемешанных в лагерь красных были убеждены в правоте дела, защищаемого Кочубеем, вот именно этим благородным вызовом одного и трусостью другого. Кроме того, казак-бедняк Кочубей им был более понятен, нежели генералы, «доброту» которых они испытывали на своей спине еще в империалистическую войну.

III

После Великой Октябрьской Социалистической революции фронтовик Кочубей появляется в родной станице. Здесь снова господствует атаман, власть в руках казачьей верхушки. Это смущает Кочубея. Он ищет разрешения своим сомнениям в ближайшем рабочем центре, в Тихорецкой. С группой фронтовых друзей Кочубей приезжает

в Тихорецкую. Нет сомнения, что окончательному оформлению его мировоззрения помогли тихорецкие большевики, рабочие-железнодорожники. Он всегда с большой теплотой вспоминал тихорецких железнодорожников, давших замечательные примеры организованности и мужественной борьбы с контрреволюцией.

Близится время решающих схваток, силы быстро размежевываются. Кочубей по своей кипучей натуре не мог оставаться нейтральным. Он еще не бесспорно определившийся большевик, нет! Но он уже знает, что на стороне угнетенного народа Ленин, а поэтому путь он избрет только тот, который указывает Ленин.

По области шныряют агенты контрреволюционного войскового правительства, обосновавшегося в областном центре — Екатеринодаре. Областной атаман генерал Филимонов и полковник Покровский собирают силы для разгрома революции. На Тихорецком вокзале группу фронтовиков-казаков вместе с Кочубеем пытаются уговорить на службу Покровскому какие-то два агента-юнкера.

Вот что Кочубей рассказывал о результате вербовки его агентами буржуазии:

«На станции юнкера пристают: иди да иди, казак, к ним. Рубанул я одного юнкера и гукнул: «Кто хочет вырубать окно гострыми шашками к жизни хорошей?». Кинулись до меня хлопцы. Старбузовал я отряд и вступил в революцию вооруженный, при полной форме.. Мешал буржуев и офицеров, як полову коням, вилками-двойчатками. Головой в землю, ногами в гору. Легла не одна подлюка в степных балках. Подонли с их мы кровь. ... Вот как, политичный ты мой комиссар! А если спросишь, як я новую жизнь понимаю, то скажу тебе: могу об этом балакать только с товарищем Лениным, бо он, по слухам, тоже моей программы придерживается...».

В то время многим на Кубани еще очень неясен был результат борьбы. Вырвется ли на победную высоту красное знамя, а может, подрубят древко,

сорвут полотнище, затопчут, и на долгие годы будут летать над страной тяжелые тени реакции? Кубань бурлила. На окраины сбежались люди, вышвырнутые Октябрем из крупных городов центральной России, носились тревожные слухи о нашествии немцев, о мятежных силах, собираемых Красновым, Калединым, Корниловым. Мало того, полковник Покровский устраивает разгром большевистской партийной организации Екатеринодара, расстреливает рабочих и организует белые отряды. Кто прав? Да, Кочубей задавал себе только этот вопрос. Перед ним не стоял вопрос, кто победит?

Правы те, на чьей стороне Ленин, а следовательно, Кочубей должен быть на стороне Ленина.

Кочубей становится на сторону социалистической революции, и с этого мига не знает отдыха его булатный клинок, выкованный прославленным оружейником Османом. Своим боевым примером Кочубей заражает людей, пошедших с мечами в руках за революцию. Он, бесхитростный и справедливый, учит их героизму, величайшему самопожертвованию, теплой человеческой дружбе. Кочубей не лишен недостатков, и о нем ходят нелепые слухи. О ком из преданнейших командиров того времени не распространялись слухи? Ведь кругом кишели провокаторы, соглядатаи, шпионы. Они кричали везде, что Кочубей не приобрел благородных манер. Требовать благородные манеры у молодого льва, вырвавшегося из клетки на волю! Да, он, Кочубей, не галантен, это не вылощенный средой и воспитанием спец-офицер. Кочубей — сын народа, вышедший из самой гущи его. Он неграмотен и возит в сумах боевого походного вьюка вместе с патронами и гранатами затрепанный букварь и хрестоматию Лукашевича, которую в перерыве между двумя атаками тайком читает ему адъютант. Он принадлежит к числу тех людей, которые, живя в окружении удивительной по красоте природы, ни разу не могли познать ее красоты, ибо головы их вечно пребывали в положении, склоненном вниз, а когда разгибали спины,

то было уже темно, — они работали от утренней до вечерней зорьки.

Однажды, поутру, после боя в бассейне Зеленчуков, начали подводить пленных. Кочубей, принявшийся было допрашивать нахального и высокомерного дроздовца, вдруг снял шапку и точно зачарованный стал глядеть вдаль.

— Убивайте! — потребовал дроздовец.

Кочубей с улыбкой надел шапку. Лицо его было благородно и взволновано. Каким отличным было оно от физиономии наглого, гримасничающего офицера. Кочубей помолчал, обвел своих соратников мягким взглядом:

— Вот чудо! Який красавец, синий и холодный, — неожиданно сказал он.

— Кто? — удивленно спросил его комполка Михайлов. — Вот этот жундик? — Он указал на офицера.

— Ни, гора Эльбрус.

Он протянул руку в ту сторону, где на горизонте, точно вымытая, поднималась бело-голубая громада величайшей вершины Кавказа.

— Сколько жил тут, а ни разу не бачил, — грустно сказал Кочубей, — а вот зараз бачу. Можу даже срисовать в тетрадку...

IV

В те времена вожаками отрядов становились люди, доказавшие на деле свое превосходство над другими. Прежде всего, конечно, надо было показать свою храбрость на полях сражений, сметку в проведении различных боевых операций, способность выиграть сражение и разбить врага при небольших потерях со своей стороны. К людям, прославившим себя, стремились с разных сторон, записывались в их отряды, полки, бригады или дивизии. Организовывались регулярные части, создавались штабы, общее тактическое руководство. Кочубей — признанный вожак-командир революционного отряда.

Октябрь пришел на Кубань значительно позже, чем в центральные губернии Советской России. Только в декабре 1917 года и в январе 1918 года,

когда усилился поток солдат и казаков, возвращающихся с фронтов, в ряде городов Кубани взяли власть в руки военно-революционные комитеты, руководимые большевиками. В Армавире, Тихорецкой, Гулькевичах большевики опирались на часть 39-й пехотной дивизии, пришедшей с фронта и сыгравшей большую роль в установлении советской власти в области. Но центр области, город Екатеринодар, находился в руках контрреволюционного кубанского войскового правительства, поддерживавшего первые антисоветские восстания в станицах Прочноокопской, Баталпашинской, организовавшего кровавый террор против видных членов коммунистической партии.

Войсковое правительство, видя, что вслед за городами большевики захватывают влияние в станицах, спешно создает офицерские добровольческие части, поручив командование этими частями полковнику Покровскому, бесталанному полководцу, но кровожадному и жестокому. В предгорных районах в это же время организует повстанческие группы полковник Шкуро, имевший к тому времени связь с основным ядром мятежников — генералами Корниловым и Алексеевым.

В феврале против кубанского войскового правительства двинулись революционные полки и отряды. Кочубей был в рядах армии революции. Екатеринодар был взят, войсковое правительство бежало в горы, а в конце марта под стенами города появилась Добровольческая армия генерала Корнилова. Глава мятежников опоздал, город находился в руках революционного народа, и обозленный генерал решил взять город. В это время в Екатеринодаре начал работу II областной съезд советов. На Кубани была ранняя весна. Стояла ясная погода, светило солнце, по голубому небу только изредка проплывали небольшие облачка, но воздух сотрясала непрерывная канонада, шел штурм города, в атаках сходились офицерские батальоны и полки защитников города. Пять дней шли бои, напряженные и непрерывные, и в течение пяти дней в рядах защитников

города дрался Иван Кочубей со своим отрядом. О его личной отваге начали ходить крылатые слухи, и имя Кочубея получило широкую известность.

Как известно, Корнилов был убит под Екатеринодаром. Город не был взят, а разгромленная Добровольческая армия отступила в северные районы Ставропольской губернии...

V

На горизонте за клубились новые грозные тучи. Заняв Советскую Украину, предав цветущие села ее огню и разграблению, к Дону подкатывались немецкие оккупационные войска. Северному Кавказу угрожали тевтонские штыки, обогранные уже кровью украинских рабочих и крестьян.

Ростов был взят немцами при поддержке новых и неожиданных союзников: полковника Дроздовского, пришедшего с оккупантами с румынского фронта, и донских генералов, возглавивших силы поместной казачье-кулацкой и офицерской контрреволюции. Красные части Кубани вынуждены были прекратить окончательный разгром Добровольческой армии Деникина и двинуться на защиту республики от внешних посягательств. Белогвардейцы облегченно вздыхают, и генерал Эрдели записывает в своем дневнике:

«Знаю, что большинство офицерства, утомленное боями и невзгодами войны, уже и сейчас взирает на немецкие войска, как на избавителей... Не дай бог, если бы они отсюда ушли, все мы полетели бы кувырком, так как все, что у большевиков против немцев, обратилось бы против нас...».

Заняв Ростов, немцы начинают вторжение в пределы Северного Кавказа, но сразу же встречают неожиданное сопротивление. Разбитые под Батайском, оккупанты отхлынули на правобережье Дона. Путь к грозненской и бакинской нефти, к кубанской пшенице, скоту и сырью был закрыт. Организуется новый, батайский фронт. Все силы были брошены на борьбу с иноземными насильниками. Народ поднимается на за-

шиту завоеваний революции. Борьба возглавляется большевиками.

Создается чрезвычайный штаб обороны. Немцы пытаются оккупировать Северный Кавказ с моря. Они высаживаются на Таманском полуострове десантные части, но вскоре покидают полуостров, разбитые красными таманцами.

Большевики самоотверженно защищают родину, а бывшие царские генералы, до этого кричавшие о родине, связываются с немецким командованием, получают от него поддержку и начинают изнутри взрывать оборону страны.

Белые, расположившись в плодородных сальских степях и пользуясь тем, что внимание советских войск отвлечено на борьбу с интервенцией, рассылают повсюду агитаторов, инспирируют ряд восстаний против советской власти. Окрепнув, выступают против революции, подняв пламя мятежа и затопив кровью цветущие районы советской Кубани.

В этой обстановке гражданской войны мужал Кочубей и закалял свое сердце, одевал его в броню ненависти против предателей, против изменников делу защиты революционного отечества. Ведь чрезвычайно заманчиво, казалось бы, ему, казаку, вступить в ряды белогвардейцев, распевая свои фарисейские песни о борьбе казаков за восстановление казачьей доблести и славы.

Были ли, хотя на один миг, колебания в душе Кочубея? Не были. Он носился по полям войны, с маузером и клинком в руках, с алым башлыком за спиной, мчался в атаку во главе таких же, как и он, людей, преданных делу революции, и горело в сердце его величественное пламя любви к родине, любви к партии Ленина—Сталина, любви к вождям партии коммунистов-большевиков.

Вот Кочубей после сражения. Боевой конь поводит боками, ржет. Грива коня мокрая, на храпе, на пахах солоноватые следы просыхающего пота. Кочубей ослабляет подруги седла, срывает пучок сочной травы, сует боевому другу. Конь, изогнув шею, хватает тра-

ву, жует, раздувает ноздри, шумно обнюхивая ладонь Кочубея. Кочубей приказывает своему верному ординарцу и телохранителю:

— Ахмет, треба поводить коня, расседлать. Як охолонит — попоить...

Лошадь уводит. Он раскидывает на траве косматую бурку, снимает сапоги. На его лице улыбка полного удовлетворения. Сейчас он не против того, чтобы поболтать. Он уже не грозный военачальник, а простой дружок, побратим обступивших его бойцов. Кочубей беседует на украинском языке, получившем на Кубани несколько иную окраску. Это кубанское наречие, или, как его здесь называют, «перевертень», безусловно, отличается от языка, на котором изяснялись кочубеевы предки. Язык Кочубея по-своему сочен и колоритен, но не всегда поддается записи. Добросовестно записанный, трудно усваивается русским читателем. Приходится сознательно руссифицировать речь Кочубея, одновременно сохраняя ее колоритность.

— Вот чуєте, — говорит Кочубей, — бачил я сегодня, як во время атаки один пузатый полковник орал: «За матерь Расею у-р-а!», — и зло меня взяло. Да нам-то Расея не мать, га? Шо ж, она нам мачеха? Сволочь кадетская тот полковник. Як начал от Батаяска немец жмать на матерь на Расею, так поховались все эти полковники, як червивые кобели в холодок. Одни мы остались... Прогнали мы немца, думали начнем хозяйство справлять, а тут и выскочил вот этот самый пузач сверкать погонами: «За матерь, у-р-а!». Рассерчал я на него, ей-богу. Рассек по хребту. На две части розвалил горлохвата, и не жалкую. Вот только шашку жалко, об такой махан ее оскоромил...

Кочубей хмурится, лицо его нервно передергивается. С шутового тона он переходит на серьезный, даже запальчивый, хотя никто с ним не собирается спорить, вокруг единомышленники.

— ... Вот мы, красивые бойцы, сколько разного лозунгу имеем, не пересечь: за свободу, за землю, за революцию, за Советскую власть, за товарища

Ленина, — Кочубей, пересчитывая, подгибает пальцы. Вскоре пальцев нехватает, он машет рукой. — Мало того: «Смело, товарищи, в ногу», або «Отречемся», або «Интернационал» запеваем. А они шо? Я спрашиваю — шо они за пазухой держуть, га? Я щось и лозунгов у них нияких ни чув?

Кто-то подсказывает:

— За единую, неделимую Расею!

— Шо? Неделимую? Да мы-то ее по карманам разобрать хотим? Расею-то? Кто ж с ней делиться думает? Зубом у нас куска не вырвешь. Мы цепкие! Цепкие ж мы, хлопцы?

— Цепкие! — дружно отвечают бойцы.

— То-то мне, — улыбается Кочубей и, чтобы посмешить людей, снова вспоминает про полковника. — Нет, мабуть, мы за делимую. Ишь, як я единого и неделимого полковника на две биштексы поделил...

VI

Кочубей обладает трезвым и ясным умом, одновременно у него скрыта этакая казачья хитринка. Он придумывает неожиданные курьезы, чтобы поддержать дух бойцов, чтобы заставить их уверовать в свою непобедимость. У Кочубея совершенно отсутствует паника. Паникером он не любит, и боец с такими свойствами не может быть в рядах его сотен. Вот к примеру поведение Кочубея перед решительным сражением.

Дело было уже после того, как Деникин, выйдя из сальских степей, повел наступление на Екатеринодар. У станицы Кореновской шел упорный бой с переменным успехом. Непрерывно гудели орудия. Бой вели пехотные части, но вскоре стало известно, что противник решил прорвать фронт и пустить в прорыв кубанскую конницу, мобилизованную в линейных станицах. Отряд Кочубея по диспозиции действовал с северо-восточной стороны станицы Кореновской. На поддержку Кочубея главным образом был выслан из Журовских хуторов Ейский кавалерийский полк, недавно подошедший со станицы Брюховецкой. День был жаркий. Хлеба на-

чали косить, но из-за боев прекратились полевые работы. Пшеница пересыхла, осыпалась. На убранных загонах правильными рядами стояли копны. Ейский полк двигался в колонне, впереди играл оркестр, позади шли обозы и дымящиеся кухни. Чем ближе под'езжали, тем сильнее чувствовались «запахи» боя: суетливые тылы, суматошные ординарцы и связные, патронные повозки, передвигаемые на рысях батареи. Кое-где земля была легонько разворочена и обожжена; здесь падали шальные снаряды.

По мере приближения к кочубеевскому расположению картина изменялась. Правда, попрежнему гудели орудия и на голубом небе висли шрапнельные дымки разрывов, но вокруг, возле степных кошей, у кукурузы, возле стройных стеблей пряно пахнувшей конопли, за бугровинами, в балках мирно жевали строевые лошади, рядами лежали седла потниками вверх, для просушки, и везде живописно одетые люди, в большинстве казаки. Они мало обращали внимания на разгорающееся пламя сражения, а занимались каждый тем, что ему больше всего было по душе.

Во времяпровождении этих людей ощущалось отнюдь не презрение к надвигающейся боевой страде, отнюдь не глупое, часто бывающее трусливым, бахвальство. Люди готовились к бою и к возможной смерти. Одни чинили сбрую, чтоб быть в полном сборе и никакая мелочь не подвела бы во время конного удара; другие латали шаровары, стирали рубахи в небольших оцинкованных тазиках или в деревянных корытцах, чтобы не отойти в тот мир грязными, третьи, очевидно, окончив стирку и починку, чистили оружие и пели песни, четвертые — безмятежно храпели, запрокинув чубатые головы.

Командир Ейского полка фронтовой солдат Бондарь был недавно выбран на столь почетную должность. Под ним красовался серый, «крытый» яблоками конь, чистокровной английской породы. Коня взяли в Воронцовской немецкой колонии, и цена ему, если верить позолоченной племенной книге, была около семи тысяч золотых рублей. Ничего не

заплатил за него комполка, так как подвели ему «англичанина» после выборов и, мало того, нацепили чеканное серебряное оружие, передаваемое по традиции от командира к командиру.

Сдвинул комполка на лоб шапку-кубанку с красным верхом, спросил:

— Какой части будете, товарищи бойцы?

— Кочубеевцы.

— А где сам товарищ Кочубей?

— Вон там, у того база, при третьей сотне.

Комполка спешил полк и поехал искать Кочубея. Третья кочубеевская сотня расположилась вокруг полевого коша, и занятия ее почти ничем не отличались от занятий первых встречных кочубеевцев. Но третья сотня лошадей держала оседланными, и кой-когда то там, то здесь появлялись торопливые всадники, вероятно, разведчики и дозорные.

— Где товарищ Кочубей? — спросил комполка.

Оглядев спрашивающего и признав его достойным внимания, ответили:

— Кочубей вон там, в кукурузе, купается.

Комполка спрыгнул с лошади, передал повод ординарцу, а сам, оправляя оружие, пошел по протоптанной в высоких стеблях кукурузы дорожке. Она привела к полянке. Кукуруза на полянке была вырвана с корнем. Бодылья сложены в кучу по самой середине полянки. На бодыльях сидел голый человек. Возле голого человека стоял здоровенный детина и лил на него воду из ведра. Третий житель кукурузной поляны, молодой и смешливый казак, принимал пустые ведра и подавал наполненные водой. Снабжал водой бесперебойно, так что купающийся был доволен, фыркал, быстрыми взмахами ладоней тер свое мускулистое, сухое тело. Невдалеке лежало оружие и одежда.

— Кто товарищ Кочубей? — спросил комполка.

Голый человек не прекращал купаться.

— А шо тебе от меня треба?

Комполка понял. Перед ним Кочубей. Он коротко объяснил ему цель приезда,

а также добавил, что на фронте ожесточенная перестрелка, и, судя по показаниям перебежчиков и пленных, вскоре на нашем правом фланге должна прорваться кавалерия белых. Кочубей не переставал купаться.

— Все?

— Все, — ответил комполка.

— А як тебя зовут?

— Василий.

— Добре, Василь! А який станицы?

— Старо-Щербиновской.

— Тоже добре. Шо за полк ты привел, Василь?

— Ейский революционный кавполк. Сформирован из иногородних, казаков и матросов.

— Матросов? — хитровато переспросил Кочубей. — Ну, теперь кадюкам каюк. Они здорово перелякаются¹, як побачут, шо идет твой крейцер на конях.

Казак, купавшие Кочубея, весело расхотались. Кочубей улыбнулся и внимательно оглядел вносъ прибывшего. Многоверстный марш по грунтовой дороге сказался на физиономии комполка. Лицо его было покрыто пылью, от пота превратившейся в грязь.

— Вот шо, Василь, — сказал Кочубей, — скидай папаху, я тебя умою.

He успел комполка снять шапку, как новое начальство принялось лить на него воду из ведра. Опорожнив ведро, он похлопал комполка по мокрой шее, похвалил за послушание и быстро начал одеваться.

— На рассвете я было сунулся сбивать кадета, а он меня в лоб из пулеметов, — рассказывал Кочубей, — коней побил, а людей почти шо никого. Ну, а зараз, хай себе главком, як хочет, планует, а я после такой бани буду спать в пуховиках в Кореновской. Хай только чуть-чуть смеркнется...

Кочубей шел по тропинке, и кукурузные махры высоко шевелились над его головой. Он шел быстрым шагом, своей особой подпрыгивающей походкой исконого наездника. Выйдя из кукурузы, он поднялся на пригорок, поднял би-

¹ Перелякаются — перепугаются.

нокль и, внимательно обшарив местность, спросил:

— Вон могила, бачишь?

— Вижу, — сказал комполка.

Вдали ясно вырисовывался курган, могила какого-то вождя скифов.

— За ней ты поведешь свой полк, — приказал Кочубей, — я буду правее тебя.

Они вместе под'ехали к расположению полка. Кочубей произвел осмотр лошадей, седловки, вооружения, ковки. Лошади в большинстве были с обрезанными хвостами. Кочубей недовольно покачал головой и язвительно произнес:

— Куцая кавалерия. Шоб больше этого у меня не было. Ну, треба в бой. Командуй, Василь.

Когда полк выстроился и пошел занимать исходное для атаки положение, Кочубей искренно смеялся над матросами. Хотя и привыкшие к косой палубе порывистых миноносцев, они не совсем хорошо чувствовали себя на лошадиных неустойчивых спинах, тем более одежда матросов (клеши, ботинки) мало соответствовала обмундированию всадников.

— Як голландские кочеты. Прямо умора, — смеялся Кочубей.

Начался бой. Вновь прибывший полк занял позицию, указанную Кочубеем. Мигом оседлали коней и разбежались по своим местам рысистые кочубеевские сотни. Везде чувствовался порядок, дисциплина, умелая рука начальника. Белые начали выполнять план прорыва фронта. На участке ейцев появился идущий от станицы броневомобиль. Под его прикрытием скакали две сотни кавалерии. Внизу, за курганом, протянулась глубокая мокрая балка. Броневики и конница опускались в балку, к мосту. Комполка, направив три эскадрона для флангового удара и выставив по венцу балки пулеметы, пошел в лобовой удар по белым. Пулеметы, взяв верный прицел, отделили конную группу от броневомобилья, и сотни повернули обратно. Броневики, прыгнув в канаву, завяз. Выскочившие из машины два офицера и шофер, не успев подняться до гребня балки, были настигнуты ейцами.

Конница белых уходила по той же дороге. Вдруг, откуда-то сбоку, вырва-

лась небольшая группа всадников. Это был Кочубей, прискакавший на помощь новым боевым товарищам. Короткий бой на этом участке был окончен. Белых не преследовали. Кочубей под'ехал к командиру полка, и тот увидел его смеющееся лицо.

— Молодец, Василь, — похвалил Кочубей, — слышу, застрочили пулеметы. Кажу хлопцам, седаем на коней да до Василя, бо як бы он со своим крейцером на мель не сел. А зараз бачу, хоть капитан с тебя молодой, а, видать, самому Кочубею не уступит.

Под'ехали к броневому. Кочубей обратился к командиру полка:

— А ну, прочитай, шо тут написано на броневике.

— «Покровский» — прочитал комполка.

Кочубей спрыгнул с лошади, подошел к броневому, немного постоял, точно перечитывая надпись. Он был неграмотен, но крупные буквы ненавистой ему генеральской фамилии оживали, выстраивались, принимали очертания известного ему вешателя и карателя Покровского. Он выхватил шашку и порывистыми движениями стал соскабливать буквы:

— Ну, шашка, скреби пока буквы, а потом доберешься до его шеи.

Подошли готовые к атаке сотни. Над отрядом развевалось бархатное красное знамя. Знамя было освобождено из чехла, развернуто, приготовлено к битве. Впереди была станица Кореновская, которую нужно было взять во что бы то ни стало. Смеркалось. Орудия по-прежнему потрясали воздух, и над захваченной мятежниками станицей поднималось зловещее зарево. Кочубей сел на коня, подобрал полы черкески, засунул их за пояс, отдал приказание. Трубачи протрубили сигналы.

— Ну, Василь, — сказал Кочубей, обращаясь к комполка, — треба пробиваться до пуховиков в Кореновку. А твоя удача в том, что я тебе побанил голову. Вперед!..

Он поскакал.

После ряда жестоких атак Кочубей ворвался в станицу. Вышколенные в военных школах офицерские батальоны

дрогнули и бросили станицу. В Кореевской горел дом жителей. Гудел набат. Кочубеевцы ехали по улицам, где зачастую дымились только одни столбы. Около дотлевающих жилищ бедноты качались полуобгорелые трупы повешенных. Вот, завидя родимое пепелище, отпросился из строя боец и, покачиваясь, пошел по горячей золе, оставляя ясные следы сапог. Нагнулся, и судорожная дрожь потрясла его плечи, перекрещенные боевыми ремнями. Рыдал суровый солдат кочубеевской дружины.

— Чего он? — спрашивали в сотнях.

— Чего он? — спрашивали всадники, видя, что будто бы все в порядке у плачущего, и винтовка, и конь, привязанный чумбуром у обугленной акации, оседланный дорогим седлом, с затейливо расшитом чепраком.

И возвращался по колонне ответ, и, как клятву, произносили ответ этот бойцы Кочубея.

— Жену и двух ребятишек нашел под золой тот казак...

Эту ночь не спал Кочубей на кореевских пуховиках. Горя священным пламенем мести, он преследовал разбитого противника, пока не были измотаны кони.

VII

Белогвардейские генералы превратили мятеж в длительную гражданскую войну, стоившую молодой республике Советов миллионов жизней ее граждан. Мятежники безусловно были бы раздавлены в самом начале вооруженного путча, если бы они не были поддержаны иностранными империалистами. Начав с трогательной дружбы с бывшими врагами родины — немцами, мятежные генералы уже осенью 1918 года имели значительные транспорты оружия и амуниции от бывших союзников, а на рейде Новороссийска бросила якоря англо-французская эскадра интервенции. XI армия Северного Кавказа грудью приняла на себя удары южной контрреволюции, и за это ей слава. Но судьба XI армии в период 1918 и начала 1919 года трагична беспримерными изменами и предательства-

ми, прошедшими внутри ее и поколебавшими ее мощность.

Летом 1918 года, когда еще сохранялась связь с красным Царицыном, была в руках Советов царицынская магистраль, в Тихорецкую прибыл с чрезвычайными полномочиями Иуды-Троцкого военспец Снесарев. На совещании командного состава XI армии он заявил, что нет смысла вытягивать армию к Царицыну по удобной магистрали, успеется. «Подождите немного, из Царицына к вам на подмогу идет двадцатипятипятитысячное регулярное войско, везут снаряды и патроны».

Командиры протестовали, они уже знали, что в Царицыне Сталиным и Ворошиловым консолидируются силы пролетарской революции, что поход к этому волжскому городу единственно правильный выход, ибо там решались судьбы революции.

Но, поскольку оттуда идет помощь и магистраль сохраняется, может, прав этот военспец.

Снесарев уехал, а через несколько дней на севере загремели пушки. Кто это мог быть? Кто приближался? Конечно, подмога, обещанная Снесаревым. Вскоре иллюзии рассеялись. Из сальских степей вышла окрепшая армия Деникина, отрезавшая связь с Царицыном и центром, и ударила по деморализованному ставленником Троцкого — Сорокиным — полкам.

И позднее. Сорокин предательски очищает Екатеринодар, панически вытягивает армию в восточные районы области и на Терек, бросив на произвол судьбы таманские части, изменяет революции, проводит ряд террористических актов против лучших командиров и виднейших предстателей коммунистической партии, обрекает боевые колонны армии на гибельный путь отхода через калмыцкие бурунные степи.

Командир бригады Иван Кочубей беззаветно дрался с открытым врагом, но он также видел отвратительные результаты предательства. Всем своим страстным, мятущимся сердцем он стремился к вождям партии, к товарищам Ленину и Сталину. В сердце его жила прекрасная сказка о том, как он

встретится с этими людьми и расскажет им всю правду.

Его честная и цельная натура не выносила двурушничества, не мирилась с проявлениями корысти и подлости, он искал людей, против которых требовалось бы обрушить свой гнев, но он весьма трудно разбирался во всех сложных переплетениях тогдашнего времени. Это учитывали враги Кочубея, враги советской власти. Когда после ранения военного комиссара бригады Василия Кандыбина Кочубей остался без друга — комиссара, его неоднократно пытались спровоцировать против истинно преданных партии людей, обвиняя их во всех происходящих несчастиях. Непартийный большевик Кочубей имел достаточно мужества, чтобы не поддаваться на эти гнуснейшие провокации.

Но вот предатели разоблачены. Сорокин и его приспешники объявляются вне закона и расстреливаются, на пост командующего XI армии поставлен волею II чрезвычайного съезда советов Северного Кавказа преданный делу революции командир Иван Федорович Федыко. В результате предательства армия находится в катастрофическом состоянии. На плечи нового командарма ложится величайшая ответственность — спасения армии и вывода ее в Советскую Россию. Кочубей получает боевое задание от товарища Федыко — прикрывать отход армии и с честью выполняет это почетное задание нового революционного командования.

Армия начала отход на Святой Крест, Кизляр, Астрахань. В сильнейшие морозы, при сильных северо-восточных ветрах отступает армия, разутая, раздетая, зараженная тифом, лишенная снарядов и патронов. Кочубей остается в арьергарде, заслоняет отход армии, и за это на него окончательно ополчаются враги.

VIII

В начале 1919 года бригада Кочубея, арьергардная бригада XI армии, пошла к прикаспийскому селу Промысловке. Недалеко была Советская Рос-

сия. Было радостно и тепло в сердцах кочубеевцев, честно выполнивших свой долг перед революцией.

Глубокая обида ждала их под Промысловкой. Предатели и изменники, ставленники Троцкого, сидевшие тогда в ответственных учреждениях армии, не допустили бригаду Кочубея проследовать в город Астрахань. Они прислали Кочубею циничный приказ провокационного содержания и приказали бригаде разоружиться. Когда бригада, не поверив в этот приказ, хотела двинуться вперед, чтобы добиться правды, ее не пустили, а встретили огнем. Кочубеевцы, не сделав ни одного выстрела, отступили, а полубольной Кочубей сказал:

— Не может бригада рубать своих же братьев. Поднимем мы руку, и проклянет нас племя наше. Разоружайтесь, а я прорвусь к товарищам Ленину и Сталину и расскажу им всю правду.

Кочубей, в сопровождении преданных друзей, снова углубился в пустыню, чтобы пробиться к вождям партии.

Издевательское отношение к Кочубею людей, позже разоблаченных как враги народа, окончилось настоящей трагедией славного комбрига, подлинного народного героя.

Вскоре при прямом вмешательстве товарища Кирова были разоблачены и наказаны предатели и провокаторы. Некоторые из них, сумевшие замаскироваться, еще долго двурушничали, делая свое грязное дело, и были разоблачены уже в наши дни. Ни один из виновников гибели Ивана Кочубея не ушел от карающей руки народа. Справедливость восторжествовала.

В 1919 году товарищ Киров, проделав колоссальнейшую работу, восстановил боеспособность славной XI армии, которая еще ждет своего историка и певца. Кочубеевцы вошли в 7-ю кавалерийскую дивизию и совершили немало еще боевых подвигов, находясь в составе героической XI армии.

IX

Большой тифом, Кочубей был захвачен белыми в районе села Солдатского. Ставропольской губернии, и привезен в

город Святой Крест. Наконец-таки знаменитый вожак кубанских революционных казаков попал в руки белогвардейцев. Над головой Кочубея скрестились вождения белых генералов. Они захотели склонить его на свою сторону, сделать знаменем контрреволюционного казачества. Ему предложили помилование, чин полковника, предложили командование крупным кавалерийским соединением. Насколько страшным казался Кочубей белым, видно по появившимся в их газетах сообщениям, что, наконец, пойман казак Иван Кочубей, командующий XI армией красных.

Кочубей отверг заманчивые предложения высшего белогвардейского командования. Он плюнул в лицо председателю военно-полевого суда и был приговорен к смертной казни. Красного комбрига привели на место казни почти в бессознательном состоянии.

О последних минутах Кочубея так рассказывает С. Бескин, прикумский врач, присутствовавший в толпе при казни Кочубея.

«... Я лично видел, как Кочубея вели под руки два белобандита на базарную площадь, к виселице. Ноги его тянулись без движения по земле. Повидимому, сыпной тиф дал осложнение (паралич

ног). Сзади, в спину, его толкали двое прикладами. Ни звука, ни стона он не издал. Когда веревка оборвалась, он крепко встал на ноги, выругался, прибавив: «Вешать, сволочи, не умеете. Пролетарии будут не вешать, а расстреливать таких, как вы». И в момент, когда на него накинули другую петлю, он крикнул: «Бейтесь за Советскую власть!».

Это была последняя команда Кочубея. Прожив исключительно ценную, почти-что сказочную жизнь, этот неграмотный кубанский казак ни разу не запятнал себя изменой или корыстью и умер как большевик. У Кочубея были ошибки, вытекающие из его неграмотности, из свойств его характера, ошибки, всячески раздуваемые врагами народа, чтобы отобрать у советского народа его героического представителя. Убив Кочубея, они хотели отнять прекрасную память о нем. Человек, отдавший свою жизнь за счастье народное, всегда будет чтим народом. Кочубей не изменил основной идее, которой было подчинено все его пламенное сердце, идее борьбы за счастье трудящихся, борьбы, идущей под знаменами Ленинско-Сталинской партии. Этой борьбе он отдал самое дорогое, что имеется у человека,—жизнь.



Худ. М. Авилов. Приезд товарища Сталина в Первую Конную армию.

Приезд товарища Сталина в Первую Конную армию

П. АЛЕКСАНДРОВ

★

«Рад Вас встретить в
с. В. Михайловка, куда сего-
дня переходит штаб Конной.
Командарм Конной
Буденный».

В конце сентября 1919 года из Серпухова, где располагался штаб Южного фронта, товарищ Сталин писал В. И. Ленину:

«... Необходимо теперь же, не теряя времени, изменить уже отмененный практикой старый план, заменив его планом основного удара через Харьков—Донецкий бассейн на Ростов:

во-первых, здесь мы будем иметь среду не враждебную, наоборот, — симпатизирующую нам, что облегчит наше продвижение;

во-вторых, мы получаем важнейшую железнодорожную сеть (донецкую) и основную артерию, питающую армию Деникина, — линию Воронеж — Ростов...

в-третьих, этим продвижением мы рассекаем армию Деникина на две части, из коих добровольческую оставляем на с'едение Махно, а казачьи армии ставим под угрозу захода им в тыл;

в-четвертых, мы получаем возможность посорить казаков с Деникиным, который (Деникин) в случае

нашего успешного продвижения постарается передвинуть казачьи части на запад, на что большинство казаков не пойдет...

в-пятых, мы получаем уголь, а Деникин остается без угля. С принятием этого плана нельзя медлить...

Короче: старый, уже отмененный жизнью план ни в коем случае не следует гальванизировать, — это опасно для Республики, это наверняка облегчит положение Деникина. Его надо заменить другим планом. Обстоятельства и условия не только назрели для этого, но и повелительно диктуют такую замену... Без этого моя работа на южфронте становится бессмысленной, преступной, ненужной, что дает мне право или, вернее, обязывает меня уйти куда угодно, хоть к чорту, только не оставаться на южфронте.

Ваш Сталин».

«План т. Сталина был принят Центральным комитетом, — пишет товарищ Ворошилов. — Сам Ленин собственной рукой написал приказание полковому штабу о немедленном изменении изжившей себя директивы. Главный удар был нанесен южфронтом в направлении на Харьков—Донбасс—Ростов. Результаты известны: перелом в гражданской войне был достигнут. Деникинские полчища были опрокинуты в Черное море, Украина и Северный Кавказ освобождены от белогвардейцев. Тов. Сталину во всем этом принадлежит громадная заслуга». (К. Е. Ворошилов, «Сталин и Красная Армия».)

Конный корпус Буденного в конце октября 1919 г. в боях под Воронежем разбил белые конные корпуса Шкуро и Мамонтова. Тысячи пленных, сотни пулеметов, десятки орудий и бронепоездов явились добычей красной конницы.

После успешно завершённой касторнской операции, в которой наголову была разбита ударная группа ген. Поставского, белые начали спешно отступать на юг.

В истории Первой Конной, в изображении ее бойцов и командиров, эти славные, поистине героические, бои так

описаны: «Ликвидация противника подходила к концу. Буденный временно разместился со своим штабом на станции Касторной, имея связь со штабом Мамонтова и Шкуро, продолжая вводить их в заблуждение.

Начдив 11 Матузенко после трех дней самостоятельных операций докладывал Буденному ход развития боев и результаты побед, главным образом 1-й бригады, которая больше всех имела трофеев и пленных.

— Великолепно, — сказал Буденный, отрывая глаза от карты, — теперь можем и отдохнуть.

— Денька два, три? — улыбнулся Матузенко.

— Да, наверное, так, — ответил Буденный, прощаясь с ним.

— Степан Андреевич, — обратился комкор к Зотову, — нам нужно подсчитать трофеи и пленных и немедленно сообщить фронту.

— Слушаю. А по радио тоже прикажете послать сводку? — спросил Зотов.

— Да, и по радио тоже, — устало пробормотал комкор, уходя спать.

Тихо было вокруг Касторной. Утомленные бойцы и командиры, окутанные черной шубой ночи, спали по квартирам, отдыхая после побед.

Радиоволны темной ночи передавали: «Всем! Всем! Всем! 15 ноября 1919 года касторнская группа генерала Поставского, как и корпуса генерала Мамонтова и Шкуро, разгромлена красными орлами Первого Конного корпуса. Наши трофеи: 4 бронепоезда, 4 танка, 4 бронемшины, 22 орудия, свыше 100 пулеметов, десятки тысяч снарядов, 2 миллиона патронов, 5 000 винтовок, свыше тысячи лошадей и до 3 000 пленных».

Конный корпус Буденного получил задачу от товарища Сталина преследовать противника в общем направлении на Старый Оскол — Короча — Белгород и в то же время обрушиться на тыл курской группы белых.

Белая армия Деникина отступала к югу. Конный корпус Буденного, в составе 4-й дивизии Городовникова, 6-й — Тимошенко и 11-й — Матузенко, ее преследовал.

В самый момент развития преследования белых конный корпус Буденного, по инициативе товарища Сталина, развертывается в Первую Конную армию. Это было первое армейское соединение красной конницы, которая решила судьбу белой армии Деникина.

Известно о том, что предатель Иуда Троцкий был категорически против создания красной конницы. Красную конницу фашист Троцкий считал «ненадежной крестьянской конницей» (Буденный).

Штабу Конной армии было известно о том, что в районе Ст.- и Н.-Оскол — Бирюч — Валуйки противник сосредоточил большие силы. Здесь были 9-я и 10-я казачьи дивизии конного корпуса Мамонтова, насчитывавшего около 4 000 сабель, 120 пулеметов, 10—15 орудий; здесь была 1-я Кубанская кавалерийская дивизия корпуса Шкуро, имевшая 1 700 сабель, 52 пулемета; сюда же сосредотачивался конный корпус Улагая. Кроме конницы, в этом районе белые имели наиболее сильные корниловскую и марковскую пехотные дивизии.

Чтобы сорвать намеченную белыми операцию по противодействию нашему наступлению, Первой Конной армии была поставлена задача: перерезать линию железной дороги южнее Старого Оскола и, действуя с востока и юго-востока, разбить противника и захватить Старый Оскол.

Эта операция Конной армии удалась как нельзя лучше. Стремительным охватом Старого Оскола с востока значительная часть белых была отрезана и взята в плен, остальные бежали к Новому Осколу, преследуемые конницей.

Деникин, в свою очередь, уделял главное внимание валуйско-оскольскому направлению; поэтому для борьбы с конницей Буденного он продолжал сосредотачивать сюда все свои резервы. Назначенный командовать белой добровольческой армией, вместо Май-Маевского, ген. Врангель дополнительно требовал от штаба Деникина перебросить сюда еще до 6 кавалерийских дивизий.

В результате все мероприятия, проводившиеся штабом Деникина, позволили ему сосредоточить против Буденного в

районе Валуйки—Новый Оскол сильную ударную группу. В задачу этой группы, которая в основном сосредотачивалась в районе южнее и западнее Нового Оскола, входило не только задержание наступления конницы Буденного, но и удар в правый фланг VIII Красной армии в районе Бирюча и левый фланг XIII Красной армии в районе Корочи.

Таковы были замыслы белого командования.

Но осуществиться им не удалось.

Разбивая белую конницу Шкуро, Мамонтова и Улагая, Первая Конная армия с каждым днем все более и более продвигалась вперед. 30 ноября 4-я кавалерийская дивизия Оки Ивановича Городовикова и 1-я бригада 6-й кавалерийской дивизии Тимошенко заняли большое село Великая Михайловка и подходили к станции Новый Оскол. И вот в этот-то день командующий Первой Конной армией телеграфировал в Воронеж находившемуся там товарищу Сталину: «Рад Вас видеть в Великой Михайловке (15 верст западнее Ново-Оскола), куда сегодня переходит штаб Конной. Случае дальнейшего продвижения штаба у церкви В. Михайловка будут оставлены курьеры и караул».

На другой день в 13 часов 6-я кавалерийская, предводимая лихим наездником Тимошенко, заняла станцию Новый Оскол, отбросив белые дивизии корпусов Улагая и Шкуро к югу, в район станции Волоконовка. В этот день в 15 часов штаб Первой Конной армии перешел в село Великая Михайловка.

С выходом Конной армии в район Старый Оскол — Новый Оскол — Великая Михайловка заканчивался важнейший этап операции Южного фронта по разгрому армий Деникина. Предстоял следующий этап — борьба на ближайших подступах к Донбассу и за Донбасс. Для этого Деникин и сосредотачивал свои резервы в Валуйско-Волоконовском районе.

Но замысел Деникина не прошел мимо командования Южным фронтом и Первой Конной армией.

1 декабря 1919 г. в приказе № 172 С. М. Буденный писал о том, что про-

тивник, сбитый частями Конной армии, спешно отступает с линии Короча — Новый Оскол.

Ввиду необходимости сосредоточить части Конной армии и подтянуть ближе тыловые учреждения, дивизиям Семен Михайлович приказывал, оставаясь на занимаемых участках, принять все меры к скорейшему сосредоточению своих учреждений и обозов в районе штадивов.

Кроме того, начдивам 4-й Городовикову, 6-й Тимошенко, 11-й Матузенко приказывалось проследить за тем, чтобы вверенные им дивизии пополнились в достаточном количестве огнеприпасами, приготовившись к дальнейшим решительным операциям.

Начальнику снабжения армии также приказывалось проследить за тем, чтобы все части Конной армии были снабжены в достаточной мере огнеприпасами, продовольствием и фуражом.

Этот приказ показывает образец организации армейского тыла, перед тем как начинать новую операцию. Товарищ Сталин в своих статьях и речах периода гражданской войны неоднократно указывал на то, что «армия не может долго существовать без крепкого тыла».

Итак, к 1 декабря 1919 года три дивизии — 4-я, 6-я, 11-я — Первой Конной армии, как три родные сестры, сосредоточились в районе станции Новый Оскол и села Великая Михайловка. Бои не прекращались. Так, в оперативной сводке за 1 декабря читаем: 4-я кавалерийская дивизия в районе Барсуки — Беломестное — Ольховатка, сбив 2-й белый кавалерийский корпус ген. Науменко (б. Улагая), состоящий из 8 конных полков, преследовала его до деревни Солоховки. Белые отступали на Валуйки. 6-я дивизия заняла Н.-Оскол. После страдного боевого огня, поздно ночью дивизии Конной армии расположились: 11-я кавалерийская в Новой Анновке, имея передовые части в деревнях Хошеватное — Жигаловка; 4-я кавалерийская в деревнях Богородицкая — Ольховатка и селе Великая Михайловка, имея передовые части на линии деревень Барсуки — Слоновка; 6-я кавалерийская расположилась в Новом-Осколе, выдвинув

передовые части на линию сел Песчаное — Серебрянка. Правее части 13-й Красной армии выходили на линию ст. Солнцево — Сухая Ольшанка. Левее части VIII Красной армии двигались на Верхосенск, Бирюч. Так как части VIII Красной армии и особенно XIII были далеко уступом позади Конной армии, последняя обеспечивала себя справа небольшим заслоном от 11-й кавдивизии, а слева — от 6-й кавдивизии.

Оказавшись в таком положении и имея задачу содействовать XIII Красной армии по захвату г. Купянска, Буденный решает прежде всего разбить главные силы белых, действовавших перед фронтом Конной армии, ликвидировать угрозу со стороны корпуса Мамонтова, перерезать железнодорожную линию Лиски — Валуйки и одновременно с этим захватить г. Валуйки. В развитие этого решения он приказал 4-й кавдивизии занять Александровку и Сиротин; 6-й кавдивизии — Ютаповку и Волоконовку, а 11-я кавдивизия, занимая Одиңцово, располагалась во второй эшелон.

Конная армия, выполняя эту важную оперативную задачу фронтового значения, облегчила положение для VIII Красной армии, на части которой белые предприняли решительное наступление.

Одновременно на фронте Первой Конной армии создавалась угроза левому флангу и тылу.

Создавшаяся сложная оперативная обстановка, однако, не пугала командования Конной армии. С. М. Буденный решает продолжать выполнение своих прежних задач. Для этого он приказывает: начдиву 6 Тимошенко, прикрываясь с севера двумя эскадронами, из района Волоконовки наступать через Подлесную на ст. Мандрова и, разрушив в этом районе железную дорогу, двигаться далее в юго-западном направлении для захвата Валук; начдиву 11 Матузенко приказывалось наступать через Волоконовку уступом слева за 6-й дивизией, содействуя ей в захвате Валук с севера; начдиву 4 Городовикову — наступать в южном направлении для захвата Валук с юго-запада.

Под ударами 4-й дивизии белые спешно отступали на юг под прикрытием двух бронепоездов, которые курсировали по железной дороге между станциями Волоконовка — Валуйки. Ген. Мамонтов двумя дивизиями своего корпуса, находившегося в районе Лутовиновка—Николаевка, решил атаковать нашу 6-ю дивизию в районе Волоконовки. Для этого он приказал 5 декабря в 7 часов 9-й дивизии наступать через Ивановку на Волоконовку с целью нанести удар по 6-й дивизии с севера. Для обеспечения со стороны Н.-Оскола и реки Оскол Мамонтов приказывал занять поселок Богатый. Возлагая на дивизию ответственную задачу, Мамонтов требовал от нее полной энергии и решительности в боевых действиях. 10-й дивизии Мамонтов приказывал выступить в 8 часов из Лутовиновки и совместно с 9-й дивизией атаковать 6-ю дивизию в Волоконовке. Решительные действия намечались и другими белыми корпусами. Совершенно очевидно, что Деникин ставил на чашу весов все свои резервы, лишь бы не пустить Первую Конную армию в Донбасс и далее к Таганрогу и Ростову.

Таким образом, белое командование решило именно в этом районе искать исхода операции.

★

Бывший секретарь Реввоенсовета Первой Конной армии, ныне покойный, Сергей Орловский в своем дневнике конармейца, который он назвал «Великий год», за 5 декабря 1919 года записал: «В 3 часа ночи прибыли на ст. Касторная. Здесь опять безнадежно стали, так как не готов мост в 30 км от станции. Около 14 часов под'ехали к самому мосту. Там шла вялая работа саперной роты. Товарищ Сталин с Реввоенсоветом Конной армии решили двинуться в Старый Оскол на паровозе, находившемся на другой стороне моста».

Вот несколько небольших, но ярких штрихов из дневника, рисующих тяжелые условия передвижения в то время по железной дороге.

Товарищи Сталин, Ворошилов, Щаденко ехали в Первую Конную армию для того, чтобы непосредственно в боях окончательно ее оформить организационно. Это им еще в Воронеж писал командарм Буденный приветливые слова встречи от имени всех бойцов и командиров Первой Конной: «Рад Вас встретить».

В 7 часов 6 декабря 6-я дивизия выступает из Волоконовки на ст. Мандрова, оставив два эскадрона для охраны тылов. Пройдя около 20 километров, начдив Тимошенко узнает о том, что два эскадрона, оставленные им севернее Волоконовки, сбиты конницей белых, двигающейся с севера, и что часть ее обозов в Волоконовке захвачена белыми. Получив такие сведения, начдив Тимошенко в 12 часов поворачивает всю 1-ю бригаду обратно на Волоконовку и ставит ей задачу во что бы то ни стало разбить конницу белых. В это время 11-я дивизия двумя бригадами подходила к деревне Ютаповке. Обнаружив в Волоконовке конницу белых и услышав сильную ружейно-пулеметную стрельбу в западном направлении, 11-я дивизия скорее спешит на помощь 6-й дивизии, обходя с фланга корпус Мамонтова. Таким образом, корпус ген. Мамонтова вместо того, чтобы нанести удар 6-й дивизии, сам оказался в тисках между 6-й и 11-й дивизиями.

Оставив на поле боя большое количество убитыми, ранеными и пленными, 20 пулеметов, 3 орудия, 300 подвод, 3 000 снарядов, корпус Мамонтова в беспорядке начал отступать на Валуйки.

В то же самое время 4-я кавалерийская дивизия Оки Ивановича Городовикова разбила дивизию улагаевского корпуса.

В скупом на слова оперативном приказе Конной армии № 179 за 7 декабря 1919 года читаем: «План противника был разрушен искусным маневром 6-й кавалерийской дивизии. ...В результате боя 6-я дивизия на-голову разбила 9-ю Донскую белую дивизию и сильно потрепала 10-ю дивизию».

Все это произошло 6 декабря, в день приезда товарища Сталина в 1-ю Конную армию, — сначала в Новый Оскол, а затем в Великую Михайловку.

Товарищ Сталин и назначенные в Реввоенсовет Первой Конной товарищи Ворошилов и Щаденко приехали из Нового Оскола, который расположен в 35 километрах от Великой Михайловки, во время большой метели на саянах.

Сталин, Ворошилов и Щаденко остановились в крестьянской избе, «где я, — рассказывает Буденный, — квартировал, и здесь же, в этой избе, произошло объединенное заседание Реввоенсовета Южного фронта и Первой Конной армии. Заседание было необычное — это был штаб в полевой обстановке. Сидели кто на чем — кто на табуретке, кто на сундуке, кто на скамейке, а товарищ Сталин ходил по комнате с трубкой, встречаясь с Ворошиловым, который тоже ходил взад и вперед. Потом все собрались к столу, где была разостлана карта.

Здесь решался вопрос о конкретном выполнении Сталинского плана окончательного разгрома Деникина. Этот стратегический план, одобренный Лениным и принятый Центральным Комитетом партии, состоял в том, чтобы ударом красных через Донбасс — на Таганрог и Ростов разрезать фронт Деникина на две части, овладеть Донбассом, затем расправиться с уже раз'единенными силами белых на Украине и Северном Кавказе. Ударной группой для этой цели была намечена Первая Конная армия, усиленная 9-й и 12-й стрелковыми дивизиями.

На заседании в Великой Михайловке товарищ Сталин, насколько я помню, говорил:

— Наша задача сейчас заключается в том, чтобы разорвать фронт противника на две части, не дать частям Деникина, расположенным на Украине, отойти на Северный Кавказ. В этом залог успеха. И эту задачу мы возлагаем на Первую Конную армию. А когда мы, разбив противника на две части, дойдем до Азовского моря, тогда будет видно, куда следует бросить Кон-

ную армию — на Украину или на Северный Кавказ.

— Эта задача очень ответственная, — говорил далее Сталин, — она требует максимума сил и напряжения. Конной армии придется идти через Донбасс, ее может ожидать отсутствие фуража, но, с другой стороны, ее будет встречать пролетариат Донбасса, который ждет нас и отдаст все, что может, — с этим фактом нужно считаться. Руководство фронтом примет в свою очередь все меры к тому, чтобы в кратчайший срок доставить Конной армии необходимый фураж и продовольствие».

Эти воспоминания Семена Михайловича следующим образом дополняет бывший член РВС Конной армии: Е. А. Щаденко.

«Товарищ Сталин прожил здесь несколько дней. Он глубоко вникал в сущность всех важнейших организационных вопросов армии. Он занимался организацией штаба, политотделов, лазаретов и эвакуационных пунктов, снабжения, вооружения, вплоть до хозяйственных вопросов.

Затем товарищ Сталин выехал в части. Он беседовал с бойцами, знакомился с их жизнью и бытом, выступал на митингах, говорил о положении советской власти, прочности и неизбежности диктатуры пролетариата, воодушевляя бойцов 1-й Конной. На линии фронта, на передовых позициях товарищ Сталин лично наблюдал за ходом развития операций и конных атак против Мамонтова, марковской дивизии, корниловцев и других белых частей.

Помню, как окружавшие вождя работники заражались его необычной энергией и неутомимостью. Товарищ Сталин пренебрегал удобствами, нередко отказываясь от еды, недосыпал. На первом плане у него была работа. И после отъезда товарищ Сталин продолжал ежедневно конкретно и оперативно руководить действиями 1-й Конной, воспитывал, учил и помогал ей.

Тов. Ворошилов, долгое время работавший вместе с товарищем Сталиным, зная его конкретность в руководстве, особенно заботился о том, чтобы он.

всегда знал все о подлинном положении армии.

Детище Сталина — 1-я Конная армия блестяще оправдала его доверие и заботу о бойцах, командирах и политработниках, которые создали ей неувядаемую славу, целиком отдавая себя для торжества советской власти.

Товарищ Сталин неоднократно говорил, что в руководстве Ворошилова и Буденного Конной армией классически сочетался боевой союз рабочего класса с революционными массами крестьянства под руководством пролетариата и его коммунистической партии...».

В результате Сталинских указаний, лично данных им на совместном заседании Реввоенсоветов Южного фронта и Первой Конной армии 6 декабря 1919 года в селе Великая Михайловка, в этот же день Реввоенсовет Первой Конной армии издает приказ по Конной армии. В этом ценнейшем первом историческом документе записано о том, что приказом Южного фронта Конный корпус преобразован в Первую Конную армию.

Во главе управления армии поставлен Революционный Военный Совет в составе командующего Конной армией тов. Буденного и членов Реввоенсовета товарищей Ворошилова и Щаденко.

На Реввоенсовет Конной армии возложена чрезвычайно тяжелая и ответственная задача, — читаем в этом приказе, — сплотить части красной конницы в единую сильную духом и революционной дисциплиной Красную Конную армию. Вступая в исполнение своих обязанностей, Реввоенсовет, напоминая о великом историческом моменте, переживаемом Советской республикой и Красной Армией, наносящей последний смертельный удар бандам Деникина, призывает всех бойцов, командиров и политических комиссаров напрячь все силы в деле организации армии. В приказе также говорилось и о том, чтобы каждый рядовой боец был не только бойцом, добросовестно выполняющим приказы, но сознавал бы те великие цели, за которые он борется и умирает.

Этот исключительной важности и

ценности документ заканчивается следующими словами:

«Мы твердо уверены, что задача будет выполнена и армия, сильная не только порывами, но сознанием и духом, идя навстречу победе, беспощадно уничтожая железными полками и дивизиями банды Деникина, впишет еще много славных страниц в историю борьбы за Рабоче - Крестьянскую и Советскую власть.

Да здравствует 1-я Конная Армия!

Да здравствует скорая победа!

Да здравствует мировая Советская власть!».

Приказ был подписан Реввоенсоветом Первой Конной армии.

В этот же исторический день 6 декабря состоялось и заседание Реввоенсовета Конной армии, на котором были рассмотрены организационные вопросы о конструировании армии, о штатах Конной армии, об организации мастерских, об организации отдела формирования, об организации лазарета, о временном подчинении Конной армии в оперативном отношении двух пехотных дивизий, о представлении к наградам и отличиям красноармейцев и командиров и, наконец, о знаменах для награждения за боевые заслуги особо отличившихся полков Конармии.

Таким образом, 6 декабря 1919 года в жестоких боях с белыми на подступах к пролетарскому Донбассу окончательно оформилось образование Первой Конной армии — родного детища товарища Сталина.

Первая Конная армия покрыла себя неувядаемой славой в боях за нашу прекрасную социалистическую родину. Она дала незабываемые образцы того, как надо драться и защищать нашу родину.

Отразив белых, 9 декабря Первая Конная заняла Валуйский железнодорожный узел. Все дивизии выполнили поставленные им задачи. Разбив основную группировку белых на подступах к Донбассу, Первая Конная входила в Донбасс, где ее с нетерпением и любовью встречали шахтеры.

Но белые генералы решили задерживать стремительное продвижение крас-

ной конницы в Донбасс и далее на юг. Деникин приказал спешно пополнить корпуса Мамонтова и Шкуро и снова бросить их против Первой Конной армии. Скупая на слова оперативная сводка штаба армии за 12 декабря сообщает о том, что, по показанию белых перебежчиков, корпуса Мамонтова и Шкуро отошли на Купянск, где спешно формируются и приводятся в боевой порядок остатки разбитых полков под Валулками и Уразовом. Но, несмотря на упорное сопротивление противника, успешное продвижение Конной армии продолжалось. С каждым днем она все более и более сокращала расстояние к окончательному разгрому армии Деникина и освобождению всего юга России от белогвардейщины. 16 декабря Конная армия выходит в район станции Сватово, захватив здесь богатую военную добычу и отрезав пути отхода эшелонам противника из Купянска на юг.

С выходом в район Дебальцево — Иловайская Первая Конная армия твердо вступила на почву Донбасса.

В разговоре по прямому проводу, который происходил между товарищем Сталиным и товарищами Ворошиловым и Буденным, последние докладывали о том, что, несмотря на крупную численность противника, доблестные части Конной армии разбили его части наголову. Взято трофеев: 17 орудий, 80 пулеметов, обозы с военной добычей, много пленных, 1 000 лошадей с седлами и изрублено до 1 000 человек. Далее товарищи Ворошилов и Буденный докладывали о том, что «дух чудо-богатырей Конармии выше всяких похвал. Преданность революции и сознательное отношение к совершающимся событиям гарантирует полную и скорую победу».

И эта полная и быстрая победа над белыми армиями Деникина была скоро достигнута. Город за городом занимает Первая Конная, разбивая остатки деникинской армии, а 8 января 1920 года она занимает оплот южнорусской контрреволюции — города Ростов и Нахичевань.

10-го января 1920 года товарищ

Сталин посылает следующую телеграмму В. И. Ленину:

«ЛЕНИНУ.

Из штаба Южного фронта. 10-го января 1920 года.

В ночь с 7 на 8 января части конницы Буденного после кровопролитных боев ворвались в Ростов и Нахичевань, взяв на подступах Ростова 11.000 пленных, 7 танков, 33 орудия, 170 пулеметов. 8-го января шли уличные бои на южных окраинах Ростова. Подсчеты трофеев продолжаются.

СТАЛИН».

С выходом Первой Конной армии в район Новочеркаска — Ростова в основном закончились решительные операции красных армий Южного фронта против белых армий Деникина. Одной из основных сил во всех этих операциях была рожденная в огне гражданской войны героическая Первая Конная армия — родное детище товарища Сталина.

В приветствии конноармейцам товарищ Сталин писал:

«Боевой привет конноармейцам!

Привет бойцам, командирам и политработникам Конной армии, разбившей полчища врагов Советского Союза и изгнавшей вон из нашей страны грабителей-интервентов!

Привет товарищам Ворошилову, Буденному, Щаденко — строителям и вождям Конной армии!

История гражданской войны украшена вашими славными победами, товарищи конноармейцы! Ваша храбрость и отвага служат примером для нашей молодежи!

Будем надеяться, что острые сабли и меткие пули Красной конницы, когда этого потребует обстановка, так же хорошо послужат делу защиты нашей великой родины, как служили они в недавнем прошлом.

И. СТАЛИН».

В годы гражданской войны Первая Конная армия покрыла себя неувядаемой славой. Она показала образцы героизма и доблести в боях за нашу социалистическую родину.

БИБЛИОГРАФИЯ

К. Е. ВОРОШИЛОВ

Сталин и Красная Армия

Воениздат, 2-е издание, 1937 г.

★

«Партия гордится,—говорил товарищ Сталин на торжественном пленуме Московского Совета, посвященном десятой годовщине Красной Армии, — что ей удалось создать с помощью рабочих и крестьян первую в мире Красную Армию, в величайших битвах отстаивавшую и отстаившую свободу рабочих и крестьян».

Из разрозненных партизанских и красногвардейских отрядов сравнительно в короткий срок была создана крепкая, дисциплинированная, индустриализованная армия, воодушевленная великими идеями Маркса — Энгельса — Ленина — Сталина, ставшая верным оплотом несокрушимой силы и могущества нашей родины.

В то время, как буржуазная армия представляет «самый закорючатый инструмент... поддержки господства капитала, сохранения и воспитания рабской покорности и подчинения ему всех трудящихся» (Ленин), наш красноармеец пользуется сердечной любовью, вызывает энтузиазм не только в нашем многонациональном Советском Союзе. Красная Армия и Флот окружены легендарной славой, к ним питают горячие симпатии угнетенные народы всего мира, все передовое человечество.

Это произошло потому, что Красная Армия «воспитывается с первого же дня своего рождения в духе интернационализма, в духе уважения к другим

народам, в духе любви и уважения к рабочим всех стран, в духе сохранения и утверждения мира между странами» (Сталин).

Занимаясь мирным трудом, народы Советского Союза отдают себе полный отчет в том, кто неусыпно охраняет их покой. Это — вооруженные силы Советского Союза. С каждым днем крепнет мощь нашей Армии и Флота, все больше крепнет наш государственный корабль, как говорил на первой Сессии Верховного Совета товарищ Молотов.

Выдающаяся, исключительная роль в укреплении мощи Красной Армии и Флота принадлежит товарищу Сталину, самому близкому и дорогому другу Красной Армии.

Вместе с Лениным он стоял у колыбели ее рождения, каждодневно пестовал, воспитывал ее в славные годы гражданской войны. Товарищ Сталин был вдохновителем и организатором всех решающих побед Красной Армии над белогвардейцами и интервентами. Имя товарища Сталина спаяно нерушимой связью с Красной Армией и Флотом.

Об этом рассказывает книга К. Е. Ворошилова и приложенные к ней документы. Они начинаются с документа, подписанного В. И. Лениным, о назначении 31 мая 1918 г. И. В. Сталина руководителем продовольственного дела на юге России.

Сталин был направлен партией в Царицын, находившийся тогда на стыке белогвардейских сил, пытавшихся именно здесь сомкнуться в сплошной контрреволюционный фронт, отрезать Москву от хлеба и нефти, задуть революцию голодом.

Под руководством Сталина, превратившего Царицын в неприступный «Красный Верден», он стал несокрушимой крепостью советского народа.

Организация героической борьбы за Царицын требовала железной воли руководства, непоколебимой веры в торжество Великой Октябрьской Социалистической революции.

7 июля 1918 г. в 1 ч. 00 м. Ленин отправляет по прямому проводу телеграмму Сталину о лево-эсеровском восстании в Москве и провокационном убийстве германского посла Мирбаха. Ленин писал, что «необходимо подавить беспощадно этих жалких и истеричных авантюристов, ставших орудием в руках контрреволюционеров». Через два часа Сталин отвечает Ленину:

«... Будьте уверены, у нас рука не дрогнет. С врагами будем действовать по-вражески».

В этом простом, коротком ответе сказались вся железная воля гениального соратника великого Ленина. Ленин, партия, страна могли спокойно положиться на Сталина!

Между тем положение на юге было «не из легких». Вредительские, преступные приказы Троцкого, прикрывавшегося именем Реввоенсовета Республики, мешали организации обороны Царицына, имели целью сорвать пролетарскую дисциплину в осажденном городе, развалить фронт, оклеветать и очернить виднейших членов партии.

«... Мы, как члены партии, — телеграфировали товарищи Сталин и Ворошилов Ленину, — заявляем категорически, что выполнение приказов Троцкого считаем преступным...»

Необходимо обсудить в ЦК партии вопрос о поведении Троцкого...».

В этой исключительно острой и сложной боевой обстановке товарищ Сталин ни на мгновение не забывает о голодающих рабочих центра России, неусыпно

заботится об уборке хлеба, об организации соления мяса и т. п.

«Было бы хорошо организовать по крайней мере одну консервную фабрику, поставить бойню и проч.» — пишет он Владимиру Ильичу в августе 1918 г.

Сложность обороны Царицына заключалась и в том, что в различных местах сидели саботажники, бездельники и вредители военного дела, которым была фактически доверена судьба ответственных участков фронта. Товарищу Сталину приходилось лично самому проверять положение, расчищать фронт от саботажников и подозрительных людей.

В книге приведена телеграмма товарища Сталина Ленину от 16 июля 1918 г. по поводу необходимости убрать военрука Снесарева, саботирующего дело очищения линии Котельниково — Тихорецкая:

«... Я решил лично выехать на фронт и познакомиться с положением... Полдня перестрелки с казаками дали нам возможность прочистить дорогу, исправить путь в четырех местах на расстоянии 15 верст... В результате двухнедельного пребывания на фронте убедился, что линию безусловно можно прочистить в короткий срок, если за броневым поездом двинуть 12-тысячную армию...».

Не боясь белоказачьих пуль, товарищ Сталин показывал примеры изумительной оперативности и личного бесстрашия, вникал во все подробности боевого дела, лично проверял и устранял с пути все, что мешало организации победы.

Уже возвращаясь в Москву, товарищ Сталин проездом через Камышин телеграфирует Ворошилову о необходимости тщательной организации и обороны левого фланга Царицынского фронта.

«Казачи намерены во что бы то ни стало соединиться с астраханскими казаками, прервать Волгу, если даже Царицын не будет взят...». В этом сказались поразительное предвидение товарища Сталина. Его военный гений оказался непреодолимым препятствием для контрреволюции.

В короткой беседе с корреспондентом товарищ Сталин делится своими впе-

чатлениями о состоянии Южного фронта. Он подчеркивает важность Южного фронта, просто и ясно определяет причины, из-за которых контрреволюция избрала Царицын как центр удара, дает исчерпывающую характеристику силе Красной Армии, ее сознательности и дисциплине, объясняет значение крепкого тыла для существования Красной Армии и предсказывает неминуемый крах контрреволюционных авантюристов на Юге.

В книге приведен интереснейший документ, найденный недавно в Сталинградском архиве и выставленный в витрине 10-го зала Музея Ленина. Это — телефонограмма председателя Царицынского исполкома в Военревсовет X армии с протестом против мобилизации на постройку казарм группы инженеров, работавших над проектом канала Волга — Дон. На телефонограмме резолюция товарищей Сталина и Ворошилова:

«Канал пророем после утопления кадетов в Волге и Дону.

Члены Военревсовета:

СТАЛИН, ВОРОШИЛОВ».

22/IX—1918 г.

В 1918 г. на Восточном фронте пала Пермь. ЦК партии и Совет Обороны поручили комиссии в составе товарищей Сталина и Дзержинского представить доклад о причинах поражения. В книге приведен доклад, занимающий 26 страничек. Он дает совершенно исчерпывающий разбор причин поражения и выводы, которые необходимо из этого сделать.

С большевистской смелостью вскрывают товарищи Сталин и Дзержинский причины катастрофы, открыто говорят о ее неизбежности при тех условиях, в которых находилась армия, — плачевное морально-боевое состояние армии, усталость частей, отсутствие резервов, совершенная необеспеченность тыла и продовольствования армии.

«Вопли Реввоенсовета и штаба третьей армии о «неожиданности» катастрофы лишь демонстрируют оторванность этих учреждений от армии, непонимание роковых событий под Кушвой и Лысь-

вой, их неумение руководить действиями армии».

Товарищи Сталин и Дзержинский предлагают выводы — перечень мер для того, чтобы избежать в будущем поражений:

«Покончить с войной без резервов»,

«Армия не может обойтись без крепкого Реввоенсовета»,

«Больное место... — непрочность тыла, объясняемая, главным образом, заброшенностью партийной работы...»,

«Уничтожить чересполосицу центральных органов снабжения армии...».

Величайшая ценность записки заключается в том, что она, вскрывая побольшевистски причину временного поражения, необычайно конкретно указывала пути к победе, служила и служит образцовым документом, на котором должны учиться наши военные, партийные и советские работники, как организовать успех боевого дела.

В результате мероприятий, предложенных товарищем Сталиным, Восточный фронт перешел в январе 1919 г. в наступление, и на нашем правом фланге был взят Уральск.

«Вот как товарищ Сталин понял и осуществил свою задачу «расследовать причины катастрофы» — пишет товарищ Ворошилов.

Летом 1919 г. создалось чрезвычайно серьезное положение на Петроградском фронте в связи с наступлением генерала Юденича. В июле враги пытались завладеть Красной Горкой, ключом к Кронштадту. «Таймс» писал о падении Петрограда.

На фронт был направлен товарищ Сталин.

8 июля 1919 г. товарищ Сталин поделился с читателями «Правды» своими впечатлениями о положении на фронте. Беседа заканчивается утверждением товарища Сталина: «Красная Армия под Петроградом должна победить». К этому неизбежному выводу пришел товарищ Сталин, разобрав стратегические позиции противника на фронте, определив его силы, вскрыв расчеты врага, показав их шаткость.

Противник был разгромлен под Петроградом. Город Ленина был спасен от

иноземной кабалы. Короткий приказ Реввоенсовета от 31 декабря 1919 г. ясно определяет значение, какое имело для ликвидации опаснейшего положения трехнедельное присутствие Сталина в штабе и на фронте.

«... В минуту смертельной опасности, когда, окруженная со всех сторон тесным кольцом врагов, Советская власть отражала удары неприятеля, в минуту, когда враги Рабоче-Крестьянской Революции в июле 1919 г. подступали к Красной Горке, в этот тяжелый для Советской России час назначенный Президиумом ВЦИК на боевой пост Иосиф Виссарионович Сталин своей энергией и неутомимой работой сумел сплотить дрогнувшие ряды Красной Армии. Будучи сам в районе боевой линии, он под боевым огнем личным примером воодушевлял ряды борющихся за Советскую Республику. В ознаменование всех заслуг по обороне Петрограда, а также самоотверженной его дальнейшей работы на Южном фронте, ВЦИК постановил наградить И. В. Сталина орденом КРАСНОГО ЗНАМЕНИ».

Касаясь положения на фронте, товарищ Сталин особо останавливается на Балтийском флоте. «Нельзя не приветствовать, что Балтийский флот, считавшийся погибшим, возрождается самым действительным образом. Это признают не только друзья, но и противники, — говорил товарищ Сталин. — Еще более отрадно, что балтийские матросы вновь нашли себя, оживив в своих подвигах лучшие традиции русского революционного флота».

Осенью 1919 г. нависла опасность для Москвы. Деникинские банды подошли к Орлу В этот момент партия посылает на Южный фронт в качестве члена РВС товарища Сталина. Незабываемая заслуга товарища Сталина перед революцией, имевшая самые губительные последствия для Деникина, заключалась в том, что, быстро освоившись с положением на фронте, товарищ Сталин отвергает старый, вредный план нанесения удара Деникину через донские степи и организует наступление через пролетарский Харьков, шахтерский Донбасс на Ростов.

10 января 1920 г. Сталин сообщает Ленину о взятии Ростова и Нахичевани.

Сталинский план наступления привел к поражению Деникина у Орла в октябре 1919 г. Потерпев решительное поражение, войска Деникина начали отступление двумя группами: главной — на Северный Кавказ, другой, меньшей, — на Правобережную Украину. В середине января 1920 г. основные силы Деникина отошли за реки Дон и Маныч, где, пытаясь задержать наступление наших армий, они достигли некоторых частных успехов. В связи с этим Ленин снова обращается к товарищу Сталину:

«Москва 20 февраля 1920 г. Положение на кавказском фронте приобретает все более серьезный характер. По сегодняшней обстановке не исключена возможность потери Ростова и Новочеркасска, а также попытки противника развивать успех далее на север с угрозой Донецкому району. Примите исключительные меры для ускорения перевозок сорок второй и латышской дивизий и по усилению их боеспособности. Рассчитываю, что, оценивая общую обстановку, Вы разовьете всю Вашу энергию и достигнете серьезных результатов».

Товарищ Сталин ответил готовностью сделать все возможное: «*Можете быть уверены, что будет сделано все возможное*».

В мае 1920 г. панская Польша начинает свой поход на Украину. В статье, напечатанной в «Правде» 25—26 мая 1920 г., Сталин разбирает перспективы нового похода Антанты на Россию. Антанта просчитается.

«Выше мы говорили о шансах на победу России, о том, что шансы эти растут и будут расти, но это не значит, конечно, что мы тем самым уже имеем победу в кармане. Выставленные выше шансы на победу могут иметь реальное значение лишь при прочих равных условиях, т. е. при условии, что мы теперь так же напряжем свои силы, как и раньше, при наступлении Деникина, что наши войска будут снабжаться и пополняться аккумулятно».

и регулярно, что наши агитаторы будут просвещать красноармейцев и окружающее их население с утроенной энергией, что наш тыл будет очищаться от скверны и укрепляться всеми силами, всеми средствами.

Только при этих условиях можно считать победу обеспеченной».

Поход белополяков, которыми командовал лично Пилсудский, закончился паническим бегством их с Украины. Огромную роль в этой победе сыграла Первая Конная армия, организованная, как известно, по замыслу товарища Сталина.

Поляков пытался поддержать Врангель, начавший вылезать из своего «крымского логова».

Говоря о несомненных наших успехах на антипольских фронтах, товарищ Сталин ни на минуту не забывал о Врангеле.

«... Партия должна начертать на своем знамени новый очередной лозунг: «Помните о Врангеле!», «Смерть Врангелю!».

Организация нового фронта была поручена Сталину.

Ленин пишет Сталину: «Только что провели Политбюро разделение фронтов, чтобы вы исключительно занялись Врангелем...».

7 августа 1920 г. Сталин телеграфирует Ленину из Лозовой: «Седьмого утром наши части форсировали Днепр, заняли Алешки, Каховку и другие пункты на левом берегу, есть трофеи, которые подсчитываются. По всему Крымскому фронту наши перешли в наступление и продвигаются вперед».

В книге напечатаны документы

Ленина и Сталина, относящиеся к периоду апреля—августа 1918 г. на Северном фронте. Приведен разговор по прямому проводу Ленина и Сталина с Юрьевым (Алексеевым), председателем мурманского совета, начавшего осуществлять, под влиянием авантюристической политики Троцкого, позорное сотрудничество с интервентами. Создалось запутанное положение, и товарищ Сталин, ставя вопросы в упор, расшифровывает подоплеку предательской деятельности мурманского совета.

Книга заканчивается документами о положении на Кавказе, где товарищу Сталину было поручено руководство ликвидацией уцелевших еще белогвардейских отрядов (речь идет о 1920 г.), и материалами о съезде народов Дагестана.

Бурные овации, которыми приветствовал съезд народов Дагестана великого Сталина, были признанием того, что Красная Армия «является армией братства между народами нашей страны, армией освобождения угнетенных народов нашей страны, армией защиты свободы и независимости народов нашей страны». (Сталин.)

Так, шаг за шагом, показывает замечательная книга К. Е. Ворошилова облик великого Сталина, самого дорогого и близкого друга Красной Армии и Флота. В годы гражданской войны Ленин и партия направляли его в самые опасные и ответственные места, на все фронты, и всюду товарищ Сталин организовывал победу.

Его неусыпным заботам обязана наша родина тем, что мы имеем могучую Рабоче-Крестьянскую Красную Армию, готовую сокрушить врага на его же территории, откуда бы он ни пришел.

Редколлегия: Ф. В. Гладков.
Л. М. Леонов.
А. Г. Малышкин.
В. П. Ставский.

Ответственный редактор В. П. Ставский.